

Zg

$\frac{68}{11}$

gep.

1846



сашт

об-изг. (См. 20
См. 1846.

541 стр

Кет стр
483 - 498

217 - 88

Всв ср. 198.87

НЕ КОПИРОВАТЬ

810-83

1623, - x

70 68
11

ПЕТЕРБУРГСКИЙ

СБОРНИКЪ,

ИЗДАННЫЙ

Н. НЕКРАСОВЫМЪ.

НѢКОТОРЫЯ СТАТЬИ ИЛЛЮСТРИРОВАНЫ.

В. Г. БѢЛИНСКИЙ.	Н. А. НЕКРАСОВЪ.
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.	А. В. НИКИТЕНКО.
ИСКАНДЕРЪ.	КН. В. Ѳ. ОДОЕВСКИЙ.
А. И. КРОНЕБЕРГЪ.	И. И. ПАНАЕВЪ.
А. Н. МАЙКОВЪ.	ГР. В. А. СОЛЛОГУЕВЪ.
И. С. ТУРГЕНЕВЪ.	

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ПРАЦА.

=
1846.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ

СБОРНИКЪ
ОТДѢЛЕНІЯ

Въданные года, романа Ф. М. Достоевскаго. 1
Поминки, разсказы въ стихахъ М. С. Гурьева. 107
Навасы и разсказы, Кононара. 203
Парикмахерскія увеселенія. 223
Мандата, притча, Кононара. 275

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Ценсурный Комитетъ, узаконенное число экземпляровъ.

Санктпетербургъ, января 12-го дня, 1846 года.

Цензоры { И. Ивановскій.
А. Никитенко.
А. Крыловъ.

42328-0



ОГЛАВЛЕНІЕ.

Бѣдные люди, романъ <i>Ф. М. Достоевскаго</i>	1.
Помѣщикъ, разсказъ въ стихахъ <i>И. С. Тургенева</i>	167.
Капризы и раздумье, <i>Искандера</i>	203.
Парижскія увеселенія, <i>И. И. Панаева</i>	223.
Макбетъ, трагедія <i>В. Шекспира</i> , переводъ <i>А. Кроненберга</i> .	275.
Мартингалъ (изъ записокъ гробовщика), <i>Кн. В. Ф. Одоевскаго</i> . 375. +	
Машенька, поэма <i>А. Н. Майкова</i>	391.
Три портрета, повѣсть <i>И. С. Тургенева</i>	445.
О характерѣ народности въ древнемъ и новѣйшемъ искусствѣ, <i>А. В. Никитенко</i>	483.
Мелкія стихотворенія :	
Тьма (изъ Байрона), <i>И. С. Тургенева</i>	501.
Два стихотворенія <i>А. Н. Майкова</i> :	
1. «Для чего природа», и пр.....	504.
2. Первый поцалуй.....	504.
Четыре стихотворенія <i>Н. А. Некрасова</i> :	
1. Въ дорогѣ	505.
2. Пьяница.....	508.
3. «Отрадно видѣть» и пр	509.
4. Колыбельная пѣсня	510.
Римская влегія, Гете (XII), <i>И. С. Тургенева</i>	512.
Мой автографъ, <i>Гр. В. А. Соллогуба</i> ..	513.
Мысли и замѣтки о русской литературѣ, <i>В. Г. Бѣлинскаго</i> . 515.	

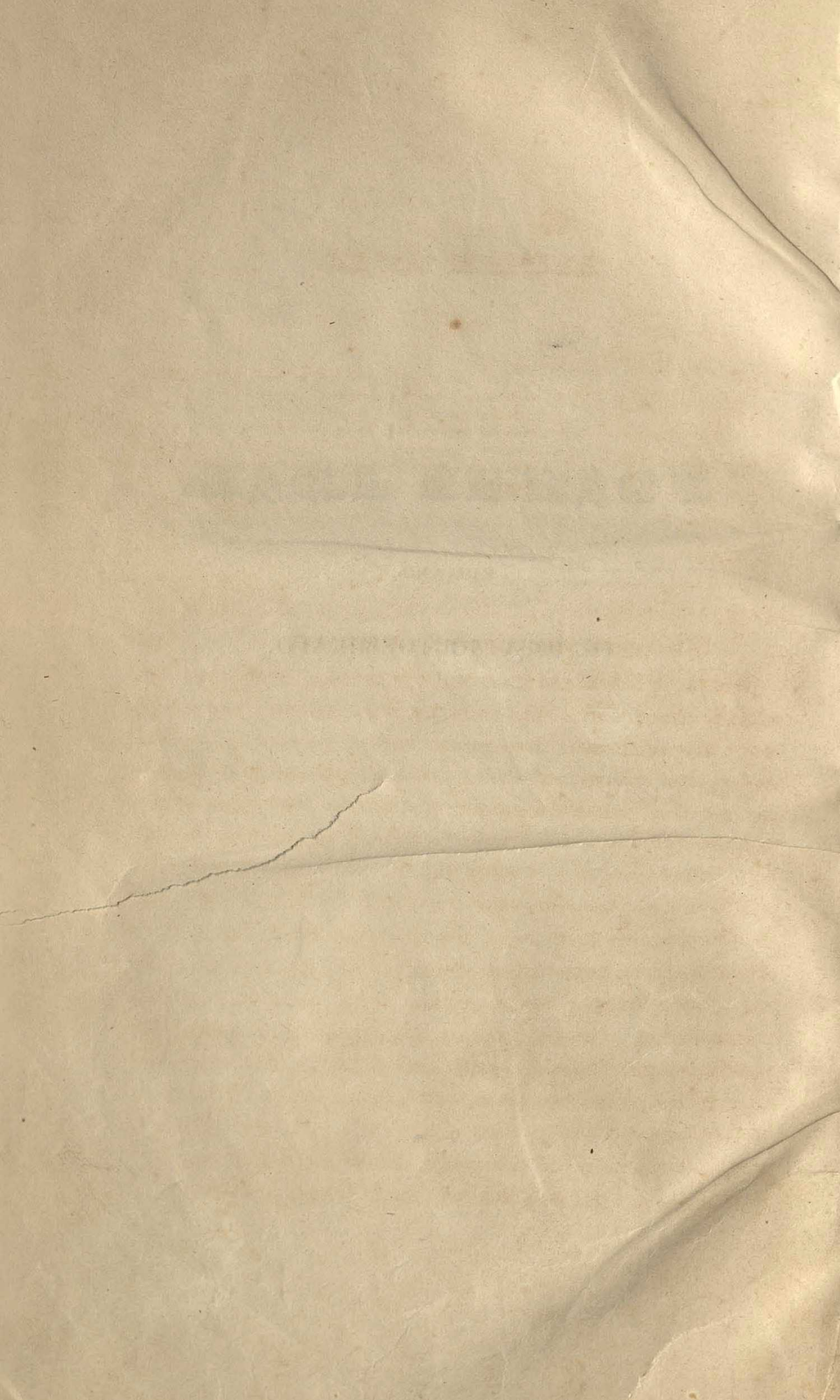
ОТЪАВЛЕНИЕ

1 Писане на манастирски грамоти
 167 Новина за раската на стария М. С. Търговище
 202 Издание на български език
 224 Издание на български език
 275 Издание на български език
 315 Издание на български език
 331 Издание на български език
 412 Издание на български език
 423 Издание на български език
 431 Издание на български език
 432 Издание на български език
 433 Издание на български език
 434 Издание на български език
 435 Издание на български език
 436 Издание на български език
 437 Издание на български език
 438 Издание на български език
 439 Издание на български език
 440 Издание на български език
 441 Издание на български език
 442 Издание на български език
 443 Издание на български език
 444 Издание на български език
 445 Издание на български език
 446 Издание на български език
 447 Издание на български език
 448 Издание на български език
 449 Издание на български език
 450 Издание на български език

БѢДНЫЕ ЛЮДИ.

РОМАНЪ

ФЕДОРА ДОСТОЕВСКАГО.



ВЪДННЫЕ ЛЮДИ.

Охъ, ужъ эти мнѣ сказочники! Нѣтъ чтобы написать что-нибудь полезное, пріятное, усладительное, а то всю подноготную въ землѣ вырываютъ!... Вотъ ужъ запретилъ бы имъ писать! Ну на что это похоже; читаешь.. невольно задумаешься, — а тамъ всякая дребедень и поидеть въ голову; право бы запретить имъ писать; такъ-таки просто вовсе бы запретилъ.

Князь В. О. Одоевскій.

Апрѣля 8.

Безцѣнная моя Варвара Алексѣевна!

Вчера я былъ счастливъ, чрезмѣрно счастливъ, до нѣльзя счастливъ! Вы хоть разъ въ жизни, упрямица, меня послушались. Вечеромъ, часовъ въ восемь, просыпаюсь (вы знаете, маточка, что я часочикъ-другой люблю поспать послѣ должности), свѣчку достала, przygotowляю бумаги, *чию перо*, вдругъ, незначай, подымаю глаза,—право, у меня сердце вотъ такъ и запрыгало! Такъ вы таки-поняли чего мнѣ хотѣлось, чего сердчишку моему хотѣлось! Вижу уголочекъ занавѣски у окна вашего загнуть и прицѣпленъ къ горшечку съ бальзаминчикомъ, точнехонько такъ, какъ я вамъ тогда намекалъ; тутъ же показалось мнѣ, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мнѣ изъ комнатки вашей смотрѣли, что и вы обо мнѣ думали. И какъ же мнѣ досадно было, голубчикъ мой, что миловиднаго личика-то вашего я не могъ разглядѣть хорошенько! Было время когда и мы свѣтло видѣли, маточка. Не

радость старость, родная моя. Вотъ и теперь все какъ-то рябитъ въ глазахъ; чуть поработаешь вечеромъ, напишешь что-нибудь, на утро и глаза раскраснѣются, и слезы текутъ, такъ что даже совѣстно передъ чужими бываетъ. Однакоже, въ воображеніи моемъ такъ и засвѣтлѣла ваша улыбочка, ангельчикъ, ваша добренькая, привѣтливая улыбочка; и на сердцѣ моемъ было точно такое же ощущеніе, какъ тогда, какъ я поцаловалъ васъ, Варинька,—помните ли, ангельчикъ? Знаете ли, голубчикъ мой, мнѣ даже показалось, что вы тамъ мнѣ пальчикомъ погрозили? Такъ ли, шалунья? Непремѣнно вы это все опишите подробнѣе въ вашемъ письмѣ.

Ну, а какова наша придумочка на счетъ занавѣсочки вашей, Варинька? Премило, не правда ли? Сижу ли за работой, ложусь ли спать, просыпаюсь ли и ужъ знаю, что и вы тамъ обо мнѣ думаете, меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Опустите занавѣсочку—значить прощайте, Макаръ Алексѣевичъ, спать пора! Подымете—значить съ добрымъ утромъ, Макаръ Алексѣевичъ, каково-то вы спали, или: каково-то вы въ вашемъ здоровьи, Макаръ Алексѣевичъ? Чтò же до меня касается, то я, слава Творцу, здорова и благополучна! Видите ли, *душечка моя*, какъ это ловко придумано; и писемъ не нужно! Хитро, неправда ли? А вѣдь придумочка-то моя! А, чтò, каковъ я на эти дѣла, Варвара Алексѣевна?

Доложу я вамъ, маточка моя, Варвара Алексѣевна, что спалъ я сію ночь добрымъ порядкомъ, вопреки ожиданій, чѣмъ и весьма доволенъ; хотя на новыхъ квартирахъ, съ новоселья, и всегда какъ-то не спится; все что-то такъ, да не такъ! Всталъ я сегодня такимъ соколикомъ — любо-весело! Что это какое утро сегодня хорошее, маточка! У насъ растворили окошко: солнышко свѣтитъ, птички чирикаютъ, воздухъ ды-

шетъ весенними ароматами, и вся природа оживляется — ну, и остальное тамъ все было тоже соответственное; все въ порядкѣ по весеннему. Я даже и по мечталъ сегодня довольно пріятно, и все объ васъ были мечтающія мои, Варинька. Сравнилъ я васъ съ птичкой небесной, на утѣху людямъ и для украшенія природы созданной. Тутъ же подумалъ я, Варинька, что и мы, люди, живущіе въ заботѣ и тревоженіи, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастью небесныхъ птицъ, — ну и остальное все такое же, сему же подобное; т. е. я все такія сравненія отдаленныя дѣлалъ. У меня тамъ книжка есть одна, Варинька, такъ въ ней то же самое, все такое же весьма подробно описано. Я къ тому пишу, что вѣдь разныя бываютъ мечтанія, маточка. А вотъ теперь весна, такъ и мысли все такія пріятныя, острыя, затѣйливыя, и мечтанія приходятъ пѣжныя; все въ розовомъ цвѣтѣ. Я къ тому и написалъ это все; а впрочемъ я это все взялъ изъ книжки. Тамъ сочинитель обнаруживаетъ такое же желаніе въ стихахъ; дескать —

— Зачѣмъ я не птица, не хищная птица!

Ну и т. д. Тамъ и еще есть разныя мысли, да Богъ съ ними! А вотъ, куда это вы утромъ ходили сегодня, Варвара Алексѣевна? Я еще и въ должность не сбился, а вы, ужъ подлинно какъ пташка весенняя, порхнули изъ комнатки, и по двору прошли такая веселенькая. Какъ мнѣ-то было весело, на васъ глядя! Ахъ, Варинька, Варинька! — вы не грустите; слезами горю помочь нельзя; это я знаю, маточка моя, это я на опытѣ знаю. Теперь же вамъ такъ покойно, да и здоровьемъ вы немного поправились. — Ну, чтò ваша Оедора? Ахъ, какая же она добрая женщина! Вы мнѣ, Варинька, напишите какъ вы тамъ съ нею живете теперь, и всѣмъ ли вы довольны? Оедора-то немного

ворчлива; да вы на это не смотрите, Варинька. Богъ съ нею! Она такая добрая.

Я уже вамъ писалъ о здѣшной Терезѣ, тоже и добрая и вѣрная женщина. А ужъ какъ я беспокоился объ нашихъ письмахъ! Какъ они передаваться-то будутъ? А вотъ какъ-тутъ послалъ Господь на наше счастье Терезу. Она женщина добрая, кроткая, безсловесная. Но наша хозяйка просто безжалостная. Затираетъ ее въ работу словно ветошку какую нибудь.

Ну, въ какую же я труппу попалъ, Варвара Алексѣевна! Ну ужъ квартира! Прежде я вѣдь жилъ такимъ глухаремъ, сами знаете;—смирно, тихо; у меня, бывало, муха летитъ, такъ и муху слышно. А здѣсь шумъ, крикъ, гвалтъ! Да вѣдь вы еще и не знаете какъ это все здѣсь устроено. Вотъ этакъ, примѣрно, длинный корридоръ, такой темный, и по правдѣ немного нечистый. По правую руку глухая стѣна, а по лѣвую все двери, да двери, точно номера, все такъ въ рядъ простираются. Ну вотъ и занимаютъ эти номера, а въ нихъ по одной комнаткѣ въ каждомъ; живутъ въ одной и по двое, и по трое. Порядку не спрашивайте—Ноевъ ковчегъ! Впрочемъ, кажется, люди хорошіе, все такіе образованные, ученые. Чиновникъ одинъ есть (онъ гдѣ-то по литературной части), *человѣкъ начитанный*; и о Гомерѣ, и о Брамбеусѣ, и о разныхъ у нихъ тамъ сочинителяхъ говорить, обо всемъ говорить; — умный *человѣкъ*! Два офицера живутъ, и все въ карты играютъ. Мичманъ живетъ; Англичанинъ учитель живетъ.—Постойте, я васъ потѣшу, маточка; опишу ихъ въ будущемъ письмѣ сатирически, т. е. какъ они тамъ сами-то по себѣ, по подробнѣ ихъ опишу. И хозяйка-то наша, ужъ такая она право, — она, знаете ли, такая маленькая, нечистая старушонка, цѣлый день въ туфляхъ да въ шлафрокѣ ходитъ, и цѣлый день все кричитъ на Терезу. Я живу въ кухнѣ,

т. е. что я? обмолвился! не въ кухнѣ, совсѣмъ не въ кухнѣ, а знаете вотъ какъ: тутъ подлѣ кухни есть одна комната (а у насъ, нужно вамъ замѣтить, кухня чистая, свѣтлая, очень хорошая), ну такъ вотъ, какъ я вамъ сказаль, есть одна небольшая комнатка, уголокъ такой скромный.... вотъ видите ли, кухня большая въ три окна, такъ у меня вдоль поперечной стѣны перегородка, такъ что и выходитъ какъ бы еще комната, нумеръ сверхштатный; все просторное, удобное, и окно есть, и все, — однимъ словомъ, совершенно удобное. Ну, вотъ это мой уголочекъ. Ну, такъ вы и не думайте, маточка, чтобы тутъ что-нибудь такое; чтобы тутъ тайный смыслъ какой былъ; что вотъ дескать кухня! — т. е. я, пожалуй, и въ самой этой комнатѣ за перегородкой живу, но это ничего; я себѣ ото всѣхъ *особнячкомъ*, по-маленьку живу, въ *тихомолочку* живу. Поставилъ я у себя кровать, столъ, комодецъ, стульчиковъ парочку, образъ повѣсилъ. Правда, есть квартиры и лучше, можетъ-быть, есть и гораздо лучшія, да удобство-то главное; вѣдь это я все для удобства, а вы не думайте, что для другаго чего-нибудь. Ваше окошко напротивъ, черезъ дворъ; и дворъ-то узенькой, васъ мимоходомъ увидишь — все веселѣе *миѣ горемычному*, да и дешевле. У насъ здѣсь самая послѣдняя комната, со столомъ, 35 руб. ассигнац. стоить. Не по карману! А моя квартира стоить миѣ семь руб. ассиг., да столъ пять цѣлковыхъ, вотъ 24 съ полтиною, а прежде ровно 30 платилъ, за то во многомъ себѣ отказывалъ; чай пивалъ не всегда, а теперь вотъ и на чай и на сахаръ выгадалъ. Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить какъ-то стыдно; здѣсь все народъ достаточный, такъ и стыдно. Ради чужихъ и пьешь его, Варинька, для вида, для тона; а по миѣ все равно, я не прихотливъ. Положите такъ, для карманныхъ денегъ — все сколько нибудь требуется —

ну сапожишки какіе нибудь, платишко — много ль останется? Вотъ и все мое жалованье. Я-то не ропшу и доволенъ. Оно достаточно. Вотъ уже нѣсколько лѣтъ достаточно; награжденія тоже бываютъ. — Ну, прощайте, мой ангельчикъ. Я вамъ тамъ купилъ бальзамичиковъ парочку, и гераньку — не дорого. А вы, можетъ-быть, и резеду любите? Такъ и резеда есть, вы напишите; да знаете ли все какъ-можно-подробнѣе напишите. Вы, впрочемъ, не думайте чего нибудь, маточка, обо мнѣ-то, что я такую комнату нанялъ. Нѣтъ, это удобство заставило, одно удобство соблазнило меня. Я вѣдь, маточка, деньги коплю, откладываю; у меня денежка-то водится. Вы не смотрите на то, что я такой тихонькой, что, кажется, муха меня крыломъ перешибетъ. Нѣтъ, маточка, я про себя-то не промахъ. Ну, такъ вы на счетъ меня и успокойтесь, родная моя, и не полагайте чего-нибудь предосудительнаго. Прощайте же, прощайте, мой ангельчикъ! Расписался я вамъ чуть не на двухъ листахъ, а на службу давно пора. Цалую ваши пальчики, маточка, и пребываю

Вашимъ нижайшимъ слугою и вѣрнѣйшимъ другомъ
Макаромъ Дьвушкинымъ.

P. S. Объ одномъ прошу: отвѣчайте мнѣ, ангельчикъ мой, какъ-можно подробно. Я вамъ при семь посылаю, Варинька, фунтикъ конфетокъ; такъ вы ихъ скушайте на здоровье, да ради Бога обо мнѣ не заботьтесь, и не будьте въ претензіи. Ну, такъ прощайте же, маточка.

Апрѣля 8.

М. Г. Макаръ Алексѣевичъ.

Знаете ли, что мнѣ прійдется наконецъ совѣмъ поссориться съ вами? Клянусь вамъ, добрый Макаръ

Алексѣевичъ, что мнѣ даже тяжело принимать ваши подарки. Я знаю чего они вамъ сто́ятъ, какихъ лишешій и отказовъ въ необходимѣйшемъ себѣ самому. Сколько разъ я вамъ говорила, что мнѣ не нужно ничего, совершенно ничего; что я не въ силахъ вамъ воздать и за тѣ благодаренія, которыми вы доселѣ осыпали меня. И зачѣмъ мнѣ эти горшки? Ну, бальзаминчики еще ничего, а геранька зачѣмъ? Одно словечко сто́итъ неосторожно сказать, какъ на пр. объ этой геранькѣ, ужъ вы тотчасъ и купите; вѣдь вѣрно дорого? Что за прелесть на ней цвѣточки! Пунсовые крестиками. Гдѣ это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я ее посрединѣ окна поставила, на самомъ видномъ мѣстѣ; на полу же поставлю скамеечку, а на скамеечку еще цвѣтовъ поставлю; вотъ только дайте мнѣ самой разбогатѣть! Федора не парадуется; у насъ теперь словно рай въ комнаткѣ, — чисто, свѣтло! Ну, а конфеты зачѣмъ? И право, я сейчасъ же по письму угадала, что у васъ что нибудь да не такъ — и рай, и весна, и благоуханія летаютъ, и птички чирикаютъ. Что это, думаю, ужъ нѣтъ ли тутъ и стиховъ? Вѣдь, право, однихъ стиховъ и не достаетъ въ письмѣ вашемъ, Макарь Алексѣевичъ! И ощущенія нѣжныя и мечтанія въ розовомъ цвѣтѣ — все здѣсь есть! Про занавѣску же и не думала; она вѣрно сама зацѣпилась, когда я горшки переставляла; вотъ вамъ!

Ахъ, Макарь Алексѣевичъ! Что вы тамъ ни говорите, какъ ни рассчитывайте свои доходы, чтобъ обмануть меня, чтобы показать, что они всѣ сплошь идутъ на васъ одного, но отъ меня не утаите и не скроете ничего. Ясно, что вы необходимаго лишаетесь изъ-за меня. Что это вамъ вздумалось, на пр., такую квартиру нанять? Вѣдь васъ беспокоятъ, тревожатъ; вамъ тѣсно, неудобно. Вы любите уединеніе, а тутъ и чего-чего нѣтъ около васъ! А вы бы могли гораздо

лучше жить, судя по жалованью вашему. Федора говоритъ, что вы прежде и не въ-примѣръ лучше теверешняго жили. Не-уже-ли жь вы такъ всю свою жизнь дрожали, въ одиночествѣ, въ лишеніяхъ, безъ радости, безъ дружескаго привѣтливаго слова, у чужихъ людей углы нанимая? Ахъ, добрый другъ, какъ мнѣ жаль васъ! Щадите хоть здоровье свое, Макаръ Алексѣевичъ! Вы говорите, что у васъ глаза слабѣютъ, такъ не пишите при свѣчахъ; зачѣмъ писать? Ваша ревность къ службѣ и безъ того, вѣроятно, извѣстна начальникамъ вашимъ.

Еще разъ умоляю васъ, не тратьте на меня столько денегъ. Знаю, что вы меня любите, да сами-то вы не богаты.... Сегодня я тоже весело встала. Мнѣ было такъ хорошо; Федора давно уже работала, да и мнѣ работу достала. Я такъ обрадовалась; сходила только шелку купить, да и принялась за работу. Цѣлое утро мнѣ было такъ легко на душѣ, я такъ была весела! А теперь опять все черныя мысли, грустно; все сердце изныло.

Ахъ, что-то будетъ со мною, какова-то будетъ моя судьба! Тяжело то, что я въ такой неизвѣстности, что я не имѣю будущности, что я и предугадывать не могу о томъ, что со мной станется. *Назадъ и посмотрѣть* страшно. Тамъ все такое горе, что сердце пополамъ рвется при одномъ воспоминаніи. Вѣкъ буду я плакаться на злыхъ людей, меня погубившихъ!

Смеркается. Пора за работу. Я вамъ о многомъ хотѣла бы написать, да некогда, къ сроку работа. Нужно спѣшить. Конечно, письма хорошее дѣло; все не такъ скучно. А зачѣмъ вы сами къ намъ никогда не зайдете? Отъ-чего это, Макаръ Алексѣевичъ? Вѣдь теперь вамъ близко, да и время иногда у васъ выгадывается свободное. Зайдите, пожалуйста! Я видѣла вашу Терезу. Она, кажется, такая больная; жалко было

ее; я ей дала 20 копеекъ. Да! чуть-было не забыла: непременно напишите все, какъ можно подробнѣе, о вашемъ житьѣ-бытьѣ. Что за люди такіе кругомъ васъ, и ладно ли вы съ ними живете? Миѣ очень хочется все это знать. Смотрите-же, непременно напишите! Сегодня ужъ я нарочно уголокъ загну. Ложитесь по раньше; вчера я до полночи у васъ огонь видѣла. Ну, прощайте. Сегодня и тоска, и скучно, и грустно! Знать ужъ день такой! Прощайте.

Ваша

Варвара Доброселова.

Апрѣля 8.

Милостивая государыня

Варвара Алексѣевна!

Да, маточка, да, родная моя, знать ужъ денекъ такой на мою долю горемычную выдался! Да; подшутили вы надо мной, старикомъ, Варвара Алексѣевна! Впрочемъ, самъ виноватъ, кругомъ виноватъ! Не пу-скаться бы на старости лѣтъ съ клочкомъ волосъ въ амурь да въ экивоки... И еще скажу, маточка: *чуденъ иногда человекъ*, очень чуденъ. И, святые вы мои! о чемъ заговорить, занесетъ подѣ-часъ! А что выходить-то, что слѣдуетъ-то изъ этого? Да ровно ничего не слѣдуетъ, а такая дрянь выходитъ, что убереги меня Господи! Я, маточка, я не сержусь, а такъ досадно только очень вспоминать обо всемъ, досадно, что я вамъ-то написалъ такъ фигурно и глупо. И въ должность-то я пошелъ сегодня такимъ гоголемъ-щоголемъ; сіяніе такое было на сердцѣ. На душѣ ни съ того ни съ сего такой праздникъ былъ; весело было! За бумаги принялся рачительно—да что вышло-то потомъ изъ этого! Ужъ потомъ только какъ осмотрѣлся, такъ все стало

по прежнему и сѣренько и темненько. Все тѣ же чернильные пятна, все тѣ же столы и бумаги, да и я все такой же; такъ какимъ былъ, совершенно такимъ же и остался, — такъ чего же тутъ было на Пегасѣ-то ѣздить? Да изъ чего это вышло-то все? Что солнышко проглянуло, да небо полазоревѣло! отъ этого что-ли? Да и что за ароматы такіе, когда на нашемъ дворѣ подь окнами и чему-чему не случается быть! Знать, это мнѣ все съ дуру такъ показалось. А вѣдь случается же иногда заблудиться такъ человѣку въ собственныхъ чувствахъ своихъ, да занести околесную. Это ни отъ чего инаго происходитъ, какъ отъ излишней глухой горячности сердца. Домой-то я не пришелъ, а припелся; ни съ того ни съ сего голова у меня разболѣлась; ужъ это знать все одно къ одному. (Въ спину что ли надуло мнѣ). Я веснѣ-то обрадовался дуракъ-дуракомъ, да въ холодной шинели пошелъ. И въ чувствахъ-то вы моихъ ошиблись, родная моя! Изліяніе-то ихъ совершенно въ другую сторону приняли. Отечественая пріязнь одушевляла меня, единственно чистая отеческая пріязнь, Варвара Алексѣевна; ибо я занимаю у васъ мѣсто отца роднаго, по горькому сиротству вашему; говорю это отъ души, отъ чистаго сердца, по родственному. Ужъ какъ бы тамъ ни было, а я вамъ *хоть дальній родной*, хоть по *пословицѣ* и *сѣдлая вода на кисель*, а все-таки родственникъ, и теперь ближайшій родственникъ и покровитель; ибо тамъ, гдѣ вы ближе всего имѣли право искать покровительства и защиты, нашли вы предательство и обиду. А насчетъ стиховъ скажу я вамъ, маточка, что неприлично мнѣ на старости лѣтъ въ составленіи стиховъ упражняться. Стихи вздоръ! За стихи и въ школахъ теперь ребятишекъ сѣкутъ.... вотъ оно что, родная моя.

Что это вы пишете мнѣ, Варвара Алексѣевна, про удобства, про покой и про разныя разности? Маточка

моя, я не брюзгливъ и не требователенъ; никогда лучше теперешняго не жилъ; такъ чего же на старости-то лѣтъ привередничать? Я сытъ, одѣтъ, обутъ; да и куда намъ затѣи затѣвать! — Не графскаго рода! — Родитель мой былъ не изъ дворянскаго званія, и со всею-то семьей своей былъ бѣднѣ меня по доходу. Я не нѣженка! Впрочемъ, если на правду пошло, то на старой квартиркѣ моей все было не въ-примѣръ лучше; по-привольнѣе было, маточка. Конечно, и теперешняя моя квартира хороша, даже въ нѣкоторомъ отношеніи веселѣе, и если хотите разнообразіе; я противъ этого ничего не говорю, да все старой-то жаль. Мы, старые, т. е. пожилые люди, къ старымъ вещамъ, какъ къ родному чему, привыкаемъ. Квартирка-то была, знаете, маленькая такая; стѣны были.... ну, да что говорить-то! — стѣны какъ стѣны, не въ стѣнахъ и дѣло, а вотъ воспоминанія-то обо всемъ моемъ прежнемъ на меня тоску нагоняютъ.... И странное дѣло — все пріятныя такія воспоминанія. Даже что дурно было, на что подъ часъ и досадоваль, и то въ воспоминаніяхъ какъ-то очищается отъ дурнаго, и предстаетъ воображенію моему въ привлекательномъ видѣ. Тихо жили мы, Варинька; я да хозяйка моя, старушка, покойница. Вотъ и старушку-то мою съ грустнымъ чувствомъ припоминаю теперь! Хорошая была она женщина и не дорого брала за квартиру. Она, бывало, все вязала изъ лоскутковъ разныхъ одѣяла на аршинныхъ спицахъ; только этимъ и занималась. Огонь-то мы съ нею вмѣстѣ держали, такъ за однимъ столомъ и работали. Внучка у ней Маша была — ребеночкомъ еще помню ее — лѣтъ тринадцати теперь будетъ дѣвочка. Такая шалуныя была, веселенькая, все насъ смѣшила; вотъ мы втроемъ такъ и жили. Бывало, въ длинный зимній вечеръ присядемъ къ круглому столу, выпьемъ чайку, а потомъ и за дѣло пріймемся. А старушка, чтобъ Машѣ

не скучно было, да чтобъ не шалила шалунья, сказки, бывало, начнетъ сказывать. И какія сказки-то были! Не то что дитя, и толковый и умный человекъ заслушается. Чего! самъ я, бывало, закурю себѣ трубочку, да такъ заслушаюсь, что и про дѣло забуду. А дитя-то, шалунья-то наша, призадумается; подопретъ рученкой розовую щечку, ротикъ свой раскроетъ хорошенькій, и чуть страшная сказка, такъ жметъ, жметъ къ старушкѣ-бабушкѣ. А намъ-то любо было смотрѣть на нее; и не увидишь, какъ свѣчка нагоритъ, не слышишь, какъ на дворѣ подь-часъ и вьюга злится и метелью мететь.

— Хорошо было намъ жить, Варинька; и вотъ такъ-то мы чуть ли не двадцать лѣтъ вмѣстѣ прожили. — Да что я тутъ заболтался! Вамъ, можетъ-быть, такая матерія не нравится, да и мнѣ вспоминать не такъ-то легко. Особенно теперь; время сумерки. Тереза съ чѣмъ-то возится; у меня болитъ голова, да и спина немного болитъ, да и мысли-то такія чудныя, какъ-будто и онѣ тоже болятъ; грустно мнѣ сегодня, Варинька! — Что же это вы пишете, родная моя? Какъ же я къ вамъ прииду? Голубчикъ мой, что люди-то скажутъ? Вѣдь вотъ черезъ дворъ перейти нужно будетъ, наши замѣтятъ, спрашивать станутъ, — толки пойдутъ, сплетни пойдутъ, дѣлу дадутъ другой смыслъ. Нѣтъ, ангельчикъ мой, я ужъ васъ лучше завтра у всенощной увижу; это будетъ благоразумиѣе и для обоихъ насъ безвреднѣе. Да не взъщите на мнѣ, маточка, за то, что я вамъ такое письмо написалъ; какъ перечелъ, такъ и вижу, что все такое безсвязное. Я, Варинька, старый неученый человекъ; съ-молоду не выучился, а теперь и въ умъ ничего не пойдетъ, коли снова учиться начинать. Сознаюсь, маточка, не мастеръ описывать, и знаю, безъ чужаго инаго указанія и пересмѣиванія, что если захочу что-нибудь написать по затѣйливѣе, такъ вздору нагорожу. — Видѣлъ васъ у окна сегодня, видѣлъ, какъ

вы стору опустили. Прощайте, прощайте, храни васъ Господь! Прощайте, Варвара Алексѣевна.

Вашъ безкорыстный другъ

Макаръ Дьвушкинъ.

Р. S. Я, родная моя, сатиры-то ни объ комъ не пишу теперь. Старъ я сталъ, матушка Варвара Алексѣевна, чтобъ попусту зубы-то скалить! и надо мной засмѣются, коли я другихъ начну пересмѣивать. Знаете, по русской пословицѣ: — кто, дескать, другому яму роетъ, такъ тотъ, того... и самъ туда же.

Апрѣля 9.

Милостивый Государь

Макаръ Алексѣевичъ.

Ну, какъ вамъ не стыдно, другъ мой и благодѣтель, Макаръ Алексѣевичъ, такъ закручиниться и закапризничать. Не-уже-ли вы обидѣлись! Ахъ, я часто бываю неосторожна, но не думала, что вы слова мои примете за колкую шутку. Будьте увѣрены, что я никогда не осмѣлюсь шутить надъ вашими годами и надъ вашимъ характеромъ. Случилось же это все по моей вѣтренности, а болѣе потому, что ужасно скучно, а отъ скуки и за что не возьмешься? Я же полагала, что вы сами въ своемъ письмѣ хотѣли посмѣяться. Мнѣ ужасно грустно стало, когда я увидѣла, что вы недовольны мною. Нѣтъ, добрый другъ мой и благодѣтель, вы ошибаетесь, если будете подозрѣвать меня въ нечувствительности и неблагодарности. Я умѣю оцѣнить въ моемъ сердцѣ все, что вы для меня сдѣлали, защитивъ меня отъ злыхъ людей, отъ ихъ гоненія и ненависти. Я вѣчно буду за васъ Бога молить, и если моя молитва доходитъ къ Богу и небо внемлетъ ей, то вы будете счастливы.

Я сегодня чувствую себя очень нездоровою. Во мнѣ жаръ и ознобъ попеременно. Федора за меня очень беспокоится. Вы напрасно стыдитесь ходить къ намъ, Макаръ Алексѣвичъ. Какое другимъ дѣло! Вы съ нами знакомы, и дѣло съ концомъ!... Прощайте, Макаръ Алексѣвичъ. Болѣе писать теперь не-оchemъ, да и не могу; ужасно не здоровится. Прошу васъ еще разъ не сердиться на меня и быть увѣрену въ томъ всегдашнемъ почтеніи и въ той привязанности

съ каковыми честь имѣю пребыть
наипреданнѣйшею и покорнѣйшею служницею вашей
Варварой Доброселовой.

Апрѣля 12.

Милостивая Государыня
Варвара Алексѣевна.

Ахъ, маточка моя, что это съ вами! Вѣдь вотъ каждый-то разъ вы меня такъ пугаете. Пишу вамъ въ каждомъ письмѣ, чтобъ вы береглись, чтобъ вы кутались, чтобъ вы не выходили въ дурную погоду, осторожность во всемъ наблюдали бы, — а вы, ангельчикъ мой, меня и не слушаетесь. Ахъ, голубчикъ мой, ну словно вы дитя какое нибудь! Вѣдь вы слабенькія, какъ соломенка слабенькія; это я знаю. Чуть вѣтерочикъ какой, такъ ужъ вы и хвораете. Такъ остерегаться нужно, самой о себѣ стараться, опасностей избѣгать, и друзей своихъ въ горе и въ уныніе не вводить.

Изъявляете желаніе, маточка, въ подробности узнать о моемъ житьѣ-бытьѣ, и обо всемъ меня окружающемъ. Съ радостію спѣшу исполнить ваше желаніе, родная моя. Начну съ начала, маточка; больше порядку будетъ. Во-первыхъ, въ домѣ у насъ на чистомъ входѣ лѣстницы весьма посредственныя; особливо парадная—чистая, свѣтлая, широкая, всечугунъ да красное дерево.

За то ужь про черную и не спрашивайте: винтовая, сырая, грязная, ступеньки поломаны, и стѣны такія жирныя, что рука прилипаетъ, когда на нихъ опираешься. На каждой площадкѣ стоятъ сундуки, стулья и шкафы поломанные, веточки развѣшаны, окна повывиты; лоханки стоятъ со всякою нечистью, съ грязью, съ соромъ, съ яичною скорлупою да съ рыбьими пузырями; запахъ дурной... однимъ словомъ, нехорошо.

Я уже описывалъ вамъ расположеніе комнатъ; оно, — нечего сказать, — удобно, это правда, но какъ-то въ нихъ душно, т. е. не то-чтобы оно нахло дурно, а такъ, если можно выразиться, немного гнилой, остро-усласенный запахъ какой-то. На первый разъ впечатлѣніе невыносимое; стоить только минуты, и все пройдетъ, такъ и пройдетъ и не почувствуешь, и все пропахнетъ, потому-что и самъ какъ-то дурно пропахнешь, и платье пропахнетъ, и руки пропахнутъ, и все пропахнетъ, ну и привыкнешь. У насъ чижики такъ и мрутъ. Мичманъ ужь пятого покупаетъ, не живутъ въ нашемъ воздухѣ да и только. Кухня у насъ большая, обширная, свѣтлая. Правда, по утрамъ чадно немало, когда рыбу или говядину жарятъ, да и нальютъ и намочатъ вездѣ, за то ужь вечеромъ рай. Въ кухнѣ у насъ на веревкахъ всегда бѣлье виситъ старое; а такъ-какъ моя комната недалеко, т. е. почти примыкаетъ къ кухнѣ, то запахъ отъ бѣлья меня беспокоитъ немало; но ничего; поживешь и попривыкнешь!

Съ самаго ранняго утра, Варинька, у насъ возня начинается; встаютъ, ходятъ, стучатъ, — это поднимаются всѣ кому надо, кто на службѣ или такъ, самъ-по-себѣ; всѣ пить чай начинаютъ. Самовары-то у насъ хозайскіе, большею частію, мало ихъ, ну такъ мы всѣ очередь держимъ; а кто попадетъ не въ очередь съ своимъ чайникомъ, такъ сейчасъ тому голову вымоютъ. Вотъ я было-попалъ въ первый разъ, да... ну да ужь

что! Тутъ-то я со всѣми и познакомился. Съ мичманомъ съ первымъ познакомился; откровенный такой, все мнѣ рассказалъ: про батюшку, про матушку, про сестрицу, что за тульскимъ засѣдателемъ, и про городъ Кронштадтъ. Обѣщалъ мнѣ во всемъ покровительствовать, и тутъ же меня къ себѣ на чай пригласилъ. Отъискалъ я его въ той самой комнатѣ, гдѣ у насъ обыкновенно въ карты играютъ. Тамъ мнѣ дали чаю и непременно хотѣли, чтобъ я въ азартную игру съ ними игралъ. Смѣялись ли они, нѣтъ ли надо мною, не знаю; только сами они всю ночь напролетъ проиграли, и когда я вошелъ, такъ тоже играли. Мѣлъ, карты, дымъ такой ходилъ по всей комнатѣ, что глаза ѣло. Играть я не сталъ, и мнѣ сейчасъ замѣтили, что я про философію говорю. Потомъ ужъ никто со мною и не говорилъ все время; да я, по правдѣ, и радъ былъ тому. Не пойду къ нимъ теперь; азартъ у нихъ, чистый азартъ! Вотъ у чиновника по литературной части бываютъ также собранія по вечерамъ. Ну, у того хорошо, скромно, невинно и деликатно; все на тонкой ногѣ.

Ну, Варинька, замѣчу вамъ еще мимоходомъ, что прегадкая женщина наша хозяйка, къ тому же сущая вѣдьма. Вы видѣли Терезу. Ну, что она такое на самомъ-то дѣлѣ? Худая какъ общипанный, чахлый цыпленокъ. Въ домѣ и людей-то всего двое: Тереза да Фальдони, хозяйской слуга. Я не знаю, можетъ-быть, у него есть и другое какое имя, только онъ и на это откликается; всѣ его такъ зовутъ. Онъ рыжий, чухна какая-то, кривой, курносый, грубиянъ; все съ Терезой бранится, чуть не дерутся. Вообще сказать, жить мнѣ здѣсь не такъ чтобы совсѣмъ было хорошо..... Чтobъ этакъ всѣмъ разомъ ночью заснуть и успокоиться—этого никогда не бываетъ. Ужъ вѣчно гдѣ-нибудь сидятъ, да играютъ, а иногда и такое дѣлается, что зазорно рассказывать. Теперь ужъ я все-таки пообвыкъ; а вотъ

удивляюсь какъ въ такомъ содомѣ семейные люди уживаются. Цѣлая семья бѣдняковъ какихъ-то у нашей хозяйки комнату нанимаетъ, только не рядомъ съ другими нумерами, а по другую сторону, въ углу, отдѣльно. Люди смиренные! Объ нихъ никто ничего и не слышитъ. Живутъ они въ одной комнаткѣ, огорожаясь въ ней перегородочкою. Онъ какой-то чиновникъ безъ мѣста, изъ службы лѣтъ семь тому исключенный за что-то. Фамилья его Горшковъ; такой сѣденькой, маленькой; ходитъ въ такомъ засаженномъ, въ такомъ истертомъ платьѣ, что больно смотрѣть; куда хуже моего! Жалкой, хилой такой (встрѣчаемся мы съ нимъ иногда въ корридорѣ); колѣнки у него дрожатъ, руки дрожатъ, голова дрожитъ, ужь отъ болѣзни что-ли какой, Богъ его знаетъ; робкій, боится всѣхъ, ходитъ стороночкой; ужь я застѣнчивъ подь-часъ, а этотъ еще хуже. Семейства у него — жена и трое дѣтей. Старшій, мальчикъ, весь въ отца, тоже такой чахлой. Жена была когда-то собою весьма недурна, и теперь замѣтно; ходитъ, бѣдная, въ такомъ жалкомъ отребьи. Они, я слышалъ, задолжали хозяйкѣ; она съ ними что-то не слишкомъ ласкова. Слышалъ тоже, что у самага-то Горшкова неприятности есть какія-то, по которымъ онъ и мѣста лишился... процессъ не процессъ, подь судомъ не подь судомъ, подь слѣдствіемъ какимъ-то что ли — ужь истинно не могу вамъ сказать. Бѣдны-то они бѣдны — Господи, Богъ мой! Всегда у нихъ въ комнаткѣ тихо и смирно, словно и не живетъ никто. Даже дѣтей не слышно. И не бываетъ этого, чтобы когда-нибудь порѣзвились, поиграли дѣти, а ужь это худой знакъ. Стало быть, въ семьѣ что-нибудь да не прочно. Какъ-то мнѣ разъ, вечеромъ, случилось мимо ихъ дверей пройти; на ту пору въ домѣ стало что-то не по обычному тихо; слышу всхлипываніе, потомъ шопотъ, потомъ опять всхлипываніе, точно какъ-будто плачутъ,

да такъ тихо, такъ жалко, что у меня все сердце надорвалось, и потомъ всю ночь мысль объ этихъ бѣднякахъ меня не покидала, такъ что и заснуть не удалось хорошенько.

Ну, прощайте, дружокъ безцѣнный мой, Варинька! Описалъ я вамъ все какъ умѣлъ. Сегодня я весь день все только объ васъ и думаю. У меня за васъ, родная моя, все сердце изныло. Вѣдь вотъ, душечка моя, я вотъ знаю, что у васъ теиленкаго салончика-то нѣтъ. Ужъ эти мнѣ петербургскія весны, вѣтры, да дождинки со слѣжочкомъ, — ужъ это смерть моя, Варинька! Такое благораствореніе воздуху, что убереги меня Господи! Не взъищите, душечка, на писаніи; слогу нѣтъ, Варинька, слогу нѣтъ никакого. Хоть бы какой-нибудь былъ! Пишу, что на умъ взбредеть, такъ, чтобы васъ только поразвеселить чѣмъ-нибудь. Вѣдь вотъ если бъ я учился какъ-нибудь, дѣло другое; а то вѣдь какъ я учился? я и на мѣдныя деньги не учился.

Вашъ всегдашній и вѣрный другъ

Макаръ Двѣушкинъ.

Апрѣля 25.

М. Г. Макаръ Алексѣевичъ!

Сегодня я двоюродную сестру мою Сашу встрѣтила! Ужасъ! и она погибнетъ, бѣдная! Услышала я тоже со стороны, что Анна Федоровна все обо мнѣ вывѣдываетъ. Она, кажется, никогда не перестанетъ меня преслѣдовать. Она говоритъ, что хочетъ простить меня, забыть все прошедшее, и что непременно сама навѣститъ меня. Говоритъ, что вы мнѣ вовсе не родственникъ, что она ближе мнѣ родственница, что въ семейныя отношенія наши вы не имѣете никакого права входить, и что мнѣ стыдно и неприлично жить вашей мылостыней и на вашемъ содержаніи. Она бранить меня, укоряетъ меня въ неблагодарности!...

говорить, что я забыла ея хлѣбъ-соль, что она меня съ матушкой, можетъ-быть, отъ голодной смерти избавила, что она насъ поила-кормила, и слишкомъ два съ половиною года на насъ убыточилась, что она намъ сверхъ всего этого долгъ простила. И матушку-то она пощадить не хотѣла! А если бы знала бѣдная матушка, что они со мною сдѣлали! Богъ видитъ!... Анна Федоровна говоритъ, что я по глупости моей своего счастья удержать не умѣла, что она сама меня на счастье навела, что она ни въ чемъ остальномъ не виновата, и что я сама за честь свою не умѣла, а можетъ-быть и не хотѣла вступиться. А кто же тутъ виноватъ, Боже великій! Она говоритъ, что господинъ Быковъ правъ совершенно, и что не на всякой же жениться, которая... да что писать! Жестоко слышать такую неправду, Макаръ Алексѣевичъ! Я не знаю что со мной теперь дѣлается. Я дрожу, плачу, рыдаю; это письмо я вамъ два часа писала. Я думала, что она по-крайней-мѣрѣ сознаетъ свою вину предо мною; а она вотъ какъ теперь! — Ради Бога, не тревожьтесь, другъ мой, единственный доброжелатель мой; Федора все преувеличиваетъ; я не больна. Я только простудилась немного вчера, когда ходила на Волково къ матушкѣ, панихиду служить. Зачѣмъ вы не пошли вмѣстѣ со мною; — я васъ такъ просила. Ахъ бѣдная, бѣдная моя матушка, если бъ ты встала изъ гроба, еслибъ ты знала, если бъ ты видѣла что они со мною сдѣлали!...

В. Д.

Мая 20.

Голубчикъ мой, Варинька!

Посылаю вамъ виноградцу немного, душечка; для выздоравливающей это, говорятъ, хорошо, да и докторъ рекомендуетъ для утоленія жажды, такъ только единственно для жажды. Вамъ розанчиковъ намедни

захотѣлось, маточка; вотъ я горшечекъ купилъ, и теперь посылаю. Есть ли у васъ аппетитъ, душечка, есть ли у васъ аппетитъ — вотъ что главное? Впрочемъ, слава Богу, что все прошло, что все это кончилось, что несчастія-то наши окончились всѣ совершенно. Воздадимъ благодареніе небу; а что до книжекъ касается, то достать покамѣстъ нигдѣ не могу. Есть тутъ, говорятъ, хорошая книжка одна, и весьма высокимъ слогомъ написанная; говорятъ, что хороша, я самъ не читалъ, а здѣсь очень хвалятъ. Я попросилъ ее для себя; обѣщались препроводить. Только будете ли вы-то читать? Вы у меня на этотъ счетъ привередница; трудно угодить на вашъ вкусъ; ужъ я васъ знаю, голубчикъ вы мой; вамъ все стиховъ надобно, воздыханій, амуровъ; — ну, и стиховъ достану, всего достану; тамъ есть тетрадка одна переписанная.

Я-то живу хорошо. Вы, маточка, обо мнѣ не беспокойтесь, пожалуйста. А что Федора вамъ насаждала на меня, такъ все это вздоръ; вы ей скажите, что она нагала, непременно скажите ей сплетницѣ!... Я новаго виц-мундира совѣмъ не продавалъ. Да и зачѣмъ, сами разсудите, зачѣмъ продавать? Вотъ, говорятъ, мнѣ сорокъ рублей серебромъ награжденія выходитъ, такъ зачѣмъ же продавать? Вы, маточка, не беспокойтесь; — она мнительна, Федора-то, она мнительна. Заживемъ мы, голубчикъ мой! Только вы-то, ангельчикъ, выздоравливайте, ради Бога, выздоравливайте, не огорчите старика. Кто это говорилъ вамъ, что я похудѣлъ? Клевета, опять клевета! здоровехонекъ, и растолстѣлъ такъ, что самому становится совѣстно, сытъ и доволенъ по горлышко; вотъ только бы вы-то выздоравливали! Ну, прощайте, мой ангельчикъ; цалую всѣ ваши пальчики и пребываю

вашимъ вѣчнымъ неизмѣннымъ другомъ

Макаромъ Дьвушкинымъ.

Р. S. Ахъ, душенька моя, что это вы опять въ-самомъ-дѣлѣ стали писать?... о чемъ вы блажите-то! да какъ же мнѣ ходить къ вамъ такъ часто, маточка, какъ? я васъ спрашиваю. Развѣ темнотою ночью пользуюсь; да вотъ теперь и ночей-то почти не бываетъ; время такое. Я и то, маточка моя, ангельчикъ, васъ почти совсѣмъ не покидалъ во все время болѣзни вашей, во время безпамятства-то вашего; но и тутъ я и самъ ужъ не знаю, какъ я всѣ эти дѣла обдѣлывалъ; да и то потомъ пересталъ ходить; ибо любопытствовать и спрашивать начали. Здѣсь ужъ и безъ того силетня заплелась какая-то. Я на Терезу надѣюсь; она не болтлива; но все же, сами разсудите вы, маточка, каково это будетъ, когда они все узнаютъ про насъ? Что-то они подумаютъ? что-то они скажутъ тогда? — Такъ вотъ вы скрѣпите сердечко, маточка, да переждите до выздоровленія; а мы потомъ ужъ тамъ внѣ дома гдѣнибудь рандеву дадимъ.

Юня 1.

Любезнѣйшій Макаръ Алексѣевичъ!

Мнѣ такъ хочется сдѣлать вамъ чтонибудь угодное и пріятное за всѣ ваши хлопоты и старанія обо мнѣ, за всю вашу любовь ко мнѣ, что я рѣшилась наконецъ на скуку порыться въ моемъ коммодѣ и отыскать мою тетрадь, которую теперь и посылаю вамъ. Я начала ее еще въ счастливое время жизни моей! Вы часто съ любопытствомъ спрашивали о моемъ прежнемъ житьѣ-бытьѣ, о матушкѣ, о Покровскомъ, о моемъ пребываніи у Анны Федоровны и, наконецъ, о недавнихъ несчастіяхъ моихъ, и такъ нетерпѣливо желали прочесть эту тетрадь, гдѣ мнѣ вздумалось, Богъ-знаетъ для чего, отмѣтить кое-какія мгновенія изъ моей жизни,

что я не сомнѣваюсь принести вамъ большое удовольствіе моею посылкою. Миѣ же какъ-то грустно было перечитывать это. Миѣ кажется, что я уже вдвое постарѣла съ-тѣхъ-поръ какъ написала въ этихъ запискахъ послѣднюю строчку. Все это я писала въ разные сроки. Прощайте, Макаръ Алексѣевичъ. Миѣ ужасно скучно теперь; меня часто мучить бессонница. Прекружное выздоровленіе!

В. Д.

1.

Миѣ было только четырнадцать лѣтъ, когда умеръ батюшка. Дѣтство мое было самымъ счастливымъ временемъ моей жизни. Началось оно не здѣсь, но далеко отсюда, въ провинціи, въ глуши, и такъ счастливо началось! Батюшка былъ управителемъ огромнаго имѣнія князя П-го, въ Т-й губерніи. Мы жили въ одной изъ деревень князя, и жили тихо, неслышно, счастливо.... Я была такая рѣзвая маленькая; только и дѣлаю, бывало, что бѣгаю по полямъ, по рощамъ, по саду, а обо мнѣ никто и не заботился. Батюшка безпрерывно былъ занятъ дѣлами, матушка занималась хозяйствомъ; меня ничему не учили, а я тому и рада была. Бывало, съ самаго ранняго утра убѣгу или на прудъ, или въ рощу, или на сѣнокосъ, или къ жнецамъ — и нужды нѣтъ, что солнце печетъ, что забѣжишь сама не знаешь куда отъ селенья, ищарапаешься объ кусты, разорвешь свое платье; — дома послѣ браняты, а мнѣ и ничего. И зачѣмъ, бывало, бѣжишь далеко отъ селенья, гуляешь гдѣ-нибудь одна-одинешенька, такъ что самыя строжайшія приказанія матушки не уходятъ одной и безъ позволенія и ограничивать про-

гулку однимъ садомъ не останавливали меня?... Я и сама не знала; я съ дѣтства любила быть въ уединеніи, а между-тѣмъ была страшная трусиха. Я помню, у насъ въ концѣ сада была роща, густая, зеленая, тѣнистая, раскидистая, обросшая тучною опушкой. Эта роща была любимымъ гуляньемъ моимъ, а заходить въ ней далеко я боялась. Тамъ щебетали такія веселенькія пташки, деревья такъ привѣтно шутѣли, такъ важно качали раскидыстыми верхушками, кустики, обѣгавшіе опушку, были такіе хорошенькіе, такіе веселенькіе, что, бывало, невольно позабудешь запрещеніе, перебѣжишь лужайку какъ вѣтеръ, задыхаясь отъ быстраго бѣга, боязливо оглядываясь кругомъ, и въ мигъ очутишься въ рощѣ, среди обширнаго, необъятнаго глазомъ моря зелени, среди пышныхъ, густыхъ, тучныхъ, широко-разросшихся кустовъ. Между кустами чернѣютъ кое-гдѣ дикіе порубленные пни, тянутся высокія, неподвижныя сосны, раскидывается березка съ трепещущими говорливыми листочками, стоитъ вѣковой вязъ съ сочными, тучными, далеко-раскидывающимися вѣтвями, — трава такъ гармонически шелеститъ подъ ногой, такъ весело-весело звѣнять хоры вольныхъ, радостныхъ птичекъ — что и самой, невѣдомо отъ-чего, станетъ такъ хорошо, такъ радостно, — но не рѣзко - радостно, а какъ-то тихо, молчаливо, задумчиво.... Осторожно пробираешься въ чащу; — и какъ-будто кто зоветъ туда, какъ-будто кто туда манить, туда, гдѣ деревья чаще, гуще, синѣе, чернѣе, гдѣ кустарникъ мельчаетъ; и мрачнѣе становится лѣсъ, чернѣе и гуще пестрятъ гладкіе пни деревъ, гдѣ начинаются овраги, крутые, темные, заросшіе лѣсомъ, глубокіе, такъ что верхушки деревъ наравнѣ съ краями приходятся; — и чѣмъ дальше идешь, тѣмъ тише, темнѣе, беззвучнѣе становится. Сдѣлается и жутко и страшно, кругомъ тишина мертвая; сердце дрожитъ

отъ какого-то темнаго чувства, а идешь, все идешь дальше, осторожно, боязливо, тихо; и только и слышишь какъ хруститъ подъ ногами валежникъ, или шелестятъ засохшія листья, или тихій, отрывистый стукъ скачковъ бѣлки съ вѣтки на вѣтку.... Рѣзко впечатлѣлся въ памяти моей этотъ лѣсъ, эти прогулки потихоньку, и эти ощущенія — странная смѣсь удовольствія, дѣтскаго любопытства и страха....

Мнѣ кажется, я бы такъ была счастлива, еслибъ пришлось хоть всю жизнь мою не выѣзжать изъ деревни и жить на одномъ мѣстѣ. А между-тѣмъ, я еще дитюю принуждена была оставить родныя мѣста. Мнѣ было еще только двѣнадцать лѣтъ, когда мы въ Петербургъ переѣхали. Ахъ, какъ я грустно помню наши печальные сборы! Какъ я плакала, когда прощалась со всѣмъ, что такъ было мило мнѣ. Я помню, что я бросилась на шею батюшкѣ и со слезами умоляла остаться хоть немножко въ деревнѣ. Батюшка закричалъ на меня, матушка плакала; говорили, что надобно, что дѣла того требовали. Старый князь П-ій умеръ. Наслѣдники отказали батюшкѣ отъ должности. У батюшки были кой-какія деньги въ оборотахъ въ рукахъ частныхъ лицъ, въ Петербургѣ. Надѣясь поправить свои обстоятельства, онъ почелъ необходимымъ свое личное здѣсь присутствіе. Все это я узнала послѣ отъ матушки. Мы здѣсь поселились на Петербургской-Сторонѣ и прожили на одномъ мѣстѣ до самой кончины батюшки.

Какъ тяжело было мнѣ привыкать къ новой жизни! Мы вѣхали въ Петербургъ осенью. Когда мы оставляли деревню, день былъ такой свѣтлый, теплый, яркій; сельскія работы кончались; на гумнахъ уже громоздились огромные скирды хлѣба и толпились крикливыя стаи птицъ; крестьянинъ весело запѣвалъ свою безконечную пѣсню, а здѣсь, при вѣздѣ нашемъ въ городъ, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода,

слякотъ , и толпа новыхъ , незнакомыхъ лицъ , негостеприимныхъ , недовольныхъ , сердитыхъ ! Кое-какъ мы устроились. Помню, всё такъ суетились у насъ, все хлопотали, обзаводились новымъ хозяйствомъ. Батюшки все не было дома, у матушки не было покойной минуты — меня позабыли совсѣмъ. Грустно мнѣ было вставать поутру, послѣ первой ночи на нашемъ новосельи. Окна наши выходили на какой-то желтый заборъ. На улицѣ постоянно была грязь. Прохожіе были рѣдки, и всё они такъ плотно кутались, всё такъ было холодно.

А дома у насъ по цѣлымъ днямъ была страшная тоска и скука. Родныхъ и близкихъ знакомыхъ у насъ почти не было. Съ Анной Федоровной батюшка былъ въ ссорѣ. (Онъ былъ ей что-то долженъ.) Ходили къ намъ довольно часто люди по дѣламъ. Обыкновенно спорили, шумѣли, кричали. Послѣ каждаго ихъ посещения батюшка дѣлался такимъ недовольнымъ, сердитымъ; по цѣлымъ часамъ ходить, бывало, изъ угла въ уголъ, нахмурясь, и ни съ кѣмъ слова не вымолвить. Матушка не смѣла тогда и заговорить съ нимъ и молчала. Я садилась куда-нибудь въ уголокъ за книжку — смиренно, тихо, пошевелиться, бывало, не смѣю.

Три мѣсяца спустя по пріѣздѣ нашемъ въ Петербургъ, меня отдали въ пансіонъ. Вотъ грустно-то было мнѣ сначала въ чужихъ людяхъ ! Все такъ сухо, непривѣтливо было; — гувернантки такія крикуньи, дѣвицы такія насмѣшницы, а я такая дикарка. Строго, взыскательно ! Часы на все положенные, общій столъ, скучные учителя — все это меня сначала истерзало, измучило. Я тамъ и спать не могла. Плачу, бывало, цѣлую ночь, длинную, скучную, холодную ночь. Бывало, по вечерамъ всё повторяютъ или учатъ уроки; я сижу себѣ за разговорами или вокабулами, шевельнуться не смѣю, а сама все думаю про домашній нашъ уголъ,

про батюшку, про матушку, про мою старушку-няню, про нянины сказки... ахъ, какъ сгрустнется! Объ самой пустой вещицѣ въ домѣ, и о той съ удовольствіемъ вспоминаешь. Думаешь-думаешь: вотъ какъ-бы хорошо теперь было дома! Сидѣла бы я въ маленькой комнаткѣ нашей, у самовара, вмѣстѣ съ нашими; было бы такъ тепло, хорошо, знакомо. Какъ-бы, думаешь, обняла теперь матушку, крѣпко-крѣпко, горячо-горячо! — Думаешь-думаешь, да и заплачешь тихонько съ тоски, давя въ груди слезы, и не-йдутъ на умъ вокабулы. Къ завтраму урока не выучишь; всю ночь снятся учитель, мадамъ, дѣвицы; всю ночь во снѣ уроки твердишь, а на другой день ничего не знаешь. Поставятъ на колѣни, дадутъ одно кушанье. Я была такая невеселая, скучная. Сначала всѣ дѣвицы надо мной смѣялись, дразнили меня, сбивали, когда я говорила уроки, щипали, когда мы въ рядахъ шли къ обѣду или къ чаю, жаловались на меня ни за что ни про что гувернанткѣ. За то какой рай, когда няня прійдетъ, бывало, замной въ субботу вечеромъ. Такъ и обниму, бывало, мою старушку въ изступленіи радости. Она меня одѣнетъ, укутаетъ, дорогою не поспѣваетъ за мной, а я ей все болтаю, болтаю, рассказываю. Домой приду веселая, радостная, крѣпко обниму нашихъ, какъ-будто послѣ десятилѣтней разлуки! Начнутся толки, разговоры, росказни; со всѣми здороваешься, смѣешься, хохочешь, бѣгаешь, прыгаешь. Съ батюшкой начнутся разговоры серьезныя, о наукахъ, о нашихъ учителяхъ, о французскомъ языкѣ, о грамматикѣ Ломонда — и всѣ мы такъ веселы, такъ довольны. Миѣ и теперь весело вспоминать объ этихъ минутахъ. Я всѣми силами старалась учиться и угождать батюшкѣ. Я видѣла, что онъ послѣднее на меня отдавалъ, а самъ бился Богъ-знаетъ какъ. Съ каждымъ днемъ онъ становился все мрачнѣе, недовольнѣе, сердитѣе; характеръ его

совсѣмъ испортился; дѣла не удавались, долговъ была пропасть. Матушка, бывало, и плакать боялась, слово сказать боялась, чтобъ не разсердить батюшку; едѣлась больная такая; все худѣла, худѣла и стала дурно кашлять. Я, бывало, приду изъ пансіона — все такія грустныя лица; матушка потихоньку плачетъ, батюшка сердится. Начнутъ упреки, укоры. Батюшка начнетъ говорить, что я ему не доставляю никакихъ радостей, никакихъ утѣшеній; что они изъ-за меня послѣдняго лишаются, а я до-сихъ-поръ не говорю по французски; однимъ словомъ, все неудачи, все несчастья, все, все вымѣщалось на мнѣ и на матушкѣ. А какъ можно было мучить бѣдную матушку? Глядя на нее, сердце разрывалось, бывало; щеки ея ввалились, глаза впади, въ лицѣ былъ такой чахоточный цвѣтъ. Мнѣ доставалось больше всѣхъ. Начиналось всегда изъ пустяковъ, а потомъ ужъ Богъ знаетъ до чего доходило; часто я даже не понимала о чемъ идетъ дѣло. Чего не говорилось, чего не причиталось!... И французскій языкъ, и что я большая дура, и что содержательница нашего пансіона нерадивая, глупая женщина; что она объ нашей нравственности не заботится; что батюшка службы себѣ до-сихъ-поръ не можетъ найдти, и что грамматика Ломонда скверная грамматика, а Запольскаго гораздо лучше; что на меня денегъ много бросили по пустому; что я видно безчувственная, каменная — однимъ словомъ я, бѣдная, изъ всѣхъ силъ билась, твердя разговоры и вокабулы, а во всемъ была виновата, за все отвѣчала! И это совсѣмъ не оттого чтобы батюшка не любилъ меня; во мнѣ и матушкѣ онъ души не слышалъ. Но ужъ это такъ, характеръ былъ такой.

Заботы, огорченія, неудачи измучили бѣднаго батюшку до крайности: онъ сталъ недовѣрчивъ, жолчень; часто былъ близокъ къ отчаянію, началъ прене-

брегать своимъ здоровьемъ, простудился, и вдругъ заболѣлъ, страдалъ не долго и скончался такъ внезапно, такъ скоростижно, что мы все нѣсколько дней были виѣ себя отъ удара. Матушка была въ какомъ-то оцѣпенѣннн, я даже боялась за ея разсудокъ. Только что скончался батюшка, кредиторы явились къ намъ какъ изъ земли, нахлынули гурьбою. Все что у насъ ни было, мы отдали. Нашъ домикъ на Петербургской-Сторонѣ, который батюшка купилъ полгода спустя послѣ переселенія нашего въ Петербургъ, былъ также проданъ. Не знаю, какъ уладили остальное, но сами мы остались безъ крова, безъ пристанища, безъ пропитанія. Матушка страдала изнурительною болѣзнію, прокормить мы себя не могли, жить было нечѣмъ, впереди была гибель. Мнѣ тогда только минуло четырнадцать лѣтъ. Вотъ тутъ-то насъ и посѣтила Анна Федоровна. Она все говоритъ, что она какая-то помѣщица и намъ доводится какою-то роднею. Матушка тоже говорила, что она намъ родня, только очень дальняя. При жизни батюшки, она къ намъ никогда не ходила. Явилась она со слезами на глазахъ, говорила, что принимаетъ въ насъ большое участіе; соболѣзновала о нашей потерѣ, о нашемъ бѣдственномъ положеніи, прибавила, что батюшка былъ самъ виноватъ, что онъ не по силамъ жилъ, далеко забирался, и что ужъ слишкомъ на свои силы надѣлся. Обнаружила желаніе сойдтись съ нами короче, предложила забыть обоюдныя непріятности; а когда матушка объявила, что никогда не чувствовала къ ней непріязни, то она прослезилась, повела матушку въ церковь и заказала панихиду по голубчикѣ (такъ она выразилась о батюшкѣ). Послѣ этого она торжественно помирилась съ матушкой.

Послѣ долгихъ вступленій и предувѣдомленій, Анна Федоровна, изобразивъ въ яркихъ краскахъ наше бѣдственное положеніе, сиротство, безнадежность, безо-

и все Богъ-знаетъ какіе люди, всегда по какимъ-то дѣламъ, и на минутку. Матушка всегда уводила меня въ нашу комнату, бывало, только-что зазвѣнитъ колокольчикъ. Анна Федоровна ужасно сердилась за это на матушку и непрерывно твердила, что ужъ мы слишкомъ горды, что не по силамъ горды, что было бы еще чѣмъ гордиться, и по цѣлымъ часамъ не умолкала. Я не понимала тогда этихъ упрековъ въ гордости; точно также я только теперь узнала, или по-крайней-мѣрѣ предугадываю, почему матушка не рѣшалась жить у Анны Федоровны. Злая женщина была Анна Федоровна; она непрерывно насъ мучила. До-сихъ-поръ для меня тайною, зачѣмъ именно она приглашала насъ къ себѣ? Сначала, она была съ нами довольно ласкова, — а потомъ ужъ и выказала свой настоящій характеръ вполне, когда увидала, что мы совершенно бесполезны, и что намъ идти нѣкуда. Впослѣдствіи, со мной она сдѣлалась весьма ласкова, даже какъ-то грубо-ласкова, до лести, но сначала и я терпѣла за одно съ матушкой. Поминутно попрекала она насъ; только и дѣлала, что твердила о своихъ благодѣяніяхъ. Постороннимъ людямъ рекомендовала насъ, какъ своихъ бѣдныхъ родственницъ, вдовицу и сироту безпомощныхъ, которыхъ она изъ милости, ради любви христіанской у себя приютила. За столомъ каждый кусокъ, который мы брали, слѣдила глазами, а если мы не ѣли, такъ опять начиналась исторія; дескать мы гнушаемся; не взъищите, чѣмъ богата, тѣмъ и рада; было ли бы еще у насъ самихъ лучше. Батюшку поминутно бранила; говорила, что лучше другихъ хотѣлъ быть, да худо и вышло; дескать жену съ дочерью пустилъ по міру, и что не нашлось бы родственницы благодѣтельной, христіанской души, сострадательной, такъ еще Богъ-знаетъ, пришлось бы, можетъ-быть, среди улицы съ голоду сгнить. Чего-чего она не говорила! Не такъ горько, какъ отвратительно

было ее слушать. Матушка поминутно плакала; здоровье ее становилось день-о-то-дня хуже, она видимо чахла, а между-тѣмъ мы съ нею работали съ утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Аннѣ Ѳедоровнѣ; она поминутно говорила, что у нея не модный магазинъ въ домѣ. Но нужно было одѣваться, нужно было на непредвидимые расходы откладывать; нужно было непремѣнно свои деньги имѣть. Мы на всякій случай копили, надѣялись, что можно будетъ со временемъ переѣхать куда-нибудь. Но матушка послѣднее здоровье свое потеряла на работѣ; она слабѣла съ каждымъ днемъ. Болѣзнь какъ червь видимо подтачивала жизнь ея и близила къ гробу. Я все видѣла, все чувствовала, все выстрадала; все это было на глазахъ моихъ!

Дни проходили за днями и каждый новый день былъ похожъ на предъидущій. Мы жили тихо, какъ-будто и не въ городѣ. Анна Ѳедоровна мало-по-малу утихала, по мѣрѣ того, какъ сама стала вполнѣ сознавать свое владычество. Ей, впрочемъ, никогда и никто не думалъ прекословить. Въ нашей комнаткѣ мы были отдѣлены отъ ея половины корридоромъ, а рядомъ съ нами, какъ я уже упоминала, жилъ Покровскій. Онъ училъ Сашу французскому и нѣмецкому языкамъ, исторіи, географіи—всѣмъ наукамъ, какъ говорила Анна Ѳедоровна, и за то получалъ отъ нея квартиру и столъ. Саша была препонятливая дѣвочка, хотя рѣзвая и шалунья; ей было тогда лѣтъ тринадцать. Анна Ѳедоровна замѣтила матушкѣ, что не дурно бы было, если бы и я стала учиться, за тѣмъ, что въ пансіонѣ меня не доучили. Матушка съ радостію согласилась и я цѣлый годъ училась у Покровскаго вмѣстѣ съ Сашей.

Покровскій былъ бѣдный, очень бѣдный молодой человекъ; здоровье его не позволяло ему ходить постоянно учиться, и его такъ, по привычкѣ только, звали у

насъ студентомъ. Жилъ онъ скромно, смирно, тихо, такъ что и не слышно бывало его изъ нашей комнаты. Съ виду онъ былъ такой странный; такъ неловко ходилъ, такъ неловко раскланивался, такъ чудно говорилъ, что я сначала на него безъ смѣху и смотрѣть не могла. Саша непрерывно надъ нимъ проказничала, особенно, когда онъ намъ уроки давалъ. А онъ въ до-бавокъ былъ раздражительнаго характера, безпрестанно сердился, за каждую малость изъ себя выходилъ, кричалъ на насъ, жаловался на насъ и часто не докончивъ урока, разсерженный уходилъ въ свою комнату. У себя же онъ по цѣлымъ днямъ сидѣлъ за книгами. У него было много книгъ, и все такія дорогія, рѣдкія книги. Онъ кое-гдѣ еще училъ, получалъ кое-какую плату, такъ что чуть бывало у него заведутся деньги, такъ онъ тотчасъ идетъ себѣ книгъ покупать.

Со временемъ я узнала его лучше, короче. Онъ былъ добрѣйшій, достойнѣйшій человекъ, наилучшій изъ всѣхъ, которыхъ мнѣ встрѣчать удавалось. Матушка его весьма уважала. Потомъ онъ и для меня былъ лучшимъ изъ друзей, — разумѣется, послѣ матушки.

Сначала я, такая большая дѣвушка, шалила за одно съ Сашей, и мы, бывало, по цѣлымъ часамъ ломаемъ головы, какъ бы раздразить и вывести его изъ терпѣнія. Онъ ужасно смѣшно сердился, а намъ это было чрезвычайно забавно. (Мнѣ даже и вспоминать это стыдно.) Разъ мы раздражили его чѣмъ-то чуть не до слезъ, и я слышала ясно какъ онъ прошепталъ: «Злые дѣти». Я вдругъ смутилась; мнѣ стало и стыдно и горько и жалко его. Я помню, что я покраснѣла до ушей и чуть не со слезами на глазахъ стала просить его успокоиться и не обижаться нашими глупыми шалостями, но онъ закрылъ книгу, не докончилъ намъ урока, и ушелъ въ свою комнату. Я цѣлый день надрывалась отъ раскаянія. Мысль о томъ, что мы, дѣти, своими

жестокостями довели его до слезъ, была для меня нестерпима. Мы, стало быть, ждали его слезъ. Намъ, стало быть, ихъ хотѣлось; стало быть, мы успѣли его изъ послѣдняго терѣнія вывести, стало быть, мы насильно заставили его, несчастнаго, бѣднаго о своемъ лютомъ жребіи вспомнить! Я всю ночь не спала отъ досады, отъ грусти, отъ раскаянья. Говорятъ, что раскаянье облегчаетъ душу — напротивъ. Не знаю, какъ примѣшалось къ моему горю и самолюбію. Миѣ не хотѣлось, чтобы онъ считалъ меня за ребенка. Миѣ тогда было уже пятнадцать лѣтъ.

Съ этого дня, я начала мучить воображеніе мое, создавая тысячи плановъ, какимъ бы образомъ вдругъ заставить Покровскаго измѣнить свое мнѣніе обо мнѣ. Но я была подѣ-часъ робка и застѣнчива; въ настоящемъ положеніи моемъ, я ни на что не могла рѣшиться и ограничивалась одними мечтаніями (и Богъ знаетъ какими мечтаніями!). Я перестала только проказничать вмѣстѣ съ Сашей; онъ пересталъ на насъ сердиться; но для самолюбія моего этого было мало.

Теперь скажу нѣсколько словъ объ одномъ самомъ странномъ, самомъ любопытномъ и самомъ жалкомъ человѣкѣ изъ всѣхъ, которыхъ когда-либо миѣ случалось встрѣчать. Потому говорю о немъ теперь, именно въ этомъ мѣстѣ моихъ записокъ, что до самой этой эпохи я почти не обращала на него никакого вниманія; — такъ все касавшееся Покровскаго стало миѣ вдругъ занимательно!

У насъ въ домѣ являлся иногда старичокъ, запчанный, дурно — одѣтый, маленькой, сѣденькой, мѣшковатый, неловкій, однимъ словомъ странный донельзя. Съ перваго взгляда на него можно было подумать, что онъ какъ-будто чего-то стыдится, какъ-будто ему себя самого совѣстно. Отъ-того онъ все какъ-то ёжился, какъ-то кривлялся; такія ухватки, ужимки

были у него, что можно было почти не ошибаясь заключить, что онъ не въ своемъ умѣ. Прійдетъ, бывало, къ намъ, да и стоитъ въ сѣняхъ у стеклянныхъ дверей, и въ домъ войти не смѣетъ. Кто изъ насъ мимо пройдетъ — я или Саша, или изъ слугъ кого онъ зналъ по добрѣ къ нему — то онъ сейчасъ машетъ, манитъ къ себѣ, дѣлаетъ разные знаки, и развѣ только когда кивнешь ему головою и позовешь его — условный знакъ, что въ домѣ нѣтъ никого посторонняго и что ему можно войти, когда ему угодно — только тогда старикъ тихонько отворялъ дверь, радостно улыбался, потиралъ руки отъ удовольствія и на цыпочкахъ прямо отправлялся въ комнату Покровскаго. Это былъ его отецъ.

Покровскій рассказалъ мнѣ подробно всю исторію этого бѣднаго старика. Онъ когда-то гдѣ-то служилъ, былъ безъ малѣйшихъ способностей, и занималъ самое послѣднее, самое незначительное мѣсто на службѣ. Когда умерла первая его жена (мать студента Покровскаго), то онъ вздумалъ жениться во второй разъ, и женился на мѣщанкѣ. При новой женѣ, въ домѣ все пошло вверхъ дномъ; никому житья отъ нея не стало; она всѣхъ къ рукамъ прибрала. Студентъ Покровскій былъ тогда еще ребенкомъ, лѣтъ десяти. Мачиха его возненавидѣла. Но маленькому Покровскому благопріятствовала судьба. Помѣщикъ Быковъ, знавшій чиновника Покровскаго и бывшій нѣкогда его благодѣтелемъ, принялъ ребенка подъ свое покровительство и помѣстилъ его въ какую-то школу. Интересовался же онъ имъ потому, что зналъ его покойную мать, которая еще въ дѣвушкахъ была облагодѣтельствована Анной Федоровной, и выдана ею за мужъ за чиновника Покровскаго. Господинъ Быковъ, другъ и короткій знакомый Анны Федоровны, движимый великодушіемъ, далъ за невѣстой пять тысячъ рублей придана-

го. Куда эти деньги пошли — неизвестно. Такъ мнѣ рассказывала все это Анна Федоровна; самъ же студентъ Покровскій никогда не любилъ говорить о своихъ семейныхъ обстоятельствахъ. Говорятъ, что его мать была очень хороша собою, и мнѣ странно кажется, почему она такъ неудачно вышла за мужъ, за тако-го незначительнаго человѣка.... Она умерла еще въ молодыхъ лѣтахъ, года четыре спустя послѣ своего замужства.

Изъ школы молодой Покровскій поступилъ въ какую-то гимназію, и потомъ въ университетъ. Господинъ Быковъ, весьма часто пріѣзжавшій въ Петербургъ, и тутъ не оставилъ его своимъ покровительствомъ. За разстроеннымъ здоровьемъ своимъ, Покровскій не могъ продолжать занятій своихъ въ университетѣ. Господинъ Быковъ познакомилъ его съ Анной Федоровной, самъ рекомендовалъ его и такимъ образомъ молодой Покровскій былъ принятъ на хлѣбы, съ уговоромъ учить Сашу всему, чему ни потребуется.

Старикъ-же Покровскій, съ горя отъ жестокостей жены своей, предался самому дурному пороку и почти всегда бывалъ въ нетрезвомъ видѣ. Жена его бивала, сослала жить въ кухню и до того довела, что онъ наконецъ привыкъ къ побоямъ и дурному обхожденію и не жаловался. Онъ былъ еще не очень старій человѣкъ, но отъ дурныхъ наклонностей почти изъ ума выжилъ. Единственнымъ же признакомъ человѣческихъ благородныхъ чувствъ была въ немъ неограниченная любовь къ сыну. Говорили, что молодой Покровскій похожъ какъ двѣ капли воды на покойную мать свою. Не воспоминанія ли о прежней, доброй жёнѣ породили въ сердцѣ погибшаго старика такую безпредѣльную любовь къ нему? Старикъ и говорить больше ни о чемъ не могъ, какъ о сынѣ, и постоянно два раза въ недѣлю навѣщалъ его. Чаше же приходитъ онъ не

смѣлъ, потому-что молодой Покровскій терпѣть не могъ отцовскихъ посѣщеній. Изъ всѣхъ его недостатковъ, безспорно первымъ и важнѣйшимъ было неуваженіе къ отцу. Впрочемъ, и старикъ былъ подѣ-часть пренесноснѣйшимъ существомъ на свѣтѣ. Во-первыхъ, онъ былъ ужасно любопытенъ, во-вторыхъ разговорами и разспросами самыми пустыми и безтолковыми, онъ поминутно мѣшалъ сыну заниматься, и наконецъ являлся иногда въ нетрезвомъ видѣ. Сынъ понемногу отучалъ старика отъ пороковъ, отъ любопытства и отъ поминутнаго болтанья, и наконецъ довелъ до того, что тотъ слушалъ его во всемъ, какъ оракула, и рта не смѣлъ разинуть безъ его позволенія.

Бѣдный старикъ не могъ надивиться и порадоваться на своего Петиньку (такъ онъ называлъ сына). Когда онъ приходилъ къ нему въ гости, то почти всегда имѣлъ какой-то озабоченный, робкій видъ, вѣроятно отъ неизвѣстности какъ-то его приметъ сынъ, обыкновенно долго не рѣшался войти, и если я тутъ случалась, такъ онъ меня минутъ двадцать, бывало, разспрашивалъ — что каковъ Петинька? здоровъ ли онъ? въ какомъ именно расположеніи духа, и не занимается ли чѣмъ-нибудь важнымъ? Что онъ именно дѣлаетъ? Пишетъ ли, читаетъ ли, или размышленіями какими занимается? Когда я его достаточно ободряла и успокоивала, то старикъ наконецъ рѣшался войти и тихо-тихо, осторожно - осторожно отверялъ двери, просовывалъ сначала одну голову, и если видѣлъ, что сынъ не сердится и кивнулъ ему головой, то тихонько проходилъ въ комнату, снималъ свою шинельку, шляпу, которая вѣчно у него была измятая, дырявая, съ оторванными полями, — все вѣшалъ на крюкъ, все дѣлалъ тихо, неслышно; потомъ садился гдѣ-нибудь осторожно на стулъ и съ сына глазъ не спускалъ, всѣ движенія его ловилъ, желая угадать расположеніе духа своего Пе-

тиньки. Если сынъ чуть-чуть былъ не въ духѣ, и старикъ примѣчалъ это, то тотчасъ приподымался съ мѣста и объяснялъ «что, дескать, я такъ, Петинька, я на минутку. Я, вотъ, далеко ходилъ, проходилъ мимо и отдохнуть зашелъ.» И потомъ безмолвно, покорно бралъ свою шинельку, шляпенку, опять потихоньку отворялъ дверь и уходилъ улыбаясь черезъ силу, чтобы удержать въ душѣ накипѣвшее горе и не выказать его сыну.

Но когда сынъ приметъ, бывало, отца хорошо, то старикъ себя не слышитъ отъ радости. Удовольствіе проглядывало въ его лицѣ, въ его жестахъ, въ его движеніяхъ. Если сынъ съ нимъ заговаривалъ, то старикъ всегда приподымался немного со стула, и отвѣчалъ тихо, подобострастно, почти съ благоговѣніемъ, и всегда стараясь употреблять отборнѣйшія, т. е. самыя смѣшныя выраженія. Но даръ слова ему не давался; всегда смѣшается и сробѣетъ, такъ что не знаетъ куда руки дѣвать, куда себя дѣвать, и послѣ еще долго про-себя отвѣтъ шепчетъ, какъ-бы желая поправиться. Если же удавалось отвѣчать хорошо, то старикъ охорашивался, оправлялъ на себѣ жилетку, галстухъ, фракъ и принималъ видъ собственного достоинства. А бывало до того ободрялся, до того простиралъ свою смѣлость, что тихонько вставалъ со стула, подходилъ къ полкѣ съ книгами, бралъ какую-нибудь книжку, и даже тутъ же прочитывалъ что-нибудь, какая бы ни была книга. Все это онъ дѣлалъ съ видомъ притворнаго равнодушія и хладнокровія, какъ-будто бы онъ и всегда могъ такъ хозяйничать съ сыновними книгами, какъ-будто ему и не въ диковину ласка сына. Но мнѣ разъ случилось видѣть, какъ бѣднякъ испугался, когда Покровскій попросилъ его не трогать книгъ. Онъ смѣшался, заторопился, поставилъ книгу вверхъ ногами, потомъ хотѣлъ поправиться, пе-

ревернулъ и поставилъ обрѣзомъ наружу, улыбался, краснѣлъ какъ ракъ, и не зналъ чѣмъ загладить свое преступленіе. Покровскій своими совѣтами отучалъ по-немногу старика отъ дурныхъ наклонностей, и какъ только видѣлъ его раза три сряду въ трезвомъ видѣ, то при первомъ посѣщеніи давалъ ему на прощаньи по четвертачку, по полтинничку или больше. Иногда покупалъ ему сапоги, галстухъ или жилетку. За то старикъ въ своей обновѣ былъ гордъ какъ пѣтухъ. Иногда онъ заходилъ къ намъ. Приносилъ мнѣ и Сашѣ пряничныхъ пѣтушковъ, яблочковъ, и все бывало толкуетъ съ нами о Петинькѣ. Просилъ насъ учиться внимательно, слушаться, говорилъ, что Петинька добрый сынъ, примѣрный сынъ, и въ добавокъ ученый сынъ. Тутъ онъ такъ, бывало, смѣшно намъ подмигивалъ лѣвымъ глазкомъ, такъ забавно кривлялся, что мы не могли удержаться отъ смѣха и хохотали надъ нимъ отъ души. Маменька его очень любила. Но старикъ ненавидѣлъ Анну Федоровну, хотя былъ предъ нею тише воды, ниже травы.

Скоро я перестала учиться у Покровскаго. Меня онъ по прежнему считалъ ребенкомъ, рѣзвой дѣвочкой, на одномъ ряду съ Сашей. Мнѣ было это очень больно, потому—что я всѣми силами старалась загладить мое прежнее поведеніе. Но меня не замѣчали. Это раздражало меня болѣе и болѣе. Я никогда почти не говорила съ Покровскимъ ни въ классовъ, да и не могла говорить. Я краснѣла, мѣшалась, и потомъ гдѣ нибудь въ уголку плакала отъ досады.

Я не знаю, чѣмъ бы это все кончилось, еслибъ сближенію нашему не помогло одно странное обстоятельство. Однажды вечеромъ, когда матушка сидѣла у Анны Федоровны, я тихонько вошла въ комнату Покровскаго. Я знала, что его не было дома, и право не знаю отъ-чего мнѣ вздумалось войти къ нему. До сихъ

порть я никогда и не заглядывала къ нему, хотя мы прожили рядомъ уже слишкомъ годъ. Въ этотъ разъ сердце у меня билось такъ сильно, такъ сильно, что казалось изъ груди хотѣло выпрыгнуть. Я осмотрѣлась кругомъ съ какимъ-то особеннымъ любопытствомъ. Комнатка Покровскаго была весьма бѣдно убрана; порядку было мало. На стѣнахъ прибито было пять длинныхъ полокъ съ книгами. На столѣ и на стульяхъ лежали бумаги. Книги да бумаги! Меня посѣтила странная мысль, и вмѣстѣ съ тѣмъ какое-то неприятное чувство досады овладѣло мною. Мнѣ казалось, что моей дружбы, моего любящаго сердца было мало ему. Онъ былъ ученъ, а я была глупа и ничего не знала, ничего не читала, ни одной книги.... Тутъ я завистливо поглядѣла на длинныя полки, которыя ломились подъ книгами. Мною овладѣла досада, тоска, какое-то бѣшенство. Мнѣ захотѣлось, и я тутъ же рѣшилась прочесть его книги, всѣ до одной и какъ можно скорѣе. Не знаю, можетъ быть я думала, что научившись всему что онъ зналъ буду достойнѣе его дружбы. Я бросилась къ первой полкѣ; не думая, неостанавливаясь схватила въ руки первыи попавшійся запыленный, старыи томъ, и краснѣя, блѣднѣя, дрожа отъ волненія и страха, утащила къ себѣ краденую книгу, рѣшившись прочесть ее ночью, у ночника, когда заснетъ матушка.

Но какъ же мнѣ стало досадно, когда я, прійдя въ нашу комнату, торопливо развернула книгу, и увидала какое-то старое, полусгнившее, все изъѣденное червями латинское сочиненіе. Я воротилась не теряя времени. Только-что я хотѣла поставить книгу на полку, послышался шумъ въ корридорѣ и чьи-то близкіе шаги. Я заспѣшила, заторопилась, но несносная книга была такъ плотно поставлена въ рядъ, что когда я вынула одну, всѣ остальные раздались сами собою, и сплотились такъ,



что теперь для прежняго ихъ товарища не оставалось болѣе мѣста. Втиснуть книгу у меня не доставало силъ. Однакожь я толкнула книги какъ только могла сильнѣе. Ржавый гвоздь, на которомъ крѣпилась полка, и который, кажется, нарочно ждалъ этой минуты, чтобъ сломаться — сломался. Полка полетѣла однимъ концомъ внизъ. Книги съ шумомъ посыпались на полъ. Дверь отворилась и Покровскій вошелъ въ комнату.

Нужно замѣтить, что онъ терпѣть не могъ, когда кто-нибудь хозяйничалъ въ его владѣнiяхъ. Бѣда тому, кто дотрогивался до книгъ его! Судите же о моемъ ужасѣ, когда книги, маленькiя, большiя, всевозможныхъ форматовъ, всевозможной величины и толщины, ринулись съ полки, полетѣли, запрыгали подъ столомъ, подъ стульями, по всей комнатѣ. Я было-хотѣла бѣжать, но было поздно. — Кончено, думаю, кончено! Я пропала, погибла! Я балую, рѣзвлюсь какъ десятилѣтнiй ребенокъ; я глухая дѣвчонка! Я большая дура!! — Покровскій разсердился ужасно. — «Ну вотъ этого не доставало еще! закричалъ онъ. Ну не стыдно ли вамъ такъ шалить!... Уйметесь-ли вы когданибудь?» и самъ бросился подбирать книги. Я было-нагнулась помогать ему. — Не нужно, не нужно, закричалъ онъ. Лучше бы вы сдѣлали, еслибъ не ходили туда, куда васъ не просятъ. — Но впрочемъ, немного смягченный моимъ покорнымъ движенiемъ, онъ продолжалъ уже тише, въ недавнемъ, наставническомъ тонѣ, пользуясь недавнимъ правомъ учителя: — Ну когда вы остепенитесь, когда вы одумаетесь? Вѣдь вы на себя посмотрите, вѣдь ужъ вы не ребенокъ, не маленькая дѣвчонка, вѣдь вамъ уже пятнадцать лѣтъ! — И тутъ, вѣроятно, желая повѣрить, справедливо ли то, что я ужъ не маленькая, онъ взглянулъ на меня и покраснѣлъ до ушей. Я не понимала; я стояла передъ нимъ и смотрѣла на него во всѣ глаза въ изумленiи. Онъ привсталъ, подошелъ

съ смущеннымъ видомъ ко миѣ, смѣшался ужасно, что-то заговорилъ, кажется въ чемъ-то извинялся, можетъ-быть въ томъ, что только теперь замѣтилъ, что я такая большая дѣвушка. Наконецъ я поняла. Я не помню что со мной тогда случилось;—я смѣшалась, потерялась, покраснѣла еще больше Покровскаго, закрыла лицо руками и выбѣжала изъ комнаты.

Я не знала, что миѣ оставалось дѣлать, куда было дѣваться отъ стыда. Одно то, что онъ засталъ меня въ своей комнатѣ! Цѣлыхъ три дня я на него взглянуть не могла. Я краснѣла до слезъ. Мысли самыя странныя, мысли смѣшныя вертѣлись въ головѣ моей. Одна изъ нихъ, самая сумасбродная, была та, что я хотѣла идти къ нему, объяснить съ нимъ, признаться ему во всемъ, откровенно рассказать ему все, и увѣрить его, что я поступила не какъ глупая дѣвочка, но съ добрымъ намѣреніемъ. Я было и совсѣмъ рѣшилась идти, но слава Богу, смѣлости не достало. Воображаю чтобы я надѣлала. Миѣ и теперь обо всемъ этомъ вспоминать совѣстно.

Нѣсколько дней спустя, матушка вдругъ сдѣлалась опасно больна. Она уже два дня не вставала съ постели и на третью ночь была въ жару и въ бреду. Я уже не спала одну ночь, ухаживая за матушкой, сидѣла у ея кровати, подносила ей питье и давала въ опредѣленные часы лекарства. На вторую ночь, я измучилась совершенно. По временамъ меня клонилъ сонъ, въ глазахъ зеленѣло, голова шла кругомъ, и я каждую минуту готова была упасть отъ утомленія, но слабыя стоны матушки пробуждали меня, я вздрагивала, просыпалась на мгновеніе, а потомъ дремота опять одолѣвала меня. Я мучилась. Я не знаю—я не могу припомнить себѣ—но какой-то страшный сонъ, какое-то ужасное видѣніе посѣтило мою разстроенную голову въ томительную минуту борьбы сна съ бдѣніемъ. Я проснулась въ ужа-

сѣ... Въ комнатѣ было темно, ночникъ погасалъ, полосы свѣта то вдругъ обливали всю комнату, то чуть-чуть мелькали по стѣнѣ, то исчезали совсѣмъ. Мнѣ стало отъ-чего-то страшно, какой-то ужасъ напалъ на меня; воображеніе мое взволновано было ужаснымъ сномъ; тоска сдавила мое сердце... Я вскочила со стула и невольно вскрикнула отъ какого-то мучительнаго, страшно-тягостнаго чувства. Въ это время отворилась дверь и Покровскій вошелъ къ намъ въ комнату.

Я помню только-то, что я очнулась на его рукахъ. Онъ бережно посадилъ меня въ кресла, подалъ мнѣ стаканъ воды и засыпалъ вопросами. Не помню, что я ему отвѣчала. — «Вы больны, вы сами очень больны», сказалъ онъ, взявъ меня за руку: «у васъ жаръ, вы себя губите, вы своего здоровья не щадите; успокойтесь, лягьте, засните. Я васъ разбужу черезъ два часа, успокойтесь немного.... Ложитесь же, ложитесь!» продолжалъ онъ, не давая мнѣ выговорить ни одного слова въ возраженіе. Усталость отняла у меня послѣднія силы; глаза мои закрывались отъ слабости. Я прилегла въ кресла, твердо рѣшившись заснуть только на полчаса, и проспала до утра. Покровскій разбудилъ меня только тогда, когда пришло время давать матушкѣ лекарство.

На другой день, когда я, отдохнувъ немного днемъ, приготовилась опять сидѣть въ креслахъ у постели матушки, твердо рѣшившись въ этотъ разъ не засыпать, Покровскій часовъ въ одиннадцать постучался въ нашу комнату. Я отворила. «Вамъ скучно сидѣть одной» сказалъ онъ мнѣ: — «вотъ вамъ книга; возьмите; все не такъ скучно будетъ.» Я взяла; я не помню, какая это была книга; врядъ ли я и тогда въ нее заглянула, хотя всю ночь не спала. Странное внутреннее волненіе не давало мнѣ спать; я не могла оставаться на одномъ мѣстѣ; нѣсколько разъ вставала съ креселъ и начинала ходить по

комнатѣ. Какое-то внутреннее довольство разливалось по всему существу моему. Я такъ была рада вниманію Покровскаго. Я гордилась безпокойствомъ и заботами его обо мнѣ. Я продумала и промечтала всю ночь. Покровскій не заходилъ болѣе; я и знала, что онъ не придетъ, и загадывала о слѣдующемъ вечерѣ.

Въ слѣдующій вечеръ, когда въ домѣ ужь все улеглись, Покровскій отворилъ свою дверь и началъ со мной разговаривать, стоя у порога своей комнаты. Я не помню теперь ни одного слова изъ того, что мы сказали тогда другъ другу; помню только, что я робѣла, мѣшалась, досадовала на себя, и съ нетерпѣніемъ ожидала окончанія разговора, хотя сама всеми силами желала его, цѣлый день мечтала о немъ и сочиняла мои вопросы и отвѣты.... Съ этого вечера началась первая завязка нашей дружбы. Во все продолженіе болѣзни ма-тушки, мы каждую ночь по нѣскольку часовъ проводили вмѣстѣ. Я мало-по-малу побѣдила свою застѣнчивость, хотя, послѣ каждаго разговора нашего, все еще было за что на себя подосадовать. Впрочемъ, я съ тайною радостью и съ гордымъ удовольствіемъ видѣла, что онъ изъ-за меня забывалъ свои песенныя книги. Случайно, въ шутку, разговоръ зашелъ разъ о паденіи ихъ съ полки. Минута была странная; я какъ-то *слишкомъ* была откровенна и чистосердечна; горячность, странная восторженность увлекли меня, и я призналась ему во всемъ.... въ томъ, что мнѣ хотѣлось учиться, что-нибудь знать, что мнѣ досадно было, что меня считаютъ дѣвочкой, ребенкомъ.... Повторяю, что я была въ престранномъ расположеніи духа; сердце мое было мягко, въ глазахъ стояли слезы, — я не утаила ничего, и рассказала все, все, — про мою дружбу къ нему, про желаніе любить его, жить съ нимъ заодно сердцемъ, утѣшить его, успокоить его. Онъ посмотрѣлъ на меня какъ-то странно, съ замѣшательствомъ, съ изумле-

ніемъ, и не сказалъ мнѣ ни слова. Мнѣ стало вдругъ ужасно больно, грустно, страшно. Мнѣ показалось, что онъ меня не понимаетъ, что онъ, можетъ-быть, надо мною смѣется. Я заплакала вдругъ, какъ дитя, зарыдала, я сама себя удержать не могла; точно, я была въ какомъ-то припадкѣ. Онъ схватилъ мои руки, цаловалъ ихъ, прижималъ къ груди своей, уговаривалъ, утѣшалъ меня; онъ былъ сильно тронутъ; не помню, что онъ мнѣ говорилъ, но только я и плакала и смѣялась и опять плакала, краснѣла, не могла слова вымолвить отъ радости. Впрочемъ, не смотря на волненіе мое, я замѣтила, что въ Покроскомъ все-таки оставалось какое-то смущеніе и принужденіе. Кажется, онъ не могъ надивиться моему увлеченію, моему восторгу, такой внезапной, горячей, пламенной дружбѣ. Можетъ-быть ему было только любопытно сначала; впоследствии нерѣзительность его исчезла, и онъ, съ такимъ же простымъ, прямымъ чувствомъ, какъ и я, принималъ мою привязанность къ нему, мои привѣтливья слова, мое вниманіе, и отвѣчалъ на все это тѣмъ же вниманіемъ, такъ же дружелюбно и привѣтливо, какъ искренній другъ мой, какъ родной братъ мой. Моему сердцу было такъ тепло, такъ хорошо!... Я не скрывалась, не таилась ни въ чемъ; онъ все это видѣлъ, все это замѣчалъ, и съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе привязывался ко мнѣ.

И право не помню, о чемъ мы не переговорили съ нимъ въ эти мучительные и вмѣстѣ сладкіе часы нашихъ свиданій, ночью, при дрожащемъ свѣтѣ лампадки, и почти у самой постели моей бѣдной больной матушки?... Обо всемъ, что на умъ приходило, что съ сердца срывалось, что просилось высказаться, — и мы почти были счастливы.... Охъ, это было и грустное и радостное время, — все вмѣстѣ; и мнѣ и грустно и радостно теперь вспоминать о немъ. Воспоминанія,

радостныя ли, горькія ли, всегда мучительны; по-крайней-мѣрѣ такъ у меня; но и мученіе это сладостно. И когда сердцу становится тяжело, больно, томительно-грустно, тогда воспоминаія свѣжать и живять его, какъ капли росы въ влажнѣй вечерѣ, послѣ жаркаго дня, свѣжать и живять бѣдный, чахлый цвѣтокъ, сторѣвшій отъ зноя дневнаго.

Матушка выздоравливала, но я все еще продолжала сидѣть по почамъ у ея постели. Часто Покровскіи давали мнѣ книгъ; я читала, сначала, чтобъ не заснуть, потомъ внимательнѣе, потомъ съ жадностію; передо мной внезапно открылось много новаго, доселѣ невѣдомаго, незнакомаго мнѣ. Новыя мысли, новыя впечатлѣнія разомъ, обильнымъ потокомъ прихлынули къ моему сердцу. И чѣмъ болѣе волненія, чѣмъ болѣе смущенія и труда стѣялъ мнѣ пріемъ новыхъ впечатлѣній, тѣмъ милѣе они были мнѣ, тѣмъ сладостиѣе потрясали всю душу мою. Разомъ, вдругъ втолпились они въ мое сердце, недавая ему отдохнуть. Какой-то странный хаосъ сталъ возмущать все существо мое. Но это духовное насиліе не могло и не въ силахъ было разстроить меня совершенно. Я была слишкомъ мечтательна и это спасло меня.

Когда кончилась болѣзнь матушки, наши вечернія свиданія и длинные разговоры прекратились; намъ удавалось иногда мѣняться словами, часто пустыми и малозначущими, но мнѣ любо было давать всему свое значеніе, свою цѣну особую, подразумеваемую. Жизнь моя была полна, я была счастлива, покойно, тихо-счастлива. Такъ прошло нѣсколько недѣль....

Какъ-то разъ зашелъ къ намъ старикъ Покровскій. Онъ долго съ нами болталъ, былъ не по обыкновенному веселъ, бодръ, разговорчивъ; смѣялся, острилъ по-своему, и наконецъ разрѣшилъ загадку своего восторга и объявилъ намъ, что ровно черезъ

недѣлю будетъ день рожденія Петиньки, и что по сему случаю онъ непременно прійдетъ къ сыну; что онъ надѣнетъ новую жилетку и что жена общалась купить ему новые сапоги. Однимъ словомъ, старикъ былъ счастливъ вполне и болталъ обо всемъ, что ему на умъ попадалось.

День его рожденія! Этотъ день рожденія не давалъ мнѣ покоя ни днемъ, ни ночью. Я непременно рѣшилась напомнить о своей дружбѣ Покровскому и что-нибудь подарить ему. Но что? Наконецъ я выдумала подарить ему книгъ. Я знала, что ему хотѣлось имѣть полное собраніе сочиненій Пушкина, въ послѣднемъ изданіи, и я рѣшила купить Пушкина. У меня своихъ собственныхъ денегъ было рублей тридцать, заработанныхъ руководѣльемъ. Эти деньги были отложены у меня на новое платье. Тотчасъ я послала нашу кухарку, старуху Матрену, узнать, что стоить весь Пушкинъ. Бѣда! Цѣна всѣхъ одиннадцати книгъ, присовокупивъ сюда издержки на переплетъ, была по-крайней-мѣрѣ рублей шестьдесятъ. Гдѣ взять денегъ? Я думала-думала и не знала на что рѣшиться. У матушки просить не хотѣлось. Конечно, матушка мнѣ непременно бы помогла; но тогда всѣ бы въ домѣ узнали о нашемъ подаркѣ; да къ тому же этотъ подарокъ обратился бы въ благодарность, въ плату за цѣлый годъ трудовъ Покровскаго. Мнѣ хотѣлось подарить одной, тихонько отъ всѣхъ. А за труды его со мною я хотѣла быть ему навсегда одолженною безъ какой бы то ни было уплаты, кромѣ дружбы моей. — Наконецъ я выдумала какъ выйдти изъ затрудненія.

Я знала, что у букинистовъ въ гостиномъ-дворѣ можно купить книгу иногда въ поль-цѣны дешевле, если только поторговаться, часто мало-подержанную и почти совершенно новую. Я положила непременно отправиться въ гостиный-дворъ. Такъ и случилось; на

завтра же встрѣтилась какая-то надобность и у насъ и у Анны Федоровны. Матушкѣ понездоровилось, Анна Федоровна очень кстати полѣвилась, такъ, что пришлось всѣ порученія возложить на меня, и я отправилась вмѣстѣ съ Матреной.

Къ моему счастью, я нашла весьма скоро Пушкина, и въ весьма красивомъ переплетѣ. Я начала торговаться. Сначала запросили дороже чѣмъ въ лавкахъ; но потомъ, впрочемъ не безъ труда, уходя нѣсколько разъ, я довела купца до того, что онъ сбавилъ цѣну и ограничилъ свои требованія только десятью рублями серебромъ. Какъ мнѣ весело было торговаться!... Бѣдная Матрена не понимала что со мной дѣлается, и зачѣмъ я вздумала покупать столько книгъ. Но ужасъ! Весь мой капиталъ былъ въ тридцать рублей ассигнаціями, а купецъ никакъ не соглашался уступить дешевле. Наконецъ, я начала упрашивать, просила-просила его, наконецъ упростила. Онъ уступилъ, но только два съ половиною, и побожился, что и эту уступку онъ только ради меня дѣлаетъ, что я такая барышня хорошая, а что для другаго-кого онъ ни за что бы не уступилъ. Двухъ съ половиною рублей не доставало! Я готова была заплакать съ досады. Но самое неожиданное обстоятельство помогло мнѣ совсѣмъ неожиданно.

Недалеко отъ меня, у другаго стола съ книгами, я увидала старика Покровскаго. Вокругъ него столпились четверо или пятеро буквистовъ; они его сбили съ послѣдняго толку, затормошили совсѣмъ. Всякій изъ нихъ предлагалъ ему свой товаръ, и чего-чего не предлагали они ему и чего-чего не хотѣлъ онъ купить! Бѣдный старикъ стоялъ посреди ихъ какъ-будто забытый какой-нибудь, и не зналъ за что взяться изъ того, что ему предлагали. Я подошла къ нему и спросила — что онъ здѣсь дѣлаетъ? Старикъ мнѣ очень обрадовался; онъ любилъ меня безъ памяти, можетъ-быть не

менѣ Петинки. — Да вотъ книжки покупаю, Варвара Алексѣевна, отвѣчалъ онъ мнѣ, Петинкѣ покупаю книжки. Вотъ его день рожденія скоро будетъ, а онъ любитъ книжки, такъ вотъ я и покупаю ихъ для него.... Старикъ и всегда смѣшно изъяснялся, а теперь въ-добавокъ былъ въ ужаснѣйшемъ замѣшательствѣ. Къ чему ни прицѣнитъ, все рубль серебромъ, два рубля, три рубля серебромъ; ужъ онъ къ большимъ книгамъ и не прицѣнивался, а такъ только завистливо на нихъ поглядывалъ, перебиралъ пальцами листочки, вертѣлъ въ рукахъ и опять ихъ ставилъ на мѣсто. Нѣтъ, нѣтъ, это дорого, очень-дорого, говорилъ онъ вполголоса, а вотъ развѣ отсюда что-нибудь — и тутъ онъ начиналъ перебирать тоненькія тетрадки, пѣсенники, альманахи; это все было очень дешево. Да зачѣмъ вы это все покупаете, спросила я его: — это все ужасные пустяки. — Ахъ нѣтъ, отвѣчалъ онъ, нѣтъ, вы посмотрите только, какія здѣсь есть хорошія книжки; очень-очень хорошія есть книжки! — И послѣднія слова онъ такъ жалобно протянулъ нарастающе, что мнѣ показалось, что онъ заплакать готовъ отъ досады, зачѣмъ книжки хорошія дороги, и что вотъ сейчасъ капнетъ слезинка съ его блѣдныхъ щекъ на красный носъ. Я спросила много ли у него денегъ? — Да вотъ — тутъ бѣдненькій вынулъ всѣ свои деньги, завернутыя въ засаленную газетную бумажку — вотъ полтинничекъ, двугривенничекъ, мѣди копеекъ двадцать. Я его тотчасъ потащила къ моему букинисту. — Вотъ цѣлыхъ одиннадцать книгъ, стоить всего-то тридцать два рубля съ полтиною; у меня есть тридцать; приложите два съ полтиною и мы купимъ всѣ эти книги и подаримъ вмѣстѣ. Старикъ обезумѣлъ отъ радости, высыпалъ всѣ свои деньги, и букинистъ навьючилъ на него всю нашу общую бібліотеку. Мой старичекъ наложилъ книгъ во всѣ карманы, набралъ въ обѣ руки, полъ

мышки, и унесъ все къ себѣ, давъ мнѣ слово принести всѣ книги на другой день тихонько ко мнѣ.

На другой день старикъ пришелъ къ сыну, съ часочикъ посидѣлъ у него по обыкновенію, потомъ зашелъ къ намъ и подошелъ ко мнѣ съ прекомическимъ таинственнымъ видомъ. Сначала съ улыбочкой, потирая руки отъ гордаго удовольствія владѣть какой-нибудь тайной, онъ объявилъ мнѣ, что книжки всѣ пренезаметно перенесены къ намъ и стоятъ въ уголку, въ кухнѣ, подъ покровительствомъ Матрены. Потомъ разговоръ естественно перешелъ на ожидаемый праздникъ; потомъ старикъ распространился о томъ, какъ мы будемъ дарить, и чѣмъ далѣе углублялся онъ въ свой предметъ, чѣмъ болѣе о немъ говорилъ, тѣмъ примѣтнее мнѣ становилось, что у него есть что-то на душѣ, о чемъ онъ не можетъ, не смѣетъ, даже боится выразиться. Я все ждала и молчала. Тайная радость, тайное удовольствіе, что я легко читала доселѣ въ его странныхъ ухваткахъ, гримасничаньи и подмигиваньи лѣвымъ глазкомъ, исчезли. Онъ дѣлался поминутно все безпокойнѣе и тоскливѣе; наконецъ онъ не выдержалъ.

— Послушайте, началъ онъ робко, въ-полголоса: — послушайте, Варвара Алексѣевна.... знаете ли что, Варвара Алексѣевна?... — старикъ былъ въ ужасномъ замѣшательствѣ. — Видите ли: вы, какъ прійдетъ день его рожденія, возьмите десять книжекъ и подарите ихъ ему сами, т. е. отъ себя съ своей стороны; я же возьму тогда одну одиннадцатую, и ужъ тоже подарю отъ себя, т. е. собственно съ своей стороны. Такъ вотъ, видите ли — и у васъ будетъ что-нибудь подарить, и у меня будетъ что-нибудь подарить; у насъ обоихъ будетъ что-нибудь подарить. Тутъ старикъ смѣшался и замолчалъ. Я взглянула на него; онъ съ робкимъ ожиданіемъ ожидалъ моего приговора. Да зачѣмъ же вы хотите, чтобъ мы не вмѣстѣ дарили, За-

харь Петровичъ? — Да такъ, Варвара Алексѣевна, ужь такъ, ужь это такъ.... — я вѣдь оно того.... — однимъ словомъ, старикъ замѣшался, покраснѣлъ, завязъ въ своей фразѣ и не могъ едвинуться съ мѣста.

— Видите ли, объяснился онъ наконецъ. — Я, Варвара Алексѣевна, балуюсь подь-часъ.... т. е. я хочу доложить вамъ, что я почти и все балуюсь и всегда балуюсь.... придерживаюсь того, что не хорошо.... т. е. знаете, этакъ на дворѣ такіе холода бываютъ, также иногда непріятности бываютъ разныя, или тамъ какъ-нибудь грустно сдѣлается; или что-нибудь изъ нехорошаго случится, такъ я и не удержусь подь-часъ, и забалуюсь и выпью, иногда и лишнее выпью. Петрушѣ это очень непріятно. Онъ, вотъ видите ли, Варвара Алексѣевна, сердится, бранить меня и мнѣ морали разныя читаетъ. Такъ вотъ-бы мнѣ и хотѣлось теперь самому доказать ему подаркомъ моимъ, что я исправляюсь и начинаю вести себя хорошо. Что вотъ я копилъ, чтобы книжку купить, долго копилъ, потому-что у меня и денегъ-то почти никогда не бываетъ, развѣ случится Петруша кое-когда дастъ. Онъ это знаетъ. Слѣдовательно, вотъ онъ и увидитъ употребленіе денегъ моихъ, и узнаетъ, что все это я для него одного дѣлаю.

Мнѣ стало ужасно какъ жаль старика. Я думала не долго. Старикъ смотрѣлъ на меня съ безпокойствомъ. «Да послушайте, Захаръ Петровичъ», сказала я: «вы подарите ихъ ему всѣ!» — Какъ всѣ! т. е. книжки всѣ?... «Ну да, книжки всѣ.» — И отъ себя? — «Отъ себя.» — Отъ одного себя? то есть, отъ своего имени? «Ну да, отъ своего имени....» Я, кажется, очень ясно толковала, но старикъ очень долго не могъ понять меня.

— Ну да, говорилъ онъ задумавшись, да! это будетъ очень хорошо, это было бы весьма хорошо, только вы-то какъ же, Варвара Алексѣевна? «Ну, да я ничего

не подарю.»—Какъ! закричалъ старикъ, почти испугавшись; такъ вы ничего Петинкѣ не подарите, такъ вы ему ничего дарить не хотите? Старикъ испугался; въ эту минуту онъ, кажется, готовъ былъ отказаться отъ своего предложенія, за тѣмъ, чтобы и я могла чѣмъ-нибудь подарить его сына. Добрякъ былъ этотъ старикъ! Я увѣрила его, что я бы рада была подарить что-нибудь, да только у него не хочу отнимать удовольствія. «Если сынъ вашъ будетъ доволенъ, прибавила я, и вы будете рады, то и я буду рада. Потому-что въ тайнѣ-то, въ сердцѣ-то моемъ, буду чувствовать какъ-будто и на самомъ дѣлѣ я подарила.» Этимъ старикъ совершенно успокоился. Онъ пробылъ у насъ еще два часа, но все это время на мѣстѣ не могъ усидѣть, вставалъ, возился, шумѣлъ, шалилъ съ Сашей, цаловалъ меня украдкой, щипалъ меня за руку, и дѣлалъ тихонько гримасы Аннѣ Федоровнѣ. Анна Федоровна прогнала его наконецъ изъ дома. Однимъ словомъ, старикъ отъ восторга такъ расходился, какъ, можетъ-быть, никогда еще не бывало съ нимъ.

Въ торжественный день онъ явился ровно въ одиннадцать часовъ, прямо отъ обѣдни, во фракѣ, прилично заштопанномъ, и дѣйствительно въ новомъ жилетѣ и въ новыхъ сапогахъ. Въ обѣихъ рукахъ было у него по связкѣ книгъ. Мы всѣ сидѣли тогда въ залѣ у Анны Федоровны и пили кофе (было воскресенье). Старикъ началъ, кажется, съ того, что Пушкинъ былъ весьма хорошей стихотворецъ; потомъ, сбиваясь и мѣшаясь, перешелъ вдругъ на то, что нужно вести себя хорошо, и что, если человѣкъ не ведетъ себя хорошо, то значить, что онъ балуется; что дурныя склонности губятъ и уничтожаютъ человѣка; исчислилъ далѣе нѣсколько пагубныхъ примѣровъ невоздержанія, и заключилъ тѣмъ, что онъ съ нѣкотораго времени совершенно исправился, и что теперь ведетъ себя примѣрно

хорошо. Что онъ и прежде чувствовалъ справедливость сыновнихъ наставленій, что онъ все это давно чувствовалъ и все на сердцѣ слагалъ, но теперь и на дѣлѣ сталъ удерживаться. Въ доказательство чего дарить книги на скопленные имъ, въ продолженіе долгаго времени, деньги.

Я не могла удержаться отъ слезъ и смѣха, слушая бѣднаго старика; вѣдь умѣлъ же нагать, когда нужда пришла! Книги были перенесены въ комнату Покровскаго и поставлены на полку. Покровскій тотчасъ угадалъ истину. Старика пригласили обѣдать. Этотъ день мы всѣ были такъ веселы. Послѣ обѣда играли въ фанты, въ карты; Саша рѣзвилась, я отъ нея не отставала. Покровскій былъ ко мнѣ внимателенъ и все искалъ случая поговорить со мною наединѣ, но я не давалась. Это былъ лучшій день въ цѣлые четыре года моей жизни....

А теперь все пойдутъ грустныя, тяжелыя воспоминанія; начнетъ повѣсть о моихъ черныхъ дняхъ. Вотъ отъ-чего, можетъ-быть, перо мое начинаетъ двигаться медленнѣе и какъ-будто отказывается писать далѣе. Вотъ отъ-чего, можетъ-быть, я съ такимъ увлеченіемъ и съ такою любовью переходила въ памяти моей малѣйшія подробности моего маленькаго житья-бытья въ счастливые дни мои. Эти дни были такъ недолги; ихъ смѣнило горе, черное горе, которое Богъ одинъ знаетъ когда кончится.

Несчастія мои начались болѣзнію и смертію Покровскаго.

Онъ заболѣлъ два мѣсяца спустя, послѣ послѣднихъ происшествій, мною здѣсь описанныхъ. Въ эти два мѣсяца онъ неутомимо хлопоталъ о способахъ жизни; ибо до-сихъ-поръ онъ еще не имѣлъ опредѣленнаго положенія. Какъ и всѣ чахоточные, онъ не разставался, до послѣдней минуты своей, съ надеждою жить еще очень

долго. Ему выходило куда-то мѣсто въ учителя; но къ этому ремеслу онъ имѣлъ отвращеніе. Служить гдѣ-нибудь въ казенномъ мѣстѣ онъ не могъ за нездоровьемъ. Ктому же долго бы нужно было ждать перваго оклада жалованья. Короче, Покровскій видѣлъ вездѣ только однѣ неудачи; характеръ его портился. Здоровье его разстроивалось; онъ этого не примѣчалъ. Подступала осень. Каждый день выходилъ онъ въ своей легкой шинелькѣ хлопотать по своимъ дѣламъ, просить и вымаливать себѣ гдѣ-нибудь мѣста, что его внутренно мучило; промачивалъ ноги, мокъ подъ дождемъ, и наконецъ слегъ въ постель, съ которой не вставалъ уже болѣе.... Онъ умеръ въ глубокую осень, въ концѣ октября мѣсяца.

Я почти не оставляла его комнаты во все продолженіе его болѣзни, ухаживала за нимъ и прислуживала ему. Часто не спала цѣлыя ночи. Онъ рѣдко былъ въ памяти; часто былъ въ бреду; говорилъ Богъ знаетъ о чемъ, о своемъ мѣстѣ, о своихъ книгахъ, обо мнѣ, объ отцѣ.... и тутъ-то я слышала многое изъ его обстоятельствъ, чего прежде не знала и о чемъ даже не догадывалась. Въ первое время болѣзни его, всѣ наши смотрѣли на меня какъ-то странно; Анна Федоровна качала головою. Но я посмотрѣла всѣмъ прямо въ глаза, и за участіе мое къ Покровскому меня не стали осуждать болѣе; по-крайней-мѣрѣ матушка.

Иногда Покровскій узнавалъ меня, но это было рѣдко. Онъ былъ почти все время въ безпамятствѣ. Иногда по цѣлымъ ночамъ онъ говорилъ съ кѣмъ-то долго, долго, неясными, темными словами, и хриплый голосъ его глухо отдавался въ тѣсной его комнатѣ, словно въ гробу; мнѣ тогда становилось страшно. Особенно въ послѣднюю ночь, онъ былъ какъ изступленный; онъ ужасно страдалъ, тосковалъ; стоны его терзали мою душу. Всѣ въ домѣ были въ какомъ-то испугѣ. Анна

Федоровна все молилась, чтобъ Богъ его прибралъ поскорѣе. Призвали доктора. Докторъ сказалъ, что больной умереть къ утру непременно.

Старикъ Покровскій цѣлую ночь провелъ въ корридорѣ у самой двери въ комнату къ сыну; тутъ ему постлали какую-то рогожку. Онъ по минутно ходилъ въ комнату; на него страшно было смотрѣть. Онъ былъ такъ убитъ горемъ, что казался совершенно безчувственнымъ и бессмысленнымъ. Голова его тряслась отъ страха. Онъ самъ весь дрожалъ, и все что-то шепталъ про-себя, о чемъ-то разсуждалъ самъ съ собою. Мнѣ казалось, что онъ съ ума сойдетъ отъ горя.

Передъ разсвѣтомъ, старикъ, усталый отъ душевной боли, заснулъ на своей рогожкѣ какъ убитый. Въ восьмомъ часу сынъ сталъ умирать; я разбудила отца. Покровскій былъ въ полной памяти и простился со всѣми нами. Чудно! Я не могла плакать; но душа моя разрывалась на части.

Но всего болѣе истерзали и измучили меня его послѣднія мгновенія. Онъ чего-то все просилъ долго, долго коснѣющимъ языкомъ своимъ, а я ничего не могла разобрать изъ словъ его. Сердце мое надрывалось отъ боли! Цѣлый часъ онъ былъ безпокоенъ, объ чемъ-то все тосковалъ, силился сдѣлать какой-то знакъ охолодѣлыми руками своими, и потомъ опять начиналъ просить жалобно, хриплымъ, глухимъ голосомъ; но слова его были одни безсвязные звуки и я опять ничего понять не могла. Я подводила ему всѣхъ нашихъ, давала ему пить; но онъ все грустно качалъ головою. Наконецъ я поняла чего онъ хотѣлъ. Онъ просилъ поднять занавѣсъ у окна и открыть ставни. Ему вѣрно хотѣлось взглянуть въ послѣдній разъ на день, на свѣтъ Божій, на солнце. Я отдернула занавѣсъ, но начинавшійся день былъ печальный и грустный, какъ угасающая бѣдная жизнь умирающаго. Солнца не бы-

ло. Облака застилали небо туманною пеленою; оно было такое дождливое, хмурое, грустное. Мелкій дождь дробилъ въ стекла и омывалъ ихъ струями холодной, грязной воды; было тускло и темно. Въ комнату чуть-чуть проходили лучи блѣднаго дня; и едва оспаривали дрожащей свѣтъ лампадки, затепленной передъ образомъ. Умирающій взглянулъ на меня грустно-грустно и покачалъ головою. Черезъ минуту онъ умеръ.

Похоранами распорядилась сама Анна Федоровна. Купили гробъ простой-простой, и наняли ломоваго извожика. Въ обезпеченіе издержекъ, Анна Федоровна захватила все книги и все вещи покойнаго. Старикъ съ ней спорилъ, шумѣлъ, отнял у ней книгъ сколько могъ, набилъ ими все свои карманы, наложилъ ихъ въ шляпу, куда могъ, пошелъ съ ними все три дня, и даже не разстался съ ними и тогда, когда нужно было идти въ церковь. Все эти дни онъ былъ какъ безпамятный, какъ одурѣлый, и съ какою-то странною заботливостію все хлопоталъ около гроба; то оправлялъ вѣнчикъ на покойникѣ, то зажигалъ и снималъ свѣчи. Видно было, что мысли его ни на чемъ не могли остановиться порядкомъ. Ни матушка, ни Анна Федоровна не были въ церкви на отпѣваніи. Матушка была больна, а Анна Федоровна всеѣмъ было ужъ собралась, да поссорилась со старикомъ Покровскимъ и осталась. Была только одна я, да старикъ. Во время службы, на меня напалъ какой-то страхъ — словно предчувствіе будущаго. Я едва могла выстоять въ церкви. — Наконецъ гробъ закрыли, заколотили, поставили на телегу и повезли. Я проводила его только до конца улицы. Извожикъ поѣхалъ рысью. Старикъ бѣжалъ за нимъ и громко плакалъ; плачь его дрожалъ и прерывался отъ бѣга. Бѣдный потерялъ свою шляпу и не остановился поднять ее. Голова его мокла отъ дождя, поднимался вѣтеръ; изморозь сѣкла и колола лицо. Старикъ,

кажется, не чувствовалъ непогоды и съ плачемъ пере-
бѣгалъ съ одной стороны телеги на другую. Полы его
ветхаго сюртука развѣвались по вѣтру какъ крылья.
Изъ всѣхъ кармановъ торчали книги: въ рукахъ его
была какая-то огромная книга, за которую онъ крѣпко
держался. Прохожіе снимали шапки и крестились.
Иные останавливались и дивились на бѣднаго старика.
Книги поминутно падали у него изъ кармановъ въ
грязь. Его останавливали, показывали ему на потерю;
онъ поднималъ и опять пускался въ-догонку за гро-
бомъ. На углу улицы увязалась съ нимъ вмѣстѣ про-
вожать гробъ какая-то нищая старуха. Телега пово-
ротила наконецъ за уголъ и скрылась отъ глазъ моихъ.
Я пошла домой. Я бросилась въ страшной тоскѣ на
грудь матушки. Я сжимала ее крѣпко-крѣпко въ ру-
кахъ своихъ, цаловала ее и на-взрыдъ плакала, бояз-
ливо прижимаясь къ ней, какъ-бы стараясь удержать
въ своихъ объятіяхъ послѣдняго друга моего и не от-
давать его смерти.... Но смерть уже стояла надъ бѣд-
ной матушкой!

Юня 11.

Какъ я благодарна вамъ за вчерашнюю прогулку на
острова, Макаръ Алексѣевичъ! Какъ тамъ свѣжо, хоро-
шо, какая тамъ зелень! — Я такъ давно не видала зе-
лени; — когда я была больна, мнѣ все казалось, что я
умереть должна, что я умру непременно; — судите же,
что я должна была вчера ощущать, какъ чувствовать! —
Вы не сердитесь на меня за то, что я была вчера та-
кая грустная; мнѣ было очень хорошо, очень легко,
но въ самыя лучшія минуты мои мнѣ всегда отъ-чего-то
грустно. А что я плакала, такъ это пустяки; я и сама
не знаю, отъ-чего я все плачу. Я больно, раздражительно

чувствую; впечатлѣнія мои болѣзненны. Безоблачное, блѣдное небо, закатъ солнца, вечернее затишье, — все это, — я ужъ не знаю, — но я какъ-то настроена была вчера принимать все впечатлѣнія тяжело и мучительно, такъ что сердце переполнялось и душа просила слезъ. Но зачѣмъ я вамъ все это пишу? все это трудно сердцу сказывается, а пересказывать еще труднѣе. Но вы меня, можетъ-быть, и поймете. — И грусть и смѣхъ! Какой вы право добрый, Макаръ Алексѣевичъ! — Вчера вы такъ и смотрѣли мнѣ въ глаза, чтобъ прочитать въ нихъ то, что я чувствую, и восхищались восторгомъ моимъ. Кусточикъ ли, аллея, полоса воды — ужъ вы тутъ; такъ и стоите передо мной, охорашиваясь, и все въ глаза мнѣ заглядываете, точно вы мнѣ свои владѣнія показывали. Это показываетъ, что у васъ доброе сердце, Макаръ Алексѣевичъ. За это-то я васъ и люблю. Ну, прощайте. Я сегодня опять больна; вчера я ноги промочила и отъ-того простудилась; Федора тоже чѣмъ-то больна, такъ что мы обѣ теперь хворыя. Не забывайте меня, т. е. заходите по-чаще.

Ваша

В. Д.

Юня 12.

Голубчикъ мой, Варвара Алексѣевна!

А я-то думалъ, маточка, что вы мнѣ все вчерашнее настоящими стихами опишете, а у васъ и всего-то вышелъ одинъ простой листикъ. Я къ тому говорю, что вы хотя и мало мнѣ въ листкѣ вашемъ написали, но за то необыкновенно-хорошо и сладко описали. — И природа и разныя картины сельскія, и все остальное про чувства — однимъ словомъ, все это вы очень-хорошо описали. А вотъ у меня такъ нѣтъ таланту. — Хоть десять страницъ намарай, никакъ ничего не выходитъ, ничего не опишешь. Я ужъ пробовалъ. — Пишете вы мнѣ,

родная моя, что я человекъ добрый, не злобивый, ко вреду ближняго своего неспособный, и благость Господню, въ природѣ являемую, разумѣющей, и разныя наконецъ похвалы воздаете мнѣ. Все это правда, маточка, все это совершенная правда; я и дѣйствительно таковъ, какъ вы говорите, и самъ это знаю. Но какъ прочтешь такое, какъ вы пишете, такъ поневолѣ умилится сердце, а потомъ разныя тягостныя разсужденія прійдутъ. А вотъ прислушайте меня, маточка, я кое-что расскажу вамъ, родная моя.

Начну съ того что, было мнѣ всего семнадцать годочковъ, когда я на службу явился, и вотъ уже скоро тридцать лѣтъ стукнетъ моему служебному поприщу. Ну, нечего сказать, износилъ я виц-мундировъ довольно, возмужалъ, поумнѣлъ, людей посмотрѣлъ; пожилъ, могу сказать, что пожилъ на свѣтѣ, такъ, что меня хотѣли даже разъ къ полученію креста представить. Вы, можетъ-быть, не вѣрите, а я вамъ право не лгу. Такъ что-же, маточка,— нашлись на все это злые люди! А скажу я вамъ, родная моя, что я хоть и темный человекъ, глупый человекъ пожалуй, но сердце-то у меня такое же, какъ и у другаго кого. Такъ знаете ли, Варинька, что сдѣлалъ мнѣ злой человекъ? А срамно сказать что онъ сдѣлалъ; спробуйте — отъ-чего сдѣлалъ? А отъ-того, что я смиренькой, а отъ-того, что я тихонькой, а отъ-того, что я добренькой! Не пришелся я имъ по нраву, такъ вотъ и пошло на меня. Сначала началось тѣмъ, что «дескать вы, Макарь Алексѣевичъ того да сего»; а потомъ стало — «что дескать у Макара Алексѣевича, и не спрашивайте». А теперь заключили тѣмъ, что — «ужъ кончено, это Макарь Алексѣевичъ». Вотъ, маточка, видите ли, какъ дѣло пошло все на Макара Алексѣевича; они только и умѣли сдѣлать, что въ пословицу ввели Макара Алексѣевича въ цѣломъ вѣдомствѣ нашемъ. Да мало того, что изъ меня пословицу и чуть ли не бранное слово сдѣлали,

до сапоговъ, до мундира, до волосъ, до фигуры моей добрались, — все не по нихъ, все передѣлать нужно! И вѣдь это все съ незапамятныхъ временъ каждый Божій день повторяется. Я привыкъ, потому-что я ко всему привыкаю; потому-что я смиренный человекъ, потому-что я маленькой человекъ; но однакоже за что это все? Что я кому дурнаго сдѣлалъ? Чинъ перехватилъ у когонибудь, что ли? Передъ высшими кого-нибудь очернилъ? Награжденіе перепросилъ! Кабалу стряналъ что ли какуюнибудь? Да грѣхъ вамъ и подумать-то такое, маточка! Ну куда мнѣ все это? Да вы только разсмотрите, родная моя, имѣю ли я способности достаточныя для коварства и честолюбія? Такъ за что же напасти такія на меня, прости Господи? Вѣдь вы же находите меня человекомъ достойнымъ, а вы не въ примѣръ лучше ихъ всѣхъ, маточка. Вѣдь какая самая наибольшая гражданская добродѣтель? Отнеслись на-медни въ частномъ разговорѣ Евстафій Ивановичъ, что наиважнѣйшая добродѣтель гражданская деньги умѣть зашибить. Говорили они шуточкой (я знаю, что шуточкой), правоученіе же то, что не нужно быть никому въ тягость собою; — а я никому не въ тягость! У меня кусокъ хлѣба есть свой; правда, простой кусокъ хлѣба, подъ-часъ даже чорствый; но онъ есть, трудами добытый, законно и безукоризненно употребляемый. Ну что жъ дѣлать! Я вѣдь и самъ знаю, что я немного дѣлаю тѣмъ, что переписываю; да все-таки я этимъ горжусь; я работаю, я потъ проливаю. Ну что жъ тутъ въ самомъ-дѣлѣ такого, что переписываю! Что, грѣхъ переписывать что ли? «Онъ дескать переписываетъ!» «Эта, дескать, крыса-чиновникъ, переписываетъ!» Да что же тутъ безчестнаго такого? Письмо такое четкое, хорошее, пріятно смотрѣть, и его превосходительство довольны; я для нихъ самыя важныя бумаги переписываю. Ну, слогу нѣтъ; вѣдь я это

самъ знаю, что нѣтъ его проклятаго; вотъ потому-то я и службой не взялъ, и даже вотъ къ вамъ теперь, родная моя, пишу с проста, безъ затѣй, и такъ, какъ мнѣ мысль на сердце ложится.. Я это все знаю; да однакоже, еслибы все сочинять стали, такъ кто же бы сталъ переписывать? Я вотъ какой вопросъ дѣлаю, и васъ прошу отвѣчать на него, маточка. Ну, такъ я и сознаю теперь, что я нуженъ, что я необходимъ, и что нечего вздоромъ человѣка съ толку сбивать. Ну, пожалуй, пусть крыса, коли сходство пашли! Да крыса-то эта пужна, да крыса-то пользу приноситъ, да за крысу-то эту держатся; — да крысѣ-то этой награжденіе выходитъ, — вотъ она крыса какая! — Впрочемъ, довольно объ этой матеріи, родная моя; я вѣдь и не о томъ хотѣлъ говорить, да такъ погорячился немного. Все-таки пріятно отъ времени до времени себѣ справедливость воздать. Прощайте, родная моя, голубчикъ мой, утѣшительница вы моя добренькая. Зайду, непременно къ вамъ зайду, провѣдаю васъ, моя ясочка. А вы не скучайте покамѣстъ. Книжку вамъ принесу. Ну, прощайте же, Варинька

Вашъ сердечный доброжелатель

Макаръ Двѣушкинъ.

Юня 20.

М. Г. Макаръ Алексѣевичъ!

Пишу я къ вамъ наскоро; спѣшу; работу къ сроку кончаю. Видите ли въ чемъ дѣло: можно покунку сдѣлать хорошую. Федора говоритъ, что продается у ея знакомаго какого-то виц-мундиръ форменный, совершенно новѣхонькой, нижнее платье, жилетка и фуражка, и говорятъ, все весьма дешево; такъ вотъ вы бы купили. Вѣдь вы теперь не нуждаетесь, да и деньги у васъ есть; вы сами говорите, что есть. Полноте пожа-

луйста, не скупитесь; вѣдь это все нужное. Посмотрите-ка на себя, въ какомъ вы старомъ платьѣ ходите. Срамъ! все въ заплаткахъ. Новаго-то у васъ нѣтъ; это я знаю, хоть вы и увѣряете, что есть. Ужь Богъ знаетъ, куда вы его съ рукъ събли. Такъ послушайтесь же меня, купите пожалуйста. Для меня это сдѣлайте; коли меня любите, такъ купите.

Вы мнѣ прислали бѣлья въ подарокъ; но послушайте, Макаръ Алексѣевичъ, вѣдь вы разоряетесь. Шутка ли, сколько вы на меня истратили, — ужасъ сколько денегъ! Ахъ, какъ же вы любите мотать! Мнѣ не нужно; все это было совершенно лишнее. Я знаю, я увѣрена, что вы меня любите; право лишнее напоминать мнѣ это подарками; а мнѣ тяжело ихъ принимать отъ васъ; я знаю, чего они вамъ стоятъ. Единожды навсегда полноте; слышите ли? Прошу васъ, умоляю васъ. Прѣсите *вы меня*, Макаръ Алексѣевичъ, прислать продолженіе записокъ моихъ; желаете, чтобъ я ихъ докончила. Я не знаю какъ написалось у меня и то, что у меня написано! Но у меня силъ не достанетъ говорить теперь о моемъ прошедшемъ; я и думать объ немъ не желаю; мнѣ страшно становится отъ этихъ воспоминаній. Говорить же о бѣдной моей матушкѣ, оставившей свое бѣдное дитя въ добычу этимъ чудовищамъ, мнѣ тяжело всего. У меня сердце кровью обливается при одномъ воспоминаніи. Все это еще такъ свѣжо; я не успѣла одуматься, не только уснокоиться, хотя всему этому уже слишкомъ годъ. Но вы знаете все!

Я вамъ говорила о теперешнихъ мысляхъ Анны Оedorовны; она меня же винить въ неблагодарности и отвергаетъ всякое обвиненіе о сообществѣ ея съ господиномъ Быковымъ! Она зоветъ меня къ себѣ; говорить, что я христарадничаю, что я по худой дорогѣ пошла. Говорить, что если я ворочусь къ ней, то она беретъ уладить все дѣло съ господиномъ Быковымъ, и

заставитъ его заглядитъ всю вину его передо мною. Она говорить, что г. Быковъ хочетъ мнѣ дать приданое. Богъ съ ними! Мнѣ хорошо и здѣсь съ вами, у доброй моей Ѳедоры, которая своею привязанностію ко мнѣ напоминаетъ мнѣ мою покойницу-няню. Вы хоть дальній родственникъ мой, но защищаете меня своимъ именемъ. А ихъ я не знаю; я позабуду ихъ, если смогу. Чего еще они хотятъ отъ меня? Ѳедора говорить, что это все сплетни, что они оставятъ наконецъ меня. Дай-то Богъ!

В. Д.

Юня 21.

Голубушка моя, маточка!

Хочу писать, а не знаю съ чего и начать. Вѣдь вотъ какъ же это странно, маточка, что мы теперь такъ съ вами живемъ. Я къ тому говорю, что я никогда моихъ дней не проводилъ въ такой радости. Ну, точно домкомъ и семействомъ меня благословилъ Господь! Дѣточка вы моя, хорошенькая! да что это вы тамъ толкуете про четыре рубашечки-то, которыя я вамъ послалъ. Вѣдь надобно же вамъ ихъ было, — я отъ Ѳедоры узналъ. Да мнѣ, маточка, это особое счастье васъ удовлетворять; ужъ это мое удовольствіе, ужъ вы меня оставьте, маточка, въ покоѣ-то меня оставьте; не троньте меня и не прекословьте мнѣ. Никогда со мною не бывало такого, маточка. Я вотъ въ свѣтъ пустился теперь. Во-первыхъ, живу вдвойнѣ, потому-что и вы тоже живете весьма близко отъ меня и на угѣху мнѣ; а во-вторыхъ пригласилъ меня сегодня на чай одинъ жилецъ, сосѣдъ мой, Ратазяевъ, тотъ самый чиновникъ, у котораго сочинительскіе вечера бывають. Сегодня собраніе; будемъ литературу читать. Вотъ мы теперь какъ, маточка, — вотъ! Ну, прощайте. Я вѣдь

это все такъ написалъ, безо всякой видимой цѣли, и единственно для того, чтобъ увѣдомить васъ о моемъ благополучіи. Приказали вы, душенька, черезъ Терезу сказать, что вамъ шелчку цвѣтнаго для вышиванья нужно; куплю, мѣточка, куплю, и шелчку куплю. Завтра же буду имѣть наслажденіе удовлетворить васъ исполнѣ. Я и купить-то гдѣ знаю. А самъ теперь пре- бываю

Другомъ вашимъ искреннимъ
Макаромъ Двухшкинымъ.

Юня 22.

М. Г. Варвара Алексѣевна!

Увѣдомляю васъ, родная моя, что у насъ въ квартирѣ случилось прежалостное происшествіе, истинно-истинно жалости достойное. Сегодня, въ пятомъ часу утра, умеръ у Горшкова маленькой. Я не знаю только отъ-чего, скалатина что ли была какая-то, Господь его знаетъ! Навѣстилъ я этихъ Горшковыхъ: Ну, маточка, вотъ бѣдно-то у нихъ! И какой безпорядокъ! Да и не диво: все семейство живетъ въ одной комнаткѣ, только что ширмочками для благопристойности разгороженной. У нихъ ужъ и гробикъ стоитъ — простенькой, но довольно хорошенькой гробикъ; готовый купили, мальчикъ-то былъ лѣтъ девяти; надежды, говорятъ, подавалъ. А жалость смотрѣть на нихъ, Варинька! Мать не плачетъ, но такая грустная, бѣдная. Имъ, можетъ-быть, и легче, что вотъ ужъ одинъ съ плечъ долой; — а у нихъ еще двое осталось, грудной, да дѣвочка маленькая, такъ лѣтъ шести будетъ съ небольшимъ. Что за пріятность, въ-самомъ-дѣлѣ, видѣть, что вотъ-де страдаетъ ребенокъ, да еще дѣтище родное, а ему и помочь даже нѣчѣмъ! Отецъ сидитъ въ старомъ, засаленомъ фракѣ на изломанномъ стулѣ.

Слезы текутъ у него, да можетъ-быть и не отъ горести, а такъ, по привычкѣ, глаза гноятся. Такой онъ чудной! Все краснѣетъ когда съ нимъ заговоришь, смѣшается и не знаетъ что отвѣчать. Маленькая дѣвочка, дочка, стоитъ прислонившись къ гробику, да такая, бѣдняжка, скучная, задумчивая! А не люблю я, маточка Варинька, когда ребенокъ задумывается; смотрѣть непріятно! Кукла какая-то изъ тряпокъ на полу возлѣ нея лежитъ, — не играетъ; на губахъ пальчикъ держитъ; стоитъ себѣ не пошевелится. Ей хозяйка конфетку дала; взяла, а не ѣла. Грустно, Варинька — а!

Макаръ Дьвушкинъ.

Юня 25.

Любезнѣйшій Макаръ Алексѣевичъ! Посылаю вамъ вашу книжку обратно. Это пренегодная книжонка! — и въ руки брать нельзя. Откуда выкопали вы такую драгоценность? Кромѣ шутокъ, не-уже-ли вамъ нравятся такія книжки, Макаръ Алексѣевичъ? Вотъ мнѣ такъ общались на-дняхъ достать чего-нибудь почитать. Я и съ вами подѣлюсь, если хотите. А теперь до свиданія. Право нѣкогда писать болѣе.

В. Д.

Юня 26.

Милая Варинька! Дѣло-то въ томъ, что я дѣйствительно не читалъ этой книжонки, маточка. Правда, прочелъ нѣсколько страничекъ, вижу, что блажь, такъ ради смѣхотворства одного написано, чтобы людей смѣшить; ну, думаю, оно должно-быть и въ-самомъ-дѣлѣ весело; авось и Варинькѣ понравится; взялъ да и послалъ ее вамъ.

А вотъ обѣщался мнѣ Ратазиевъ дать почитать чего-нибудь настоящаго литературнаго, ну вотъ вы и будете съ книжками, маточка. Ратазиевъ-то смекаетъ, — до

ка, самъ пишетъ, ухъ, какъ пишетъ! Перо такое бойкое и слогу пронасть; т. е. этакъ въ каждомъ словѣ,— чего-чего, — въ самомъ пустомъ, вотъ-вотъ въ самомъ обыкновенномъ, подломъ словѣ, что хоть бы и я иногда Фальдони или Терезѣ сказалъ, вотъ и тутъ у него слогъ есть. Я и на вечерахъ у него бываю. Мы табакъ куримъ, а онъ намъ читаетъ, часовъ по пяти читаетъ, а мы все слушаемъ. Объяденіе, а не литература! Прелесть такая, цвѣты, просто цвѣты; со всякой страницы букетъ вяжи! Онъ обходительный такой, добрый, ласковый. Ну, что я передъ нимъ, ну что? — Ничего. Онъ человѣкъ съ репутаціей, а я что? — Просто не существую; а и ко мнѣ благоволитъ. Я ему кое-что переписываю. Вы только не думайте, Варинька, что тутъ продѣлка какая-нибудь, что онъ вотъ именно отъ того и благоволитъ ко мнѣ, что я переписываю. Вы сметнямъ-то не вѣрьте, маточка, вы сметнямъ-то подлымъ не вѣрьте! Нѣтъ, это я самъ отъ себя, по своей волѣ, для его удовольствія дѣлаю, а что онъ ко мнѣ благоволитъ, такъ это ужъ онъ для моего удовольствія дѣлаетъ. Я деликатность-то поступка понимаю, маточка. Онъ добрый, очень добрый человѣкъ, и безподобный писатель.

А хорошая вещь литература, Варинька, очень хорошая; это я отъ нихъ третьяго-дня узналъ. Глубокая вещь! Сердце людей укрѣпляющая, поучающая, и — разное тамъ еще обо всемъ объ этомъ въ книжкѣ у нихъ написано. Очень хорошо написано! Литература — это картина; т. е. въ нѣкоторомъ родѣ картина и зеркало; страсти выраженъе, критика такая тонкая, поученіе къ назидательности и документъ. Это я все у нихъ наметался. Откровенно скажу вамъ, маточка, что вѣдь сидишь между ними, слушаешь (тоже какъ и они трубку куришь, пожалуй) — а какъ начнутъ они составлять, да спорить объ разныхъ матеріяхъ, такъ ужъ

тутъ я просто пасую, тутъ, маточка, намъ съ вами чисто пасовать прійдется. Тутъ я просто болванъ-болваномъ оказываюсь, самого себя стыдно, такъ что цѣлый вечеръ прискиваешь, какъ бы въ общую-то матерію хоть полсловечка ввернуть, да вотъ этого-то полсловечка какъ нарочно и нѣтъ! И пожалѣешь, Варинька, о себѣ, что самъ то не того, да не такъ; что по словицѣ — выросъ, а ума не вынесъ. Вѣдь что я теперь въ свободное время дѣлаю? — Сплю дуракъ-дуракомъ. А то бы вмѣсто спанья-то ненужнаго можно бы было и пріятнымъ заняться; этакъ сѣсть бы да и пописать. И себѣ полезно и другимъ хорошо. Да что, маточка, вы посмотрите-ка только сколько берутъ они, прости имъ Господь! Вотъ хоть бы и Ратазевъ, — какъ беретъ! Что ему листъ написать? Да онъ въ иной день и по пяти листовъ писывалъ, а по триста рублей, говорить, за листъ беретъ. Тамъ анекдотецъ какой-нибудь, или изъ любопытнаго что-нибудь — пятьсотъ дай не дай, хоть тресни, да дай! а нѣтъ — такъ мы и по тысячѣ другой разъ въ карманъ кладемъ! Каково, Варвара Алексѣевна? Да что! — Тамъ у него стихковъ тетрадошка есть, и стихокъ все такой небольшой — семь тысячъ, маточка, семь тысячъ просить, подумайте. Да вѣдь это имѣніе недвижимое, домъ капитальный! Говорить, что пять тысячъ даютъ ему, да онъ не беретъ. Я его урезониваю, говорю — возьмите дескать, батюшка, пять-то тысячъ отъ нихъ, да и плюньте имъ, — вѣдь деньги пять тысячъ! — Нѣтъ, говоритъ, семь дадутъ, мошенники. — Увертливой право такой!

А что, маточка, ужъ если на то пошло, такъ я вамъ, такъ и быть, выпишу изъ *Италіянскихъ Страстей* мѣстечко. Это у него сочиненіе такъ называется. Вотъ прочтите-ка, Варинька, да посудите сами.

....«Владиміръ вздрогнулъ, и страсти бѣшено заклокотали въ немъ и кровь вскипѣла....»

— Графиня, вскричалъ онъ, графиня! Знаете ли вы какъ ужасна эта страсть, какъ безпредѣльно это безуміе? Нѣтъ, мои мечты меня не обманывали! Я люблю, люблю восторженно, бѣшено, безумно! Вся кровь твоего мужа не зальетъ бѣшеного, клокочущаго восторга души моей! Ничтожныя препятствія не остановятъ всеразрывающаго, адскаго огня, бороздящаго мою истомленную, страдальческую грудь. О Зинаида, Зинаида!...

— Владиміръ!... прошептала графиня внѣ себя, склоняясь къ нему на плечо....

— Зинаида! закричалъ восторженный Смѣльскій.

Изъ груди его испарился вздохъ. Пожаръ вспыхнулъ яркимъ пламенемъ на алтарѣ любви, и взбороздилъ грудь несчастныхъ страдальцевъ.

— Владиміръ!... шептала въ упоеніи графиня. Грудь ея вздымалась, щеки ея багровѣли, очи горѣли.

Новый, ужасный бракъ былъ совершенъ!

Черезъ полчаса старый графъ вошелъ въ будуаръ жены своей.

— А что, душечка, не приказать ли, для дорогаго гостя, самоварчикъ поставить? сказалъ онъ, потрепавъ жену по щекамъ.»

Ну вотъ, я васъ спрошу, маточка, послѣ этого — ну, какъ вы находите? Правда, немножко вольно, въ этомъ спору нѣтъ, но за то хорошо. Ужъ что хорошо, такъ хорошо! А вотъ, позвольте, я вамъ еще отрывочекъ выпишу изъ повѣсти: *Ермакъ и Зюлейка*.

Представьте себѣ, маточка, что казакъ Ермакъ, дикій и грозный завоеватель Сибири, влюбленъ въ Зюлейку, дочь сибирскаго царя Кучума, имъ въ полонъ взятую. Событіе прямо изъ временъ Ивана Грознаго, какъ вы видите. Вотъ разговоръ Ермака и Зюлейки.

«Ты любишь меня, Зюлейка! О, повтори, повтори!...

— Я люблю тебя, Ермакъ, прошептала Зюлейка.

— Небо и земля, благодарю васъ! я счастливъ!... Вы дали мнѣ все, все, къ чему съ отроческихъ лѣтъ стремился взволнованный духъ мой. Такъ вотъ куда вела ты меня, моя звѣзда путеводная; такъ вотъ для чего ты привела меня сюда, за Каменный-Поясъ! Я покажу всему свѣту мою Зюлейку, и люди, бѣшенные чудовища, не посмѣютъ обвинить меня! О, если имъ понятны эти тайныя страданія ея нѣжной души, если они способны видѣть цѣлую поэму въ одной слезинкѣ моей Зюлейки! О, дай мнѣ стереть поцалуями эту слезинку, дай мнѣ выпить ее, эту небесную слезинку.... неземная!

— Ермакъ, сказала Зюлейка: — свѣтъ золь, люди несправедливы! Они будутъ гнать насъ, они осудятъ насъ, мой милый Ермакъ! Что будетъ дѣлать бѣдная дѣва, взросшая среди родныхъ снѣговъ Сибири, въ юртѣ отца своего, въ вашемъ холодномъ, ледяномъ, бездушномъ, самолюбивомъ свѣтѣ? Люди не поймутъ меня, желанный мой, мой возлюбленный!

— Тогда казацкая сабля взовьется надъ ними и присвиснетъ! вскричалъ Ермакъ, дико блуждая глазами.»

Каковъ же теперь Ермакъ, Варинька, когда онъ узнаетъ, что его Зюлейка зарѣзана. Слѣпой старецъ Кучумъ, пользуясь темнотою ночи, прокрался, въ отсутствіе Ермака, въ его шатеръ и зарѣзалъ дочь свою, желая нанести смертельный ударъ Ермаку, лишившему его скипетра и короны.

«Любо мнѣ шаркать желѣзомъ о камень!» закричалъ Ермакъ въ дикомъ остервененіи, точа булатный ножъ свой о шаманскій камень. Мнѣ нужно ихъ крови, крови! Ихъ нужно пилить, пилить, пилить!!!»

И послѣ всего этого, Ермакъ, будучи не въ силахъ пережить свою Зюлейку, бросается въ Иртышъ, и тѣмъ все кончается.

Ну, а это, напримѣръ, такъ, малепькой отрывочекъ, въ шуточно-описательномъ родѣ, собственно для смѣхотворства написанный:

«Знаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза? Ну, вотъ тотъ самый, что укусилъ за ногу Прокофія Ивановича. Иванъ Прокофьевичъ человекъ кругаго характера, но за то рѣдкихъ добродѣтелей; напротивъ того Прокофій Ивановичъ чрезвычайно любитъ рѣдку съ медомъ. Вотъ, когда еще была съ нимъ знакома Пелагея Антоновна.... А вы знаете Пелагею Антоновну? Ну, вотъ та самая, которая всегда юбку надѣваетъ на изнанку.»

Да вѣдь это умора, Варинька, просто умора. Мы со смѣху катались, когда онъ читалъ намъ это. Этакой онъ, прости его Господи! Впрочемъ, маточка, оно хоть и немного затѣйливо, и ужь слишкомъ игриво, но за то невинно, безъ малѣйшаго вольнодумства и либеральныхъ мыслей. Нужно замѣтить, маточка, что Ратазевъ прекраснаго поведенія, и потому превосходный писатель, не то что другіе писатели.

А что, въ-самомъ-дѣлѣ, вѣдь вотъ иногда придетъ же мысль въ голову.... ну что, если бъ я написалъ что-нибудь, ну, что тогда будетъ? Ну вотъ, напримѣръ, положимъ, что вдругъ, ни съ того ни съ сего, вышла бы въ свѣтъ книжка, подъ титуломъ — *Стихотворенія Макара Дѣвушкина!* Ну, что бы вы тогда сказали, мой ангельчикъ? Какъ бы вамъ это представилось и подумалось? А я про себя скажу, маточка, что какъ моя книжка-то вышла бы въ свѣтъ, такъ я бы рѣшительно тогда на Невскій не смѣлъ показаться. Вѣдь каково это было бы, когда бы всякій сказалъ, что вотъ-де идетъ сочинитель литературы и поита Дѣвушкинъ, что вотъ, дескать, это и есть самъ Дѣвушкинъ! Ну, что бы я тогда, напримѣръ, съ моими саногами сталъ дѣлать? Они у меня, замѣчу вамъ мимоходомъ

маточка, почти всегда въ заплаткахъ, да и подметки, по правдѣ сказать, отстаютъ иногда весьма неблагопристойно. Ну, что тогда бѣ было, когда бы все узнали, что вотъ у сочинителя Дѣвушкина сапоги въ заплаткахъ! Какая-нибудь тамъ контесса-дюшесса узнала бы, ну, что бы она-то, душка, сказала? Она-то, можетъ-быть, и не замѣтила бы; ибо, какъ я полагаю, контессы не занимаются сапогами, къ тому же чиновничьими сапогами (потому-что вѣдь сапоги сапогамъ рознь), да ей бы рассказали про все, свои бы пріатели меня выдали. Да, вотъ Ратазиевъ бы первый выдалъ; онъ къ графинѣ В. ѣздитъ; говоритъ, что каждый разъ бываетъ у ней и за-просто бываетъ. Говоритъ, душка, такая она, литературная, говоритъ, дама такая. Петля этотъ Ратазиевъ!

Нѣтъ, вотъ я все про свое. Что бы у насъ-то въ вѣдомствѣ сказали тогда! Что бы Евстафій Ивановичъ сказали? Какъ, и ты, братецъ? сказали бы. — Точно такъ-съ, и я, Евстафій Ивановичъ. — Ну, ну, сказали бы, молодець, молодець! Продолжай и впередъ такимъ образомъ. — Спасибо тебѣ, спасибо! Однимъ словомъ, зашибъ бы я себѣ славу, Варинька.

Да впрочемъ довольно объ этой матеріи; я вѣдь это все такъ пишу, ангельчикъ мой, ради баловства, чтобы васъ посмѣшить. Прощайте, голубчикъ мой! Много я вамъ тутъ настрочилъ, но это собственно отъ-того, что я сегодня въ самомъ веселомъ душевномъ расположеніи. Обѣдали-то мы все вмѣстѣ сегодня у Ратазиева, такъ (шалуны они, маточка) пустили въ ходъ такой романи... ну да ужъ что вамъ писать объ этомъ! Бы только смотрите, не придумайте тамъ чего про меня, Варинька. Я вѣдь это все такъ. Книжекъ пришлю, непременно пришлю.... Ходить здѣсь по рукамъ Поль-де-Кока одно сочиненіе, только Поль-де-Кока-то вамъ, маточка, и не будетъ... Ни-ни! для васъ Поль-де-Кокъ

не годится. Говорятъ про него, маточка, что онъ всѣхъ критиковъ петербургскихъ въ благородное негодованіе приводитъ. Посылаю вамъ фунтикъ конфетокъ, — нарочно для васъ купилъ. Скушайте, душечка, да при каждой конфеткѣ меня поминайте. Только леденецъ-то вы не грызите, а такъ пососите его только, а то зубки разболятся. А вы, можетъ-быть, и цукаты любите? — вы напишите. Ну, прощайте же, прощайте. Христосъ съ вами, голубчикъ мой. А я пребуду навсегда

вашимъ вѣрнѣйшимъ другомъ

Макаръ Дьвушкинъ.

Юня 27.

Милостивый Государь,

Макаръ Алексѣевичъ.

Федора говоритъ, что если я захочу, то нѣкоторые люди съ удовольствіемъ пріймутъ участіе въ моемъ положеніи, и выхлопочутъ мнѣ очень-хорошее мѣсто въ одинъ домъ, въ гувернантки. Какъ вы думаете, другъ мой — идти или нѣтъ? Конечно, я вамъ тогда не буду въ тягость, да и мѣсто, кажется, выгодное; но съ другой стороны, какъ-то жутко идти въ незнакомый домъ. Они какіе-то помѣщики. Станутъ обо мнѣ узнавать, начнутъ спрашивать, любопытствовать — ну что я скажу тогда? — Къ тому же я такая нелюдимка, дикарка; люблю пообжиться въ привычномъ углу на долго. Какъ-то лучше тамъ, гдѣ привыкнешь; хоть и съ горемъ по-поламъ живешь, а все-таки лучше. Къ тому же на выѣздъ; да еще Богъ знаетъ какія должности будутъ; можетъ-быть, просто дѣтей нянчить заставятъ. Да и люди-то такіе: мѣняютъ ужъ третью гувернантку въ два года. Посоветуйте же мнѣ, Макаръ Алексѣевичъ, ради Бога, идти или нѣтъ? — Да что вы никогда сами не зайдете ко мнѣ? изрѣдка только глаза

покажете. Почти только по воскресеньямъ у обѣдни и видимся. Экой же вы нелюдимъ какой! Вы тоже какъ я. А вѣдь я вамъ почти что родная. Не любите вы меня, Макаръ Алексѣевичъ, а мнѣ иногда одной очень грустно бываетъ. Иной разъ, особенно въ сумерки, си-дишь себѣ одна одинѣшенька. Федора уйдетъ куда-нибудь. Си-дишь, думаешь—думаешь, — вспоминаешь все старое, и радостное и грустное, — все идетъ передъ глазами, все мелькаетъ какъ изъ тумана. Знакомые лица являются, (я почти на яву начинаю видѣть) — матушку вижу чаще всего... А какіе бываютъ сны у меня! Я чувствую, что здоровье мое разстроено; я такъ слаба; вотъ и сегодня, когда вставала утромъ съ постели, мнѣ дурно сдѣлалось; сверхъ того у меня такой дурной кашель! Я чувствую, я знаю, что скоро умру. Кто-то меня похоронить? Кто-то за гробомъ моимъ пойдетъ? Кто-то обо мнѣ пожалѣетъ?... И вотъ придется, можетъ-быть, умереть въ чужомъ мѣстѣ, въ чужомъ домѣ, въ чужомъ углу!... Боже мой, какъ грустно жить, Макаръ Алексѣевичъ! — Что вы меня, другъ мой, все конфетами кормите? Я право не знаю откуда вы денегъ столько берете? Ахъ, другъ мой, берегите деньги, ради Бога, берегите ихъ. — Федора продаетъ коверъ, который я вышила; даютъ 50 руб. ассигн. Это очень хорошо; я думала меньше будетъ. Я Федорѣ дамъ три пѣлковыхъ, да себѣ сошью платице, такъ простенькое, потеплѣе. Вамъ жилетку сдѣлаю, сама сдѣлаю, и матерію хорошей выберу.

Федора мнѣ достала книжку — повѣсти Бѣлкина, которую вамъ посылаю, если захотите читать. Пожалуйста, только не запачкайте и не задержите; книга чужая; — это Пушкина сочиненіе. Два года тому назадъ мы читали эти повѣсти вмѣстѣ съ матушкой, и теперь мнѣ такъ грустно было ихъ перечитывать. Если у васъ есть какія-нибудь книги, то пришлите мнѣ, — только

въ такомъ случаѣ, когда вы ихъ не отъ Ратазьева получили. Опъ навѣрно дастъ своего сочиненія; если онъ что-нибудь и когда-нибудь напечаталъ. Какъ это вамъ правятся его сочиненія, Макарь Алексѣевичъ? Такіе пустяки...—Ну, прощайте! какъ я заболталась! Когда мнѣ грустно, такъ я рада болтать, хоть объ чемъ-нибудь. Это лекарство! — Тотчасъ легче сдѣлается, а особливо, если выскажешь все, что лежитъ на сердцѣ. Прощайте, прощайте, мой другъ

ваша

В. Д.

Юня 28.

Маточка Варвара Алексѣевна!

Полно кручиниться! Какъ же это не стыдно вамъ! Ну полноте, ангельчикъ мой; какъ это вамъ такія мысли приходятъ? Вы не больны, душечка, вовсе не больны; вы цвѣтете, право цвѣтете; блѣденьки немножко, а все-таки цвѣтете. И что это у васъ за сны да за видѣнія такія! Стыдно, голубчикъ мой, полноте; вы плюньте на сны-то эти, просто плюньте. Отъ-чего же я сплю хорошо? Отъ-чего же мнѣ ничего не дѣлается? Вы посмотрите-ка на меня, маточка, отъ-чего же мнѣ ничего не дѣлается. Живу себѣ, сплю покойно, здоровѣхонекъ, — молодець-молодцомъ, любо смотрѣть. Полноте, полноте, душечка, стыдно. Исправьтесь, ради Бога, исправьтесь. Я вѣдь головку-то вашу знаю, маточка, чуть что-нибудь найдетъ, вы ужь и пошли мечтать, да тосковать о чемъ-то. Ради меня, перестаньте, душенька. Въ люди идти? — никогда! Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Да и что это вамъ думается такое, маточка, что это находитъ на васъ? Да еще и на выѣздъ! Да нѣтъ же, маточка, не позволю, вооружаюсь всеми силами противъ такого намѣренія. Мой фракъ старый продамъ, и въ

одной рубашкѣ стану ходить по улицамъ, а ужъ вы у насъ нуждаться не будете. Нѣтъ, Варинька, нѣтъ; ужъ я знаю васъ! Это блажь, чистая блажь! А что вѣрно, такъ это то, что во всемъ Ѳедора одна виновата; она видно, глупая баба, васъ на все надоумила. А вы ей, маточка, не вѣрьте. Да вы еще вѣрно не знаете всего-то, душенька?... Она баба глупая, сварливая, вздорная; она и мужа своего покойника со свѣту выжила. Или она вѣрно васъ разсердила тамъ какъ-нибудь? Нѣтъ, нѣтъ, маточка, ни за что! И я то какъ же буду тогда, что мнѣ-то останется дѣлать. Нѣтъ, Варинька, душенька, вы это изъ головки-то выкиньте. Чего вамъ не достаетъ у насъ? Мы на васъ не нарадуемся, вы насъ любите, — такъ и живите себѣ тамъ смиренно; шейте или читайте, а пожалуй и не шейте все равно, только съ нами живите. А то вы сами посудите, ну на что это будетъ похоже тогда?... Вотъ я вамъ книжекъ достану, а потомъ, пожалуй, и опять куда-нибудь гулять соберемся. Только вы-то полноте, маточка, полноте, наберитесь ума и изъ пустячковъ не блажите! Я къ вамъ прійду, непременно прійду, и въ весьма скоромъ времени, только вы за это мое прямое и откровенное признаніе пріймите:—не хорошо, душенька, очень не хорошо! Я, конечно, неученый человѣкъ и самъ знаю, что неученый, что на мѣдныя деньги учился, да я не къ тому и рѣчь клоню, не во мнѣ тутъ и дѣло-то, а за Ратаязева заступлюсь; воля ваша, а я заступлюсь. Онъ мнѣ другъ, потому я за него и заступлюсь. Онъ хорошо пишетъ, очень, очень, и опять-таки очень хорошо пишетъ. Не соглашаюсь я съ вами; никакъ не могу согласиться. Писано цвѣтисто, отрывисто, съ фигурами, разныя мысли есть; — очень хорошо! Вы, можетъ-быть, безъ чувства читали, Варинька, или не въ духѣ были, когда читали, на Ѳедору за что-нибудь разсердились, или что-нибудь у васъ тамъ нехорошее вышло. Нѣтъ,

вы прочтите-ка это съ чувствомъ, съ особеннымъ чувствомъ, получше, когда вы довольны и веселы, и въ расположеніи духа пріятномъ находитесь, вотъ на-прим. когда конфетку во рту держите — вотъ когда прочтите. Я не спору (кто же противъ этого), я вовсе не спору, — есть и лучше Ратазьева писатели, есть да-же и очень лучшіе, но и они хороши, и Ратазьевъ хо-рошъ; они хорошо пишутъ, и онъ хорошо пишетъ. Онъ себѣ особо, онъ такъ себѣ пописываетъ, и очень хоро-шо дѣлаеть, что пописываетъ. Ну, прощайте, маточка; писать болѣе не могу; нужно спѣшить, дѣло есть. Смот-рите же маточка, ясочка ненаглядная, успокойтесь и Господь да пребудетъ съ вами, а я пребываю

Вашимъ вѣрнымъ другомъ

Макаромъ Дьвушкинымъ.

P. S. Спасибо за книжку, родная моя, прочтемъ и Пущ-кина; а сегодня я, по вечеру, непременно зайду къ вамъ.

Юля 1.

Дорогой мой Макарь Алексѣевичъ!

Нѣтъ, другъ мой, нѣтъ, мнѣ не житье между вами. Я раздумала и нашла, что очень дурно дѣлаю, отказыва-юсь отъ такого выгоднаго мѣста. Тамъ будетъ у меня по-крайней-мѣрѣ хотъ вѣрный кусокъ хлѣба; я буду ста-раться, я заслужу ласку чужихъ людей, даже постара-юсь перемѣнить свой характеръ, если будетъ надобно. Оно конечно больно и тяжело жить между чужими, искать чужой милости, скрываться и принуждать себя, да Богъ мнѣ поможетъ. Не оставаться же вѣкъ нелю-димкой. Со мною ужъ бывали такіе же случаи. Я пом-ню, когда я, бывало, еще маленькая, въ пансіонъ ха-живала. Бывало, все воскресенье дома рѣзвишься, пры-гаешь, иной разъ и побранить матушка, — все ничего,

все хорошо на сердцѣ, свѣтло на душѣ. Станетъ подходить вечеръ и грусть нападетъ смертельная, нужно въ девять часовъ въ пансіонъ идти, а тамъ все чужое, холодное, строгое, гувернантки по понедѣльникамъ такія сердитыя, — такъ и щемить, бывало, за душу, плакать хочется; пойдешь въ уголокъ и поплачешь одна-одишешенька, слезы скрываешь — скажутъ лѣнвая; а я вовсе не о томъ и плачу, бывало, что учиться надобно. — Ну что жъ? я привыкла, и потомъ, когда выходила изъ пансіона, такъ тоже плакала прощаясь съ подругками. Да и не хорошо я дѣлаю, что живу въ тягость обоимъ вамъ. Эта мысль, мнѣ мученье. Я вамъ откровенно говорю все это, потому-что привыкла быть съ вами откровенною. Развѣ я не вижу какъ Федора встаетъ каждый день ранымъ-ранехонько, да за стирку свою принимается, и до поздней ночи работаетъ? — а старыя кости любятъ покой. Развѣ я не вижу, что вы на меня разоряетесь, послѣднюю копейку ребромъ ставите, да на меня ее тратите? не съ вашимъ состояніемъ, мой другъ! Пишете вы, что послѣднее продадите, а меня въ нуждѣ не оставите. Вѣрю, другъ мой, я вѣрю въ ваше доброе сердце — но это вы теперь такъ говорите. Теперь у васъ есть деньги неожиданныя, вы получили награжденіе; но потомъ что будетъ, потомъ? Вы знаете сами — я больная всегда; я не могу такъ же какъ и вы работать, хотя бы душою рада была, да и работа не всегда бываетъ. Что же мнѣ остается? Надрываться съ тоски, глядя на васъ обоихъ, сердечныхъ. Чѣмъ я могу оказать вамъ хоть малѣйшую пользу? И отъ-чего я вамъ такъ необходима, другъ мой? Что я вамъ хорошаго сдѣлала? Я только привязана къ вамъ всею душою, люблю васъ крѣпко, сильно, всѣмъ сердцемъ, но — горька судьба моя! — я умѣю любить и могу любить, но только любить, а не творить добро, не платить вамъ за ваши благодѣянія. Не держите же

меня болѣе; подумайте, и скажите ваше послѣднее мнѣніе. Въ ожиданіи пребываю

васъ любящая

В. Д.

Юля 1.

Блажь, блажь, Варинька, просто блажь! Оставь васъ такъ, такъ вы тамъ головкой своей и чего-чего не передумаете. И то не такъ и это не такъ! А я вижу теперь, что это все блажь. Да чего же вамъ не достаетъ у насъ, маточка, вы только это скажите! Васъ любить, вы насъ любите, мы всѣ довольны и счастливы — чего же болѣе? Ну, а что вы въ чужихъ-то людяхъ будете дѣлать? Вѣдь вы вѣрно еще не знаете, что такое чужой, человѣкъ?... Нѣтъ, вы меня извольте-ка поразспросить, такъ я вамъ скажу, что такое чужой человѣкъ. Знаю я его, маточка, хорошо знаю; случалось хлѣбъ его ѣсть. Золъ онъ, Варинька, золъ, ужъ такъ золъ, что сердечка твоего не достанетъ, такъ онъ его истерзаетъ укоромъ, попрекомъ да взглядомъ дурнымъ. У насъ вамъ тепло, хорошо, — словно въ гнѣздышкѣ приютились. Да и насъ-то вы какъ безъ головы оставите. Ну, что мы будемъ дѣлать безъ васъ; что я, старикъ, буду дѣлать тогда. Вы намъ не нужны? Не полезны? Какъ не полезны? Нѣтъ, вы, маточка, сами разсудите какъ же вы не полезны? Вы мнѣ очень полезны, Варинька. Вы этакое вліяніе имѣете благотворное.... Вотъ я объ васъ думаю теперь и мнѣ весело.... Я вамъ иной разъ письмо напишу и всѣ чувства въ немъ изложу, на что подробный отвѣтъ отъ васъ получаю. — Гардеробцу вамъ накушил, шляпку сдѣлалъ; отъ васъ комиссія подѣ-часъ выходитъ какая-нибудь, я и комиссію... Нѣтъ, какъ же вы не полезны? Да и что я одинъ буду дѣлать на старости, на что годиться буду? Вы, можетъ-

быть, объ этомъ и не подумали, Варинька; нѣтъ, вы именно объ этомъ подумайте — что вотъ-дескать на что онъ будетъ безъ меня-то годиться? Я привыкъ къ вамъ, родная моя. — А то что изъ этого будетъ? Пойду къ Невѣ, да и дѣло съ концомъ. Да право же будетъ такое, Варинька; что же мнѣ безъ васъ дѣлать останется! Ахъ, душечка моя, Варинька! Хочется, видно, вамъ, чтобы меня ломовой извозчикъ на Волково свезъ; чтобы какая-нибудь тамъ нищая старуха-пошлѣпница одна мой гробъ провожала, чтобы меня тамъ пескомъ засыпали, да прочь пошли, да одного тамъ оставили. Грѣшно, грѣшно, маточка! Право, грѣшно, ей-Богу грѣшно! Отсылаю вамъ вашу книжку, дружочикъ мой, Варинька, и если вы, дружочикъ мой, спросите мнѣнія моего на счетъ вашей книжки, то я скажу, что въ жизнь мою мнѣ не случилось читать такихъ славныхъ книжекъ. Спрашиваю я теперь себя, маточка, какъ же это я жилъ до-сихъ-поръ такимъ олухомъ, прости Господи? Что дѣлалъ? Изъ какихъ я лѣсовъ? Вѣдь ничего-то я не знаю, маточка, ровно ничего, совсѣмъ ничего не знаю! Я вамъ, Варинька, спроста скажу, — я человѣкъ не ученый; читалъ я до сей поры мало, очень мало читалъ, да почти ничего: *Картину человека*, умное сочиненіе, читалъ; *Мальчика, нагрывающаго разныя штуки на колокольчикахъ* читалъ, да *Ивиковы журавли* вотъ только и всего, а больше ничего никогда не читалъ. Теперь я *Станціоннаго Смотрителя* здѣсь въ вашей книжкѣ прочелъ, вѣдь вотъ скажу я вамъ, маточка, случается же такъ, что живешь-живешь, а не знаешь, что подъ бокомъ тамъ у тебя книжка есть, гдѣ вся-то жизнь твоя какъ по пальцамъ разложена. Да и что самому прежде не въ догадъ было, такъ вотъ здѣсь, какъ начнешь читать въ такой книжкѣ, такъ самъ все, поменьку, и припомнишь, и разищешь, и разгадаешь. И

наконецъ, вотъ отъ-чего еще я полюбилъ вашу книжку: иное твореніе, какое тамъ ни есть, читаешь-читаешь, иной разъ хоть тресни, такъ хитро, что какъ-будто бы его и не понимаешь. Я, напримѣръ, — я тушь, я отъ природы моей тушь, такъ я не могу слишкомъ важныхъ сочиненій читать; а это читаешь, — словно самъ написалъ; точно это, примѣрно говоря, мое собственное сердце, какое ужъ оно тамъ ни есть, взялъ его, людемъ выворотилъ изнанкой, да и описалъ все подробно — вотъ какъ! Да и дѣло-то простое, Богъ мой; да чего! право, и я также бы написалъ; отъ-чего же бы и не написалъ? — Вѣдь я то же самое чувствую, вотъ совершенно такъ, какъ и въ книжкѣ, да я и самъ въ такихъ же положеніяхъ подъ-часъ находился, какъ примѣрно сказать этотъ Самсонъ-то Выринъ, бѣдняга. Да и сколько между нами-то ходитъ Самсоновъ Выриныхъ, такихъ же горемыкъ сердечныхъ! И какъ ловко описано все. Меня чуть слезы не прошибли, маточка, когда я прочелъ, что онъ спился, грѣшный, такъ, что память потерялъ, горькимъ сдѣлался, и спитъ-себѣ цѣлый день подъ овчиннымъ тулупомъ, да горе пуншикомъ захлебываетъ, да плачетъ жалостно, грязной полою глаза утирая, когда вспоминаетъ о заблудшей овечкѣ своей, объ дочкѣ Дуняшѣ! Нѣтъ, это натурально! вы прочтите-ка; это натурально! это живетъ! Я самъ это видалъ; — это вотъ все около меня живетъ; вотъ хоть Тереза — да чего далеко ходить! — вотъ хоть бы и нашъ бѣдный чиновникъ — вѣдь онъ, можетъ-быть, такой же Самсонъ Выринъ, только у него другая фамилія, *Горшковъ*. — Дѣло-то оно общее, маточка, и надъ вами и надо мной можетъ случиться. И графъ, что на Невскомъ или на набережной живетъ, и онъ будетъ то же самое, такъ-только казаться будетъ другимъ, потому-что у нихъ все по-свѣому, по высшему тону, но и онъ будетъ то же самое, все можетъ

случиться, и со мной то же самое может случиться. Вотъ оно что, маточка, а вы еще тутъ отъ насъ отходить хотите; да вѣдь грѣхъ, Варинька, можетъ застигнуть меня. И себя и меня сгубить можете, родная моя. Ахъ, ясочка вы моя, выкиньте, ради Бога, изъ головки своей всѣ эти вольныя мысли, и не терзайте меня напрасно. Ну гдѣ же, птенчикъ вы мой слабенькой, не оперившійся, гдѣ же вамъ самое-себя прокормить, отъ погибели себя удержать, отъ злодѣевъ защититься! Полноте, Варирька, поправьтесь; вздорныхъ совѣтовъ и наговоровъ не слушайте, а книжку вашу еще разъ прочтите, со вниманіемъ прочтите; вамъ это пользу принесеть.

Говорилъ я про «Станціоннаго Смотрителя» Ратазьеву. Онъ мнѣ сказалъ, что это все старое, и что теперь все пошли книжки съ картинками, и съ разными описаніями; ужъ я право въ толкъ не взялъ хорошенько, что онъ тутъ говорилъ такое. Заключилъ же, что Пушкинъ хорошо, и что онъ святую Русь прославилъ, и много еще мнѣ про него говорилъ. Да, очень хорошо, Варинька, очень хорошо; прочтите-ка книжку еще разъ со вниманіемъ, совѣтамъ моимъ послѣдуйте, и послушаніемъ своимъ меня старика осчастливьте. Тогда самъ Господь наградить васъ, моя родная, непременно наградить.

Вашъ искренній другъ

Макаръ Дьвушкинъ.

Юля 6.

М. Г. Макаръ Алексѣевичъ.

Федора принесла мнѣ сегодня пятнадцать рублей серебромъ. Какъ она была рада, бѣдная, когда я ей три цѣлковыхъ дала! Пишу вамъ на-скоро. Я теперь крою вамъ жилеточку, — прелесть какая матерія, — жолтинькая съ цвѣточками. Посылаю вамъ одну книжку;

тутъ все разныя повѣсти; я прочла кое-какія; прочтите одну изъ нихъ подъ названіемъ *Шинель*. — Вы меня уговариваете въ театрѣ идти вмѣстѣ съ вами; не дорого ли это будетъ? Развѣ ужъ куда-нибудь въ галерею. Я ужъ очень давно не была въ театрѣ, да и право не помню когда. Только опять все боюсь, не дорого ли будетъ стоять эта затѣя? Федора только головой покачиваетъ. Она говоритъ, что вы совсѣмъ не по доходамъ жить начали; да я и сама это вижу; сколько вы на меня одну истратили! Смотрите, другъ мой, не было бы бѣды. Федора и такъ мнѣ говорила про какіе-то слухи — что вы имѣли кажется споръ съ вашей хозяйкой за неуплату ей денегъ; я очень боюсь за васъ. Ну, прощайте; я такъ спѣшу. Дѣло есть маленькое; я перемѣняю ленты на шляпкѣ.

В. Д.

Р. С. Знаете ли, если мы пойдемъ въ театрѣ, то я надѣну мою новенькую шляпку, а на плеча черную мантилью. Хорошо ли это будетъ?

Юля 7.

М. Г. Варвара Алексѣевна!

....Такъ вотъ я все про вчерашнее. — Да, маточка, и на насъ въ одно время блажь находила. Врѣзался въ эту актрисочку, по уши врѣзался, да это бы еще ничего; а самое-то чудное то, что я ее почти совсѣмъ не видалъ, и въ театрѣ былъ всего одинъ разъ, а при всемъ томъ врѣзался. Жили тогда со мною стѣнка объ стѣнку человекъ пятеро молодого, раззадорнаго народа. Сошелся я съ ними, по неволѣ сошелся, хотя всегда былъ отъ нихъ въ пристойныхъ границахъ. Ну, чтобы не отстать, я и самъ имъ во всемъ поддакиваю. Насказали они мнѣ объ этой актрискѣ! Каждый вечеръ, какъ только театрѣ идетъ, вся компанія — на

нужное у нихъ никогда гроша не бывало — вся компанія отправлялась въ театръ, въ галерею, и ужь хлопають-хлопають, вызываютъ-вызываютъ эту актриску — просто бѣснуются! А потомъ и заснуть не дадутъ; всю ночь напролетъ объ ней толкуютъ, всякой ее своей Глашей зовутъ, всѣ въ одну въ нее влюблены, у всѣхъ одна канарейка на сердцѣ. Раззадорили они и меня беззащитнаго; я тогда еще молоденецъ былъ. Самъ не знаю какъ очутился я съ ними въ театрѣ, въ четвертомъ ярусѣ, въ галереѣ. Видѣть-то я одинъ только краешекъ занавѣски видѣлъ, за то все слышалъ. У актрисочки точно голосокъ былъ хорошенькой; — звонкой, соловьиный, медовый! Мы всѣ руки у себя отхлопали, кричали-кричали — однимъ словомъ, до насъ чуть не добрались, одного ужь и вывели правда. Пришелъ я домой, — какъ въ чадѣ хожу! Въ карманѣ только одинъ пѣлковый рубль оставался, а до жалованья еще добрыхъ дней десять. Такъ какъ бы вы думали, маточка? На другой день, прежде чѣмъ на службу идти, завернулъ я къ парфюмеру Французу, купилъ у него духовъ какихъ-то, да мыла благовоннаго на весь капиталъ — ужь и самъ не знаю за чѣмъ я тогда накупилъ всего этого? Да и не обѣдалъ дома, а все мимо ея оконъ ходилъ. Она жила на Невскомъ въ четвертомъ этажѣ. Пришелъ домой, часочикъ какой-нибудь тамъ отдохнулъ, и опять на Невскій пошелъ, чтобы только мимо ея окошекъ пройти. Полтора мѣсяца я ходилъ такимъ образомъ, волочился за нею; извожиковъ-лихачей нанималъ поминутно, и все мимо ея оконъ концы давалъ: заматался совсѣмъ, задолжалъ, а потомъ ужь и разлюбилъ ее; — наскучило! Такъ вотъ что актриска изъ порядочнаго человѣка сдѣлать въ состояннн, маточка! Впрочемъ молоденецъ-то я, молоденецъ былъ тогда!...

М. Д.

Юля 8.

Милостивая государыня моя
Барвара Алексѣевна!

Книжку вашу, полученную мною 6-го сего мѣсяца, спѣшу возвратить вамъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ спѣшу, въ семь писемъ моемъ, объяснить съ вами. Дурно, маточка, дурно то, что вы меня въ такую крайность поставили. Позвольте, маточка: всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человѣческую. Тому опредѣлено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совѣтникомъ; такому-то повелѣвать, а такому-то безропотно и въ страхъ повиноваться. Это уже по способности человѣка разсчитано; иной на одно способенъ, а другой на другое, а способности устроены самимъ Богомъ. — Состою я уже около тридцати лѣтъ на службѣ; служу безукоризненно, поведенія трезваго, въ безпорядкахъ никогда не замѣченъ. Какъ гражданинъ считаю себя, собственнымъ сознаниемъ моимъ, какъ имѣющаго свои недостатки, но вмѣстѣ съ тѣмъ и добродѣтели. Уважаемъ начальствомъ, и сами его превосходительство мною довольны; и хотя еще они доселѣ не оказывали мнѣ особенныхъ знаковъ благорасположенія, но я знаю, что они довольны. Письмо мое довольно четкое и красивое, такъ, не слишкомъ крупное, но и не слишкомъ мелкое, болѣе на курсивъ сбивающееся, но при каждомъ случаѣ удовлетвори-тельное; у насъ развѣ-развѣ только одинъ Иванъ Прокофьевичъ такъ напишетъ. Дожилъ до сѣдыхъ волосъ; грѣха за собою большаго не знаю. Конечно, кто же въ маломъ не грѣшенъ? Всякой грѣшенъ, и даже вы грѣшны, маточка! Но въ большихъ проступкахъ и продерзостихъ никогда не замѣченъ, чтобы этакъ противъ постановленій что-нибудь, или въ нарушеніи общественаго спокойствія, въ этомъ я никогда не замѣченъ, этого не было, даже крестикъ выходилъ—ну да

ужь что! Все это вы по совѣсти должны бы были знать, маточка, и онъ долженъ бы былъ знать; ужь какъ взялся описывать, такъ долженъ бы былъ все знать. Нѣтъ, я этого не ожидалъ отъ васъ, маточка: нѣтъ, Варинька! Вотъ отъ васъ-то именно такого и не ожидалъ.

Какъ! Такъ послѣ этого и жить себѣ смирно нельзя, въ уголочкѣ своемъ, — каковъ ужь онъ тамъ ни есть, — жить водой не замуля, по пословицѣ, никого не трогая, зная страхъ Божій, да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и въ твою конуру не пробрались, да не подсмотрѣли — что дескать какъ ты себѣ тамъ по домашнему, что вотъ есть ли, на примѣръ, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что слѣдуетъ изъ нижняго платья; есть ли сапоги, да и чѣмъ подбиты они; что ѣшь, что пьешь, что переписываешь?... Да и что же тутъ такого, маточка, что вотъ хоть бы и я, гдѣ мостовая плоховата, пройду иной разъ на цыпочкахъ, что я сапоги берегу! Зачѣмъ писать про другаго, что вотъ-де онъ иной разъ нуждается, что онъ чаю не пьетъ? А точно всѣ и должны ужь такъ непремѣнно чай пить! Да развѣ я смотрю въ ротъ каждому, что дескать какой онъ тамъ кусокъ жуетъ? Кого же я обижалъ такимъ-образомъ? Нѣтъ, маточка, зачѣмъ же другихъ обижать, когда тебя не затрогиваютъ! Ну, и вотъ вамъ примѣръ, Варвара Алексѣевна, вотъ вамъ примѣръ, вотъ что значить оно: служишь-служишь, ревностно, усердно, — чего! — и начальство само тебя уважаетъ (ужь какъ бы тамъ ни было, а все-таки уважаетъ), — и вотъ кто-нибудь подъ самымъ носомъ твоимъ, безо всякой видимой причины, ни съ того ни съ сего, испечетъ тебѣ пашквиль. Конечно, правда, иногда сошьешь себѣ что-нибудь новое, — радуешься, не спишь а радуешься, сапоги новые, на примѣръ, съ такимъ сладострастіемъ надѣваешь; — это правда, я ощущалъ, потому-что пріятно

видѣть свою ногу въ тонкомъ щегольскомъ сапогѣ, — это вѣрно описано! Но все таки я истинно удивляюсь, какъ Федоръ-то Федоровичъ безъ вниманія книжку такую пропустили, и за себя не вступились. Правда, что онъ еще молодой сановникъ, и любить подъ-часъ покричать; но отъ-чего же и не покричать?—Отъ-чего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь? Ну да положимъ и такъ, на примѣръ, для тона распечь — ну и для тона можно; нужно приучать; нужно острастку давать; потому-что — между нами будь это, Варинька — нашъ братъ ничего безъ острастки не сдѣлаетъ, всякой нарвится только гдѣ-нибудь числиться, что вотъ дескать, я тамъ-то и тамъ-то, а отъ дѣла-то бочкомъ да стороночкой. А такъ какъ разные чины бываютъ, и каждый чинъ требуетъ совершенно соотвѣтственной по чину распеканціи, то естественно, что послѣ этого и тонъ распеканціи выходитъ различный; — это въ порядкѣ вещей! Да вѣдь на томъ и свѣтъ стоитъ, маточка, что всѣ мы одинъ передъ другимъ тону задаемъ, что всякъ изъ насъ одинъ другаго распекаетъ. Безъ этой предосторожности и свѣтъ бы не стоялъ, и порядка бы не было. Истинно удивляюсь, какъ Федоръ Федоровичъ такую обиду пропустили безъ вниманія!

И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мнѣ за это, шинель кто-нибудь изъ читателей сдѣлаетъ, что ли? — Сапоги, что ли новые купить? — Нѣтъ, Варинька, прочтеть, да еще продолженія потребуетъ. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься въ томъ, чѣмъ не взялъ, боишься носъ подъ-часъ показать — куда бы тамъ ни было, потому-что пересуда трепещешь, потому-что изъ всего что ни есть на свѣтѣ, изъ всего тебѣ пашквиль сработаютъ, и вотъ ужъ вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературѣ дохитъ, все напечатано, прочитано, осмѣяно, пересуже-

но! Да тутъ и на улицу нельзя показаться будетъ; вѣдь тутъ это все такъ доказано, что нашего брата по одной походкѣ узнаешь теперь. Ну, добро бы онъ подъ концомъ-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчилъ, помѣтилъ бы, на примѣръ, хоть послѣ того пункта, какъ ему бумажки на голову съшали:—что вотъ дескать при всемъ этомъ онъ былъ добродѣтелемъ, хорошии гражданинъ, такого обхожденія отъ своихъ товарищей не заслуживалъ, послушествовалъ старшимъ (тутъ бы примѣръ можно какой-нибудь), никому зла не желалъ, вѣрилъ въ Бога, и умеръ (если ему хочется, чтобы онъ ужъ непременно умеръ) — оплаканный. А лучше всего было бы не оставлять его умирать, бѣднягу, а сдѣлать бы такъ, чтобы шинель его отыскалась, чтобы Федоръ Федоровичъ, то есть что я! — чтобы тотъ генералъ, узнавши подробнѣе объ его добродѣтеляхъ, перепросили бы его въ свою канцелярію, повысили бы чиномъ, и дали бы хорошии окладъ жалованья, такъ что, видите ли, какъ бы это было: зло было бы наказано, а добродѣтель восторжествовала бы и канцеляристы-товарищи всѣ бы ни съ чѣмъ и остались. Я бы на примѣръ, такъ сдѣлалъ, а то что тутъ у него особеннаго, что у него тутъ хорошаго? Такъ, пустой какой-то примѣръ изъ вседневнаго, подлаго быта. Да и какъ вы-то рѣшились мнѣ такую книжку прислать, родная моя. Да вѣдь это злонамѣренная книжка, Варинька; это просто неправдоподобно, потому-что и случиться не можетъ, чтобы былъ такой чиновникъ. Нѣтъ, я буду жаловаться, Варинька, просто буду жаловаться.

Покорнѣйшій слуга вашъ

Макаръ Двѣушкинъ.

Юля 27.

М. Г. Макарь Алексѣевичъ.

Послѣднія происшествія и письма ваши испугали, поразили меня, и повергли въ недоумѣніе, а рассказы Федоры объяснили мнѣ все. Но зачѣмъ же было такъ отчаяваться и вдругъ упасть въ такую бездну, въ какую вы упали, Макарь Алексѣевичъ? Ваши объясненія вовсе не удовлетвовали меня. Видите ли, была ли я права, когда настаивала взять то выгодное мѣсто, которое мнѣ предлагали. Къ тому же и послѣднее мое приключеніе пугаетъ меня не на шутку. Вы говорите, что любовь ваша ко мнѣ заставила васъ таиться отъ меня. Я и тогда уже видѣла, что многимъ обязана вамъ, когда вы увѣряли, что издерживаете на меня только запасныя деньги свои, которыя, какъ говорили, у васъ, въ Ломбардтѣ, на всякой случай лежали. Теперь же, когда я узнала, что у васъ вовсе не было ни какихъ денегъ, что вы, случайно узнавши о моемъ бѣдственномъ положеніи и тронувшись имъ, рѣшились издержать свое жалованье, забравъ его впередъ, и продали даже свое платье, когда я больна была, — теперь я открытіемъ всего этого, поставлена въ такое мучительное положеніе, что до-сихъ-поръ не знаю какъ принять все это и что думать объ этомъ. Ахъ! Макарь Алексѣевичъ! вы должны были остановиться на первыхъ благодареніяхъ своихъ, внушенныхъ вамъ состраданіемъ и родственною любовью, а не расточать деньги въ послѣдствіи на ненужное. Вы измѣнили дружбу нашей, Макарь Алексѣевичъ, потому-что не были откровенны со мною, и теперь, когда я вижу, что ваше послѣднее пошло мнѣ на наряды, на конфеты, на прогулки, на театръ и на книги, — то за все это я теперь дорого плачу сожалѣніемъ о своей непростительной вѣтренности (ибо я принимала отъ васъ все, не заботясь о васъ самихъ); и все то, чѣмъ вы хотѣли до-

ставить мнѣ удовольствіе, обратилось теперь въ горе для меня и оставило по себѣ одно бесполезное сожалѣніе. Я замѣчала вашу тоску въ послѣднее время, и хотя сама тоскливо ожидала чего-то, но то, что случилось теперь, мнѣ и въ умъ не входило. Какъ! вы до такой уже степени могли упасть духомъ, Макаръ Алексѣевичъ! Но что теперь о васъ подумаютъ, что теперь скажутъ о васъ всѣ, кто васъ знаетъ? Вы, котораго я и всѣ уважали за доброту души, скромность и благоразуміе, вы теперь вдругъ впали въ такой отвратительный порокъ, въ которомъ, кажется, никогда не были замѣчены прежде. Что со мною было, когда Федора рассказала мнѣ, что васъ нашли на улицѣ, въ нетрезвомъ видѣ, и привезли на квартиру съ полиціей! Я остолбенѣла отъ изумленія, хотя и ожидала чего-то необыкновеннаго, потому-что вы четыре дня пропадали. Но подумали ли вы, Макаръ Алексѣевичъ, что скажутъ ваши начальники, когда узнаютъ настоящую причину вашего отсутствія? Вы говорите, что надъ вами смѣются всѣ; что всѣ узнали о нашей связи, и что и меня упоминаютъ въ насмѣшкахъ своихъ сосѣди ваши. Не обращайтесь вниманія на это, Макаръ Алексѣевичъ, и ради Бога успокойтесь. Меня пугаетъ еще ваша исторія съ этими офицерами; я объ ней темно слышала. Растолкуйте мнѣ, что это все значить? Пишете вы, что боялись открыться мнѣ, боялись потерять вашимъ признаніемъ мою дружбу, что были въ отчаяніи, не зная чѣмъ помочь мнѣ въ моей болѣзни, что продали все, чтобы поддержать меня и не пускать въ больницу, что задолжали сколько возможно задолжать, и имѣете каждый день непріятности съ хозяйкой — но скрывая все это отъ меня, вы выбрали худшее. Но вѣдь теперь же я все узнала. Вы совѣстились заставить меня сознаться, что я была причиною вашего несчастнаго положенія, а теперь вдвое болѣе принесли мнѣ горя сво-

имъ поведеніемъ. Все это меня поразило, Макаръ Алексѣвичъ. Ахъ, другъ мой! несчастье заразительная болѣзнь. Несчастливымъ и бѣднымъ нужно сторониться другъ отъ друга, что-бъ еще болѣе не заразиться. Я принесла вамъ такія несчастія, которыхъ вы и не испытывали прежде, въ вашей скромной и уединенной жизни. Все это мучить и убиваетъ меня.

Напишите мнѣ теперь все откровенно, что съ вами было и какъ вы рѣшились на такой поступокъ. Успокойте меня, если можно. Не самолюбіе заставляетъ меня писать теперь о моемъ спокойствіи, но моя дружба и любовь къ вамъ, которыя ни чѣмъ не изгладятся изъ моего сердца. Прощайте. Жду отвѣта вашего съ нетерпѣніемъ. Вы худо думали обо мнѣ, Макаръ Алексѣвичъ.

Васъ сердечно любящая
Варвара Доброселова.

Юля 28.

Безцѣнная моя Варвара Алексѣвна!

Ну ужъ, какъ теперь все кончено, и все мало по малу приходитъ въ прежнее положеніе, то вотъ что скажу я вамъ, маточка, вотъ что: вы беспокоитесь объ томъ, что обо мнѣ подумаютъ, на что спѣшу объявить вамъ, Варвара Алексѣвна, что амбиція моя мнѣ дороже всего. Въ слѣдствіе чего и донося вамъ объ несчастіяхъ моихъ и о всѣхъ этихъ беспорядкахъ, увѣдомляю васъ, что изъ начальства еще никто ничего не знаетъ да и не будетъ знать, такъ что они всѣ будутъ питать ко мнѣ уваженіе по прежнему. Одного боюсь: сплетень боюсь. Дома у насъ хозяйка только кричитъ, а теперь, когда я съ помощію вашихъ десяти рублей уплатилъ ей часть долга, только ворчитъ, а болѣе ничего. Что же касается до прочихъ, то и они ничего; у

нихъ только не нужно денегъ въ займы просить, а то и они ничего. А въ заключеніе объясненій моихъ, скажу вамъ, маточка, что ваше уваженіе ко мнѣ считаю я выше всего на свѣтѣ и тѣмъ утѣшаюсь теперь во временныхъ безпорядкахъ моихъ. Слава Богу, что первый ударъ и первыя передрыги миновали, и вы приняли это такъ, что не считаете меня вѣроломнымъ другомъ и себялюбцемъ за то, что я васъ у себя держалъ и обманывалъ васъ, не въ силахъ будучи съ вами разстаться, и любя васъ, какъ моего ангельчика. Рачительно теперь принялся за службу и должность свою сталъ исправлять хорошо. Евстафій Ивановичъ хоть бы слово сказалъ, когда я мимо ихъ вчера проходилъ. Не скрою отъ васъ, маточка, что убиваютъ меня долги мои и худое положеніе моего гардероба, но это опять ничего, и объ этомъ тоже молю васъ не отчаявайтесь, маточка. Посылаете мнѣ еще полтинничекъ, Варинька, и этотъ полтинничекъ мнѣ мое сердце пронзилъ. Такъ такъ—то оно теперь стало, такъ вотъ оно какъ! т. е. это не я старый дуракъ вамъ, ангельчику, помогаю, а вы сироточка моя бѣдненькая мнѣ! Хорошо сдѣлала Федора, что достала денегъ. Я покаместъ не имѣю надеждъ никакихъ, маточка, на полученіе, а если чуть возродятся какія-нибудь надежды, то отпишу вамъ обо всемъ подробно. Но сплетни, сплетни меня беспокоятъ болѣе всего. Прощайте, мой ангельчикъ. Цалую вашу ручку и умоляю васъ выздоравливать. Пишу отъ-того не подробно, что въ должность спѣшу, ибо стараніемъ и раченіемъ хочу загладить всѣ вины мои въ упущеніи по службѣ; дальнѣйшее же повѣствованіе о всѣхъ происшествіяхъ и приключеніи съ офицерами откладываю до вечера.

Васъ уважающій и васъ сердечно любящій

Макаръ Дьвушкинъ.

Юля 28.

Маточка Варинька!

Эхъ, Варинька, Варинька! Вотъ именно—то теперь грѣхъ на вашей сторонѣ, и на совѣсти вашей останется. Письмецомъ—то своимъ вы меня съ толку послѣдняго сбили, озадачили, да ужъ только теперь какъ я на досугѣ во внутренность сердца моего проникъ, такъ и увидѣлъ, что правъ былъ, совершенно былъ правъ. Я не про дебошъ мой говорю (ну его маточка, ну его!), а про то, что я люблю васъ и что вовсе не неблагоразумно мнѣ было любить васъ, вовсе не неблагоразумно. Вы, маточка, не знаете ничего; а вотъ еслибы знали только отъ-чего это все, отъ-чего это я долженъ васъ любить такъ, то вы бы не то сказали. Вы это все резонное—то только такъ говорите, а я увѣренъ, что на сердцѣ—то у васъ вовсе не то.

Маточка моя, я и самъ—то не знаю и не помню хорошо всего, что было у меня съ офицерами. Нужно вамъ замѣтить, ангельчикъ мой, что до того времени я былъ въ смущеніи ужаснѣйшемъ. Вообразите себѣ, что уже цѣлый мѣсяцъ, такъ сказать на одной ниточкѣ крѣпился. Положеніе было пребѣдственное. Отъ васъ—то я скрывался, да и дома—то тоже, но хозяйка моя шуму и крику надѣлала. Оно бы мнѣ и ничего. Пусть бы кричала баба негодная, да одно то, что срамъ, а второе то, что она, Господь ее знаетъ какъ, объ нашей связи узнала, и такое про нее на весь домъ кричала, что я обомлѣлъ да и уши заткнулъ. Да дѣло—то въ томъ, что другіе своихъ ушей не затыкали, а напротивъ развѣсили ихъ. Я и теперь, маточка, куда мнѣ дѣваться не знаю....

И вотъ, ангельчикъ мой, все—то это, весь—то этотъ сбродъ всяческаго бѣдствія и доканалъ меня окончательно. Вдругъ странныя вещи слышу я отъ Федоры: что въ домъ къ вамъ явился недостойный искатель и

оскорбилъ васъ недостойнымъ предложеніемъ; что онъ васъ оскорбилъ, глубоко оскорбилъ; я по себѣ сужу, маточка, потому-что и я самъ глубоко оскорбился. Тутъ-то я, ангельчикъ вы мой, и свихнулся, тутъ-то я и потерялся и пропалъ совершенно. Я, другъ вы мой, Варинька, выбѣжалъ въ бѣшенствѣ какомъ-то неслыханномъ, я къ нему хотѣлъ идти, грѣховоднику; я ужь и не зналъ, что я дѣлать хотѣлъ; потому-что я не хочу, чтобы васъ, ангельчика моего, обижали! Ну, грустно было! а на ту пору дождь, слякоть, тоска была страшная!... Я было ужь воротиться хотѣлъ... Тутъ-то я и палъ, маточка, тутъ-то я и палъ. Я Емелю встрѣтилъ, Емельяна Ильича, онъ чиновникъ, т. е. былъ чиновникъ, а теперь ужь не чиновникъ, потому-что его отъ насъ выключили. — Онъ ужь я не знаю что дѣлаетъ, какъ-то тамъ мается; вотъ мы съ нимъ и пошли. — Тутъ—ну, да что вамъ, Варинька, ну весело что ли про несчастія друга своего читать, бѣдствія его и исторію искушеній, имъ претерпѣнныхъ? На третій день, вечеромъ, ужь это Емеля подбилъ меня, я и пошелъ къ нему, къ офицеру-то. Адресъ-то я у нашего дворника спросилъ. Я маточка, ужь если къ слову сказать пришлось, давно за этимъ молодцомъ примѣчалъ; слѣдилъ его, когда еще онъ въ домѣ у насъ квартировалъ. Теперь-то я вижу, что я неприличіе сдѣлалъ, потому-что я не въ своемъ видѣ былъ, когда обо мнѣ ему доложили. Я, Варинька, ничего, по правдѣ, и не помню, помню только, что у него было очень много офицеровъ, или это двоилось у меня, Богъ знаетъ. Я не помню также, что я говорилъ, только я знаю, что я много говорилъ въ благородномъ негодованіи моемъ. Ну, тутъ-то меня и выгнали, тутъ-то меня и съ лѣстницы сбросили; т. е. они не то что-бы всемъ сбросили, а только такъ вытолкали. Вы ужь знаете, Варинька, какъ я воротился; ну и все тутъ, вотъ

оно и все. Конечно, я себя уронилъ, и амбиція моя пострадала, но вѣдь этого никто не знаетъ, изъ построннихъ-то никто, кромѣ васъ, не знаетъ; ну, а въ такомъ случаѣ, это все равно что какъ бы его и не было. Можетъ-быть, это и такъ Варинька, какъ вы думаете? Что мнѣ только достовѣрно извѣстно, такъ это то, что прошлый годъ у насъ Аксеній Осиповичъ такимъ же образомъ дерзнулъ на личность Петра Петровича, но по секрету, онъ это сдѣлалъ по секрету. Онъ его зазвалъ въ сторожевскую комнату, я это все въ щелочку видѣлъ; да ужъ тамъ онъ какъ надобно было и распорядился, но благороднымъ образомъ, потому-что этого никто не видалъ, кромѣ меня; ну а я ничего; т. е. я хочу сказать, что я не объявлялъ никому. Ну, а послѣ этого Петръ Петровичъ и Аксентій Осиповичъ ничего. Петръ Петровичъ, знаете, амбиціонный такой, такъ онъ и никому не сказалъ, такъ что они теперь и кланяются и руки жмутъ. Я не спорю, я, Варинька, съ вами не спорю, я глубоко упалъ, и что всего ужаснѣе, въ собственномъ мнѣніи своемъ проигралъ, но ужъ это вѣрно мнѣ такъ на роду было написано, ужъ это вѣрно судьба,—а отъ судьбы не убѣжишь, сами знаете.— Ну, вотъ и подробное объясненіе несчастій моихъ и бѣдствій, Варинька, вотъ — все такое, что хоть бы и не читать, такъ въ ту жъ пору. — Я немного нездоровъ, маточка моя, и всей игривости чувствъ лишился. Посему теперь свидѣтельству вамъ мою привязанность, любовь и уваженіе, пребываю, милостивая государыня моя, Варвара Алексѣевна,

Покорнѣйшимъ слугою вашимъ

Макаромъ Дьвушкинымъ.

Юля 29.

Милостивый государь
Макаръ Алексѣвичъ!

Я прочла ваши оба письма, Макаръ Алексѣвичъ, да такъ и ахнула! Послушайте, другъ мой, вы или отъ меня умалчиваете что-нибудь и написали мнѣ только часть всѣхъ неприятностей вашихъ, или... право, Макаръ Алексѣвичъ, письма ваши еще отзываются какимъ-то разстройствомъ.... Приходите ко мнѣ, ради Бога, приходите сегодня; да, послушайте, вы знаете, ужъ такъ прямо, приходите къ намъ обѣдать. Я ужъ и не знаю, какъ вы тамъ живете и какъ съ хозяйкой вашей уладились. Вы объ этомъ обо всемъ ничего не пишете, и какъ-будто съ намѣреніемъ умалчиваете. Такъ до свиданія, другъ мой; заходите къ намъ непременно сегодня; да ужъ лучше бы вы сдѣлали, если бъ и всегда приходили къ намъ обѣдать. Оедора готовитъ очень хорошо. Прощайте.

Ваша

Варвара Доброселова.

Августа 1.

Матушка, Варвара Алексѣевна!

Рады вы, маточка, что Богъ вамъ случай послалъ, въ свою очередь за добро добромъ отслужить, и меня отблагодарить. Я этому вѣрю, Варинька, вѣрю, и въ доброту ангельскаго сердечка вашего вѣрю, а не въ укоръ вамъ говорю, — только не попрекайте меня, какъ тогда, что я на старости лѣтъ замотался. Ну, ужъ былъ грѣхъ такой, что жъ дѣлать! — если ужъ хотите непременно, чтобы тутъ грѣхъ какой былъ, только вотъ, отъ васъ-то, дружочикъ мой, слушать такое мнѣ многого стоитъ! А вы на меня не сердитесь, что я это говорю; у меня въ груди-то, маточка, все изны-

ло. Бѣдные люди капризны; — это ужь такъ отъ природы устроено. Я это и прежде чувствовалъ, а теперь еще болѣе почувствовалъ. Онъ, бѣдный-то человѣкъ, онъ взискателенъ; онъ и на свѣтъ-то Божіи иначе смотритъ, и на каждаго прохожаго косо глядитъ, да вокругъ себя смущеннымъ взоромъ поводитъ, да прислушивается къ каждому слову, — дескать, не про него ли тамъ что говорятъ? Что вотъ, дескать, что же онъ такой неказистый? что бы онъ такое именно чувствовалъ? что вотъ, напримѣръ, каковъ онъ будетъ съ этого боку; каковъ буеть съ того боку? И вѣдомо каждому, Варинька, что бѣдный человѣкъ хуже ветошки, и никакого ни отъ кого уваженія получить не можетъ, что ужь тамъ ни пиши! они-то, пачкуны-то эти, что ужь тамъ ни пиши! все будетъ въ бѣдномъ человѣкѣ такъ, какъ и было. А отъ-чего такъ и будетъ по-прежнему? А отъ-того, что ужь у бѣднаго человѣка, поихнему, все на изнанку должно быть; что ужь у него ничего не должно быть завѣтнаго, тамъ амбиціи какой-нибудь, ни-ни-ни! Вонъ Емеля говорилъ наемни, что ему гдѣ-то подписку дѣлали, такъ ему за каждый гривенникъ, въ нѣкоторомъ родѣ, официальный осмотръ дѣлали. Они думали, что они даромъ свои гривенники ему даютъ. Анъ нѣтъ; они заплатили за то, что имъ бѣднаго человѣка показывали. Нынче, маточка, и благодѣянія-то какъ-то чудно дѣлаются; а, можетъ-быть, и всегда такъ дѣлались, кто ихъ знаетъ! Или не умѣютъ они дѣлать, или ужь мастера большіе — одно изъ двухъ. Вы, можетъ-быть, этого не знали, ну, такъ вотъ вамъ! Въ чемъ другомъ мы пасъ, а ужь въ этомъ извѣстны! А почему бѣдный человѣкъ знаетъ все это, да думаетъ все такое? А почему? — ну, по опыту! А отъ-того, напримѣръ, что онъ знаетъ, что есть подъ бокомъ у него такой господинъ, что вотъ идетъ куда-нибудь къ ресторану да говоритъ самъ съ собой: что

вотъ дескать, эта голь-чиновникъ, что будетъ ѣсть сегодня? а я соте-папильюотъ буду ѣсть, а онъ, можетъ-быть, кашу безъ масла ѣсть будетъ. — А какое ему дѣло, что я буду кашу безъ масла ѣсть? Бываетъ такой человѣкъ, Варинька, бываетъ, что только объ такомъ и думаетъ. И они ходятъ, пашквиланты неприличные, да смотрятъ, что, дескать, всей ли ногой на камень ступаешь, али носочкомъ однимъ; что-де вотъ у такого-то чиновника, такого-то вѣдомства, титулярнаго совѣтника, изъ сапога голые пальцы торчатъ, что вотъ у него локти продраны — и потомъ тамъ себѣ это все и описываютъ, и дрянъ такую печатаютъ.... А какое тебѣ дѣло, что у меня локти продраны? Да, ужь если вы мнѣ простите, Варинька, грубое слово, такъ я вамъ скажу, что у бѣднаго человѣка, на этотъ счетъ, тотъ же самый стыдъ, какъ и у васъ, примѣромъ сказать, дѣвическій. Вѣдь вы передъ всѣми — грубое-то слово мое простите — разоблачаться не станете; вотъ, такъ точно и бѣдный человѣкъ не любитъ, чтобы въ его конуру заглядывали, что — дескать, каковы-то тамъ его отношенія будутъ семейныя — вотъ. А то что было тогда обижать меня, Варинька, купно со врагами моими, на честь и амбицію честнаго человѣка посягающими!

Да и въ присутствіи-то я сегодня сидѣлъ такимъ медвѣженкомъ, такимъ воробьемъ общипаннымъ, что чуть самъ за себя со стыда не сгорѣлъ. Стыдненько мнѣ было, Варинька! Да, ужь натурально робѣешь, когда сквозь одежду голые локти свѣтятся, да пуговики на ниточкахъ мотаются. А у меня, какъ парочно, все это было въ такомъ безпорядкѣ! По-неволѣ упадаешь духомъ. Чего!... самъ Степанъ Карловичъ сегодня началь-было по дѣлу со мной говорить, говорилъ-говорилъ, да какъ-будто невзначай и прибавилъ: «Эхъ вы, батюшка Макарь Алексѣевичъ!» да и не догово-

рилъ остальнаго—то объ чемъ онъ думалъ, а только я ужь самъ обо всемъ догадался, да такъ покраснѣлъ, что даже лысина моя покраснѣла. Оно въ сущности—то и ничего, да все—таки безпокойно, на размышленія наводитъ тяжкія. Ужь не провѣдали ли чего они! А Боже сохрани, ну, какъ объ чемъ—нибудь провѣдали! Я, признаюсь, подозрѣваю, сильно подозрѣваю одного человѣчка. Вѣдь этимъ злодѣямъ ни почему! выдадутъ! всю частную твою жизнь ни за грошъ выдадутъ; — святаго ничего не имѣется.

Я знаю теперь, чья это штука; это Ратазьева штука. Онъ съ кѣмъ—то знакомъ въ нашемъ вѣдомствѣ, да вѣрно такъ, между разговоромъ, и передалъ ему все съ прибавленіями; или, пожалуй, рассказалъ въ своемъ вѣдомствѣ, а оно выползло да и приползло въ наше вѣдомство. А въ квартирѣ у насъ всѣ все до послѣдняго знаютъ, и къ вамъ въ окно пальцемъ показываютъ; это ужь я знаю, что показываютъ. А какъ я вчера къ вамъ обѣдать пошелъ, то всѣ они изъ оконъ по-высовывались, а хозяйка сказала, что вотъ, дескать, чортъ съ младенцемъ связались, да и васъ она назвала потомъ неприлично. Но все же это ничто передъ гнуснымъ намѣреніемъ Ратазьева насъ съ вами въ литературу свою помѣстить, и въ тонкой сатирѣ насъ описать; онъ это самъ говорилъ, а мнѣ добрые люди изъ нашихъ пересказали. Я ужь и думать ни о чемъ не могу, маточка, и рѣшиться не знаю на что. Нечего грѣха таить, прогнѣвили мы Господа Бога, ангельчикъ мой! Вы, маточка, мнѣ книжку какую—то хотѣли, ради скуки, прислать. А ну ее, книжку, маточка! Что она, книжка? Она небылица въ лицахъ! И романъ вздоръ, и для вздора написанъ, такъ, празднымъ людямъ читать; повѣрьте мнѣ, маточка, опытности моей многолѣтней повѣрьте. И что тамъ, если они васъ заговорятъ Шекспиромъ какимъ—нибудь, что, дескать, ви-

дишь ли, въ литературѣ Шекспиръ есть, — такъ и Шекспиръ вздоръ, все это сущій вздоръ, и все для одного пашквилья сдѣлано!

Вашъ

Макаръ Дъвушкинъ.

Августа 2.

М. Г. Макаръ Алексѣвичъ.

Не безпокойтесь ни объ чемъ; дастъ Господь Богъ все уладится. Федора достала и себѣ и мнѣ кучу работы, и мы преселело принялись за дѣло; можетъ-быть, и все поправимъ. Подозрѣваетъ она, что всѣ мои послѣднія неприятности не чужды Анны Федоровны; но теперь мнѣ все равно. Мнѣ сегодня какъ-то необыкновенно весело. Вы хотите занимать деньги; — сохрани васъ Господи! послѣ не оберетесь бѣды, когда отдавать будетъ нужно. Лучше живите—ка съ нами покороче, приходите къ намъ по чаще, и не обращайтесь вниманія на вашу хозяйку. Что же касается до остальныхъ враговъ и недоброжелателей вашихъ, то я увѣрена, что вы мучаетесь напрасными сомнѣнiями, Макаръ Алексѣвичъ! Смотрите, вѣдь я вамъ говорила прошедшій разъ, что у васъ слогъ чрезвычайно неровный. Ну, прощайте, до свиданья. Жду васъ непременно къ себѣ.

Ваша

В. Д.

Августа 3.

Ангельчикъ мой, Варвара Алексѣевна!

Спѣшу вамъ сообщить, жизненочекъ вы мой, что у меня надежды родились кое-какія. Да позвольте, дочечка вы моя — пишете, ангельчикъ, чтобы мнѣ займовъ не дѣлать? Голубчикъ вы мой, невозможно безъ

нихъ; ужь и мнѣ-то худо, да и съ вами-то, чего добраго, что-нибудь вдругъ да не такъ! вѣдь вы слабенькія; такъ вотъ я къ тому и пишу, что занять-то непременно нужно. Ну такъ я и продолжаю.

— Замѣчу вамъ, Варвара Алексѣевна, что въ присутствіи я сижу рядомъ съ Емельяномъ Ивановичемъ. Это не съ тѣмъ Емельяномъ, котораго вы знаете. Этотъ, такъ-же какъ и я, титулярный совѣтникъ, и мы съ нимъ во всемъ нашемъ вѣдомствѣ чуть ли не самые старые, коренные служивые. Онъ добрая душа, безкорыстная душа, да неразговорчивый такой, и всегда настоящимъ медвѣдемъ смотреть. За то дѣловой, перо у него чистый англійскій почеркъ, и если ужь всю правду сказать, то не хуже меня пишетъ, — достойный человѣкъ! Коротко мы съ нимъ никогда не сходились, а такъ только, по обычаю, прощайте да здравствуйте; да если подь часъ мнѣ ножичекъ надобился, то случалось попрошу — дескать дайте, Емельянъ Ивановичъ, ножичка, однимъ словомъ, было только то, что общежитіемъ требуется. Вотъ онъ и говоритъ мнѣ сегодня: Макарь Алексѣевичъ, что, дескать, вы такъ призадумались? Я вижу, что добра желаетъ мнѣ человѣкъ, да и открылся ему — дескать такъ и такъ, Емельянъ Ивановичъ, т. е. всего не сказалъ, да и Боже сохрани, никогда не скажу, потому-что сказать-то нѣтъ духу, а такъ кое въ чемъ открылся ему, что вотъ дескать стѣсненъ, и тому подобное. «А вы бы, батюшка,» говоритъ Емельянъ Ивановичъ: «вы бы заняли; вотъ хоть бы у Петра Петровича заняли, онъ даетъ на проценты; я занималъ; и процентъ беретъ пристойный, неотягчительный.» Ну, Варинька, вспрыгнуло у меня сердечко. Думаю-думаю, авось Господь ему на душу положитъ, Петру Петровичу благодѣтелю, да и дастъ онъ мнѣ займы. Самъ ужь и разсчитываю, что вотъ бы-де и хозяйкѣ-то заплатилъ, и вамъ бы помогъ, да и самъ бы

кругомъ обчинился, а то такой срамъ; жутко даже на мѣстѣ сидѣть, кромѣ того, что вотъ зубоскалы-то наши смѣются, Богъ съ ними. Да и его-то превосходительство мимо нашего стола иногда проходятъ; ну, сохрани Боже, бросають взоръ на меня, да примѣтятъ, что я одѣтъ неприлично! А у нихъ главное чистота и опрятность. Они-то, пожалуй, и ничего не скажутъ, да я-то отъ стыда умру, — вотъ какъ это будетъ. Въ слѣдствіе чего, я, скрѣпившись и спрятавъ свой стыдъ въ дырявый карманъ, направился къ Петру Петровичу, и надежды-то полнъ, и ни живъ ни мертвъ отъ ожиданія — все вмѣстѣ. Ну, что же, Варинька, вѣдь все вздоромъ и кончилось! Онъ что-то былъ занятъ, говорилъ съ Ѳедосѣемъ Ивановичемъ. Я къ нему подошелъ съ боку да и дернулъ его за рукавъ, дескать, Петръ Петровичъ, а Петръ Петровичъ! — онъ оглянулся, а я продолжаю: что, дескать, вотъ такъ и такъ, рублей тридцать, и т. д. — Онъ сначала было не понялъ меня, а потомъ, когда я объяснилъ ему все, такъ онъ и засмѣялся, да и ничего, замолчалъ. Я опять къ нему съ тѣмъ же. А онъ мнѣ — закладъ у васъ есть? — А самъ уткнулся въ свою бумагу, пишетъ и на меня не глядитъ. — Я не много оторопѣлъ — нѣтъ, говорю, Петръ Петровичъ, заклада нѣтъ, — да и объясню ему — что вотъ, дескать, какъ будетъ жалованье, такъ я и отдамъ, непременно отдамъ, первымъ долгомъ почту. — Тутъ его кто-то позвалъ, я подождалъ его, онъ воротился, да и сталъ перо чинить, а меня какъ-будто не замѣчаетъ. А я все про свое — что дескать, Петръ Петровичъ, нельзя ли какъ-нибудь? Онъ молчитъ и какъ-будто не слышитъ, я постоялъ-постоялъ, ну, думаю, попробую въ послѣдній разъ, да и дернулъ его за рукавъ. Онъ хоть бы что-нибудь вымолвилъ, очинилъ перо, да и сталъ писать; я и отошелъ. Они, маточка, видители, можетъ-быть и достойные люди всѣ, да гор-

дые, очень гордые; — что мнѣ! Куда намъ до нихъ, Варинька! Я къ тому вамъ и написалъ все это. — Емельянъ Ивановичъ тоже засмѣялся, да головой покачалъ, за то обнадежилъ меня, сердечный. Емельянъ Ивановичъ достойный человекъ. Общалаъ онъ меня рекомендовать одному человекъ; человекъ-то этотъ, Варинька, на Выборгской живетъ, тоже даетъ на проценты, 14-го класса какой-то. Емельянъ Ивановичъ говоритъ, что этотъ уже непременно дастъ; я завтра, ангельчикъ мой, пойду, — а? Какъ вы думаете? Вѣдь бѣда не занять! Хозяйка меня чуть съ квартиры не гонить, и обѣдать мнѣ давать не соглашается. Да и сапоги-то у меня больно худы, маточка, да и пуговокъ нѣтъ, да того ли еще нѣтъ у меня! а ну какъ изъ начальства-то, кто-нибудь замѣтитъ подобное неприличіе Бѣда, Варинька, бѣда, просто бѣда!

Макаръ Дьвушкинъ.

Августа 4.

Любезный Макаръ Алексѣевичъ!

Ради Бога, Макаръ Алексѣевичъ, какъ только можно скорѣе займите хоть сколько-нибудь денегъ: я бы ни за что не попросила у васъ помощи въ теперешнихъ обстоятельствахъ, но если бы вы знали, каково мое положеніе! Въ этой квартирѣ намъ никакъ нельзя оставаться. У меня случились ужаснѣйшія неприятности, и если бы вы знали, въ какомъ я теперь разстройствѣ и волненіи! Вообразите, другъ мой: сегодня утромъ входитъ къ намъ человекъ незнакомый, пожилыхъ лѣтъ, почти старикъ, съ орденами. Я изумилась, не понимая чего ему нужно у насъ? Оедора вышла въ это время въ лавочку. Онъ сталъ меня спрашивать какъ я живу и что дѣлаю, и не дождавшись отвѣта, объявилъ мнѣ, что онъ дядя того офицера; что онъ очень

сердить на племянника за его дурное поведеніе, и за то, что онъ ославилъ насъ на весь домъ; сказалъ, что племянникъ—то его мальчишка и вѣтрогонъ, и что онъ готовъ взять меня подъ свою защиту; не совѣтоваль мнѣ слушать молодыхъ людей, прибавилъ, что онъ соболѣзнуеть обо мнѣ какъ отецъ, что онъ питаетъ ко мнѣ отеческія чувства, и готовъ мнѣ во всемъ помогать. Я вся краснѣла, не знала что и подумать, но не спѣшила благодарить. Онъ взялъ меня насильно за руку, потрепаль меня по щекамъ, сказалъ, что я прехорошенькая, и что онъ чрезвычайно доволенъ тѣмъ, что у меня есть на щекахъ ямочки — (Богъ знаетъ, что онъ говорилъ!) — и наконецъ хотѣлъ меня поцаловать, говоря, что онъ уже старикъ (онъ былъ такой гадкой!) — Тутъ вошла Федора. Онъ немного смутился и опять заговорилъ, что чувствуетъ ко мнѣ уваженіе за мою скромность и благонравіе, и что очень желаетъ, чтобы я его не чуждалась. — Потомъ отозвалъ въ сторону Федору, и подъ какимъ-то страннымъ предлогомъ хотѣлъ дать ей сколько-то денегъ; Федора, разумѣется, не взяла. Наконецъ онъ собрался домой, повторилъ еще разъ всѣ свои увѣренія, сказалъ, что еще разъ ко мнѣ пріѣдетъ и привезетъ мнѣ сережки (кажется, онъ самъ былъ очень смущенъ); совѣтоваль мнѣ перемѣнить квартиру, и рекомендовалъ мнѣ одну прекрасную квартиру, которая у него на примѣтѣ, и которая мнѣ ничего не будетъ стоить; сказалъ, что онъ очень полюбилъ меня за тѣмъ, что я честная и благоразумная дѣвушка, совѣтоваль остерегаться развратной молодежи, и наконецъ объявилъ, что знаетъ Анну Федоровну, и что Анна Федоровна поручила ему сказать мнѣ, что она сама навѣститъ меня. Тутъ я все поняла. Я не знаю, что со мною случилось; въ первый разъ въ жизни я испытывала такое положеніе; я изъ себя вышла; я застыдила его совѣмъ. Федора помогла мнѣ и почти выгна-

да его изъ квартиры. Мы рѣшили, что это все дѣло Анны Ѳедоровны; иначе съ какой стороны ему знать о насъ?

Теперь, я къ вамъ обращаюсь, Макарь Алексѣвичъ, и молю васъ о помощи! Не оставляйте меня, ради Бога, въ такомъ положеніи! Займите; пожалуйста, хоть сколько нибудь достаньте денегъ; намъ не на что съѣхать съ квартиры, а оставаться здѣсь никакъ нельзя болѣе; такъ и Ѳедора совѣтуетъ. Намъ нужно по крайней мѣрѣ рублей 25, я вамъ эти деньги отдамъ; я ихъ заработаю; Ѳедора мнѣ на-дняхъ еще работы достанетъ, такъ, что если васъ будутъ останавливать большіе проценты, то вы не смотрите на нихъ, и согласитесь на все. Я вамъ все отдамъ, только ради Бога не оставьте меня помощію. Мнѣ многого стоитъ покоить васъ теперь, когда вы въ такихъ обстоятельствахъ, но на васъ однихъ вся надежда моя! Прошайте, Макарь Алексѣвичъ, подумайте обо мнѣ, и дай вамъ Богъ успѣха!

В. Д.

Августа 4.

Голубчикъ мой, Варвара Алексѣевна!

Вотъ эти-то всѣ удары неожиданные и потрясають меня! Вотъ такія-то бѣдствія страшныя и убиваютъ духъ мой! Кромѣ того, что сбродъ этихъ лизоблюдниковъ разныхъ и старикашекъ негодныхъ васъ, моего ангельчика, на болѣзненный одръ свести хочетъ, кромѣ этого всего они и меня, лизоблюды-то эти, извести хотятъ. И изведутъ, изведутъ, клятву кладу, что изведутъ! Вѣдь вотъ я теперь скорѣе умирать готовъ, чѣмъ вамъ не помочь! — Не помоги я вамъ, такъ ужъ тутъ смерть моя, Варишка, тутъ ужъ чистая, настоящая смерть, а помоги, такъ вы тогда у меня улетите какъ

пташка изъ гнѣздышка, которую совы-то эти, хищныя птицы заклевать собрались. Вотъ это-то меня и мучаетъ, маточка! Да и вы-то, Варинька, вы-то какія жестоки! Какъ же вы это? Васъ мучаютъ, васъ обижаютъ, вы, птенчикъ мой, страдаете, да еще горюете, что меня беспокоить нужно, да еще общаетесь долгъ заработать, то-есть, по правдѣ сказать, убиваться будете съ вашимъ здоровьемъ слабенькимъ, чтобъ меня къ сроку выручить. Да вѣдь вы, Варинька, только подумайте о чемъ вы толкуете! Да зачѣмъ же вамъ шить, зачѣмъ же работать, головку свою бѣдную заботою мучить, ваши глазки хорошенькіе портить, и здоровье свое убивать? Ахъ, Варинька, Варинька! видите ли, голубчикъ мой, я никуда не гожусь, и самъ знаю, что никуда не гожусь, но я сдѣлаю такъ, что буду годиться! Я все превозмогу, я самъ работы посторонней достану, переписывать буду разныя бумаги, разнымъ литераторамъ, пойду къ нимъ, самъ пойду, навяжусь на работу; потому-что вѣдь они, маточка, ищутъ хорошихъ писцовъ, ищутъ, я это знаю, что ищутъ, а вамъ себя изнурять не дамъ, пагубнаго такого намѣренія не дамъ вамъ исполнить. Я, ангельчикъ мой, непременно займу, и скорѣе умру, чѣмъ не займу. И пишете, голубушка вы моя, чтобы я проценту не испугался большаго; и не испугаюсь, маточка, не испугаюсь, ничего теперь не испугаюсь. Я, маточка, попрошу 40 рублей ассигнаціями; вѣдь не много, Варинька, какъ вы думаете? Можно ли сорокъ-то рублей миѣ съ перваго слова повѣрить? то-есть я хочу сказать, считаете ли вы меня способнымъ внушить, съ перваго взгляда, вѣроятіе и довѣренность? По фізіономіи-то, по первому взгляду можно ли судить обо миѣ благопріятнымъ образомъ? Вы припомните, ангельчикъ, способенъ ли я ко внушенію-то? Какъ вы тамъ отъ себя полагаете? Знаете ли, страхъ такой чувствуется,—болѣзненно, истинно

сказать болѣзненно! Изъ сорока рублей двадцать пять отлагаю на васъ, Варинька, два цѣлковыхъ хозяйкѣ, а остальное назначаю для собственной траты. Видите ли, маточка, хозяйкѣ-то слѣдовало бы дать и побольше, даже необходимо; но вы сообразите все дѣло, маточка, перечтите—ка всѣ мои нужды, такъ и увидите, что ужь никакъ нельзя болѣе дать, слѣдовательно, нечего и говорить объ этомъ, да и упоминать не нужно. На рубль серебромъ куплю сапоги; я ужь и не знаю способенъ ли я буду въ старыхъ—то завтра въ должность явиться. Платочекъ шейной тоже былъ бы необходимъ, ибо старому скоро годъ минеть; но такъ какъ вы мнѣ изъ стараго фартучка вашего не только платочекъ, но и манишку выкроить обѣщались, то я о платочкѣ и думать больше не буду. Такъ вотъ сапоги и платочекъ есть. Теперь пуговицы, дружокъ мой, пуговицы! вѣдь вы согласитесь, крошечка моя, что мнѣ безъ пуговокъ быть нельзя; а у меня чуть-ли не половина борта обсыпалась! Я трепещу, когда подумаю, что его превосходительство могутъ такой безпорядокъ замѣтить, да скажутъ — да что скажутъ! Я, маточка, и не услышу, что скажутъ; ибо умру, умру, на мѣстѣ умру, такъ-таки возьму да и умру отъ стыда, отъ мысли одной! — Охъ, маточка! — Да вотъ еще останется отъ всѣхъ потребностей трехъ-рублевикъ; такъ вотъ это на жизнь, и на пол-фунтика табачку; потому что, ангельчикъ мой, я безъ табачку—то жить не могу, а ужь вотъ девятый день трубки въ ротъ не бралъ. Я бы, по совѣсти говоря, купилъ бы, да и вамъ ничего не сказалъ, да совѣстно. Вотъ у васъ тамъ бѣда, вы послѣдняго лишаетесь, а я здѣсь разными удовольствіями наслаждаюсь; такъ вотъ для того и говорю вамъ все это, чтобы угрызения совѣсти послѣ не мучили. Я вамъ откровенно признаюсь, Варинька, я теперь въ крайне-бѣдственномъ положеніи, то есть рѣшитель-

но ничего подобнаго никогда со мной не бывало. Хозяйка презираетъ меня, уваженія ни отъ кого нѣтъ никакого; недостатки страшнѣйшіе, долги, а въ должности, гдѣ отъ своего брата чиновника и прежде мнѣ не было масляницы, теперь, — теперь, маточка, и говорить нечего. Я скрываю, я тщательно отъ всѣхъ все скрываю, и самъ скрываюсь, и въ должность-то вхожу когда, такъ бочкомъ-бочкомъ, сторонюсь ото всѣхъ. Вѣдь это вамъ только признаться достаесть у меня силы душевной.... А ну, какъ не дасть! Ну, нѣтъ, лучше, Варинька, и не думать объ этомъ, и такими мыслями заранѣе не убивать души своей. Къ тому и пишу это, чтобы предостеречь васъ, чтобы сами вы объ этомъ не думали и мыслию злою не мучились. Ахъ, Боже мой, что это съ вами-то будетъ тогда! Оно правда и то, что вы тогда съ этой квартиры не съѣдете, и я буду съ вами, — да, нѣтъ, нѣтъ, ужъ я и не ворочусь тогда, а просто сгину куда-нибудь, пропаду. Вотъ я вамъ здѣсь расписался, а побриться бы нужно, оно все благообразнѣе, а благообразіе всегда умѣетъ найдти. Ну, дай-то Господи! Помолюсь, да и въ путь!

М. Дьвушкинъ.

Августа 5.

Любезнѣйшій Макаръ Алексѣевичъ.

Ужъ хоть вы-то бы не отчаявались! И такъ горя довольно. — Посылаю вамъ тридцать копеекъ серебромъ; больше никакъ не могу. Купите себѣ тамъ что вамъ болѣе нужно, чтобы хоть до завтра прожить какъ-нибудь. У насъ у самихъ почти ничего не осталось, а завтра ужъ и не знаю что будетъ. Грустно, Макаръ Алексѣевичъ! Впрочемъ, не грустите; не удалось такъ что жъ дѣлать! Федора говоритъ, что еще не бѣда, что можно до времени и на этой квартирѣ остаться, что еслибы и переѣхали, такъ все бы не много выгада-

ли, и что если захотятъ, такъ вездѣ насъ найдутъ. Да только все какъ-то не хорошо здѣсь оставаться теперь. Еслибы не грустно было, я бы вамъ кое-что написала.

Какой у васъ странный характеръ, Макаръ Алексѣвичъ! Вы ужь слишкомъ-сильно все принимаете къ сердцу; отъ этого вы всегда будете несчастнѣйшимъ человѣкомъ. Я внимательно читаю всѣ ваши письма, и вижу, что въ каждомъ письмѣ вы обо мнѣ такъ мучитесь и заботитесь, какъ никогда о себѣ не заботились. Всѣ, конечно, скажутъ, что у васъ доброе сердце, но я скажу, что оно ужь слишкомъ доброе. Я вамъ даю дружескій совѣтъ, Макаръ Алексѣвичъ. Я вамъ благодарна, очень благодарна, за все, что вы для меня сдѣлали, я все это очень чувствую; такъ судите же, каково мнѣ видѣть, что вы и теперь, послѣ всѣхъ вашихъ бѣдствій, которыхъ я была невольною причиною, — что и теперь живете только тѣмъ, что я живу: моими радостями, моими горестями, моимъ сердцемъ! Если принимать все чужое такъ къ сердцу, если такъ сильно всему сочувствовать, то право, есть отъ-чего быть несчастнѣйшимъ человѣкомъ. Сегодня, когда вы вошли ко мнѣ послѣ должности, я испугалась глядя на васъ. Вы были такой блѣдный, перепуганный, отчаянный; на васъ лица не было, — и все отъ-того, что вы боялись мнѣ рассказать о своей неудачѣ, боялись меня огорчить, меня испугать, а какъ увидѣли, что я чуть не засмѣялась, то у васъ почти все отлегло отъ сердца. Макаръ Алексѣвичъ! — вы не печальтесь, не отчаявайтесь, будьте благоразумнѣе, — прошу васъ, умоляю васъ объ этомъ. Ну, вотъ вы увидите, что все будетъ хорошо, все переменится къ лучшему; а то вамъ тяжело будетъ жить, вѣчно тоскуя, и болѣя чужимъ горемъ. Прощайте, мой другъ; умоляю васъ не безпокойтесь слишкомъ обо мнѣ.

В. Д.

Августа 5.

Голубчикъ мой Варинька!

Ну, хорошо, ангельчикъ мой, хорошо! Вы рѣшили, что еще не бѣда отъ-того, что я денегъ не достала. Ну, хорошо; я спокоенъ, я счастливъ на вашъ счетъ! Даже радъ, что вы меня-то старика не покидаете, и на этой квартирѣ останетесь. Да ужъ если все говорить, такъ и сердце-то мое все радостію переполнилось, когда я увидѣлъ, что вы обо мнѣ, въ своемъ письмецѣ, такъ хорошо написали, и чувствую моимъ должную похвалу воздали. Я это не отъ гордости говорю, но отъ-того, что вижу какъ вы меня любите, когда объ сердцѣ моемъ такъ беспокоитесь. Ну, хорошо, что ужъ теперь объ сердцѣ-то моемъ говорить! Сердце само-по-себѣ; — а вотъ вы наказываете, маточка, чтобы я малодушнымъ не былъ. Да я, ангельчикъ мой, пожалуй и самъ скажу, что не нужно его, малодушія-то; да, при всемъ этомъ, рѣшите сами, маточка моя, въ какихъ сапогахъ я завтра на службу пойду! — Вотъ оно что, маточка; а вѣдь подобная мысль погубить человѣка можетъ, совершенно погубить. А главное, родная моя, что я не для себя и тужу, не для себя и страдаю; по мнѣ все равно, хоть бы и въ трескучій морозъ безъ шинели и безъ сапоговъ ходить, я перетерплю, я за нуждой перетерплю и все вынесу, мнѣ ничего; чловѣкъ-то я простой, маленькой; — но что люди скажутъ? — Враги-то мои, злые-то языки эти всѣ, что заговариваютъ, когда безъ шинели пойдешь? Вѣдь для людей и въ шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для нихъ же носишь. Сапоги, въ такомъ случаѣ, маточка, душечка вы моя, нужны мнѣ для поддержки чести и добраго имени, въ дырявыхъ же сапогахъ и то и другое пропало, повѣрьте, маточка, опытности моей многолѣтней повѣрьте; меня старика, знающаго свѣтъ

и людей, послушайте, а не пачкуновъ какихъ-нибудь и марателей.

А я вамъ еще и не рассказывалъ въ подробности, маточка, какъ это въ сущности все было сегодня, чего я натерпѣлся сегодня. А того я натерпѣлся, маточка, столько тяготы душевной въ одно утро вынесъ, чего иной и въ цѣлый годъ не вынесетъ. Вотъ оно было какъ: — Пошелъ, во-первыхъ я, ранымъ-ранѣшенько, чтобы и его-то застать, да и на службу посгѣть. Дождь былъ такой, слякоть такая была сегодня! Я, ясочка моя, въ шинельку-то закутался, иду-иду, да все думаю: — Господи! Прости, дескать, мои согрѣшенія, и пошли исполненіе желаній. Мимо — ской церкви прошелъ, перекрестился, во веѣхъ грѣхахъ покался, да вспомнилъ, что недостойно мнѣ съ Господомъ Богомъ уговариваться. Погрузился я въ себя самого, и глядѣть ни на что не хотѣлось, такъ ужъ не разбирая дороги пошелъ. На улицахъ было пусто, а кто встрѣчался, такъ все такіе занятые, сердитые, озабоченные, да и не диво: кто въ такую пору раннюю, и въ такую погоду гулять пойдетъ! Артель работниковъ испачканныхъ повстрѣчалась со мною; затолкали меня мужичье! Робость нашла на меня, жутко становилось, ужъ я объ деньгахъ-то и думать, по правдѣ, не хотѣлъ, — на авось такъ на авось! У самага Воскресенскаго Моста у меня подошва отстала, такъ что ужъ и самъ не знаю на чемъ я пошелъ. А тутъ нашъ писарь Ермолаевъ повстрѣчался со мною, вытянулся, стоитъ, глазами провожаетъ, словно на водку просить; экъ, братецъ, подумалъ я, на водку, ужъ какая тутъ водка! Усталъ я ужасно, пріостановился, отдохнулъ немного да и потянулся дальше. Нарочно разглядывалъ, къ чему бы мыслями прилѣпиться, развлечься, пріободриться, да нѣтъ; ни одной мысли ни къ чему не могъ прилѣпиться, да и загрязнился въ добавокъ такъ, что самого себя

стыдно стало. Увидѣлъ наконецъ я издали домигъ деревянный, жолтенькой съ мезониномъ, въ родѣ бельведерчика — ну, такъ, думаю, такъ, оно и есть, такъ и Емельянъ Ивановичъ говорилъ, — Маркова домъ. (Онъ и есть этотъ Марковъ, маточка, что на проценты даетъ.) Я ужъ и себя тутъ не вспомнилъ, и вѣдъ зналъ что Маркова домъ, а спросилъ—таки у будочника — чей дескать это, братецъ, домъ? Будочникъ такой грубіанъ, говоритъ нехотя, словно сердится на кого-то, слова сквозь зубы цѣдитъ, — да ужъ такъ говоритъ, это Маркова домъ. — Будочники эти все такіе нечувствительные, — а что мнѣ будочникъ? — А вотъ все какъ-то было впечатлѣніе дурное и непріятное, словомъ все одно къ одному; изо всего что-нибудь выведешь сходное съ своимъ положеніемъ, и это всегда такъ бываетъ. Мимо дома-то я три конца далъ по улицѣ, и чѣмъ больше хожу, тѣмъ хуже становится; — нѣтъ, думаю, не дастъ, не дастъ, ни за что не дастъ! И человѣкъ-то я незнакомый, и дѣло-то мое щекотливое, и фигурой я не беру — ну, думаю, какъ судьба рѣшитъ; чтобы послѣ только не каяться, за попытку не съѣдятъ же меня, — да и отворилъ потихоньку калитку. А тутъ другая бѣда: навязалась на меня дрянная, глупая собаченка дворная; лѣзетъ изъ кожи, заливаается! — И вотъ такіе-то подлые, мелкіе случаи и взбѣсятъ всегда человѣка, маточка, и робость на него наведутъ, и всю рѣшимость, которую заранѣе обдумалъ, уничтожатъ; такъ что я вошелъ въ домъ ни живъ ни мертвъ, вошелъ да прямо еще на бѣду, — не разглядѣлъ что такое внизу въ потьмахъ у порога, ступилъ да и споткнулся объ какую-то бабу, а баба молоко изъ подойника въ кувшины цѣдила, и все молоко пролила. Завизжала, затрещала глупая баба, — дескать куда ты батюшка лѣзешь, чего тебѣ надо? да и пошла причитать про нелегкое. Я, маточка, это къ

тому замѣчаю, что всегда со мной такое же случалось въ подобнаго рода дѣлахъ; знать ужь мнѣ написано такъ; вѣчно—то я зацѣплюсь за что—нибудь постороннее. Высунулась на шумъ старая вѣдьма и чухонка хозяйка, я прямо къ ней — здѣсь дескать Марковъ живетъ? Нѣтъ, говоритъ; постояла, оглядѣла меня хорошенько. — «А вамъ что до него?» Я объясняю ей, что дескать такъ и такъ, Емельянъ Ивановичъ, — ну, и про остальное; говорю дѣльцо есть. Старуха кликнула дочку — вышла и дочка, дѣвочка въ лѣтахъ, босоногая, — «кликни отца; онъ на верху у жильцевъ, — пожалуйте». Вошелъ я, комнатка ничего, на стѣнахъ картинки висятъ, все генераловъ какихъ—то портреты, диванъ стоитъ, столъ круглый, резеда, балзамнички — думаю-думаю не убраться ли полно мнѣ по добру по здорову, уйти или нѣтъ? и вѣдь ей—ей, маточка, хотѣлъ убѣжать! Я лучше, думаю, завтра прійду; и погода лучше будетъ, и я-то пережду, — а сегодня вонъ и молоко пролито, и генералы—то смотреть такіе сердитые.... Я ужь и къ двери, да онъ-то вошелъ — такъ себѣ, сѣденькой, глазки такіе вороватенькіе, въ халатѣ засаленномъ и веревочкой подпоясанъ. Освѣдомился въ чемъ и какъ, а я ему: дескать такъ и такъ, вотъ Емельянъ Ивановичъ, — рублей сорокъ, говорю; дѣло такое, да и не договорилъ. Изъ глазъ его увидалъ, что проиграно дѣло. Нѣтъ, ужь что, говоритъ дѣло, у меня денегъ нѣтъ; а что у васъ закладъ что ли какой. Я было сталъ объяснять, что дескать заклада нѣтъ, а вотъ, Емельянъ Ивановичъ, — объясняю, однимъ словомъ, что нужно. Выслушалъ все — нѣтъ, говоритъ, что Емельянъ Ивановичъ! у меня денегъ нѣтъ. — Ну, думаю, такъ, все такъ; зналъ я про это, предчувствовалъ — ну, просто, Варилька, лучше бы было, еслибы земля подо мной разстушилась; холодъ такой, ноги окоченѣли, мурашки по спинѣ пробѣжали. Я на него

смотрю, а онъ на меня смотритъ, да чуть не говоритъ — что дескать ступай-ка ты, братъ, здѣсь тебѣ нечего дѣлать — такъ что, еслибъ въ другомъ такомъ случаѣ было бы такое же, такъ совѣмъ бы засовѣстился.— Да что вамъ, зачѣмъ деньги надобны?—(вѣдь вотъ про что спросилъ, маточка.) Я было ротъ разинулъ, чтобы только такъ не стоять даромъ, да онъ и слушать не сталъ— нѣтъ, говоритъ, денегъ нѣтъ; я бы, говоритъ, съ удовольствіемъ. Ужь я ему представлялъ-представлялъ, говорю, что вѣдь я немножко, я, дескать, говорю, вамъ отдамъ, въ срокъ отдамъ, и что я еще до срока отдамъ, что и процентъ пусть какой угодно беретъ, и что я ей-Богу отдамъ. Я, маточка, въ это мгновеніе васъ вспомнилъ, всѣ ваши несчастія и нужды вспомнилъ, вашъ полтинничекъ вспомнилъ — да нѣтъ, говоритъ, что проценты, вотъ еслибъ закладъ! А то у меня денегъ нѣтъ, ей-Богу нѣтъ; я бы, говоритъ, съ удовольствіемъ; — еще и побожился, разбойникъ!

Ну, тутъ ужь, родная моя, я и не помню какъ вышелъ, какъ прошелъ Выборгскую, какъ на Воскресенскій мостъ попалъ, усталъ ужасно, прозябъ, продрогъ и только въ десять часовъ въ должность успѣлъ явиться. Хотѣлъ-было себя пообчистить отъ грязи, да Снегиревъ сторожъ сказалъ, что нельзя, что щетку испортишь, а щетка, говоритъ, баринъ, казенная. Вотъ они какъ теперь, маточка, такъ что я и у этихъ господъ чуть ли не хуже ветошки, объ которую ноги обтираютъ. Вѣдь меня что, Варинька, убиваетъ? — Не деньги меня убиваютъ, а всѣ эти тревоги житейскія, всѣ эти шопоты, улыбочки, шуточки. Его превосходительство невзначай, какъ-нибудь могутъ отнестись на мой счетъ — охъ, маточка, времена-то мои прошли золотыя! Сегодня перечиталъ я всѣ ваши письма; грустно, маточка! Прощайте, родная, Господь васъ храни!

М. Дьвушкинъ.

Р. С. Горе—то мое, Варинька, хотѣлъ я вамъ описать по-поламъ съ шуточкой, только видно она не дается мнѣ, шуточка—то. Вамъ хотѣлъ угодить. — Я къ вамъ зайду, маточка, непременно зайду, завтра зайду.

Августа 11.

Вара Алексѣевна! голубчикъ мой, маточка! Пропала я, пропали мы оба, оба вмѣстѣ, безвозвратно пропали. Моя репутація, амбиція — все замарано, все потеряно! Я погибъ, и вы погибли, маточка, и вы, вмѣстѣ со мной, безвозвратно погибли! Это я, я васъ въ погибель ввелъ! Меня гонять, маточка, презирають, на смѣхъ поднимають, а хозяйка просто меня бранить стала; кричала—кричала на меня сегодня, распекала—распекала меня, ниже шеи поставила. А вечеромъ у Ратазьева, кто-то изъ нихъ сталъ вслухъ читать одно письмо черновое, которое я вамъ написалъ, да вырвали невзначай изъ кармана. Матушка моя, какую они насмѣшку подняли! Величали—величали насъ, хохотали—хохотали, предатели! Я вошелъ къ нимъ, и уличилъ Ратазьева въ вѣроломствѣ; сказалъ ему, что онъ предатель. А Ратазьевъ отвѣчалъ мнѣ, что я самъ предатель, что я конкетами разными занимаюсь; говоритъ, — вы скрывались отъ насъ, вы дескать Ловеласъ; и теперь всѣ меня Ловеласомъ зовутъ, и имени другаго нѣтъ у меня! Слышите ли, ангельчикъ мой, слышите ли — они теперь все знаютъ, обо всемъ извѣстны, и объ васъ, родная моя, знаютъ, и обо всемъ, что ни есть у васъ, обо всемъ знаютъ! Да чего! и Фальдони туда же, и онъ заодно съ ними; послалъ я его сегодня въ колбасную, такъ, принести кой—чего; не идетъ да и только, дѣло есть, говоритъ! Да вѣдь ты жъ обязанъ, — я говорю. — «Да нѣтъ же, говоритъ, не обя-

занъ; вы вонъ моей барыни денегъ не платите, такъ я вамъ и не обязанъ.» Я не вытерпѣлъ отъ него, отъ необразованнаго мужика, оскорбленія, да и сказала ему дурака; а онъ мнѣ — «отъ дурака слышалъ». Я думаю, что онъ съ пьяныхъ глазъ мнѣ такую грубость сказала — да и говорю, ты, дескать, пьянъ, мужикъ ты этакой! а онъ мнѣ: — «вы что ли мнѣ поднесли-то? У самихъ-то есть ли на что опохмѣлиться; сами у какой-то по гривенничку христарадничаете», да еще прибавилъ: — «эхъ, дескать, а еще баринъ!» Вотъ, ма-точка, вотъ до чего дошло дѣло! Жить, Варинька, совѣстно! точно оглашенный какой нибудь; хуже чѣмъ безпаспортному бродягѣ какому-нибудь. Бѣдствія тяжкія! — погибъ я, просто погибъ! безвозвратно погибъ!

М. Д.

Августа 13.

Любезнѣйшій Макаръ Алексѣевичъ! Надъ нами все бѣды да бѣды, я ужъ и сама не знаю, что дѣлать! Что съ вами-то будетъ теперь, а на меня надежда плохая; — я сегодня обожгла себѣ уютюгомъ лѣвую руку; уронила печаянно, и ушибла и обожгла, все вмѣстѣ. Работать никакъ нельзя, а Федора ужъ третій день хвораетъ. Я въ мучительномъ безпокойствѣ. Посылаю вамъ тридцать копеекъ серебромъ; это почти все послѣднее наше, а я, Богъ видитъ какъ желала бы вамъ помочь теперь въ вашихъ нуждахъ. До слезъ досадно! Прощайте, другъ мой! Весьма бы вы утѣшили меня, еслибъ пришли къ намъ сегодня.

В. Д.

Августа 14

Макаръ Алексѣевичъ! что это съ вами? Бога вы не боитесь вѣрно! Вы меня просто съ ума сведете. Не

стыдно ли вамъ! Вы себя губите, вы подумайте только о своей репутаціи! Вы человѣкъ честный, благородный, амбиціонный — ну, какъ всё узнають про васъ! Да вы просто со стыда должны будете умереть! Или не жаль вамъ сѣдыхъ волосъ вашихъ? Ну, боитесь ли вы Бога! Оедора сказала, что уже теперь не будетъ вамъ болѣе помогать, да и я тоже вамъ денегъ давать не буду.—До чего вы меня довели, Макаръ Алексѣвичъ! Вы думаете вѣрно, что мнѣ ничего, что вы такъ дурно ведете себя; вы еще не знаете, что я изъ-за васъ терплю! Мнѣ по нашей лѣстницѣ и пройти нельзя; всё на меня смотрятъ; пальцемъ на меня указываютъ, и такія странныя вещи говорятъ; — да прямо говорятъ, что *связалась я съ пьяницей!* Каково это слышать! Когда васъ привозятъ, то на васъ всё жильцы съ презрѣніемъ указываютъ. — Вотъ, говорятъ, того чиновника привезли! А мнѣ-то за васъ мочи нѣтъ какъ совѣстно. Клянусь вамъ, что я переѣду отсюда. Пойду куда-нибудь въ горничныя, въ прачки, а здѣсь не останусь. Я вамъ писала, чтобъ вы зашли ко мнѣ, а вы не зашли. Знать вамъ ничего мои слезы и просьбы, Макаръ Алексѣвичъ! И откуда вы денегъ достали? Ради Создателя поберегитесь. Вѣдь пропадете, ни за что пропадете! И стыдъ-то и срамъ-то какой! Васъ хозяйка и впустить вчера не хотѣла, вы въ сѣняхъ почевали; я все знаю. Еслибъ вы знали какъ мнѣ тяжело было, когда все это узнала. Приходите ко мнѣ! вамъ будетъ у насъ весело; мы будемъ вмѣстѣ читать, будемъ старое вспоминать. Оедора о своихъ богомольныхъ странствіяхъ рассказывать будетъ. Ради меня, голубчикъ мой, не губите себя и меня не губите. Вѣдь я для васъ для одного и живу, для васъ и остаюсь съ вами. Такъ-то вы теперь! Будьте благороднымъ человѣкомъ, твердымъ въ несчастіяхъ; помните, что бѣдность не порокъ. Да и чего отчаяваться; это все временное! Дастъ Богъ все

поправится, только вы-то удержитесь теперь. Посылаю вамъ двугривенный; купите себѣ табаку, или все-го что вамъ захочется, только ради Бога на дурное не тратьте. Приходите къ намъ, непременно приходите. Вамъ, можетъ-быть, какъ и прежде, стыдно будетъ; но вы не стыдитесь; это ложный стыдъ. Только бы вы искреннее раскаяніе принесли. Надѣйтесь на Бога, Онъ все устроить къ лучшему.

В. Д.

Августа 19.

Барвара Алексѣевна, маточка!

Стыдно мнѣ, ясочка моя, Барвара Алексѣевна, совсемъ стыдно. Впрочемъ, что же тутъ такого, маточка, особеннаго? Отъ-чего же сердца своего не поразвеселить? Я тогда про подошвы мои и не думаю; потому-что подошва вздоръ, и всегда останется простой, подлой, грязной подошвой. Да, и сапоги тоже вздоръ! — И мудрецы греческіе безъ сапогъ хаживали, такъ чего же нашему-то брату съ такимъ недостойнымъ предметомъ нянчиться? За что жь обижать, за что жь презирать меня въ такомъ случаѣ? Эхъ маточка, маточка, нашли что писать! А Ѳедоръ скажите, что она баба вздорная, безпокойная, буйная, и въ добавокъ глупая, невыразимо глупая! Что же касается до сѣдины моей, то и въ этомъ вы ошибаетесь, родная моя; потому-что я вовсе не такой старикъ, какъ вы думаете. Емеля вамъ кланяется. Пишете вы, что сокрушались и плакали; а я вамъ пишу, что я тоже сокрушался и плакалъ. Въ заключаніе же, желаю вамъ всякаго здоровья и благополучія, а что до меня касается, то я тоже здоровъ и благополученъ и пребываю вашимъ, ангельчикъ мой, другомъ

Макаромъ Двѣушкинымъ.

Августа 21.

Милостивая государыня и любезный другъ
Барвара Алексѣевна!

Чувствую, что я виноватъ, чувствую, что я провинился передъ вами, да и по моему, выгоды-то изъ этого нѣтъ никакой, маточка, что я все это чувствую, ужь что вы тамъ ни говорите. Я и прежде проступка моего все это чувствовалъ, но вотъ упалъ же духомъ, съ сознаниемъ вины упалъ. Маточка моя, я не золь и не жестокосердентъ; а для того, что бы растерзать сердечко ваше, голубка моя, нужно быть ни болѣе ни менѣе, какъ кровожаднымъ тигромъ, ну, а у меня сердце овечье, и я, какъ и вамъ извѣстно, не имѣю позыва къ кровожадности: слѣдственно, ангельчикъ мой, я и не совѣмъ виноватъ въ проступкѣ моемъ, такъ же какъ ни сердце, ни мысли мои не виноваты; а ужь такъ я и не знаю что виновато. Ужь такое дѣло темное, маточка! Тридцать копеекъ серебромъ мнѣ прислали, а потомъ прислали двугривенничекъ; у меня сердце и заныло глядя на ваши сиротскія денежки. Сами ручку свою обожгли, голодать скоро будете, а пишете, чтобъ я табачку купилъ. Ну какъ же мнѣ было поступить, въ такомъ случаѣ? Или ужь такъ, безъ зазрѣнія совѣсти, подобно разбойнику васъ сироточку начать грабить! Тутъ-то я и упалъ духомъ, маточка; т. е. сначала, чувствуя по неволѣ, что никуда не гожусь и что я самъ немногимъ развѣ получше подошвы своей, счель неприличнымъ принимать себя за что-нибудь значущее, а напротивъ, самого себя сталъ считать чѣмъ-то неприличнымъ, и въ нѣкоторой степени неблагопристойнымъ. Ну, а какъ потерялъ къ себѣ самому уваженіе, какъ предался отрицанію добрыхъ качествъ своихъ и своего достоинства, такъ ужь тутъ и все пропадай; тутъ ужь и паденіе, неминуемое паденіе! Это

такъ уже судьбою опредѣлено, и я въ этомъ не виновать. Я сначала вышелъ немножко поосвѣжиться. Тутъ ужь все пришлось одно къ одному: и природа была такая слезливая, и погода холодная, и дождь; ну и Емеля тутъ же случился. Онъ, Варинька, уже все заложилъ, что имѣлъ, все у него пошло въ свое мѣсто, и какъ я его встрѣтилъ, такъ онъ уже двое сутокъ маковой росинки во рту не видалъ, такъ что ужь хотѣлъ такое закладывать, чего никакъ и заложить нельзя, за тѣмъ что и закладовъ такихъ не бываетъ. Ну, что же, Варинька, уступилъ я болѣе изъ состраданія къ человѣчеству, чѣмъ по собственному влеченію. Такъ вотъ какъ грѣхъ этотъ произошелъ, маточка! Мы ужь какъ вмѣстѣ съ нимъ плакали! Васъ вспоминали. Онъ предобрый, онъ очень добрый человѣкъ, и весьма чувствительный человѣкъ. Я, маточка, самъ все это чувствую; со мной потому и случается-то все такое, что я очень все это чувствую. Я знаю, чѣмъ я вамъ, голубчикъ вы мой, обязанъ! Узнавъ васъ, я сталъ во-первыхъ и самого-себя лучше знать, и васъ сталъ любить; а до васъ, ангельчикъ мой, я былъ одинокъ и какъ будто спалъ, а не жилъ на свѣтѣ. Они, злодѣи-то мои, говорили, что даже и фигура моя неприличная, и гнушались мною, ну и я сталъ гнушаться собою; говорили что я тупъ, я и въ-самомъ-дѣлѣ думалъ, что я тупъ, а какъ вы мнѣ явились, то вы всю мою жизнь освѣтили темную, такъ что и сердце и душа моя освѣтились и я обрѣлъ душевный покой, и узналъ, что и я не хуже другихъ; что только такъ, не блещу ничѣмъ, лоску нѣтъ, тону нѣтъ, но все-таки я человѣкъ, что сердцемъ и мыслями я человѣкъ. Ну, а теперь, почувствовавъ, что я гонимъ судьбою, что униженный ею преданъ отрицанію собственнаго своего достоинства, я, удрученный моими бѣдствіями, и упалъ духомъ. И такъ какъ вы теперь все знаете, маточка, то я и умоляю васъ

слезно не любопытствовать болѣе объ этой материн; ибо сердце мое разрывается, и мнѣ становится и горько и тягостно.

Свидѣтельствую, маточка, вамъ почтеніе мое и пребываю вашимъ вѣрнымъ

Макаромъ Дьвушкинымъ.

Сентября 3.

Я не докончила прошлаго письма, Макарь Алексѣвичъ, потому—что мнѣ было тяжело писать. Иногда бываютъ со мной минуты, когда я рада быть одной; одной грустить, одной тосковать, безъ раздѣла, и такія минуты начинаютъ находить на меня все чаще и чаще. Въ воспоминаніяхъ моихъ есть что—то такое необъяснимое для меня, что увлекаетъ меня такъ безотчетно, такъ сильно, что я по нѣскольку часовъ бываю безчувственна ко всему меня окружающему и забываю все, все настоящее. И нѣтъ впечатлѣній въ тепершней жизни моей, пріятнаго ль, тяжелаго, грустнаго, которое бы не напоминало мнѣ чего нибудь подобнаго же въ прошедшемъ моемъ, и чаще всего мое дѣтство, мое золотое дѣтство! Но мнѣ становится всегда тяжело послѣ подобныхъ мгновений. Я какъ—то слабѣю; моя мечтательность изнуряетъ меня, а здоровье мое безъ того все хуже и хуже становится.

Но сегодня свѣжее, яркое, блестящее утро, утро какихъ мало здѣсь осенью, оживило меня, и я радостно его встрѣтила. И такъ у насъ уже осень! Какъ я любила осень въ деревнѣ! Я еще ребенкомъ была, но и тогда уже много чувствовала. Осенній вечеръ я любила больше чѣмъ утро. Я помню, въ двухъ шагахъ отъ нашего дома, подъ горой, было озеро. Это озеро — я какъ—будто вижу его теперь, — это озеро было такое широкое, ровное, свѣтлое, чистое, какъ хрусталь! Бы-

вало, если вечеръ тихъ — озеро покойно; на деревьяхъ, что по берегу росли, листкомъ не шелохнетъ, вода неподвижна, словно зеркало. Свѣжо! холодно! Падаютъ роса на траву, въ избахъ на берегу засвѣтятся огоньки, стадо пригоняетъ — тутъ-то я и ускользну тихонько изъ дому, чтобы посмотреть на мое озеро, и засмотрюсь бывало. Какая-нибудь вязанка хворосту горитъ у рыбаковъ у самой воды, и свѣтъ далеко-далеко по водѣ льется. Небо такое холодное, синее, и по краямъ разведено все красными, огненными полосами, и эти полосы все блѣднѣе и блѣднѣе становятся; выходитъ мѣсяць; воздухъ такой звонкой, порхнетъ ли испуганная пташка, камышь ли зазвѣнитъ отъ легонькаго вѣтерочка, или рыбка всплеснется въ водѣ, — все бывало слышно. По синей водѣ встаетъ бѣлый паръ, тонкой, прозрачный. Даль темнѣетъ: все какъ-то тонетъ въ туманѣ, а вблизи такъ все рѣзко обточено, словно рѣзцомъ обрѣзано — лодка, берегъ, острова; — бочка какая-нибудь, брошенная, забытая у самага берега, чуть-чуть колыхается на водѣ, вѣтка ракитовая съ пожелтѣлыми листьями путается въ камышѣ, — вспорхнетъ чайка запоздавая, то окунется въ холодной водѣ, то опять вспорхнетъ и утонетъ въ туманѣ — я засматривалась, заслушивалась, — чудно хорошо было мнѣ! А я еще была ребенокъ, дитя!...

Я такъ любила осень, — позднюю осень, когда уже уберутъ хлѣба, окончатъ всѣ работы, когда уже въ избахъ начнутся посидѣлки, когда уже всѣ ждутъ зимы. Тогда все становится мрачнѣе, небо хмурится облаками, желтые листья стелятся тропами по краямъ обнаженнаго лѣса, а лѣсъ синѣетъ, чернѣетъ — особенно вечеромъ, когда спустится сырой туманъ, и деревья мелькаютъ изъ тумана какъ великаны, какъ безобразныя, страшныя привидѣнія. Запоздаешь бывало на прогулкѣ, отстанешь отъ другихъ, идешь одна,

спѣшишь, — жутко! Сама дрожишь какъ листь; вотъ, думаешь, того и гляди, выглянетъ кто-нибудь страшный изъ-за этого дупла; между-тѣмъ вѣтеръ пронесется по лѣсу, загудитъ, зашумитъ, завоетъ такъ жалобно, сорветъ тучу листьевъ съ чахлыхъ вѣтокъ, закрутитъ ими по воздуху, и за ними длиною, широкою, шумною стаей, съ дикимъ пронзительнымъ крикомъ пронесутся птицы, такъ что небо чернѣетъ, и все застилается ими. Страшно станеть, а тутъ, точно какъ будто слышишь кого-то, — чей-то голосъ, — какъ-будто кто-то шепчетъ: — «бѣги, бѣги, дитя, не опаздывай; страшно здѣсь будетъ тотчасъ, бѣги дитя!» — ужасъ пройдетъ по сердцу, и бѣжишь-бѣжишь такъ, что духъ занимается. Прибѣжишь запыхавшись домой; дома шумно, весело; раздадутъ намъ всеѣмъ дѣтямъ работу, горохъ или макъ щелушить. Сырья дрова грещать въ печи; матушка весело смотритъ за нашей веселой работой; старая няня, Ульяна, рассказываетъ про старое время, или старинныя сказки про колдуновъ и мертвецовъ. Мы, дѣти, жмемся подружка къ подружкѣ, а улыбка у всеѣхъ на губахъ. Вотъ, вдругъ замолчимъ разомъ.... чу! шумъ! какъ-будто кто-то стучитъ! — Ничего не бывало; это гудитъ самопрялка у старой Фроловны; сколько смѣху бывало! А потомъ ночью не спимъ отъ страха; находятъ такіе страшные сны. Проснешься бывало, шевельнулся не смѣешь и до разсвѣта дрогнешь подъ одѣяломъ. Утромъ встанешь свѣжа какъ цвѣточекъ. Посмотришь въ окно: морозомъ прохватило все поле; тонкій, осенній иней повисъ на обнаженныхъ сучьяхъ; тонкимъ какъ листь льдомъ подернулось озеро; встаетъ бѣлый паръ по озеру; кричатъ веселыя птицы. Солнце свѣтитъ кругомъ яркими лучами, и лучи разбиваютъ въ стекло тонкій ледъ. Свѣтло, ярко, весело! Въ печкѣ опять трещитъ огонекъ; подсядемъ все къ самовару, а въ

окна посматриваетъ продрогшая ночью черная наша собака Полканъ, и привѣтливо махаетъ хвостомъ. Мужичокъ проѣдетъ мимо оконъ на бодрой лошаdkѣ въ лѣсъ за дровами. Всѣ такъ довольны, такъ веселы! На гумнахъ запасено много-много хлѣба; на солнцѣ золотятся крытые соломой скирды большіе-большіе; отраднo смотрѣть! И всѣ спокойны, всѣ радостны; всѣхъ Господь благословилъ урожаемъ; всѣ знаютъ, что будутъ съ хлѣбомъ на зиму; мужичокъ знаетъ, что семья и дѣти его будутъ сыты;—отъ-того по вечерамъ и не умолкаютъ звонкія пѣсни дѣвушекъ и хороводныя игры, отъ-того всѣ съ благодарными слезами молятся въ домѣ Божіемъ въ праздникъ Господень!... Ахъ какое золотое-золотое было дѣтство мое!...

Вотъ я и расплакалась теперь какъ дитя, увлекаясь моими воспоминаніями. Я такъ живо, такъ живо все припомнила, такъ ярко стало передо-мною все прошедшее, а настоящее такъ тускло, такъ темно!... Чѣмъ это кончится, чѣмъ это все кончится? Знаете ли, у меня есть какое-то убѣжденіе, какая-то увѣренность, что я умру нынче осенью. Я очень-очень больна. Я часто думаю о томъ, что умру, но все бы мнѣ не хотѣлось такъ умереть, — въ здѣшней землѣ лежать. Можетъ-быть, я опять слягу въ постель, какъ и тогда, весной, а я еще оправиться не успѣла. Вотъ и теперь мнѣ очень тяжело. Федора сегодня ушла куда-то на цѣлый день, и я сижу одна. А съ нѣкотораго времени я боюсь оставаться одной; мнѣ все кажется, что со мной въ комнатѣ кто-то бываетъ другой, что кто-то со мной говоритъ; особенно когда я объ чемъ-нибудь задумаюсь, и вдругъ очнусь отъ задумчивости, такъ что мнѣ страшно становится. Вотъ почему я вамъ такое большое письмо написала; когда я пишу, это проходитъ. Прощайте; кончаю письмо, потому-что и бумаги и времени нѣтъ. Изъ вырученныхъ денегъ за

платья мои, да за шляпку остался у меня только рубль серебромъ. Вы дали хозяйкѣ два рубля серебромъ; это очень хорошо; она замолчитъ теперь на время.

Поправьте себѣ какъ-нибудь платье. Прощайте; я такъ устала; не понимаю, отъ-чего я становлюсь такая слабая; малѣйшее занятіе меня утомляетъ. Случится работа—какъ работать? Вотъ это-то и убиваетъ меня.

В. Д.

Сентября 5.

Голубчикъ мой, Варинька!

Я сегодня, ангельчикъ мой, много испыталъ впечатлѣній. Во-первыхъ, у меня голова цѣлый день болѣла. Чтобы какъ-нибудь освѣжиться, вышелъ я походить по Фонтанкѣ. Вечеръ былъ такой темный, сырой. Въ шестомъ часу ужъ смеркается; — вотъ какъ теперь! Дождя не было, за то былъ туманъ, не хуже добраго дождя. По небу ходили длинными широкими полосами тучи. Народу ходила бездна по набережной, и народъ-то какъ нарочно былъ съ такими страшными, уныніе наводящими лицами, пьяные мужики, курносые бабы-чухонки, въ сапогахъ и простоволосыя, артельщики, извошки, нашъ-братъ по какой-нибудь надобности; мальчишки; какой-нибудь слѣсарской ученикъ въ полосатомъ халатѣ, испитой, чахлый, съ лицомъ выкупаннымъ въ копченомъ маслѣ, съ замкомъ въ рукѣ; солдатъ отставной, въ сажень ростомъ, поджидавшій купца на перочинный ножичекъ или колечко бронзовое—вотъ какова была публика. Часъ-то видно былъ такой, что другой публики и быть не могло. Судоходный каналъ Фонтанка! Барокъ такая бездна, что не понимаешь гдѣ все это могло помѣститься. На мѣстахъ сидятъ бабы съ мокрыми пряниками да съ гнилыми

яблоками, и все такія грязныя, мокрыя бабы. Скучно по Фонтанкѣ гулять! Мокрый гранитъ подъ ногами, по бокамъ дома высокіе, черныя, закоптѣлыя; подъ ногами туманъ, надъ головой тоже туманъ. Такой грустный, такой темный былъ вечеръ сегодня.

Когда я поворотилъ въ Гороховую, такъ ужъ смерклося совѣтъ и газъ зажигать стали. Я давниенко таки не былъ въ Гороховой; не удавалось. Шумная улица! Какія лавки, магазины богатые; все такъ и блеститъ и горитъ, матерія, цвѣты подъ стеклами, разныя шляпки съ лентами. Подумаешь, что это все такъ, для красоты разложено; такъ иѣтъ же; вѣдь есть люди, что все это покупаютъ и своимъ женамъ дарятъ. — Богатая улица! Нѣмецкихъ булочниковъ очень много живетъ въ Гороховой; тоже должно быть народъ весьма достаточный. Сколько каретъ поминутно ѣздитъ; какъ это все мостовая выносить! Пышные экипажи такіе; стекла какъ зеркало, внутри бархатъ и шолкъ, лакеи дворянскіе, въ эполетахъ, при шпагѣ. Я во всѣ кареты заглядывалъ, все дамы сидятъ, такія разодѣтыя; можетъ-быть, и княжны и графини. Вѣрно часъ былъ такой, что всѣ на балы и въ собранія сѣвшили. Любопытно увидѣть княгиню, и вообще знатную даму вблизи; должно быть очень хорошо; я никогда не видалъ; развѣ вотъ такъ какъ теперь въ карету заглянешь. Про васъ я тутъ вспомнилъ. — Ахъ, голубчикъ мой, родная моя! какъ вспомню теперь про васъ, такъ все сердце изнываетъ! Отъ-чего вы, Варинька, такая несчастная? Ангельчикъ мой! да чѣмъ же вы-то хуже ихъ всѣхъ? Вы у меня добрая, прекрасная, ученая; отъ-чего же вамъ такая злая судьба выпадаетъ на долю? Отъ-чего это такъ все случается, что вотъ хорошій-то человекъ въ запустѣнны находится, а къ другому кому счастье само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что не хорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности,

но правдѣ-истинѣ, зачѣмъ одному еще въ чревѣ матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой изъ воспитательнаго дома на свѣтъ Божій выходитъ? И вѣдь бываетъ же такъ, что счастье-то часто Иванушкѣ-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачокъ, ройся въ мѣшкахъ дѣдовскихъ, пей, ѣшь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты дескать на то и годишься, ты, братецъ, вотъ какой! Грѣшно, маточка, оно грѣшно этакъ думать, да тутъ по неволѣ какъ-то грѣхъ въ душу лѣзетъ. Ъздили бы и вы въ каретѣ такой же, родная моя ясочка. Взгляда благосклоннаго вашего генерала ловили бы, — не то что нашъ-братъ; ходили бы вы не въ холстинковомъ, ветхомъ платицѣ, а въ шелку да въ золотѣ. Были бы вы не худенькія, не чахленькія какъ теперь, а какъ фигурка сахарная свѣженькая, румяная, полная. А ужъ я бы тогда и тѣмъ однимъ счастливъ былъ, что хоть бы съ улицы на васъ въ ярко-освѣщенные окна взглянулъ, что хоть бы тѣнь вашу увидалъ, отъ одной мысли, что вамъ тамъ счастливо и весело, птичка вы моя хорошенькая, и я бы повеселѣлъ. А теперь что! Мало того, что злые люди васъ погубили, какой-нибудь тамъ дрянъ, забулдыга васъ обижаетъ. Что фракъ-то на немъ сидитъ гоголемъ, что въ лорнетку-то золотую онъ на васъ смотритъ, безстыдникъ, такъ ужъ ему все съ рукъ сходи, такъ ужъ и рѣчь его непристойную снисходительно слушать надо! Полно такъ ли, голубчики? А отъ-чего это все? А отъ-того, что вы сирота, отъ-того, что вы беззащитная, отъ-того, что нѣтъ у васъ друга сильнаго, который бы вамъ опору пристойную далъ. А вѣдь что это за человѣкъ, что это за люди, которымъ сироту оскорбить ни-по-чемъ? Это какая-то дрянъ, а не люди, просто дрянъ; такъ себѣ, только чисяется, а на дѣлѣ ихъ нѣтъ, и въ этомъ я увѣренъ. Вотъ они каковы эти люди! А по моему, родная моя,

вотъ тотъ ширманщикъ, котораго я сегодня въ Гороховой встрѣтилъ, скорѣе къ себѣ почтеніе внушить, чѣмъ они. Онъ хоть цѣлый день ходитъ да мается, ждетъ залежалаго, негоднаго гроша на пропитаніе, да за то онъ самъ себѣ господинъ, самъ себя кормитъ. Онъ милостыни просить не хочетъ; за-то онъ для удовольствія людскаго трудится, какъ заведенная машина — вотъ дескать, чѣмъ могу принесу удовольствіе. Нищій, нищій онъ, правда, все тотъ же нищій; но за-то благородный нищій; онъ усталъ, онъ прозябъ, но все трудится, хоть по своему, а все-таки трудится. И, много есть честныхъ людей, маточка, которые хоть не много зарабатываютъ по мѣрѣ и полезности труда своего, но никому не кланяются, ни у кого хлѣба не просятъ. Вотъ и я точно такъ же какъ и этотъ ширманщикъ, т. е. я не-то, вовсе не такъ какъ онъ, но въ своемъ смыслѣ, въ благородномъ-то, дворянскомъ-то отношеніи точно такъ же какъ и онъ; по мѣрѣ силъ тружусь; чѣмъ могу, дескать. Большаго нѣтъ отъ меня; ну да на нѣтъ и суда нѣтъ.

Я къ тому про ширманщика этого заговорилъ, маточка, что случилось мнѣ бѣдность свою вдвойнѣ испытать сегодня. Остановился я посмотрѣть на ширманщика. Мысли такія лѣзли въ голову; — такъ я, что бы разсѣяться, остановился. Стою я, стоятъ извошники, дѣвка какая-то, да еще маленькая дѣвочка, вся такая запачканая. Ширманщикъ расположился передъ чьими-то окнами. Замѣчаю малютку, мальчика, такъ себѣ лѣтъ двѣнадцати; былъ бы хорошенькой, да на видъ больной такой, чахленькой, въ одной рубашонкѣ, да еще въ чемъ-то, чуть ли не босой стоитъ, разиня ротъ музыку слушаетъ; — дѣтскій возрастъ! заглядѣлся какъ у Нѣмца куклы танцуютъ, а у самого и руки и ноги околѣбли, дрожить да кончикъ рукава грызеть. Примѣчаю, что въ рукахъ у него бумажечка какая-то.

Прошелъ одинъ господинъ и бросилъ ширманщику какую-то маленькую монетку; монетка прямо упала въ тотъ ящичекъ съ огородочкой, въ которомъ представленъ Французъ, танцующій съ дамами. Только что звякнула монетка, встрепенулся мой мальчикъ, робко осмотрѣлся кругомъ, да видно на меня подумалъ, что я деньги далъ. Подбѣжалъ онъ ко мнѣ, ручки дрожать у него, голосенокъ дрожитъ, протянулъ онъ ко мнѣ бумажку и говоритъ: — записка! Развернулъ я записку — ну что, все извѣстное: — дескать, благодѣтели мои, мать у дѣтей умираетъ, трое дѣтей голодаютъ, такъ вы намъ теперь помогите; а вотъ какъ я умру, такъ за то, что пенниовъ моихъ теперь не забыли, на томъ свѣтѣ васъ, благодѣтели мои, не забуду. — Ну, что тутъ; дѣло ясное, дѣло житейское, а что мнѣ имъ дать? Ну, и не далъ ему ничего. А какъ было жаль! Мальчикъ бѣдненькой, посинѣлый отъ холода, можетъ-быть, и голодный, и не вретъ, ей-ей не вретъ; я это дѣло знаю. Но только то дурно, что зачѣмъ эти гадкія матери дѣтей не берегутъ, и полуголыхъ съ записками на такой холодъ посылаютъ. Она, можетъ-быть, глупая баба, характера не имѣетъ; да за нее и постараться, можетъ-быть, нѣ кому, такъ она и сидитъ, поджавъ ноги, можетъ-быть, и въ правду больная. Ну, да все обратиться бы куда слѣдуетъ; авпрочемъ, можетъ-быть, и просто мошенница, нарочно голоднаго и чахлаго ребенка обманывать народъ посылаетъ, на болѣзнь наводитъ. И чему научится бѣдный мальчикъ съ этими записками? Только сердце его ожесточается; ходитъ онъ, бѣгаетъ, проситъ. Ходятъ люди да нѣкогда имъ. Сердца у нихъ каменные; слова ихъ жестокиа. Прочь! убирайся! шалишь! — Вотъ что слышитъ онъ отъ всѣхъ, и ожесточается сердце ребенка, и дрожитъ напрасно на холодѣ бѣдненькой, запуганный мальчикъ, словно итенчикъ, изъ разбитаго гнѣздышка выпавшій. Зяб-

нутъ у него руки и ноги; духъ занимается. Посмотришь, вотъ онъ ужъ и кашляетъ; тутъ не далеко ждать, и болѣзнь, какъ гадъ нечистый заползетъ ему въ грудь, а тамъ, глядишь, и смерть ужъ стоитъ надъ нимъ, гдѣ-нибудь въ смрадномъ углу, безъ ухода, безъ помощи—вотъ вся его жизнь! Вотъ какова она, жизнь-то бываетъ! Охъ, Варинька, мучительно слышать Христа-ради, и мимо пройти и не дать ничего, сказать ему: «Богъ подастъ». Иное Христа-ради еще ничего. (И Христа-ради-то разныя бываютъ, маточка). Иное долгое, протяжное, привычное, заученое, прямо нищенское; этому еще не такъ мучительно не подать, это долгій нищій, давнишній, по ремеслу нищій, этотъ привыкъ, думаешь, онъ переможетъ и знаетъ какъ перемочь. А иное Христа-ради, непривычное, грубое, страшное,—вотъ какъ сегодня, когда я было отъ мальчика записку взялъ, тутъ же у забора какой-то стоялъ, не у всѣхъ и просилъ, говорить мнѣ: «Дай, баринъ, грошъ, ради Христа!» да такимъ отрывистымъ, грубымъ голосомъ, что я вздрогнулъ отъ какого-то страшнаго чувства; а не далъ гроша: не было. А еще люди богатые не любятъ, чтобы бѣдняки на худой жребій вслухъ жаловались — дескать, они безпокоятъ, они-де назойливы! Да и всегда бѣдность назойлива; — спать что ли мѣшаютъ ихъ стоны голодные!

Признательно вамъ сказать, родная моя, началъ я вамъ описывать это все, частію, чтобъ сердце отве-сти, а болѣе для того, чтобъ вамъ образецъ хорошаго слогу моихъ сочиненій показать. Потому-что вы вѣрно сами сознаетесь, маточка, что у меня съ недавняго времени слогъ формируется. Но теперь на меня такая тоска нашла, что я самъ моимъ мыслямъ до глубины души сталъ сочувствовать, и хотя я самъ знаю, маточка, что этимъ сочувствіемъ не возьмешь, но все-таки нѣкоторымъ образомъ справедливость воздашь себѣ.

И подлинно, родная моя, часто самого себя, безо всякой причины, уничтожаешь, въ грошъ не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравнѣнїемъ выразиться, такъ это, можетъ-быть, отъ-того происходитъ, что я самъ запуганъ и загнанъ какъ хотъ бы и этотъ бѣдненькой мальчикъ, что милостыни у меня просилъ. Теперь я вамъ примѣрно, иносказательно буду говорить, маточка; вотъ послушайте-ка меня: случается мнѣ, моя родная, рано утромъ, на службу спѣша, заглядѣться на городъ, какъ онъ тамъ пробуждается, встаетъ, дымится, кипитъ, гремитъ, — тутъ иногда такъ передъ такимъ зрѣлищемъ умалишься, что какъ-будто бы щелчокъ какой получилъ отъ кого-нибудь по любопытному носу, да и полетешься тише воды, ниже травы своею дорогою, и рукой махнешь! Теперь же разглядите-ка что въ этихъ черныхъ, закоптѣлыхъ, большихъ капитальныхъ домахъ дѣлается, вникните въ это, и тогда сами разсудите справедливо ли было безъ толку сортировать себя и въ недостойное смущеніе входить. Замѣьте, Варинька, что я иносказательно говорю, не въ прямомъ смыслѣ. Ну, посмотримъ, что тамъ такое въ этихъ домахъ? Тамъ въ какомъ-нибудь дымномъ углу, въ конурѣ сырой какой-нибудь, которая, по нуждѣ, за квартиру считается, мастеровой какой-нибудь отъ сна пробудился; а во снѣ-то ему, примѣрно говоря, всю ночь сапоги снились, что вчера онъ подрѣзалъ нечаянно, какъ-будто именно такая дрянъ и должна человѣку сниться! Ну, да вѣдь онъ мастеровой, онъ сапожникъ; ему прости-тельно все объ одномъ предметѣ своемъ думать. У него тамъ дѣти пищать, и жена голодная; и не одни сапожники встаютъ иногда такъ, родная моя. Это бы и ничего, и писать бы объ этомъ не стоило, но вотъ какое выходитъ тутъ обстоятельство, маточка; тутъ же, въ этомъ же домѣ, этажемъ выше или ниже, въ позла-

ценныхъ палатахъ, и богатѣйшему лицу все тѣ же сапоги, можетъ-быть, ночью снялись; то есть на другой манеръ сапоги, фасона другаго, но все-таки сапоги; ибо въ смыслѣ-то, здѣсь мною подразумѣваемомъ, маточка, всѣ мы, родная моя, выходимъ немного сапожники. И это бы все ничего, но только то дурно, что нѣтъ никого подлѣ этого богатѣйшаго лица, нѣтъ человѣка, который бы шепнулъ ему на ухо — «что полно-дескать о такомъ думать, о себѣ одномъ думать, для себя одного жить; ты, дескать, не сапожникъ; у тебя дѣти здоровы и жена ѣсть не просить; оглянись кругомъ, не увидишь ли для заботъ своихъ предмета болѣе благороднаго, чѣмъ свои сапоги!» Вотъ что хотѣлъ я сказать вамъ иносказательно, Варинька. Это, можетъ-быть, слишкомъ вольная мысль, родная моя, но эта мысль иногда бываетъ, иногда приходитъ, и тогда поневолѣ изъ сердца горячимъ словомъ выбивается. И потому не отъ-чего было въ грошъ себя оцѣнять, испугавшись одного шума и грома! Заключу же тѣмъ, маточка, что вы, можетъ-быть, по-думаете, что я вамъ клевету говорю, или что это такъ хандра на меня нашла, или что я это изъ книжки какой выписалъ? Нѣтъ, маточка, вы разувѣрьтесь; не то: клеветую гнушаюсь, хандра не находила, и ни изъ какой книжки ничего не выписывалъ — вотъ что!

Пришелъ я въ грустномъ расположеніи духа домой, присѣлъ къ столику, нагрѣлъ себѣ чайничекъ, да и приготовился стаканчикъ-другой чайку хлѣбнуть. Вдругъ, смотрю, входитъ ко мнѣ Горшковъ, нашъ бѣдный постоялецъ. Я еще утромъ замѣтилъ, что онъ все что-то около жильцовъ шныряетъ, и ко мнѣ хотѣлъ подойти. А мимоходомъ скажу, маточка, что ихъ житье-бытье не въ примѣръ моего хуже. Куда! жена, дѣти! — Такъ что еслибы я былъ Горшковъ, такъ ужъ я не знаю, что бы я на его мѣстѣ сдѣлалъ!

Ну, такъ вотъ вошелъ мой Горшковъ, кланяется, слезинка у него какъ и всегда на рѣсницахъ гноится, шаркаетъ ногами, а самъ слова не можетъ сказать. Я его посадилъ на стулъ, правда на изломанный, да другаго не было. Чайку предложилъ. Онъ извинялся, долго извинялся, наконецъ однакоже взялъ стаканчикъ. Хотѣлъ—было безъ сахару пить, началъ опять извиняться, когда я сталъ увѣрять его, что нужно взять сахару; долго спорилъ, отказывался, наконецъ положилъ въ свой стаканъ самый маленькій кусочикъ и сталъ увѣрять, что чай необыкновенно сладокъ. Экъ, до уничиженія какого доводитъ людей нищета!—«Ну, какъ же, что батюшка?» сказалъ я ему. Да вотъ такъ и такъ, дескать, благодѣтель вы мой, Макарь Алексѣевичъ, явите милость Господню, окажите помощь семейству несчастному; дѣти и жена, ѣсть нечего; отцуто, мнѣто, говоритъ, каково! Я было хотѣлъ говорить, да онъ меня прервалъ: я дескать, всѣхъ боюсь здѣсь, Макарь Алексѣевичъ, то-есть не то, что боюсь, а такъ, знаете, совѣстно; люди-то они все гордые и кичливые. Я бы, говоритъ, васъ, батюшка и благодѣтель мой, и утруждать бы не сталъ; знаю, что у васъ самихъ непріятности были, знаю, что вы многого и не можете дать, но хоть что-нибудь займы одолжите; и потому, говоритъ, просить васъ осмѣлился, что знаю ваше доброе сердце, знаю, что вы сами нуждались, что сами и теперь бѣдствія испытываете, — и что сердце-то ваше потому и чувствуетъ состраданіе. — Заключение же онъ тѣмъ, что, дескать, простите мою дерзость и мое неприличіе, Макарь Алексѣевичъ. — Я отвѣчаю ему, что радъ бы душой, да что нѣтъ у меня ничего, ровно нѣтъ ничего. — Батюшка, Макарь Алексѣевичъ, говоритъ онъ мнѣ, я многого и не прошу, а вотъ такъ и такъ — (тутъ онъ весь покраснѣлъ) — жена, говоритъ, дѣти, голодно — хоть гривенничекъ какой-ни-

будь. Ну, тутъ ужъ мнѣ самому сердце защемило. Куда, думаю: меня перещеголяли! А всего-то у меня и оставалось двадцать копеекъ, да я на нихъ разсчитывалъ: хотѣлъ завтра на свои крайнія нужды истратить.—Нѣтъ, голубчикъ мой, не могу; вотъ такъи такъ говорю. Батюшка, Макарь Алексѣевичъ, хоть что хотите, говоритъ, хоть десять копеечекъ. Ну, я ему и вынулъ изъ ящика и отдалъ свои двадцать копеечекъ, маточка, все доброе дѣло! Экъ нищета-то! Разговорился я съ нимъ: да какъ же вы, батюшка, спрашиваю, такъ зануждались, да еще при такихъ нуждахъ комнату въ пять рублей серебромъ нанимаете? Объяснилъ онъ мнѣ, что полгода назадъ нанялъ, и деньги внесъ впередъ за три мѣсяца; да потомъ обстоятельства такія сошлись, что ни туда, ни сюда ему бѣдному. Ждалъ онъ, что дѣло его къ этому времени кончится. А дѣло у него неприятное. Онъ, видите ли, Варинька, за что-то передъ судомъ въ отвѣтъ находится. Тягается онъ съ купцомъ какимъ-то, который слуховалъ подрядомъ съ казною; обманъ открыли, купца подъ судъ, а онъ въ дѣло-то свое разбойничье и Горшкова запуталъ, который тутъ какъ-то также случился. А по правдѣ-то Горшковъ виновенъ только въ нерадѣніи, въ неосмотрительности и въ непростительномъ упущеніи изъ вида казеннаго интереса. Ужъ нѣсколько лѣтъ дѣло идетъ; все препятствія разныя встрѣчаются противъ Горшкова. — Въ безчестіи же, на меня взводи-момъ, говоритъ мнѣ Горшковъ, неповиненъ, нисколько неповиненъ, въ плутовствѣ и грабежѣ неповиненъ. Дѣло это его замарало немного; его исключили изъ службы, и хотя не нашли, что онъ капитально виновенъ, но до совершеннаго своего оправданія онъ, до сихъ-поръ, не можетъ выправить съ купца какой-то знатной суммы денегъ, ему слѣдуемой, и передъ судомъ у него оспариваемой. Я ему вѣрю, да судъ-то

ему на-слово не вѣрять; дѣло-то оно такое, что все въ крючкахъ да въ узлахъ такихъ, что во сто лѣтъ не распутаешь. Чуть не много распутають, а купецъ еще крючокъ, да еще крючокъ. Я принимаю сердечное участіе въ Горшковѣ, родная моя, соболѣзную ему. Человѣкъ безъ должности; за ненадежность никуда не принимается; что было запасу, проѣли; дѣло запутано, а между-тѣмъ жить было нужно; а между-тѣмъ ни съ того, ни съ сего, совершенно не-кстати, ребенокъ родился, — ну вотъ издержки. Старшенькой заболѣлъ—издержки, умеръ—издержки. Жена больна; онъ нездоровъ застарѣлой болѣзною какой-то. Однимъ словомъ, пострадалъ, вполне пострадалъ. Впрочемъ, говорить, что ждетъ, на дняхъ, благопріятнаго рѣшенія своего дѣла, и что ужъ въ этомъ теперь и сомнѣнія нѣтъ никакого. Жаль, жаль, очень жаль его, маточка! Я его обласкалъ. Человѣкъ-то онъ затерянный, запуганный; покровительства ищетъ, такъ вотъ я его и обласкалъ. Ну, прощайте же, маточка, Христось съ вами, будьте здоровы. Голубчикъ вы мой! Какъ вспомню объ васъ, такъ точно лекарство приложу къ больной душѣ моей, и хоть страдаю за васъ, но и страдать за васъ мнѣ легко.

Вашъ истинный другъ

Макаръ Дьвушкинъ.

Сентября 9.

Матушка, Варвара Алексѣевна!

Пишу къ вамъ внѣ себя. Я весь взволнованъ страшнымъ происшествіемъ. Голова моя вертится кругомъ. Я чувствую, что все вокругъ меня вертится. Ахъ, родная моя, что я расскажу-то вамъ теперь! Вотъ, мы и не предчувствовали этого. Нѣтъ, я не вѣрю, чтобы я не предчувствовалъ; я все это предчувствовалъ. Все

это заранѣ слышалось моему сердцу! Я даже намени во снѣ что-то видѣлъ подобное.

Вотъ что случилось! — Расскажу вамъ безъ слога, а такъ, какъ мнѣ на душу Господь положитъ. Пошелъ я сегодня въ должность. Пришелъ, сижу, пишу. А нужно вамъ знать, маточка, что я и вчера писалъ тоже. Ну, такъ вотъ, вчера подходитъ ко мнѣ Тимофей Ивановичъ, и лично изволитъ показывать, что — вотъ, дескать, бумага нужная, спѣшная. Перепишите, говорить, Макарь Алексѣевичъ, почище, поспѣшно и тщательно; сегодня къ подписанію идетъ. — Замѣтить вамъ нужно, ангельчикъ, что вчерашняго дня я былъ самъ не свой, ни на что и глядѣть не хотѣлось; грусть, тоска такая напала! На сердцѣ холодно, на душѣ темно; въ памяти все вы были, моя бѣдная ясочка. Ну, вотъ, я и принялся переписывать; переписалъ чисто, хорошо, только ужъ не знаю какъ вамъ точнѣе сказать, самъ ли нечистый меня попуталъ, или тайными судьбами какими опредѣлено было, или просто такъ должно было сдѣлаться — только пропустилъ я цѣлую строчку; смыслъ-то и вышелъ Господь его-знаетъ какой, просто, никакого не вышло. Съ бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписаніе его превосходительству только сегодня. Я, какъ ни въ чемъ не бывало, являюсь сегодня въ обычный часъ и располагаюсь рядкомъ съ Емельяномъ Ивановичемъ. Нужно вамъ замѣтить, родная, что я съ недавняго времени сталъ вдвое болѣе прежняго совѣститься и въ стыдъ приходитъ. Я въ послѣднее время и не глядѣлъ ни на кого. Чуть стулъ заскрипитъ у кого-нибудь, такъ ужъ я и ни живъ, ни мертвъ. Вотъ точно такъ и сегодня, приникъ, присмирѣлъ, ежомъ сижу, такъ что Ефимъ Акимовичъ (такой задирала, какого и на свѣтѣ до него не было), сказалъ во всеуслышаніе: Чтò, дескать, вы, Макарь Алексѣевичъ, сидите сегодня такимъ у-у-у! да тутъ такую

гримасу скорчилъ, что всѣ, кто около него и меня ни были, такъ и покатались со смѣху, и ужь, разумѣется, на мой счетъ. И пошли, и пошли! Я и уши прижалъ и глаза зажмурилъ, сижу себѣ, не пошевелюсь. Таковъ ужь обычай мой; они этакъ скорѣй отстаютъ. И такъ, я уткнулся носомъ въ бумагу, и вожу перомъ. Вдругъ слышу шумъ, бѣготня, суетня; слышу — не обманываются ли уши мои? зовутъ меня, требуютъ меня, зовутъ Дѣвушкина. Задрожало у меня сердце въ груди, и ужь самъ не знаю чего испугался; только знаю то, что я такъ испугался, какъ никогда еще въ жизни со мной не было. Я приросъ къ стулу, — и какъ ни въ чемъ не бывало, точно и не я. Но вотъ, опять начали; ближе и ближе. Вотъ, ужь надъ самымъ ухомъ моимъ: дескать, Дѣвушкина! Дѣвушкина! гдѣ Дѣвушкинъ? Подымаю глаза: передо мною Евстафій Ивановичъ; говоритъ: Макарь Алексѣевичъ! къ его превосходительству, скорѣе! Бѣды вы съ бумагой надѣлали. Только это одно и сказала, да довольно, не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвѣлъ, оледенѣлъ, чувствъ лишился, иду — ну, да ужь просто, ни живъ, ни мертвъ отправился. Ведутъ меня черезъ одну комнату, черезъ другую комнату, черезъ третью комнату, въ кабинетъ — предсталъ! Положительнаго отчета объ чемъ я тогда думалъ, я вамъ дать не могу. Вижу, стоять его превосходительство, вокругъ него всѣ они. Я, кажется, не поклонился; позабылъ. Оторопѣлъ такъ, что и губы трясутся и ноги трясутся. Да и было отъ-чего, маточка. Во-первыхъ, совѣстно; я взглянулъ на право въ зеркало, такъ просто было отъ-чего съ ума сойти отъ того, что я тамъ увидѣлъ. А во-вторыхъ, я всегда дѣлалъ такъ, какъ-будто бы меня и на свѣтѣ не было. Такъ, что едва ли его превосходительство были извѣстны о существованіи моемъ. Можетъ-быть, слышали, такъ, мелькомъ, что есть у

нихъ въ вѣдомствѣ Дѣвушкинѣ, но въ кратчайшія сего сношенія никогда не входили.

Начали гнѣвно: какъ же это вы, сударь! Чего вы смотрите? нужна бумага, нужно къ спѣху, а вы ее портите. И какъ же вы это, — тутъ его превосходительство обратились къ Евстафію Ивановичу. Я только слышу, какъ до меня звуки словъ долетаютъ: — нерадѣнье! неосмотрительность! Вводите въ непріятности! — Я раскрылъ—было ротъ для чего-то. Хотѣлъ—было прощенія просить, да не могъ, убѣжать — покуситься не смѣлъ, и тутъ... тутъ, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу отъ стыда. — Моя пуговка — ну ее къ бѣсу — пуговка, что висѣла у меня на ниточкѣ — вдругъ сорвалась, отскочила, запрыгала (я видно задѣлъ ее нечаянно), зазвенѣла, покатила и прямо такъ-таки прямо проклятая къ стопамъ его превосходительства, и это посреди всеобщаго молчанія! Вотъ и все было мое оправданіе, все извиненіе, весь отвѣтъ, все, что я собирался сказать его превосходительству! Послѣдствія были ужасны! Его превосходительство тотчасъ обратили вниманіе на фигуру мою и на мой костюмъ. Я вспомнилъ, что я видѣлъ въ зеркалѣ, я бросился ловить пуговку! Нашла на меня дурь! Нагнулся, хочу взять пуговку, катается, вертится, не могу поймать, словомъ, и въ отношеніи ловкости отличился. Тутъ ужъ я чувствую, что и послѣднія силы меня оставляютъ, что ужъ все, все потеряно! Вся репутація потеряна, весь человѣкъ пропалъ! А тутъ въ обоихъ ухахъ ни съ того, ни съ сего и Тереза и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконецъ поймалъ пуговку, приподнялся, вытянулся, да ужъ коли дуракъ, такъ стоялъ бы себѣ смирно, руки по швамъ! Такъ нѣтъ же. Началъ пуговку къ оторваннымъ ниткамъ прилаживать, точно отъ-того она и пристанетъ; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его

превосходительство отвернулись сначала, потомъ опять на меня взглянули — слышу, говорятъ Евстафію Ивановичу: какъ же?... посмотрите, въ какомъ онъ видѣ!... какъ онъ!... что онъ! — Ахъ, родная моя, что ужъ тутъ — какъ онъ? Да что онъ? отличился, въ полномъ смыслѣ слова отличился! Слышу, Евстафій Ивановичъ говоритъ — не замѣченъ, ни въ чемъ не замѣченъ, поведенія примѣрнаго, жалованья достаточно, по окладу.... Ну, облегчите его какъ-нибудь, говоритъ его превосходительство. Выдать ему впередъ.... — Да забралъ, говорятъ, забралъ, вотъ за столько-то времени впередъ забралъ. Обстоятельства вѣрно такія, а поведенія хорошаго и не замѣченъ, никогда не замѣченъ. — Я, ангельчикъ мой, горѣлъ, я въ адскомъ огнѣ горѣлъ! Я умиралъ! — Ну, говорятъ его превосходительство громко, переписать же вновь поскорѣе; Дѣвушкинъ, подойдите сюда, перепишите опять вновь безъ ошибки; да послушайте: тутъ его превосходительство обернулись къ прочимъ, роздали приказанія разныя и все разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспѣшно вынимаютъ книжничъ и изъ него сторублевую, вотъ, говорятъ они — чѣмъ могу, считайте какъ хотите, возьмите.... да и веунуль мнѣ въ руку. Я, ангель мой, вздрогнулъ, вся душа моя потряслась; не знаю, что было со мною; я было-схватить ихъ ручку хотѣлъ. А онъ-то весь покраснѣлъ, мой голубчикъ, да — вотъ ужъ тутъ ни на волосокъ отъ правды не отступаю, родная моя; взялъ мою руку недостойную, да и потрясъ ее, такъ-таки взялъ да и потрясъ, словно ровнѣ своей, словно такому же какъ самъ генералу. Ступайте, говоритъ; чѣмъ могу.... Ошибокъ не дѣлайте, а теперь грѣхъ пополамъ.

Теперь, маточка, вотъ какъ я рѣшилъ: васъ и Федору прошу, и еслибы дѣти у меня были, то и имъ бы по-

велѣлъ, чтобы Богу молились, то есть вотъ какъ: за роднаго отца не молились бы, а за его превосходительство каждодневно и вѣчно бы молились! Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю — слушайте меня, маточка, хорошенько — клянусь, что какъ ни погибалъ я отъ скорби душевной, въ лютые дни нашего злополучія, глядя на васъ, на ваши бѣдствія, и на себя, на униженіе мое и мою неспособность, не смотря на все это, клянусь вамъ, что не такъ мнѣ сто рублей дороги, какъ то, что его превосходительство сами мнѣ, соломѣ, пьяницѣ, руку мою недостойную пожать изволили. Этимъ они меня самому-себѣ возвратили. Этимъ поступкомъ они мой духъ воскресили, жизнь мнѣ слаще на вѣки сдѣлали, и я твердо увѣренъ, что я какъ ни грѣшенъ передъ Всевышнимъ, но молитва о счастіи и благополучіи его превосходительства дойдетъ до престола Его!

Маточка! Я теперь въ душевномъ разстройствѣ ужасномъ, въ волненіи ужасномъ! Мое сердце бьется, хочетъ изъ груди выпрыгнуть. И я самъ какъ-то весь какъ-будто ослабъ.—Посылаю вамъ 45 руб. ассигнац., 20 рублей хозяйкѣ даю, у себя 35 оставляю; на 20 платьѣ поправлю, а 15 оставлю на житье-бытьѣ. А только теперь всѣ эти впечатлѣнія-то утреннія потрясли все существованіе мое. Я прилягу. Мнѣ, впрочемъ, покойно, очень покойно. Только душу ломить, и слышно тамъ, въ глубинѣ, душа моя дрожить, трепещетъ, шевелится. — Я прійду къ вамъ; а теперь я просто хмѣлень отъ всѣхъ ощущеній этихъ.... Богъ видитъ все, маточка вы моя, голубушка вы моя безцѣнная!

Вашъ достойный другъ

Макаръ Дьвушкинъ.

Сентября 10.

Любезный мой Макарь Алексѣвичъ.

Я несказанно рада вашему счастью, и умѣю цѣнить добродѣтели вашего начальника, другъ мой. И такъ теперь вы отдохнете отъ горя! Но только ради Бога не тратьте опять денегъ попусту. Живите тихонько, какъ можно скромнѣе, и съ этого же дня начинайте всегда хоть что-нибудь откладывать, чтобъ несчастія не застали васъ опять внезапно. Объ насъ, ради Бога, не безпокойтесь. Мы съ Федорой кое-какъ проживемъ. Къ чему вы намъ денегъ столько прислали, Макарь Алексѣвичъ? Намъ вовсе не нужно. Мы довольны и тѣмъ, что есть у насъ. Правда, намъ скоро понадобятся деньги на переѣздъ съ этой квартиры, но Федора надѣется получить съ кого-то давнишній, старый долгъ. Оставляю, впрочемъ, себѣ двадцать рублей на крайнія надобности. Остальное посылаю вамъ назадъ. Берегите, пожалуйста, деньги, Макарь Алексѣвичъ. Прощайте. Живите теперь покойно, будьте здоровы и веселы. Я написала бы вамъ болѣе, но чувствую ужасную усталость; вчера я цѣлый день не вставала съ постели. Хорошо сдѣлали, что обѣщались зайдти. Навѣстите меня, пожалуйста, Макарь Алексѣвичъ.

В. Д.

Сентября 11.

Милая моя Варвара Алексѣевна.

Умоляю васъ, родная моя, не разлучайтесь со мною теперь; теперь, когда я совершенно счастливъ и всѣмъ доволенъ. Голубчикъ мой! Вы Федору не слушайте, а я буду все, что вамъ угодно дѣлать; буду вести себя хорошо, изъ одного уваженія къ его превосходительству буду вести себя хорошо и отчетливо, мы опять будемъ писать другъ-другу счастливыя письма, будемъ повѣрять другъ-другу наши мысли, наши радости, наши

заботы, если будутъ заботы; будемъ жить вдвоемъ согласно и счастливо. Займемся литературою.... Ангельчикъ мой! Въ моей судьбѣ все перемѣнилось и все къ лучшему перемѣнилось. Хозяйка стала сговорчивѣе, Тереза умнѣе, даже самъ Фальдони сталъ какой-то проворный. Съ Ратазьевымъ я помирился. Самъ, на радостяхъ, пошелъ къ нему. Онъ, право, добрый малый, маточка, и что про него говорили дурного, то все это было вздоръ. Я открылъ теперь, что все это была гнусная клевета. Онъ вовсе и не думалъ насъ описывать; онъ мнѣ это самъ говорилъ. Читалъ мнѣ новое сочиненіе. А что тогда Ловеласомъ-то онъ меня назвалъ, такъ это вовсе не брань, или названіе какое неприличное: онъ мнѣ объяснялъ. Это слово въ слово съ иностраннаго взято и значитъ *проворный малой*, и если покрасивѣе сказать, политературнѣе, такъ значить *парень — плохо не клади* — вотъ! а не что-нибудь тамъ такое. Шутка невинная была, ангельчикъ мой. А я-то неучъ съ дуру и обидѣлся. Да ужъ я теперь передъ нимъ извинился.... И погода-то такая замѣчательная сегодня, Варинька, хорошая такая. Правда, угромъ была небольшая изморозь, какъ-будто сквозь сито сѣяло. Но ничего, это все ничего! За то воздухъ сталъ посвѣжѣе немножко. Ходилъ я покупать сапоги, и купилъ удивительные сапоги. Прошелся по Невскому. Пчелку прочелъ. Да! Такъ вотъ что; я главное-то и позабываю. Займемся-ка теперь дѣлами, родная моя. Я, маточка, рассчиталъ сегодня какъ мнѣ будетъ лучше и удобнѣе его превосходительству долгъ отдать. А отдать-то какъ можно поскорѣе нужно; непременно нужно, Варинька. Они и сами-то человекъ не богатый. Они мнѣ сами въ этомъ во всемъ признались. Конечно, у нихъ здѣсь и домикъ свой есть, и даже два домика есть, и деревенька-другая есть, но какъ же вы хотите, маточка, какъ же вы это такъ хотите, они вѣдь и

жить-то должны не по нашему. Вѣдь они, ангельчикъ мой, лицо. Они человѣкъ не простой, не нашъ-братъ темный человѣкъ. Они, тамъ, по своему должны фигурировать. У нихъ, вонъ, звѣзда есть, дескать, знай нашихъ — вотъ что! Такъ вотъ и отдать имъ, по сему случаю, пужно какъ можно скорѣе. Да и для меня-то самого хорошо будетъ. Исправность мою замѣтятъ, одобреніемъ своимъ осчастливятъ. Вотъ какой я рассчитаю сдѣлать, Варинька, слушайте-ка: при первомъ жалованьѣ, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, вручить имъ, голубчику, два рубля серебромъ, съ всенижайшимъ извиненіемъ, что не болѣе. Потомъ каждый мѣсяцъ отдавать по пяти руб. ассигнаціями. Такимъ-образомъ, если благословитъ Господь, и къ Святой я получу обычное награжденіе, то ужъ разомъ и вручу имъ все остальное, съ всенижайшей благодарностію. Но какъ вы думаете, не будутъ ли они, мой голубчикъ, сердиться за такую медленность въ отдачѣ? Но вѣдь и обстоятельство-то мои каковы! Сами о томъ посудите, маточка! Какъ вы думаете? Вы, пожалуйста, мысли ваши на этотъ счетъ мнѣ во всей подробности опишите, и что теперь предпринять на сей конецъ посовѣтуйте.

Сегодня по утру разговорился я съ Емельяномъ Ивановичемъ и съ Аксентіемъ Михайловичемъ объ его превосходительствѣ. Да, Варинька, они не съ однимъ мною такъ обошлись милостиво. Они не одного меня благодѣтели, и добротою сердца своего всему свѣту извѣстны. Изъ многихъ мѣстъ въ честь ему хвалы возсылаются, и слезы благодарности льются. У нихъ сирота одна воспитывалась. Изволили пристроить ее: выдали за человѣка извѣстнаго, за чиновника одного, который по особымъ порученіямъ при ихъ же превосходительствѣ находился. Сына одной вдовы въ какую-то канцелярію пристроили, и много еще благодѣяній разныхъ оказали. Я, маточка, почелъ за обязанность

туть же и мою лепту положить. Всѣмъ во всеуслышаніе поступокъ его превосходительства разсказалъ; я все имъ разсказалъ и ничего не утаилъ. Я стыдъ-то въ карманъ спряталъ. Какой тутъ стыдъ, что за амбиція такая при такомъ обстоятельствѣ! Такъ-таки въ слухъ — да будутъ славны дѣла его превосходительства! Я говорилъ увлекательно, съ жаромъ говорилъ и не краснѣлъ, напротивъ гордился, что пришлось такое разсказывать. Я про все разсказалъ (про васъ только благо-разумно умолчалъ, маточка), и про хозяйку мою, и про Фальдони, и про Ратазяева, и про сапоги, и про Маркова, все разсказалъ. Кое-кто тамъ пересмѣивались, да правда, и всѣ они пересмѣивались. Только это въ моей фигурѣ вѣрно они что-нибудь смѣшное пашли, или на счетъ сапоговъ моихъ — именно на счетъ сапоговъ. А съ дурнымъ какимъ-нибудь намѣреніемъ они не могли этого сдѣлать. Они бы этого не сдѣлали; я увѣренъ въ этомъ. Это такъ, молодость, или отъ-того, что они люди богатые, но съ дурнымъ, съ злымъ намѣреніемъ они никакъ не могли мою рѣчь осмѣивать. То есть что-нибудь на счетъ его превосходительства — этого никакъ они не могли сдѣлать.

Я все до-сихъ-поръ не могу какъ-то опомниться, маточка. Всѣ эти происшествія такъ смутили меня! Есть ли у васъ дрова? Не простудитесь, Варинька; долго ли простудиться. Охъ, маточка моя, вы съ вашими грустными мыслями меня убиваете. Я ужъ Бога молю, какъ молю его за васъ, маточка! На-примѣръ, есть ли у васъ шерстяные чулочки, или, такъ, изъ одежды что-нибудь потеплѣе. Смотрите голубчикъ мой. Если вамъ что-нибудь, тамъ, нужно будетъ, такъ ужъ вы, ради Создателя, старика не обижайте. Такъ-таки прямо и ступайте ко мнѣ. Теперь дурныя времена прошли. На счетъ меня вы не беспокойтесь. Впереди все такъ свѣтло, хорошо!

А грустное было время, Варинька! Ну да ужь все равно, прошло! Года пройдутъ, такъ и про это время вздохнемъ. Помню я свои молодые годы. Куда! Копейки иной разъ не бывало. Холодно, голодно, а весело да и только. Утромъ пройдешься по Невскому, личико встрѣтишь хорошенькое, и на цѣлый день счастливъ. Славное, славное было время, маточка! Хорошо жить на свѣтѣ, Варинька! Особенно въ Петербургѣ. Я со слезами на глазахъ вчера каялся передъ Господомъ Богомъ, чтобы простилъ мнѣ Господь все грѣхи мои въ это грустное время — ропотъ, либеральности, дебошъ и азартъ. Объ васъ вспоминалъ съ умилениемъ въ молитвѣ. Вы одни, ангельчикъ, укрѣпляли меня, вы одни утѣшали меня, напутствовали совѣтами благими и наставленіями. Я этого, маточка, никогда забыть не могу. Ваши записочки все перецаловаль сегодня, голубчикъ мой! Ну, прощайте, маточка. Говорятъ, есть гдѣ-то здѣсь недалеко платье продажное. Такъ вотъ я немножко навѣдаюсь. Прощайте же, ангельчикъ, прощайте!

Вамъ душевно преданный

Макаръ Дьвушкинъ.

Сентября 15.

Милостивый Государь,

Макаръ Алексѣевичъ.

Я вся въ ужасномъ волненіи. Послушайте-ка, что у насъ было. Я что-то роковое предчувствую. Вотъ посудите сами, мой безцѣнный другъ, вотъ что было такое: господинъ Быковъ въ Петербургѣ. Федора его встрѣтила. Онъ ѣхалъ, приказалъ остановить дрожки, подошелъ самъ къ Федорѣ и сталъ навѣдываться гдѣ она живетъ. Та сначала не сказывала. Потомъ онъ сказалъ, усмѣхаясь, что онъ знаетъ кто у ней живетъ. (Вид-

но Анна Федоровна все ему рассказала). Тогда Федора не вытерпѣла, и тутъ же на улицѣ стала его упрекать, укорять; сказала ему, что онъ человѣкъ безнравственный, что онъ причина всѣхъ несчастій моихъ. Онъ отвѣчалъ, что когда гроша нѣтъ, такъ разумѣется человѣкъ несчастливъ. Федора сказала ему, что я бы сдумѣла прожить работою, могла бы выйти замужъ, а не то такъ съискать мѣсто какое-нибудь, а что теперь счастье мое навсегда потеряно; что я къ тому же больна, и скоро умру. На это онъ замѣтилъ, что я еще слишкомъ молода, что у меня еще въ головѣ бродитъ, и *что и наши добродѣтели потускнѣли* (его слова). Мы съ Федорой думали, что онъ не знаетъ нашей квартиры, какъ вдругъ, вчера, только что я вышла для закупокъ въ Гостиный Дворъ, онъ входитъ къ намъ въ комнатку; ему, кажется, не хотѣлось застать меня дома. Онъ долго разспрашивалъ Федору о нашемъ житьѣ-бытьѣ; все разсматривалъ у насъ; мою работу смотрѣлъ, наконецъ спросилъ: — какой же это чиновникъ, который съ вами знакомъ? На ту пору вы чрезъ дворъ проходили; Федора ему указала на васъ; онъ взглянулъ и усмѣхнулся. Федора упрашивала его уйдти, сказала ему, что я и такъ уже нездорова отъ огорченій, и что видѣть его у насъ мнѣ будетъ весьма неприятно. Онъ промолчалъ; сказалъ, что онъ такъ приходилъ отъ нечего дѣлать, и хотѣлъ дать Федорѣ 25 рублей; та разумѣется не взяла. — Что бы это значило? За чѣмъ это онъ приходилъ къ намъ? Я понять не могу, откуда онъ все про насъ знаетъ! Я теряюсь въ догадкахъ. Федора говоритъ, что Аксинья, ея золовка, которая ходитъ къ намъ, знакома съ прачкой Настасьей, а Настасьинъ двоюродный братъ сторожемъ въ томъ департаментѣ, гдѣ служитъ знакомый племянника Анны Федоровны! Такъ вотъ не перепознала ли какъ нибудь сплетня? Впрочемъ, очень можетъ быть, что Федора и ошибается; мы не знаемъ,

что придумать. Не-уже-ли онъ къ намъ опять придетъ! Одна мысль эта ужасаетъ меня! Когда Федора рассказала все это вчера, такъ я такъ испугалась, что чуть-было въ обморокъ не упала отъ страха. Чего еще имъ надобно? Я теперь ихъ знать не хочу! Что имъ за дѣло до меня, бѣдной! Ахъ! въ какомъ я страхѣ теперь; такъ вотъ и думаю, что войдетъ сію минуту Быковъ. Что со мною будетъ! Что еще мнѣ готовить судьба? Ради Христа, зайдите ко мнѣ теперь же, Макаръ Алексѣевичъ. Зайдите, ради Бога, зайдите.

В. Д.

Сентября 18.

Маточка, Варвара Алексѣевна!

Сего числа случилось у насъ въ квартирѣ до-нельзя горестное, ни чѣмъ не объяснимое и неожиданное событіе. Нашъ бѣдный Горшковъ (замѣтить вамъ нужно, маточка) совершенно оправдался. Рѣшеніе-то ужъ давно какъ вышло, а сегодня онъ ходилъ слушать окончательную резолюцію. Дѣло для него весьма счастливо кончилось. Какая тамъ была вина на немъ за нерадѣніе и неосмотрительность — на все вышло полное отпущеніе. Присудили выправить въ его пользу съ купца знатную сумму денегъ, такъ что онъ и обстоятельствами-то сильно поправился, да и честь-то его отъ пятна избавилась, и все стало лучше, — однимъ словомъ, вышло самое полное исполненіе желанія. Пришелъ онъ сегодня въ три часа домой. На немъ лица не было, блѣдный какъ полотно, губы у него трясутся, а самъ улыбается — обнялъ жену, дѣтей. Мы всѣ гурьбою ходили къ нему поздравлять его. Онъ былъ весьма растроганъ нашимъ поступкомъ кланялся на всѣ стороны, жалъ у cadaго изъ насъ руку, по нѣскольку разъ. Мнѣ даже показалось, что онъ и выросъ-

то, и выпрямился-то, и что у него и слезинки-то нѣтъ уже въ глазахъ. Въ волненіи былъ такомъ, бѣдный! Двухъ минутъ на мѣстѣ не могъ простоять; бралъ въ руки все, что ему ни попадалось, потомъ опять бросалъ, безпрестанно улыбался и кланялся, садился, вставалъ, опять садился, говорилъ Богъ-знаетъ что такое — говорить: «честь моя, честь, доброе имя, дѣти мои» — и какъ говорилъ-то! Даже заплакалъ. Мы тоже большею частію прослезились. Ратазиевъ видно хотѣлъ его ободрить и сказалъ—«что, батюшка, честь, когда нечего ѣсть; деньги, батюшка, деньги главное; вѣтъ за что Бога благодарите!» — и тутъ же его по плечу потрепалъ. Мнѣ показалось, что Горшковъ обидѣлся, т. е. не то, чтобы прямо неудовольствіе выказалъ, а только посмотрѣлъ какъ-то странно на Ратазиева, да руку его съ плеча своего снялъ. А прежде бы этого не было, маточка! Впрочемъ, различные бываютъ характеры.— Вотъ я, на-примѣръ, на такихъ радостяхъ гордецомъ бы не выказался; вѣдь чего, родная моя, иногда и поклонъ лишній и уничиженіе изъясляешь, не отъ чего иного, какъ отъ припадка доброты душевной и отъ излишней мягкости сердца... но впрочемъ не во мнѣ тутъ и дѣло-то! — Да, говорить, и деньги хорошо; слава Богу, слава Богу!... и потомъ все время, какъ мы у него были, твердилъ: слава Богу, слава Богу!... Жена его заказала обѣдъ по деликатнѣе, по обильнѣе. Хозяйка наша сама для нихъ стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обѣда, Горшковъ на мѣстѣ не могъ усидѣть. Заходилъ ко всѣмъ въ комнаты, звали ль, не звали его. Такъ себѣ войдетъ, улыбнется, присядетъ на стулъ; скажетъ что-нибудь, а иногда и ничего не скажетъ и уйдетъ. У мичмана даже карты въ руки взялъ; его и усадили играть за четвертаго. Онъ поигралъ-поигралъ, напуталъ въ игрѣ какого-то вздора, сдѣлалъ три-четыре хода, и бросилъ играть. Нѣтъ,

говорить, вѣдь я такъ, я это только такъ — и ушелъ отъ нихъ. Меня встрѣтилъ въ корридорѣ, взялъ меня за обѣ руки, посмотрѣлъ мнѣ прямо въ глаза, только такъ чудно; пожалъ мнѣ руку и отошелъ и все улыбаясь, но какъ-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. Жена его плакала отъ радости; весело такъ все у нихъ было, по праздничному. Пообѣдали они скоро. Вотъ послѣ обѣда онъ и говоритъ женѣ: — Послушайте, душенька, вотъ я немного прилягу» — да и пошелъ на постель. Подозвалъ къ себѣ дочку, положилъ ей на головку руку, и долго-долго гладилъ по головкѣ ребенка. Потомъ опять оборотился къ женѣ: дескать, а что жъ Петинька? Петя нашъ, Петинька?... Жена перекрестилась да и отвѣчаетъ, что вѣдь онъ же умеръ. — Да, да, знаю, все знаю, Петинька теперь въ царствѣ небесномъ. — Жена видитъ, что онъ самъ не свой, что происшествіе-то его потрясло совершенно, и говоритъ ему — вы бы, душенька, заснули. — Да, говоритъ, я сейчасъ... я немножко, — тутъ онъ отвернулся, полежалъ немного, потомъ оборотился, хотѣлъ сказать что-то. Жена не разслышала; спросила его — что, мой другъ? А онъ не отвѣчаетъ. Она подождала немножко — ну, думаетъ, уснулъ, и вышла на часокъ къ хозяйкѣ. Черезъ часъ времени воротилась — видитъ, мужъ еще не проснулся и лежитъ себѣ не шелохнется. Она думала, что спитъ, сѣла и стала работать что-то. Она рассказываетъ, что она работала съ полчаса и такъ погрузилась въ размышленіе, что даже не помнить о чемъ она думала, говоритъ только, что она и позабыла обѣ мужѣ. Только вдругъ она очнулась отъ какого-то тревожнаго ощущенія, и гробовая тишина въ комнатѣ поразила ее прежде всего. Она посмотрѣла на кровать и видитъ, что мужъ лежитъ все въ одномъ положеніи. Она подошла къ нему, сдернула одѣяло, смотритъ — а ужъ онъ холодѣхонекъ — умеръ, маточка, умеръ

Горшковъ, внезапно умеръ, словно его громомъ убило. А отъ-чего умеръ Богъ его знаетъ. Меня это такъ сразило, Варинька, что я до-сихъ-поръ опомниться не могу. Не вѣрится что-то, что бы такъ просто могъ умереть человекъ. Этакой бѣдняга, горемыка этотъ Горшковъ! Ахъ, судьба-то, судьба какая! Жена въ слезахъ, такая испуганная. Дѣвочка куда-то въ уголь забилась. У нихъ тамъ суматоха такая идетъ; слѣдствіе медицинское будутъ дѣлать.... ужь не могу вамъ на вѣрно сказать. Только жалко, охъ какъ жалко! Грустно подумать, что этакъ въ-самомъ-дѣлѣ ни дня, ни часа не вѣдаешь!... Погибаешь этакъ ни за что.....

Вашъ

Макаръ Дьвушкинъ.

Сентября 19.

Милостивая Государыня,

Варвара Алексѣевна!

Спѣшу васъ увѣдомить, другъ мой, что Ратазевъ нашелъ мнѣ работу у одного сочинителя. — Пріѣзжалъ какой-то къ нему, привезъ такую толстую рукопись — Слава Богу, много работы. Только ужь такъ неразборчиво писано, что не знаю какъ и за дѣло приняться; требуютъ поскорѣе. Что-то все объ такомъ написано, что какъ-будто и не понимаешь.... По 40 коп. съ листа уговорились. Я къ тому все это пишу вамъ, родная моя, что будутъ теперь постороннія деньги. — Такимъ образомъ я теперь его превосходительству разомъ рублей 25 выплачу; — оно все благороднѣе какъ-то бѣдную ассигнацію вручить — а? Какъ вы думаете? Такъ вотъ я къ тому и пишу. Ну, а теперь прощайте, маточка. Я ужь прямо и за работу.

Вашъ вѣрный другъ

Макаръ Дьвушкинъ.

Сентября 23.

Дорогой другъ мой
Макаръ Алексѣвичъ.

Я вамъ уже третій день, мой другъ, ничего не писала, а у меня было много, много заботъ, много тревоги.

Третьяго дня былъ у меня Быковъ. Я была одна. Федора куда-то уходила. Я отворила ему и такъ испугалась, когда его увидела, что не могла тронуться съ мѣста. Я чувствовала, что я поблѣдѣла. Онъ вошелъ по своему обыкновенію съ громкимъ смѣхомъ, взялъ стулъ и сѣлъ. Я долго не могла опомниться, наконецъ сѣла въ уголь за работу. Онъ скоро пересталъ смѣяться. Кажется, мой видъ поразилъ его. Я такъ похудѣла въ послѣднее время; щеки и глаза мои ввалились, я была блѣдна, какъ платокъ.... дѣйствительно, меня трудно узнать тому, кто зналъ меня годъ тому назадъ. Онъ долго и пристально смотрѣлъ на меня; наконецъ опять развеселился. Сказалъ что-то такое; я не помню, что отвѣчала ему, и онъ опять засмѣялся. Онъ сидѣлъ у меня цѣлый часъ; долго говорилъ со мной; кой-о чемъ спрашивалъ: наконецъ, передъ прощаніемъ, онъ взялъ меня за руку и сказалъ (я вамъ пишу отъ слова до слова) «Варвара Алексѣвна! Между нами сказать, Анна Федоровна, ваша родственница, а моя короткая знакомая и пріятельница, преподающая женщина.» (Тутъ онъ еще назвалъ ее однимъ неприличнымъ словомъ). «Совратила она и двоюродную вашу сестрицу съ пути и васъ погубила. Съ моей стороны, и я въ этомъ случаѣ подлецомъ оказался; да вѣдь что, дѣло житейское.» Тутъ онъ захохоталъ что есть мочи. Потомъ замѣтилъ, что онъ красно говорить не мастеръ, и что главное, что объяснить было нужно, и объ чемъ обязанности благородства повелѣвали ему не умалчивать, ужъ онъ объявилъ, и что въ короткихъ словахъ приступаетъ къ ос-

тальному. Тутъ онъ объявилъ мнѣ, что ищетъ руки моеѣ, что долгомъ своимъ почитаетъ возвратить мнѣ честь, что онъ богатъ, что онъ увезетъ меня послѣ свадьбы въ свою степную деревню, что онъ хочетъ тамъ зайцевъ травить; что онъ болѣе въ Петербургѣ никогда не прїѣдетъ, потому—что въ Петербургѣ гадко, что у него есть здѣсь въ Петербургѣ, какъ онъ самъ выразился, негодный племянникъ, котораго онъ присягнулъ лишить наслѣдства, и собственно для этого случая, т. е., желая имѣть законныхъ наслѣдниковъ, ищетъ руки моеѣ, что это главная причина его сватовства. Потомъ онъ замѣтилъ, что я весьма бѣдно живу, что не диво, если я больна, проживая въ такой лачугѣ, предрекъ мнѣ неминуемую смерть, если я хоть мѣсяцъ еще такъ останусь; сказалъ, что въ Петербургѣ квартиры гадкія и наконецъ что не надо ли мнѣ чего?

Я такъ была поражена его предложеніемъ, что сама не знаю отъ-чего заплакала. Онъ принялъ мои слезы за благодарность и сказалъ мнѣ, что онъ всегда былъ увѣренъ, что я добрая, чувствительная и учоная дѣвица, но что онъ не прежде впрочемъ рѣшился на сію мѣру, какъ разузнавъ со всею подробностію о моемъ теперешнемъ поведеніи. Тутъ онъ разспрашивалъ о васъ, сказалъ, что онъ про все слышалъ, что вы благородныхъ правилъ человекъ, что онъ съ своей стороны не хочетъ быть у васъ въ долгу и что довольно ли вамъ будетъ 500 руб. за все, что вы для меня сдѣлали? Когда же я ему объяснила, что вы для меня то сдѣлали, чего никакими деньгами не заплатишь, то онъ сказалъ мнѣ, что все это вздоръ, что все это романы, что я еще молода и стихи читаю, что романы губятъ молодыхъ дѣвушекъ, что книги только нравственность портятъ, и что онъ терпѣть не можетъ никакихъ книгъ; совѣтовалъ прожить его годы и тогда объ людяхъ говорить; «тогда» прибавилъ онъ «и людей узнае-

те.» Потомъ онъ сказалъ, что бы я поразмыслила хорошенько объ его предложеніяхъ, что ему весьма будетъ непріятно, если я такой важный шагъ сдѣлаю необдуманно, прибавилъ, что необдуманность и увлеченіе губятъ юность неопытную, но что онъ чрезвычайно желаетъ съ моей стороны благопріятнаго отвѣта; что, наконецъ, въ противномъ случаѣ, онъ принужденъ будетъ жениться въ Москвѣ на купчихѣ, потому-что, говоритъ онъ, я присягнулъ негодяя-племянника лишить наслѣдства. Онъ насильно оставилъ у меня на пальцахъ пять сотъ рублей, какъ онъ сказалъ, на конфетки; сказалъ, что въ деревнѣ я растолстѣю, какъ лепешка, что буду у него какъ сыръ въ маслѣ кататься, что у него теперь ужасно много хлопотъ, что онъ цѣлый день по дѣламъ протаскался, и что теперь между дѣломъ забѣжалъ ко мнѣ. Тутъ онъ ушелъ. Я долго думала, я много передумала, я мучилась, думая, другъ мой; наконецъ я рѣшилась. Другъ мой, я выйду за него, я должна согласиться на его предложеніе. Если кто можетъ избавить меня отъ моего позора, возвратить мнѣ честное имя, отратить отъ меня бѣдность, лишенія и несчастія въ будущемъ, такъ это единственно онъ. Чего же мнѣ ожидать отъ грядущаго, чего еще спрашивать у судьбы? Федора говорить, что своего счастья терять не нужно; говорить — что же въ такомъ случаѣ и называется счастіемъ? Я, по-крайней-мѣрѣ, не нахожу другаго пути для себя, безцѣнный другъ мой. Что мнѣ дѣлать? Работою я и такъ все здоровье свое испортила; работать постоянно я не могу. Въ люди идти? — я съ тоски исчахну; къ тому же, я никому не угожу. Я хвораю отъ природы, и потому всегда буду бременемъ на чужихъ рукахъ. Конечно, я и теперь не въ рай иду, но что же мнѣ дѣлать, другъ мой, что же мнѣ дѣлать? Изъ чего выбирать мнѣ?

— Я не просила у васъ совѣтовъ. Я хотѣла обдумать одна. Рѣшеніе, которое вы прочли сейчасъ, неизмѣнно, и я немедленно объявляю его Быкову, который и безъ того торопитъ меня окончательнымъ рѣшеніемъ. Онъ сказалъ, что у него дѣла не ждуть, что ему нужно ѣхать, и что не откладывать же ихъ изъ-за пустяковъ. Знаетъ Богъ буду ли я счастлива; въ Его святой, неисповѣдимой власти судьбы мои, но я рѣшилась. Говорятъ, что Быковъ человѣкъ добрый; онъ будетъ уважать меня; можетъ-быть, и я также буду уважать его. Чего же ждать болѣе отъ нашего брака?

— Увѣдомляю васъ обо всемъ, Макаръ Алексѣевичъ. Я увѣрена, вы поймете всю тоску мою. Не отвлекайте меня отъ моего намѣренія. Усилія ваши будутъ тщетны. Взвѣсьте въ своемъ собственномъ сердцѣ все, что принудило меня такъ поступить. Я очень тревожилась сначала, но теперь я спокойнѣе. Что впереди, я не знаю. Что будетъ, то будетъ; какъ Богъ пошлетъ!...

— Пришелъ Быковъ; я бросаю письмо не окончательнымъ. Много еще хотѣла сказать вамъ. Быковъ ужъ здѣсь!

В. Д.

Сентября 23.

Маточка Варвара Алексѣевна!

Я, маточка, спѣшу вамъ отвѣчать; я, маточка, спѣшу вамъ объявить, что я изумленъ. Все это какъ-то не того.... Вчера мы похоронили Горшкова. Да, это такъ, Варинька, это такъ; Быковъ поступилъ благородно; только вотъ видите ли, родная моя, такъ вы и соглашаетесь? Какъ же вы это такъ соглашаетесь, Варвара Алексѣевна? Конечно, во всемъ воля Божія; это такъ,

это непремѣнно должно быть такъ; т. е. тутъ воля-то Божія непремѣнно должна быть; и промысль Творца небеснаго конечно и благъ и неисповѣдимъ, и судьбы тоже, и они то же самое. — Федора тоже въ васъ участіе принимаетъ. Конечно, вы счастливы теперь будете, маточка, въ довольствѣ будете, моя голубочка, ясочка моя, ненаглядная вы моя, ангельчикъ мой, — только, вотъ видите ли, Варинька, какъ же это такъ скоро?... Да, дѣла.... у г-на Быкова есть дѣла — конечно, у кого нѣтъ дѣлъ, и у него тоже они могутъ случиться.... видѣлъ я его, какъ онъ отъ васъ выходилъ. Видный, видный мужчина; даже ужъ и очень видный мужчина. Только все это какъ-то не такъ, дѣло-то не въ томъ именно, что онъ видный мужчина; да и я-то теперь какъ-то самъ не свой. Только вотъ какъ же мы будемъ теперь письма-то другъ къ другу писать? Я-то, я-то какъ же одинъ останусь. Я, ангельчикъ мой, все взвѣшиваю, все взвѣшиваю, какъ вы писали-то мнѣ тамъ, въ сердцѣ-то моемъ все это взвѣшиваю, всѣ причины-то эти. Я уже двадцатый листъ оканчивалъ переписывать, а между-тѣмъ эти происшествія-то нашли! Маточка, вѣдь вотъ вы ѣдете, такъ и закупки-то вамъ различныя сдѣлать нужно; башмачки разные, платянце; а вотъ у меня кстати и магазинъ есть знакомый въ Гороховой; помните, какъ я вамъ еще его все описывалъ, какъ я его все описывалъ. — Да нѣтъ же! Какъ же это вы, маточка, что вы! вѣдь вамъ нельзя теперь ѣхать, совершенно невозможно, никакъ невозможно. Вѣдь вамъ будетъ нужно покупки большія дѣлать, да экипажъ заводить. Къ тому же и погода теперь дурная; вы посмотрите-ка, дождь какъ изъ ведра льетъ, и такой мокрый дождь, да еще.... еще то, что вамъ холодно будетъ, мой ангельчикъ; сердечку-то вашему будетъ холодно! Вѣдь вотъ вы боитесь чужаго человѣка, а ѣдете. А я-то на кого здѣсь одинъ

останусь? Да! вотъ Федора говорить, что васъ счастье ожидаетъ большое.... да вѣдь она баба буйная, и меня погубить желаетъ. Поидете ли вы ко всеношней сегодня, маточка? Я бы васъ пошелъ посмотрѣть. Оно правда, маточка, правда, совершенная правда, что вы дѣвица ученая, добродѣтельная и чувствительная, только пусть ужь онъ лучше женится на купчихѣ! Какъ вы думаете, маточка? пусть ужь онъ лучше на купчихѣ-то женится! — Я къ вамъ, Варинька вы моя, какъ смеркнется, такъ и забѣгу на часокъ. Нынче вѣдь рано смеркается, такъ я и забѣгу. Я, маточка, къ вамъ непременно на часочикъ забѣгу сегодня. Вотъ вы теперь ждете Быкова, а какъ онъ уйдетъ, такъ я и забѣгу. Вотъ, подождите, маточка, я забѣгу....

Макаръ Дьвушкинъ.

Сентября 27.

Другъ мой, Макаръ Алексѣевичъ.

Господинъ Быковъ сказалъ, что у меня непременно должно быть на три дюжины рубашекъ голландскаго полотна. Такъ нужно какъ-можно-скорѣе пріискать бѣлошвеекъ для двухъ дюжинъ, а времени у насъ очень мало. Господинъ Быковъ сердится; говорить, что съ этими тряпками ужасно много возни. Свадьба наша черезъ пять дней, а на другой день послѣ свадьбы мы ѣдемъ. Господинъ Быковъ торопится, говорить, что на вздоръ много времени не нужно терять. Я измучилась отъ хлопотъ и чуть на ногахъ стою. Дѣла страшная куча, а право лучше, еслибъ этого ничего не было. Да еще: у насъ не достаетъ блондъ и кружева, такъ вотъ нужно бы прикупить, потому-что господинъ Быковъ говорить, что онъ не хочетъ, чтобы же-

на его какъ кухарка ходила, и что я непременно должна «утереть носъ всѣмъ помѣщикамъ». Такъ онъ самъ говоритъ. Такъ вотъ, Макаръ Алексѣевичъ, адресуйте, пожалуйста, къ мадамъ Шифонъ въ Гороховую, и попросите, во-первыхъ, прислать къ намъ бѣлошвеекъ, а во-вторыхъ, чтобъ и сама потрудилась заѣхать. Я сегодня больна. На новой квартирѣ у насъ такъ холодно и безпорядки ужасные. Тѣтушка господина Быкова чуть-чуть дышетъ отъ старости. Я боюсь, чтобы не умерла до нашего отъѣзда, но господинъ Быковъ говоритъ, что ничего, очнется. Въ домѣ у насъ безпорядки ужасные. Господинъ Быковъ съ нами не живетъ, такъ люди всѣ разбѣгаются Богъ знаетъ куда. Случается, что одна Федора намъ прислуживаетъ; а камердинеръ господина Быкова, который смотритъ за всѣмъ, уже третій день неизвѣстно гдѣ пропадаетъ. Господинъ Быковъ заѣзжаетъ каждое утро, все сердится и вчера побилъ прикащика дома, за что имѣлъ неприятели съ полиціей.... Не съ кѣмъ было къ вамъ и письма-то послать. Пишу по городской почтѣ. Да! Чуть-было не забыла самага важнаго. Скажите мадамъ Шифонъ, чтобы блонды она непременно перемѣнила, сообразуясь со вчерашнимъ образчикомъ, и чтобы сама заѣхала ко мнѣ показать новый выборъ. Да скажите еще, что я раздумала насчетъ канезу; что его нужно вышивать крошью. Да еще: буквы для вензелей на платкахъ вышивать тамбуромъ; слышите ли? тамбуромъ, а не гладью. Смотрите же, не забудьте, что тамбуромъ! Вотъ еще чуть было не забыла! Передайте ей, ради Бога, чтобы листики на пелеринѣ шить возвышенно, усики и шипы кордонне, а потомъ обшить воротникъ кружевомъ или широкой фальбалой. Пожалуйста, передайте, Макаръ Алексѣевичъ.

Ваша

В. Д.

Р. S. Мнѣ такъ совѣстно, что я все васъ мучаю моими комиссіями. Вотъ и третьяго дня вы цѣлое утро бѣгали. Но что дѣлать! У насъ въ домѣ нѣтъ никакого порядка, а я сама нездорова. Такъ не досадите на меня, Макаръ Алексѣвичъ. Такая тоска! Ахъ, что это будетъ, что это будетъ, другъ мой, милый мой, добрый мой Макаръ Алексѣвичъ! Я и заглянуть боюсь въ мое будущее. Я все что-то предчувствую и точно въ чаду въ какомъ-то живу.

Р. S. Ради Бога, мой другъ, не позабудьте что-нибудь изъ того, что я вамъ теперь говорила. Я все боюсь, чтобы вы какъ-нибудь не ошиблись. Помните же, тамбуромъ, а не гладью.

В. Д.

Сентября 27.

Милостивая государыня

Варвара Алексѣевна!

Комисіи ваши всѣ исполнилъ рачительно. Мадамъ Шифонъ говоритъ, что она уже сама думала обшивать тамбуромъ; что это приличнѣе что ли, ужъ не знаю, въ толкъ не взялъ хорошенько. Да еще, вы тамъ фальбалу написали, такъ она и про фальбалу говорила. Только я, маточка, и позабылъ, что она мнѣ про фальбалу говорила. Только помню, что очень много говорила; такая скверная баба! Что-бишь такое? Да вотъ она вамъ сама все расскажетъ. Я, маточка моя, совсѣмъ замотался. Сегодня я и въ должность не ходилъ. Только вы-то, родная моя, напрасно отчаяваетесь. Для вашего спокойствія я готовъ всѣ магазины обѣгать. Вы пишете, что въ будущее заглянуть боитесь. Да вѣдь сегодня въ седьмомъ часу все узнаете. Ма-

дамъ Шифонъ сама къ вамъ прїѣдетъ. Такъ вы и не отчаявайтесь; надѣйтесь, маточка; авось и все-то устроится къ лучшему — вотъ. Такъ того-то, я все фальбалу-то проклятую — эхъ, мнѣ эта фальбала — фальбала! Я бы къ вамъ забѣжалъ, ангельчикъ, забѣжалъ бы, непременно бы забѣжалъ; я ужь и такъ къ воротамъ вашего дома раза два подходилъ. Да все Быковъ, то-есть, я хочу сказать, что господинъ Быковъ все сердитый такой, такъ вотъ оно и не того.... Ну, да ужь что!

Макаръ Дьвушкинъ.

Сентября 28.

Милостивый государь

Макаръ Алексѣевичъ!

Ради Бога бѣгите сейчасъ къ брильянтичку. Скажите ему, что серьги съ жемчугомъ и изумрудами дѣлать не нужно. Господинъ Быковъ говоритъ, что слишкомъ богато, что это кусается. Онъ сердится; говоритъ, что ему и такъ въ карманъ стало, и что мы его грабимъ, а вчера сказалъ, что еслибы впередъ зналъ да вѣдалъ про такіе расходы, такъ и не связывался бы. Говоритъ, что только насъ повѣнчаютъ, такъ сейчасъ и уѣдемъ, что гостей не будетъ, и чтобы я вертѣться и плясать не надѣялась, что еще далеко до праздниковъ. Вотъ онъ какъ говоритъ! А Богъ видитъ нужно ли мнѣ все это! Самъ же господинъ Быковъ все заказывалъ. Я и отвѣчать ему ничего не смѣю; онъ горячій такой. Что со мною будетъ!

В. Д.

Сентября 28.

Голубчикъ мой, Варвара Алексѣевна!

— Я — то есть, брильянтикъ говоритъ — хорошо ; а я про себя хотѣлъ сначала сказать , что я заболѣлъ и встать не могу съ постели. Вотъ теперь, какъ время пришло хлопотливое , нужное , такъ и простуды напали, врагъ ихъ возьми! Тоже увѣдомляю васъ, что къ довершенію несчастій моихъ и его превосходительство изволили быть строгими, и на Емельяна Ивановича много сердились и кричали, и подъ конецъ совсѣмъ измучились, бѣдненькіе. Вотъ я васъ и увѣдомляю обо всемъ. Да еще хотѣлъ вамъ написать что-нибудь, только васъ утруждать боюсь. Вѣдь я, маточка, человѣкъ глупый, простой, пишу-себѣ что ни попало, такъ можетъ-быть вы тамъ чего-нибудь и такого — ну, да ужь что!

Вашъ

Макаръ Дьвушкинъ.

Сентября 21.

Варвара Алексѣевна, родная моя!

Я сегодня Федору видѣлъ, голубчикъ мой. Она говоритъ, что васъ уже завтра вѣнчаютъ, а послѣ завтра вы ѣдете, и что господинъ Быковъ уже лошадей нанимаетъ. На счетъ его превосходительства я уже увѣдомлялъ васъ, маточка. Да еще : — счеты изъ магазина въ Гороховой я провѣрилъ; все вѣрно, да только очень дорого. Только за что же господинъ-то Быковъ на васъ сердится? Ну, будьте счастливы, маточка! Я радъ; да, я буду радъ, если вы будете счастливы. Я бы пришелъ въ церковь, маточка, да не могу, болить поясища. Такъ вотъ я все на счетъ писемъ: вѣдь вотъ

кто же теперь ихъ передавать-то намъ будетъ, маточка? Да! Вы Федору-то облагодѣтельствовали, родная моя! Это доброе дѣло вы сдѣлали, другъ мой; это вы очень хорошо сдѣлали. Доброе дѣло! А за каждое доброе дѣло васъ Господь благословлять будетъ. — Добрыя дѣла не остаются безъ награды и добродѣтель всегда будетъ увѣнчана вѣнцомъ справедливости Божіей, рано ли, поздно ли. Маточка! Я бы вамъ много хотѣлъ написать; такъ, каждый часъ, каждую минуту все бы писалъ, все бы писалъ! У меня еще ваша книжка осталась одна, *Бѣлкина Повѣсти*, такъ вы ее, знаете, маточка, не берите ее у меня, подарите ее мнѣ, мой голубчикъ. Это не потому, что ужъ мнѣ такъ ее читать хочется. Но сами вы знаете, маточка, подходитъ зима; вечера будутъ длинные; грустно будетъ, такъ вотъ бы и почитать. Я, маточка, переѣду съ моей квартиры на вашу старую, и буду нанимать у Федоры. Я съ этой честной женщиной теперь ни за что не разстанусь; къ тому же, она такая работающая. Я вашу квартиру опустѣвшую вчера подробно осматривалъ. Тамъ, какъ были ваши плечки, а на нихъ шитье, такъ они и остались нетронутые: въ углу стоятъ. Я ваше шитье разсматривалъ. Остались еще тутъ лоскуточки разные. На одно письмо мое, вы ниточки начали было наматывать. Въ столикѣ нашелъ бумажки листочикъ, а на бумажкѣ написано — «*Милостивый государь, Макаръ Алексѣевичъ. Спѣшу*» — и только. Видно васъ кто-нибудь прервалъ на самомъ интересномъ мѣстѣ. Въ углу за ширмочками ваша кровать стоитъ... Голубчикъ вы мой!!!! Ну, прощайте, прощайте; ради Бога отвѣчайте мнѣ что-нибудь на это письмо поскорѣе.

Макаръ Двѣушкинъ.

Сентября 30.

Безцѣнный другъ мой, Макарь Алексѣевичъ!

Все совершилось! Вышаль мой жребій; не знаю какой, но я волѣ Господа покорна. Завтра мы ѣдемъ. Прощаюсь съ вами въ послѣдній разъ, безцѣнный мой, другъ мой, благодѣтель мой, родной мой! Не горюйте обо мнѣ, живите счастливо, помните обо мнѣ и да снизойдетъ на васъ благословеніе Божіе! Я буду вспоминать васъ часто въ мысляхъ моихъ, въ молитвахъ моихъ. — Вотъ и кончилось это время! Я мало отраднато унесу въ новую жизнь изъ воспоминаній прошедшаго; тѣмъ драгоцѣннѣе будетъ воспоминаніе объ васъ, тѣмъ драгоцѣннѣе будете вы моему сердцу. Вы единственный другъ мой; вы только одни здѣсь любили меня. Вѣдь я все видѣла, я вѣдь знала какъ вы любили меня! Улыбкой одной моею вы счастливы были, одной строчкой письма моего. Вамъ нужно будетъ теперь отвыкать отъ меня! Какъ вы одни здѣсь останетесь! На кого вы здѣсь останетесь, добрый, безцѣнный, единственный другъ мой! Оставляю вамъ книжку, пальцы, начатое письмо; когда будете смотрѣть на эти начатыя строчки, то мыслями читайте дальше все, что бы хотѣлось вамъ услышать или прочесть отъ меня, все, что я ни написала бы вамъ; а чего бы я не написала теперь! Вспоминайте о бѣдной вашей Варинькѣ, которая васъ такъ крѣпко любила. Всѣ ваши письма остались въ коммодѣ у Федоры, въ верхнемъ ящикѣ. Вы пишете, что вы больны, а господинъ Быковъ меня сегодня никуда не пускаетъ. Я буду вамъ писать, другъ мой, я общаюсь; но вѣдь одинъ Богъ знаетъ, что можетъ случиться. И такъ, простимся теперь навсегда, другъ мой, голубчикъ мой, родной мой, навсегда!... Охъ, какъ бы я теперь обняла васъ! Прощайте, мой другъ, прощайте, прощайте. Живите

счастливо; будьте здоровы. Моя молитва будетъ вѣчно
объ васъ. О! какъ мнѣ грустно, какъ давить всю мою
душу. Господинъ Быковъ зоветъ меня. Прощайте!
Васъ вѣчно любящая

В.

Р. S. Моя душа такъ полна, такъ полна теперь слеза-
ми.... Слезы тѣснятъ меня, рвутъ меня! Прощай-
те. Боже! какъ грустно!

Помните, помните вашу бѣдную Вариньку!

Маточка, Варинька, голубчикъ мой, безцѣнная моя!
Васъ увозятъ, вы ѣдете! Да, теперь лучше бы сердце
они изъ груди моей вырвали, чѣмъ васъ у меня! Какъ
же вы это! — Вотъ, вы плачете и вы ѣдете?! Вотъ я
отъ васъ письмо сейчасъ получилъ, все слезами за-
капанное. Стало-быть, вамъ не хочется ѣхать; стало-
быть, васъ насильно увозятъ, стало-быть, вамъ жаль
меня, стало-быть, вы меня любите! Да какъ же, съ
кѣмъ же вы теперь будете? Тамъ вашему сердечку бу-
детъ грустно, тошно и холодно. Тоска его высосетъ,
грусть его по-поламъ разорветъ. Вы тамъ умрете,
васъ тамъ въ сыру землю положатъ; объ васъ и попла-
кать-то будетъ не кому тамъ! Г-нъ Быковъ будетъ
все зайцевъ травить.... Ахъ, маточка, маточка! на что
же вы это рѣшились, какъ же вы на такую мѣру рѣ-
шиться могли? Что вы сдѣлали, что вы сдѣлали, что
вы надъ собой сдѣлали! Вѣдь васъ тамъ въ гробъ све-
дутъ; они заморятъ васъ тамъ, ангельчикъ. Вѣдь вы,
маточка, какъ перышко слабенькія! И я-то гдѣ былъ?
Чего я-то тутъ, дуракъ, глазѣлъ! Вижу дитя блажить,
у дитяти просто головка болитъ! Чѣмъ бы тутъ по про-
сту — такъ нѣтъ же! дуракъ-дуракомъ, и не думаю ни-

чего и не вижу ничего, какъ-будто и правъ, какъ-будто и дѣло до меня не касается; и еще за фальбалой бѣгалъ!... Нѣтъ, я, Варинька, встану; я къ завтрашнему дню, можетъ-быть, выздоровлю, такъ вотъ я и встану!... Я, маточка, подъ колеса брошусь, а васъ не пущу уѣзжать! Да нѣтъ, что же это въ самомъ дѣлѣ такое? По какому праву все это дѣлается? Я съ вами уѣду; я за каретой вашей побѣгу, если меня не возьмете, и буду бѣжать что есть мочи, покамѣстъ духъ изъ меня выйдетъ. Да вы знаете ли только, что тамъ такое, куда вы ѣдете-то, маточка? Вы, можетъ-быть, этого не знаете, такъ меня спросите! Тамъ степь, родная моя, тамъ степь, чистая, голая степь; вотъ какъ моя ладонь голая! Тамъ ходитъ баба безчувственная, да мужикъ необразованный пьяница ходитъ. Тамъ теперь листья съ деревь осыпались, тамъ дожди, тамъ холодно, — а вы туда ѣдете! Ну, господину Быкову тамъ есть занятіе: онъ тамъ будетъ съ зайцами; а вы что? Вы помѣщицей хотите быть, маточка? Но, херувимчикъ вы мой! вы поглядите-ка на себя, похожи ли вы на помѣщицу?... Да какъ же можетъ быть такое, Варинька! Къ кому же я письма-то буду писать, маточка? Да! вотъ вы возьмите-ка въ соображеніе-то, маточка, — дескать, къ кому же онъ письма-то будетъ писать? Кого же я маточкой-то называть буду; именемъ-то, любезнымъ такимъ кого называть буду? Гдѣ мнѣ васъ найдти потомъ, ангельчикъ мой? Я умру, Варинька, непременно умру; не перенесетъ мое сердце такого несчастья! Я васъ какъ свѣтъ Господень любилъ, какъ дочку родную любилъ, я все въ васъ любилъ, маточка, родная моя! и самъ для васъ только и жилъ одинъхъ! Я и работалъ, и бумаги писалъ, и ходилъ, и гулялъ, и наблюденія мои бумагѣ передавалъ въ видѣ дружескихъ писемъ, все отъ-того, что вы, маточка, здѣсь, напротивъ, по-близости жили. Вы, можетъ-быть, этого и

не знали, а это все было именно такъ! Да, послушайте, маточка, вы разсудите, голубчикъ мой миленькой, какъ же это можетъ быть, чтобы вы отъ насъ уѣхали? Родная моя, вѣдь вамъ ѣхать нельзя, невозможно; просто, рѣшительно никакой возможности нѣтъ! Вѣдь вотъ дождь идетъ, а вы слабенькія, вы простудитесь. Ваша карета промокнетъ; она непременно промокнетъ. Она только—что вы за заставу выѣдете, и сломается; она непременно сломается, нарочно сломается. Вѣдь здѣсь въ Петербургѣ прескверно кареты дѣлаютъ! Я и каретниковъ—то этихъ всѣхъ знаю; они только, чтобъ фасончикъ, игрушечку тамъ какую—нибудь смастерить; а не прочно! присягну, что непрочно дѣлаютъ! Я, маточка, на колѣни передъ господиномъ Быковымъ брошусь; я ему докажу, все докажу! И вы, маточка, докажите, все ему докажите; резонномъ докажите ему! Скажите, что вы остаетесь и что вы не можете ѣхать!... Ахъ, зачѣмъ это онъ въ Москвѣ на купчихѣ не женился? Ужь пусть бы онъ тамъ на ней—то женился! Ему купчиха лучше; ему она гораздо лучше бы шла; ужь это я знаю! А я бы васъ здѣсь у себя держалъ. Да что онъ вамъ—то, маточка, Быковъ—то? Чѣмъ онъ для васъ такъ вдругъ милъ сдѣлался? Вы, можетъ—быть, отъ—того, что онъ вамъ фальбалу—то все закупаетъ, вы, можетъ—быть, отъ этого! Да вѣдь что же фальбала? зачѣмъ фальбала? Вѣдь она, маточка, вздоръ! Тутъ рѣчь идетъ о жизни человѣческой, а вѣдь она, маточка, тряпка фальбала, она, маточка, фальбала—то тряпица! Да я вотъ вамъ самъ, вотъ только—что жалованье получу, фальбалы накуплю; я вамъ ее накуплю, маточка; у меня тамъ вотъ и магазинчикъ знакомый есть; вотъ только жалованья дайте дождаться мнѣ, херувимчикъ мой, Варинька! Ахъ, Господи, Господи! Такъ вы это непременно въ степь съ господиномъ Быковымъ уѣзжаете, безвозвратно уѣзжаете! Ахъ, маточка!... Нѣтъ,

вы мнѣ еще напишите, еще мнѣ письмо напишите обо всемъ, и когда уѣдете, такъ и оттуда письмо напишите. А то вѣдь, ангель небесный мой, это будетъ послѣднее письмо; а вѣдь никакъ не можетъ такъ быть, чтобы письмо это было послѣднее. Вѣдь вотъ какъ же, такъ вдругъ, именно, непремѣнно послѣднее! Да нѣтъ же, я буду писать, да и вы-то пишете.... А то у меня и слогъ теперь формируется.... Ахъ, родная моя, что слогъ! Вѣдь вотъ я теперь и не знаю что это я пишу, никакъ не знаю, ничего не знаю и не перечитываю, и слогу не выправляю, а пишу только бы писать, только бы вамъ написать-то побольше.... Голубчикъ мой, родная моя, маточка вы моя!

ПОМЪЩИКЪ.

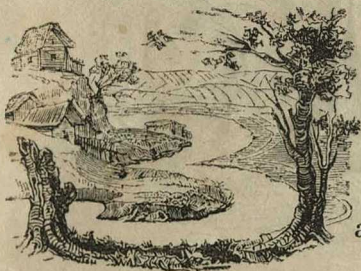
ИВ. ТУРГЕНЕВА.



СЪ РИСУНКАМИ А. АГИНА, ГРАВИРОВАННЫМИ НА ДЕРЕВЪ
Е. БЕРНАДСКОМЪ.

ПОМЪЩИКЪ.

I.



а чайнымъ столикомъ, вес-
ной,

Подъ липками, часу въ десятомъ,
Сидѣлъ помѣщикъ столб овой,
Покрытый стеганымъ халатомъ.
Онъ кушалъ молча, не спѣша:
Курилъ, поглядывалъ безпечно....
И наслаждалась безконечно
Его дворянская душа.

На головѣ его курчавой
Торчитъ ермолка; песь лягавой,



Угрюмый старецъ, подъ столомъ
Сидитъ и жмурится. Кругомъ
Все тихо.... Сохнетъ воздухъ.... жгучій
Почуя жаръ, перепела
Кричатъ.... ползеть обозъ скрипучій
По длинной улицѣ села....

II.

Помѣщикъ этотъ благородный,
Степенный, мирный семьянинъ,
Притомъ хозяинъ превосходный,
Быль настоящей Славянинъ.
Онъ съ дѣтства не носилъ подтяжекъ;
Любилъ просторъ, любилъ покой
И лѣнь; но страненъ былъ покрой
Его затѣйливыхъ фуражекъ.
Любилъ онъ жирные блины,
Боялся чорта да жены;
Любилъ онъ, скушавъ пять арбузовъ,
Ругнуть и Нѣмцевъ и Французовъ,
Читалъ лишь изрѣдка, съ трудомъ,
Служилъ въ архивѣ казначейства,
И былъ, какъ слѣдуетъ, отцомъ
Необозримаго семейства.

III.

Онъ отдыхалъ. Его жена
Отправилась на богомолье....
Извѣстно: въ наши времена
Супругу безъ жены — раздолье.
И думалъ онъ: «въ деревнѣ рай!
«Погода нынче — просто чудо!
«А между-тѣмъ — зайти не худо
«Въ конюшню, да въ сѣнной сарай.»
Помѣщикъ подошелъ къ калиткѣ.

Через дорожку, въ сѣрой свиткѣ,
Въ платочкѣ красномъ на бочокѣ,
Шла дѣвка съ кузовомъ въ лѣсокъ....
Какъ человѣкъ давно женатой,
Слегка прищолкнувъ языкомъ,



Съ улыбкой мирно-плутоватой
Онъ погрозилъ ей кулакомъ.

IV.

Потомъ съ задумчивымъ вниманьемъ
Смотрѣлъ — какъ боровъ о заборъ
Съ эгоистическимъ стараньемъ
Зажмурилъ глазки, спину тёръ....
Потомъ — коротенькія ручки
Сложивъ умильно на брюшкѣ,
Помѣщикъ подошелъ къ рѣкѣ....
На волны сонныя, на тучки,

На небо синее взглянулъ ,



Весьма чувствительно вздохнулъ —
И палку вынулъ изъ забора
Сталъ въ воду посылать Трезора....
Межъ-тѣмъ, съ какимъ-то мужикомъ
Онъ побесѣдовалъ привѣтно
О томъ, что просто съ каждымъ днёмъ
Мы развиваемся замѣтно.

V.

Потомъ онъ съ бабой поболталъ....
(До бабъ онъ былъ немножко падокъ).



Зашелъ въ конюшню, посвисталъ,
И хлѣбцомъ покормилъ лошадокъ....
Увидѣлъ въ полѣ двухъ коровъ
Чужихъ.... разгнѣвался не мало;
Велѣлъ, во что бы то ни стало



Сыскать ослушныхъ мужиковъ.

Краснорѣчиво, важно, долго
Имъ толковалъ о чувствѣ долга —
Потомъ побилъ ихъ — но слегка....
Легка боярская рука....
Пришелъ въ ужасное волненье,
Клялся, что будущей зимой
Все съ молотка продать имѣнье —
И медленно пошелъ домой.

VI.

Въ саду ему попались дѣти,
Кричатъ: «Папа! готовъ обѣдъ....»
— «Меня погубятъ дѣти эти»
Онъ запишалъ: — «во пвѣтѣ лѣтъ!»
— «Адамъ Адамычъ! Вамъ не стыдно?»



— «Какъ вы балуете дѣтей!»

— «Помилуйте! Да что вы?» — Сей
Адамъ Адамычъ — очевидно
Былъ иностранный человѣкъ....
Но для того ли цѣлый вѣкъ
Онъ изучалъ Санхоньятона,
Зубрилъ «Республику» Платона,
И тиснулъ длинную статью
О божествахъ самооракійскихъ —
Чтобъ жизнь убогую свою
Влачить среди дворянъ россійскихъ?

VII.

Онъ изъ себя былъ худъ и малъ;
Любилъ почтительные жесты —
И въ перепискѣ состоялъ
Съ родителемъ своей невѣсты.
Онъ былъ съ чувствительной душой
Рожденъ; и въ старческіе годы
При зрѣлищѣ красоть природы
Вздыхалъ, качая головой.
Но плохо шли его дѣлишки
Носилъ онъ черныя манишки,
Короткій безобразный фракъ,
Изподтишка курилъ табакъ....
Онъ улыбался принужденно,
Когда начнутъ хвалить дѣтей
И кашлялъ, кланяясь смиренно,
При видѣ барынь и гостей.

VIII.

Но Богъ съ нимъ! Тихими шагами
Вернулся подъ родимый кровъ

Помѣщикъ.... Онъ моргалъ глазами,
Онъ былъ и гнѣвъ и суровъ.
Взошелъ онъ въ сѣни молчаливо
И лани испуганной быстрѣй
Вскочилъ оборванный лакей
Подобострастно-торопливо.
Мной воспѣваемый предметъ
Стремится важно въ кабинетъ.
Мамзель — Француженка въ гостиной,
Съ улыбочкой, съ ужимкой чинной
Предъ нимъ присѣла... Посмотрѣлъ



Онъ на нее лукаво — кошкой....
Подумалъ: «эдакой пострѣлъ!»
И деликатно шаркнулъ ножкой.

IX.

И гнѣвъ исчезъ его какъ паръ,
Какъ пыль, какъ женскія страданья,
Какъ дымъ, какъ юношескій жаръ,
Какъ радость перваго свиданья.

Исчезъ! Смѣнила тишина
Порывы думъ степныхъ и рьяныхъ
И на щекахъ его румяныхъ
Улыбка прежняя видна.
Я могъ бы, пользуясь свободой
Разказа, съ моремъ и съ природой
Сравнить героя моего,
Но мнѣ теперь не до того....
Пора впередъ! Читатель милый,
Вашъ незатѣйливый поэтъ
Намѣренъ описать унылый,
Слявяно-русскій кабинетъ.

X.

Всѣ стѣны на манеръ бесѣдки
Расписаны. Подъ потолкомъ
Висятъ запачканныя клѣтки:
Одна съ симбирскимъ соловьемъ,
Съ чижами двѣ. Вотъ — столъ огромной
На толстыхъ ножкахъ; по стѣнамъ
Изображенья сочныхъ дамъ
Съ улыбкой сладостной и томной
И съ подписью: La Charité,
La Nuit, le Jour, la Vanité....
На полкѣ чучело кукушки,
На креслахъ шитыя подушки,
Сундукъ окованный въ углѣ,
На зеркалѣ слой липкой пыли,
Тарелка съ дыней на столѣ,
И подъ окошкомъ три бутылки.

XI.

Вотъ — кипы пестрыя бумагъ,
Записокъ, счетовъ, приказаній
И рапортовъ.... Я самъ не врагъ
Степныхъ присылокъ — и посланій.
А вотъ и ширмы.... наконецъ,
Вотъ шкафъ просторный, шишковатый....
На немъ безносый, бородатый
Бѣлѣтъ гипсовый мудрецъ.
Увы! Безсильно негодуя,
На ликъ задумчивый гляжу я....
Быть-можетъ, этотъ истуканъ —
Эхиль, Сократъ, Аристофанъ....
И передъ нимъ уже седьмое
Колѣно тучныхъ добряковъ
Ростеть и множится въ покоѣ —
Среди не чуждыхъ имъ клоповъ!

XII.

Помѣщикъ мой достойно, важно,
Глубокомысленно куриль....
Куриль.... и вдругъ зѣвнулъ протяжно,
Привсталъ и хрипло возопилъ:
«Эй — Васька!.... Васька! Васька! Васька!!!»
Явился Васька. — «Тарантасъ
«Вели мнѣ заложить.» — «Сей часъ.»
«А что? починена коляска?» —

— «Починена-сь.» — «Починена?...»



«Нѣтъ — лучше тарантасъ.» — Жена,
Подумаль онъ, вернется къ ночи,
Разсердится.... Но нѣту мочи
Какъ дома скучно. Ёду — да!
Да, чортъ возьми — да! — Но читатель,
Угодно ль вамъ узнать, куда
Спѣшитъ почтенный мой пріятель?

XIII.

Такъ знайте жь! отъ его села
Верстахъ въ пятнадцати — неболѣ —
Подъ самымъ городомъ — жила
Помѣщица — въ теплѣ да въ холѣ,
Вдова. Такихъ немного вдовъ.
Ея супругъ, корнетъ гусарской

.....
Завелъ охоту, рысаковъ,
Друзей, собакъ.... Обѣды, балы
Давалъ, выписывалъ журналы....
И разорился бъ наконецъ
Мой тороватый молодець —
Да въ цвѣтѣ лѣтъ погибъ на «садкѣ», (*)
Слетѣвъ торжественно съ сѣдла —
И въ изступленномъ безпорядкѣ
Оставилъ все свои дѣла.

XIV.

Съ его-то вдовушкой — любезный
Помѣщикъ былъ весьма знакомъ.
Ее сравнилъ острякъ уѣздный
Съ свѣжепросольнымъ огурцомъ.
Теперь ей — что жь! о томъ ни слова —
Лѣтъ подъ сорокъ.... но какъ она
Еще свѣжа, полна, пышна,
И не по нашему здорова!
Какія плечи! Что за станъ!
А груди — цѣлый океанъ! (**)
Румянецъ яркій, русый волосъ,

(*) Садка известная забава охотниковъ. Въ чистомъ полѣ сажаютъ волка, лисицу или зайца, пускаютъ собакъ на царя, охотники скачутъ, падаютъ съ лошадей и т. д. — а по окончаніи садки пируютъ.

(**) Мы бы не рѣшились употребить такое смѣлое сравненіе, еслибъ насъ не ободрилъ примѣръ г-на Бенедиктова. Кто не помнитъ его превосходныхъ стиховъ:

...И на ятомъ океанѣ
Въ пѣнѣ млечной бѣлизны,
Изъ-подъ дымки, какъ въ туманѣ
Рисовались двѣ волны.

Немощко рѣзкій, звонкій голосъ,
Побѣдоносный, свѣтлый взоръ —
Все въ ней дышало дивной силой....
Такая барыня — не вздоръ



Въ нашъ вѣкъ болѣзненный и хилой!

XV.

• Не вздоръ! И былъ ей свыше данъ
Великій даръ: плѣнять сосѣдей,
Отъ образованныхъ дворянъ
До «степняковъ» и до «медвѣдей.»
Она была ловка, хитра,
И только съ виду добродушна....
Но восхитительно-радушна
Съ гостями — нынче какъ вчера.
Предъ ней весь домъ дрожаль. Не мало
Она любила власть. Бывало
Ей покорялся самъ корнетъ....
И дочь ея въ семнадцать лѣтъ
Ходила съ четырьмя косами
И въ панталончикахъ. Не разъ
Своими бѣлыми руками
Она наказывала васъ,

XVI.

О безотвѣтныя творенья,
Служанки барышень и баръ,
.....
.....
О вы, которымъ два цѣлковыхъ
Дается въ годъ на башмаки,
И вы, небритые полки
Угрюмыхъ, медленныхъ дворовыхъ!
За то на двѣсти верстъ кругомъ

Она гремѣла.... съ ней знакомъ
Былъ губернаторъ.... кавалеры
Ее хвалили за манеры
Столичныя, за голосокъ,
(Она подѣ-часъ пѣвала «Тройку»)
За безпощадный язычокъ,
И за прекрасную настойку.

XVII.

Притомъ любезная вдова
Владѣла языкомъ французскимъ —
Хоть иностранныя слова
У ней звучали чѣмъ-то русскимъ.
Во дни рожденій, именинъ,
Къ ней дружно гости наѣзжали
И заживались и вкушали
Отъ разныхъ мясъ и разныхъ винъ.
Когдажъ являлась до жаркаго
Бутылка теплаго донскаго —
Всѣ гости, кромѣ дѣвъ и дамъ,
Приподнимались по чинамъ
И кланялись хозяйкѣ, — хоромъ
«Всего.... всего» желали ей....
А дѣти вмѣстѣ съ гувернеромъ
Шли къ ручкѣ маменьки своей.

XVIII.

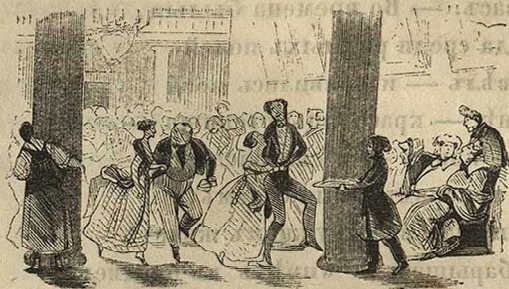
А по зимамъ она давала
Большіе балы.... Господа!

Хотите вы картиной бала
Запятая? Отвѣчаю: да,
За васъ. — Во времена былыя,
Когда среди родныхъ полей
Я цвѣлъ — и нравились моей
Душѣ — красавицы степныя —
Я — каюсь — я скитался самъ
По вечерамъ да по баламъ,
Завитый, въ радужномъ жилетѣ
И барышень — «имѣлъ въ предметѣ».
И память вѣрная моя
Рядкомъ проводить предо мною
Тѣ дни, когда бывало я
Сіялъ уѣздною звѣздою....

XIX.

Ахъ! — этому — давно, давно....
Я былъ тогда влюбленъ и молодъ —
Теперь же.... впрочемъ все равно!
Пріятенъ жаръ — полезенъ холодъ.
И такъ — на балѣ мы. Паркетъ
Отлично вылощенъ. Рядами
Тѣснятся свѣчи за свѣчами —
Но мутенъ ихъ дрожащій свѣтъ.
Вдоль желтыхъ стѣнъ, довольно темныхъ,
Недвижно — въ чепчикахъ огромныхъ —
Усѣлись маменьки. Одна
Любезной важности полна,
Другая — молча дуетъ губы....
Невыносимо душенъ жаръ;
Смычки визжать — и воютъ трубы —

И пляшетъ двадцать-восемь парь.



XX.

Какое пестрое собранье
Помѣщичьихъ одеждъ и лицъ!
Но я намѣренъ описанье
Начать — какъ слѣдуетъ — съ дѣвицы.
Вотъ — чисто-руссая красотка —
Одѣта плохо, тяжела,
И неловка — но весела,
Добра, болтлива какъ трещотка,



И пляшетъ, пляшетъ отъ души.
За ней — «созрѣвшая въ типѣ

Деревни» — длинная, худая
Стоитъ Коринна молодая....
Ея печально-страстный взоръ
То вдругъ погаснетъ, то заблещетъ....
Она вздыхаетъ, скажетъ вздоръ
И вся «глубоко» затрепещетъ.

XXI.

Не заговаривалъ никто
Съ Коринной.... самъ ея родитель



Боялся дочьки.... но за то
Чудака застѣнчивый, учитель
Уѣздный, блѣдный человекъ —
Ее преемѣдовалъ стихами
И предлагалъ ей со слезами
«Всего себя... на цѣлый вѣкъ»...
Клялся, что любить безпорочно,
Но пѣлъ и плакалъ онъ заочно,
И говорилъ ей сей Парисъ
Въ посланьяхъ: «ты» — на дѣлѣ: «вы-съ».
О жалкой, слабый родъ! О время
Полу-порывовъ, долгихъ думъ
И робкихъ дѣл! О вѣкъ! о племя
Безъ вѣры въ собственный свой умъ!

.. XXII.

О!!!... Но — богиня пѣснопѣннй,
О муза! — публика моя
Терпѣть не можетъ разсужденій....
Къ разсказу возвращаюсь я.
Отдѣльно каждую дѣвицу
Вамъ описать — не моему
Дано перу.... а потому
Вообразите вереницу
Широкихъ лицъ, большихъ носовъ,



Улыбокъ томныхъ, башмаковъ
Козлиныхъ, лентъ и платьевъ бѣлыхъ,
Турбановъ, перьевъ, плечъ дебелыхъ,
Зеленыхъ, сѣрыхъ, карихъ глазъ,
Румяныхъ губъ и и такъ далѣ —
Заставьте барынь кушать квасъ —
И знайте: вы на русскомъ балѣ.

XXIII.

Но вотъ — среди толпы густой
Мелькаетъ быстро передъ вами

Ребенокъ робкій и нѣмой
Съ большими, грустными глазами.
Ребенокъ.... Ей пятнадцать лѣтъ.
Но за собой она невольно
Влечетъ васъ.... за нее вамъ больно
И страшно.... блѣдный, томный цвѣтъ
Лица, — печальный слѣдъ сомнѣній
Тревожныхъ, раннихъ размышлений,
Тоски, неопытныхъ страстей,
И взглядъ внимательный — все въ ней
Вамъ говорить о самовластной
Душѣ.... ребенокъ бѣдный мой!
Ты будешь женщиной несчастной...
Но я не плачу надъ тобой....

XXIV.

О, нѣтъ! пускай твои желанья,
Твои стыдливыя мечты,
Въ суровомъ холодѣ страданья
Погибнуть.... не погибнешь ты.
Безъ одобренья, безъ участья
Среди невѣждъ осуждена
Ты долго жить.... но ты сильна,
А сильному не нужно счастья.
О немъ не думай.... но судьбѣ
Не покоряйся; знай: въ борьбѣ
Съ людьми таится наслажденье
Неистошимое: презрѣнье.
Какъ ядъ цѣлительный, оно
И жжетъ и заживляетъ рану
Души.... но мнѣ пора давно
Вернуться къ моему «роману».

XXV.

Вотъ передъ вами въ вырѣзномъ
Зеленомъ фракѣ — шутъ нахальный,
Болтунъ и нѣкогда «бель-омъ»,



Стоитъ законодатель бальный.
Онъ ѣздитъ только въ «высшій свѣтъ».
А вотъ — неистово развязный
Довольно злой, довольно грязный
Острякъ; вотъ парень среднихъ лѣтъ,
Въ венгеркѣ, въ галстухѣ широкомъ,
Глаза на выкатъ, ходитъ бокомъ,
Хрипитъ и красенъ какъ пюнь.
Вотъ этотъ чорненькій — шпионъ
И шулеръ — впрочемъ малый знатный,
Угодникъ дамскій, балагуръ....
А вотъ помѣщикъ благодатный
Изъ непосредственныхъ натуръ.

XXVI.

Вотъ старичокъ благообразный
Извѣстный взяточникъ — а вотъ
Свѣтило міра, баринъ праздный,
Ораторъ, агрономъ и мотъ,

XXVIII.

Превозносимый всѣмъ уѣздомъ
Домъ обольстительной вдовы
Бываль обрадованъ прїѣздомъ
Гостей неожиданныхъ изъ Москвы.
Чиновникъ, на пути въ отцовскій
Далекій, незабвенный кровъ —
(Спасаясь зайцемъ отъ долговъ)
Заѣдетъ.... умница московскій,
Мясистый, пухлый, съ кадыкомъ,
Длинноволосый, въ кучерскомъ
Кафтанѣ, бредитъ о чертогахъ
Князей старинныхъ, р.....
Отъ шапки-мурmolки своей
Ждетъ избавленья, возрожденья —
Ѣсть рѣдку — западныхъ людей
Бранить — и пишетъ.... донесенья.

XXIX.

Бывало — въ хлѣбосольный домъ
Изъ дальней сѣверной столицы
Примчится борзый левъ; и львомъ
Весьма любятъ дѣвицы.
Въ деревнѣ левъ — глядишь — ручной
Звѣрёкъ — предобрый; жмуритъ глазки;



И терпѣливо сносить ласки
Гостепрїимности степной.
Въ деревнѣ — водятся долгишки
За нимъ.... играетъ онъ въ картишки....
Не платить.... по какъ разговоръ
Его любезенъ, живъ, остѣръ!
Какъ онъ волочится небрежно!
Какъ онъ насмѣшливо влюбленъ!
И какъ забудеть безмятежно
Все, чѣмъ на мигъ былъ увлеченъ!

XXX.

Но мой помѣщикъ? Не пора ли
Къ нему вернуться наконецъ?
Пока мы съ вами поболтали,
Читатель — староста, кузнецъ,
Садовники, покинувъ тачки,
Кондиторъ, ключникъ, поваръ,
Мальчишки, дѣвки, кучера,
Столяръ, кухарки, даже прачки —
Вся дворня словомъ — цѣлый часъ
Справляла «ветхій тарантасъ».
И вотъ, надѣвъ армякъ верблюжїй,
На козла лѣзетъ кучеръ дюжїй;
Фалеторъ сѣлъ; раздался крикъ
Ребятъ; побѣдоносно взвился
Проворный кнутъ — и шестерикъ
Передъ крыльцомъ остановился.

XXXI.

Выходить баринъ.... цѣлый домъ
За нимъ идетъ, благоговѣя.

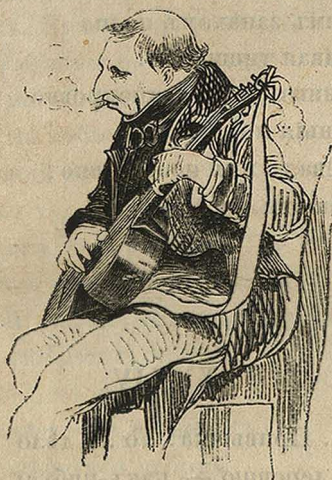
Безмолвно — въ шляпахъ съ галуномъ,
Надѣтыхъ криво, два лакея



Ведутъ его.... Пріятель нашъ
Дѣтей цалуеть, — на подножку
Заносить ногу; — по немножку,
Кряхтя, садится въ экипажъ —
И подъ его дворянскимъ тѣломъ,
Довольно плотнымъ и дебелимъ,
Скрыпятъ рессоры. — «Взять тюфякъ
«На всякой случай! Ты, дуракъ,
«Смотри подъ горку тише.... Чтò вы
«Мнѣ въ ноги положили? стой! —
«Гдѣ ларчикъ? — «Здѣсь.» — «А! Ну — готовы?
«Пошолъ!... Я къ вечеру домой.»

XXXII.

Уѣхалъ баринъ. Слава Богу!
Какой веселый, дружный гамъ,
Какую шумную тревогу
Всѣ подняли! Спѣшитъ Адамъ
Адамычъ въ комнатку.... гитару —
(Подарокъ будущей жены)
Снимаетъ тихо со стѣны,
Садится, скверную сигару
Съ улыбкой курить.... и не разъ



Изъ голубыхъ, нѣмецкихъ глазъ
Слеза бѣжитъ.... и край любимый
Онъ видитъ снова — край родимый,
Далекій, милый.... и пока
Еще не высохли тѣ слезы —
Въ убитомъ сердцѣ старика
Взыграли радостныя грезы.

XXXIII.

Помѣщикъ ѣдетъ. Легкій сонъ,
Надежный другъ людей дородныхъ
Имъ овладѣлъ.... не видитъ онъ
Равнинъ окрестныхъ плодородныхъ.
О Русь! Люблю твои поля,
Когда подъ яркимъ солнцемъ лѣта
Свѣтла, роскошна, вся согрѣта,
Блеститъ и нѣжится земля....
Люблю бродить въ лугу росистомъ
Весной — когда веселымъ свистомъ
И влажнымъ запахомъ полна
Степей живая тишина....
Но дворянинъ мой хладнокровно
Поля родныя проѣзжалъ;
Онъ межевалъ ихъ полюбовно,
Но безъ любви воспоминалъ

XXXIV.

О нихъ.... Привычка! Тѣ ли дѣло
Когда въ деревню — какъ-нибудь
Мы попадемъ бывало... Смѣло,
Легко, безопасно дышетъ грудь....
И дорогà намъ воля наша,
Природа — дивно-хороша,
И въ каждомъ юношѣ душа
Кипитъ, какъ праздничная чаша!
Такъ что жъ? Ужели жъ тѣ года
Прошли на вѣкъ и безъ слѣда?

Нѣтъ! Нѣтъ! Мы сбросимъ наши цѣпи,
Вернемся снова къ вамъ, о степи! —
И вотъ — за бѣшенныхъ коней
Отдавъ полъ-царства, даже царство —
Летимъ за тридевять полей
Въ сороковое государство!...

XXXV.

Раскинувшись на пуховыхъ
Подушкахъ, спитъ самодовольно
Помѣщикъ. Кучеръ пристяжныхъ
Стегаетъ безпощадно. Больно
Смотрѣть на тощихъ лошадей.
Фалеторъ на кобылѣ тряской
Весь блѣдный прыгаетъ. Со связкой
Въ рукахъ, храпитъ-себѣ лакей.
Бойка дорога. Всѣ ракиты
Какъ зимнимъ инеемъ покрыты
Тончайшей пылью. Жарко. Вдругъ —
(Могу ль изобразить испугъ
Помѣщика?) на поворотѣ
Ось пополамъ — и тарантасъ
(Прошу довѣриться работѣ
Домашней?...) на бокъ.... Вотъ-те-разъ!

XXXVI.

Поднявшись медленно съ дороги,
Безъ шапки, тресетной рукой

Ощупалъ спину, носъ и ноги
Мой перепуганный герой.
Все цѣло.... Кучерь боязливо
Привсталъ.... и никакихъ рѣчей
Не произнесъ.... Одинъ лакей
Засуетился торопливо —
То вскочить самъ на облучокъ,
Тѣ вдругъ возьметса за задокъ,
Тѣ шляпу двинетъ на затылокъ....
Но какъ ни ловокъ онъ и пылокъ —
Напрасно все.... Что дѣлать! Самъ
Помѣщикъ вовсе растерялся,
Не вѣрилъ собственнымъ глазамъ
И какъ ребенокъ улыбался.

XXXVII.

«Ахъ, чортъ возьми! Ну, что тамъ?» — Ось
Сломалась. — Баринъ для порядка
Ее потрогалъ. — «Да; хоть брось. —
«Охъ эта бестія Филатка!» —
(Филаткой звался старый плутъ
Каретникъ.) «До деревни сколько?
— Да будетъ верстъ пяточекъ. — «Только?
«Скажи за кузнецомъ.... да кнутъ
«Возьми....» Но взоры въ отдаленье
Вперило хитрое творенье:
Лакей.... и вдругъ онъ крикнулъ: — Э!
— Къ намъ ѣдетъ барыня.... — «Гдѣ? гдѣ?
«Какая барыня?» — Полями
— Знать онѣ взяли.... Точно такъ. —
«Не можетъ быть!» — Смотрите сами:
— Онѣ-съ.... — «Ну-ну, молчи, дуракъ!»

XXXVIII.

Дѣйствительно: въ кибиткѣ длинной,
Подушками, пуховикомъ
Набитой доверху, въ старинной
Измятой шляпкѣ, съ казачкомъ,
Съ собачкой, съ дѣвкой въ казакинѣ
Суконномъ, ѣдетъ на семи
Крестьянскихъ клячахъ «chère amie.»
Своей любезной половинѣ
Пріятель нашъ едва ли радъ....
Онъ бросился впередъ, назадъ....
Имъ овладѣло безпокойство (*),
Весьма естественное свойство
Иныхъ мужей при видѣ жонъ....
Кибитка стала.... дыбомъ волосъ
На немъ поднялся.... слышитъ онъ
Супруги дребезжащій голосъ:

XXXIX.

«Сергѣй Петровичъ, это вы?» —
— «Я, матушка. — «Ахъ мой Спаситель!
«Кудажъ вы ѣхали?» — Увы!
Разочарованный сожитель
Молчить уныло. — «Вѣрно къ той
«Вдовѣ? Ужъ эта мнѣ вострушка!
«Да говорите жъ!... Къ ней, Петрушка?»
Лакей проворно головой
Кивнулъ. — «Ахъ старій грѣховодникъ!

(*) Имъ овладѣло безпокойство,
Охота къ перемѣнѣ мѣстъ,
Весьма мучительное свойство....»

(Евгеній Онегинъ.)



« Вотъ я молилась — васъ угодникъ
« И наказаль.... Ну, какъ я зла!
« А я вамъ просвиру везла!...
« Неблагодарный! Отлучиться
« Нельзя мнѣ на денекъ, ей-ей....
« Подвинься, Аннушка.... Садитесь
« Извольте къ намъ — да поскорѣй. »

XI.

Покорный строгому велѣнью
Садится мужъ. Въ его груди
Нѣтъ мѣста даже сожальнью....
Все замерло. Но впереди
Бѣду предвидить онъ. Подруга
Его когда-то молода
Была — но даже въ тѣ года
Не думала, что другъ для друга
Супруги созданы.... нѣтъ! мужъ
Устроенъ для жены. Къ томужъ
Неравный бой недолго длился:
Сергѣй Петровичъ покорился.
Теперь везетъ его домой
Она для грознаго разчета....
Такъ ястребъ ловкій и лихой
Уносить селезня съ болота.

XII.

Вотъ тутъ-то я бѣ замѣтить могъ
Какъ все на свѣтѣ ненадежно!
Богъ случая, лукавый богъ
Играетъ нами.... Что возможно
Вчера — сегодня навсегда
Недостижимо.... да мы сами
Непостоянны.... за мечтами
Гоняемся.... Но, господа —
Хоть я воображаю живо
Какъ вы слѣдите терпѣливо
И добросовѣстно за нимъ,
За бѣднымъ витяземъ моимъ —
Однако — кончить не порали?

Боюсь, приѣлись вамъ стихи....
За чистоту моей морали
Простите мнѣ мои грѣхи.

XLII.

Я правъ. Мои слова — не фраза
Пустая — нѣтъ! Съ *своей* женой
Замѣтите — подъ конецъ разсказа
Соединяется герой.
Законъ приличья, въ томъ свидѣтель
Читатель каждый, сей законъ
Священный — строго соблюденъ —
И торжествуетъ добродѣтель.
Но весело сказать себѣ :
Конецъ мучительной гоньбѣ
За риѣмами.... придумать строчку
Послѣднюю, поставить точку,
Подняться медленно, легко
Вздохнуть, съ чернилами проститься —
И передъ вами глубоко,
О мой читатель, поклониться!

КАПРИЗЫ

И

РАЗДУШЬЕ.

ИСКАНДЕРА.

Года два тому назадъ, умеръ въ своей подмосковной одинъ очень странный человѣкъ. Я его нѣсколько знавалъ при жизни, и довольно коротко познакомился съ нимъ послѣ его смерти. Человѣкъ онъ былъ тяжелый; его не любили, онъ надоѣдалъ своимъ рефлексивствомъ — рефлексивство развилось у него подъ конецъ жизни въ болѣзнь, чуть не въ помѣшательство. Не было того простаго вопроса, надъ которымъ бы онъ не ломалъ головы. Онъ утратилъ ту врожденную сумму правилъ и истинъ, которая впередъ идетъ у каждаго человѣка, которую мы находимъ въ своемъ сознаниіи прежде, нежели начинаемъ рассуждать, такъ, какъ находимъ у себя носъ, глаза — нисколько не трудившись пріобрѣсти ихъ и не зная собственно откуда они. Чудакъ называлъ ихъ *фузросами*, и искалъ иныхъ правилъ — до которыхъ не добился.

Странный человѣкъ былъ сверхъ того совершенно праздный человѣкъ. Не найдя никакой дѣятельности въ средѣ, въ которой родился, онъ сдѣлался туристомъ; потаскавшись лѣтъ десять по Европѣ, онъ воротился усталый, не совѣмъ юный, и принялся читать. Читалъ днемъ, читалъ ночью, читалъ романы, читалъ ученые сочиненія, читалъ журналы и вскорѣ дочитался до отвращенія отъ книгъ; тогда онъ сложилъ руки и рѣшился ничего не дѣлать; вѣроятно, для этого онъ

поселился въ Москвѣ. Мысль нельзя сложить какъ руки, она и во снѣ не совсѣмъ спитъ — дѣятельность мысли росла въ немъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ менѣе было всякой другой дѣятельности, и онъ дошелъ до своего вѣчнаго раздумья, до своего раздраженного, почти лихорадочнаго рефлектерства.

Послѣ его смерти попались мнѣ въ руки его бумаги; я нашелъ тамъ множество замѣтокъ, мыслей, *капризовъ*, брошенныхъ на скоро, но не лишенныхъ интереса, по-крайней-мѣрѣ патологическаго интереса. Посылаю два, три образчика въ вашу альманахъ — помѣстите ихъ, если найдете занимательнымъ для читателтей.

И.

КАПРИЗЫ

и

РАЗДУМЬЕ.

Cogitata et visa.

I.

Легкое повидимому только легко, а трудное повидимому только трудно. Обыкновенно думаютъ, чѣмъ мысль общѣе, тѣмъ она труднѣе; что надобно имѣть чрезвычайное глубокомысліе и сметливость, чтобъ понять, напримѣръ, философскую книгу; такъ думаютъ не только нечитающіе такихъ книгъ, но и тѣ, которые ихъ пишутъ; они, единственно для облегченія мыслей, само-собою понятныхъ, затемняютъ ихъ до того, что онѣ дѣлаются совершенно непонятными. А посмотришь прямо въ глаза этимъ головоломнымъ истинамъ: снявши съ нихъ ежовую шкуру школьнаго изложенія — ребенокъ пойметъ; труднѣе не понять ихъ, нежели понять. Если мы мало видимъ дѣтей, понимающихъ истины — это отъ-того, что со дня рожденія развращаютъ естественный смыслъ ребенка такъ-называемымъ воспитаніемъ. Воспитаніе очень надолго лишаетъ ребенка возможности понять ясное, тѣмъ самымъ, что оно ему передаетъ темное за ясное, подавляетъ авторитетомъ; систематически пріучаетъ

дѣтей къ сумасшествію. Часть людей, свихнувши въ молодости свой умъ, такъ и остается на всю жизнь, въ родѣ тѣхъ Индійцевъ, которымъ при рожденіи сдвигали черепныя кости; многіе, потомъ, собственными трудами продолжаютъ развивать въ себѣ способность искаженнаго мышленія и достигаютъ нерѣдко нѣкоторой ловкости въ этомъ искусствѣ. Человѣку, понявшему ясно и основательно хоть одну ложь за правду, чрезвычайно трудно понять всякую истину; это объясняется по методѣ Жако: типы нелѣпныхъ выводовъ остаются въ головѣ, какъ законы, отъ которыхъ отвязаться мудрено. Не истины науки трудны, а расчистка человѣческаго сознанія отъ всего наслѣдственнаго хлама, отъ всего осѣвшаго ила, отъ приниманія неестественнаго за естественное, непонятнаго за понятное.

Дѣйствительно-трудное для пониманія не за тридцать земель, а возлѣ насъ, такъ близко, что мы и не замѣчаемъ его: частная жизнь наша, наши практическія отношенія къ другимъ лицамъ, наши столкновенія съ ними. Людямъ все это кажется очень простымъ и чрезвычайно естественнымъ, — а въ сущности нѣтъ головоломнѣе работы, какъ понять все это; кто разъ, на минуту отступя въ сторону, добросовѣстно всмотрится въ ежедневную мелочь, въ которой мы проводимъ время, да подумаетъ объ ней, — тотъ или расхохочется до того, что сдѣлается боленъ, или расплачется до того, что потеряетъ глаза. Мы слишкомъ привыкли къ тому, что мы дѣлаемъ и что дѣлаютъ другіе вокругъ насъ; насъ это не поражаетъ; привычка — великое дѣло; это самая толстая цѣпь на людскихъ ногахъ; она сильнѣе убѣжденій, таланта, характера, страстей, ума. Къ чему нельзя привыкнуть? Итальянецъ, живущій на Везувіи, привыкъ спать возлѣ кратера такъ же спокойно, какъ въ свою очередь

нашъ мужичекъ спокойно отдыхаетъ въ обществѣ нѣсколькихъ тысячъ таракановъ. Митридатъ привыкъ вмѣсто кабула и сои приправлять кушанья всякими ядами и былъ очень здоровъ; а Фридрихъ II привыкъ класть въ супъ асса-фетиду и находилъ, что его супъ прекрасно пахнетъ. Считаютъ, что все достойное вниманія, замѣчательное, любопытное, гдѣ-нибудь вдали, въ Египтѣ или въ Америкѣ; добрые люди не могутъ убѣдиться, что нѣтъ такого далекаго мѣста, которое не было бы близко отъ-куда нибудь; что вещь возлѣ нихъ стоящая со дня рожденія, отъ этого не сдѣлалась ни менѣе достойною изученія, ни понятнѣе. Какъ на смѣхъ подобнымъ мнѣніямъ, все самое трудное, запутанное, самое сложное сосредоточивалось подъ крышей каждаго дома, — и критическій, аналитическій вѣкъ нашъ, критикуя и разбирая важные историческіе и всяческіе вопросы, спокойно, у ногъ своихъ, позволяетъ расти самой грубой, самой нелѣпой непосредственности, которая мѣшаетъ ходить и предательски прикрываетъ болота и ямы; ядра, летящія на разрушеніе падающаго зданія готическихъ предразсудковъ, пролетаютъ надъ головою преготическихъ затѣй, отъ-того, что они подъ самымъ жерломъ.

Наука, государство, искусство, промышленность идутъ развиваясь во всей Европѣ стройно, широко; впереди великіе мыслители, великіе государственные люди, великіе художники, предприимчивые таланты. А домашняя жизнь наша слагается кое-какъ, основанная на воспоминаніяхъ, привычкахъ и виѣшнихъ necessitudinibus; объ ней въ-самомъ-дѣлѣ никто не думаетъ, для нея нѣтъ ни мыслителей, ни талантовъ, ни поэтовъ, — не даромъ ее называютъ *прозой*, въ противоположность плаксивой жизни балладъ и глупой жизни идиллій. Только лѣта юности обставлены похуже художественнѣе; а потомъ за послѣднимъ лирическимъ

порывомъ любви — утомительное *semper idem* закулисной жизни, ежедневной суеты, мелкихъ хлопотъ, булавочныхъ уколовъ и пр. Общія сферы похожи на вызолоченныя гостиныя и залы, на отдѣлку которыхъ употреблены капиталы; а частная жизнь — это тѣсная спальня, душная дѣтская, грязная кухня, гдѣ гости никогда не бываютъ. Конечно, въ послѣдніе три вѣка много перемѣнилось въ образѣ жизни; впрочемъ, украдкой, безсознательно, даже вопреки убѣжденіямъ, мѣняя образъ жизни, люди не признавались въ этомъ: знамена остались тѣ же; люди, какъ Испанцы, хотятъ только сохранить *фуэросы*, не смотря на то, что большая часть ихъ не соотвѣтствуетъ настоящему. Прислушиваясь къ сужденіямъ мудрыхъ міра сего, дивисься, какъ можетъ умъ дойти до того, чтобъ въ одно и то же время совмѣстить въ свой нравственный кодексъ стоическія сентенціи Сенеки и Катона, романтически-восторженныя выходки рыцаря среднихъ вѣковъ, самоотверженныя правоученія благочестивыхъ отшельниковъ степей оиваидскихъ и своекорыстныя правила политической экономіи. Безобразіе подобнаго смѣшенія принесло свой плодъ, именно — мертвую мораль, мораль, существующую только на словахъ, а въ самомъ дѣлѣ недостойную управлять поступками; современная мораль не имѣетъ никакого вліянія на наши дѣйствія; это милый обманъ, нравственная благопристойность, одежда — не болѣе. У каждаго человѣка за его оффиціальной моралью есть свой спрятанный *esprit de conduite*; оффиціально онъ будетъ плакать о томъ, что бѣдный бѣдень, оффиціально онъ благороднымъ львомъ вступится за честь женщины, — *privatim* онъ беретъ страшные проценты, *privatim* онъ считаетъ себя въ правѣ обезчестить женщину, если условился съ нею въ цѣнѣ. Постоянная ложь, постоянное двоедушіе сдѣлали то, что меньше дикихъ порывовъ и

вдвое больше плутовства, что рѣдко человѣкъ скажетъ другому оскорбительное слово въ глаза и почти всегда очернить его за глаза; въ Парижѣ я меньше встрѣчалъ шуринеровъ и эскарповъ, нежели мушаровъ, потому что на первое ремесло надобно имѣть откровенную безправственность и своего рода отвагу, а на второе только двоедушіе и подлость. Наполеонъ съ содроганіемъ говорилъ о гнусной привычкѣ безпрестанно лгать. Мы лжемъ на словахъ, лжемъ движеніями, лжемъ изъ учтивости, лжемъ изъ добродѣтели, лжемъ изъ порочности; лганье это, конечно, много способствуетъ къ растлѣнію, къ нравственному безсилію, въ которомъ рождаются и умираютъ цѣлыя поколѣнія, въ какомъ-то чаду и туманѣ проходящія по землѣ. Между тѣмъ, и это лганье сдѣлалось совершенно естественнымъ, даже моральнымъ: мы узнаемъ человѣка благовоспитаннаго — потому, что никогда не добьешься отъ него, чтобъ онъ откровенно сказалъ свое мнѣніе.

Наполеонъ говаривалъ еще, что наука до-тѣхъ-поръ не объяснитъ главнѣйшихъ явленій всемірной жизни, пока не бросится въ міръ *подробностей*. Чего желалъ Наполеонъ — исполнилъ микроскопъ. Естествоиспытатели увидѣли, что не въ палецъ толстыя артеріи и вены, не огромные куски мяса могутъ разрѣшить важнѣйшіе вопросы физиологіи, а волосяные сосуды, а клѣтчатки, волокна, ихъ составъ. Употребленіе микроскопа надобно ввести въ нравственный міръ, надобно рассмотреть нить за нитью паутину ежедневныхъ отношеній, которая опутываетъ самые сильные характеры, самыя огненные энергіи. Люди никакъ не могутъ заставить себя серьезно подумать о томъ, что они дѣлаютъ дома, съ утра до ночи; они тщательно хлопочутъ и думаютъ обо всемъ: о картахъ, о крестахъ, объ абсолютномъ, о варіаціонныхъ исчисленіяхъ, о томъ, когда ледъ пройдетъ на Невѣ, — но объ еже-

дневныхъ, будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, хозяйственныя дѣла, отношенія къ роднымъ, близкимъ, приснымъ, слугамъ и пр. и пр. — объ этихъ вещахъ ни за что въ свѣтѣ не заставишь подумать: они готовы, выдуманы. Паскаль говоритъ, что люди для того играютъ въ карты, чтобъ не оставаться пикогда долго наединѣ съ собою, чтобъ не дать развиваться угрызениямъ совѣсти. Очень вѣроятно, что, руководствуясь тѣмъ же инстинктомъ, человѣкъ не любитъ разсуждать о семейныхъ тайнахъ, — а не пора ли бы имъ на свѣтѣ? Я, какъ маленькія дѣти, боюсь темноты; мнѣ все кажется, что въ темнотѣ сидитъ злой духъ съ рыжей бородой и съ копытомъ. Зачѣмъ, кажется, прятать подъ спудомъ то, что не боится свѣта; да въ сущности это все равно: прячь не прячь — все обличится; съ каждымъ днемъ меньше тайнъ.

Was sich in dem Kämmerlein
Still und fein gesponnen,
Kommt — wie kann es anders sein?
Endlich an die Sonnen.

Изрѣдка какое нибудь преступленіе, совершенное въ этомъ мракѣ частной жизни, пугнетъ на день на другой людей, стоявшихъ возлѣ, заставитъ ихъ задуматься.... для того, чтобъ потомъ начать судить и осуждать. Добрѣйшій человѣкъ въ мірѣ, который не найдетъ въ душѣ жестокости, чтобъ убить комара, съ великимъ удовольствіемъ растерзаетъ доброе имя ближняго на основаніи морали, по которой онъ самъ не поступаетъ и которую прилагаетъ къ частному случаю, рассказанному во всей его непонятности. «Его жена уѣхала вчера отъ него» — скверная женщина! «Отецъ его лишилъ наслѣдства» — скверный отецъ! Всякое судебное мѣсто снисходительнѣе осуждаетъ, нежели записные филантропы, и люди, сознающіе себя чест-

ными и добрыми. Двѣсти лѣтъ тому назадъ, Спиноза доказывалъ, что всякій прошедшій фактъ надобно ни хвалить, ни порицать, а разбирать какъ математическую задачу, т. е. стараться понять, — этого никакъ не растолкуешь. Къ тому же, чтобъ преступленіе обратило на себя вниманіе, надобно, чтобъ оно было чудовищно, громко, скандально, облито кровью. Мы въ этомъ отношеніи похожи на французскихъ классиковъ, которые, если шли въ театръ, то для того, чтобъ посмотрѣть, какъ цари, герои или по-крайней-мѣрѣ полководцы и наперсники ихъ кровь проливаютъ, а не для того, чтобъ видѣть мѣщански проливаемые слезы. Людямъ необходимы декорации, обстановка, надпись; мѣщанинъ во дворянствѣ очень удивился, узнавши, что онъ сорокъ лѣтъ говоритъ прозой — мы хохочемъ надъ нимъ; а многіе лѣтъ сорокъ дѣлали злодѣянія и умерли лѣтъ восьмидесяти, не зная этого, потому-что ихъ злодѣянія не подходили ни подъ какой параграфъ кодекса — и мы не плачемъ надъ ними.

Лафаржъ отравила своего мужа (т. е. положимъ, что отравила; слѣдствіе было сдѣлано такъ неловко, что нельзя понять, Лафаржъ ли отравила мышьякомъ своего мужа, или судьи отравили юриспруденціей г-жу Лафаржъ). Крикъ, толки. Злодѣйство въ-самомъ-дѣлѣ страшное, гнусное — въ этомъ никто не сомнѣвается; да что же собственно новаго въ этомъ убійствѣ? Я увѣренъ, что въ томъ же самомъ Парижѣ, гдѣ такъ кричали объ этомъ, нѣтъ большой улицы, гдѣ бы въ годъ или въ два не случилось чего нибудь подобнаго — разница въ оружіяхъ. Лафаржъ, какъ рѣшительная преступница, дала минеральнаго яду; а что далъ, напри-мѣръ, мой сосѣдъ, этотъ богатый откупщикъ, своей женѣ, которая вышла за него потому, что ея нѣжные родители стояли передъ нею на колѣняхъ, умоляя спасти ихъ имѣнье, ихъ честь — продажей своего тѣла,

своимъ безчестіемъ; что далъ ей мужъ, какого яда, отъ котораго она изъ ангела красоты сдѣлалась въ два года развалиной? Отъ-чего эти ввалившіяся щеки, отъ-чего ея глаза, сдѣлавшіеся огромными, блестятъ какъ-то болѣзненно-жемчужнымъ отливомъ? Орфила и самъ Распайль не найдутъ ничего ядовитаго въ ея желудкѣ, когда она умретъ; и немудрено, ядъ у ней въ мозгу. Психическія отравы ускользаютъ отъ химическихъ реакцій и отъ тупости людскихъ сужденій. «Чего не достаетъ этой женщинѣ? она утопаетъ въ роскоши» — говорятъ глупѣйшіе, не понимая, что мужъ, наряжающій жену не потому, что она хочетъ этого, а потому, что онъ хочетъ, — себя наряжаетъ; онъ ее наряжаетъ потому, что она его; на томъ же основаніи, какъ наряжаетъ лакея и кучера. — Все такъ, — говорятъ умнѣйшіе, — но, согласившись на просьбу родителей, она должна была благоразумнѣе переносить свою судьбу.» А позвольте спросить: возможно ли *хроническое* самоотверженіе? Разомъ пожертвовать собой не важность: Курцій бросился въ пропасть, да и поминай какъ звали — это понятно; а безпрестанно, цѣлые годы, каждый день приносить себя на жертву — да гдѣ же взять столько геройства или столько ослинаго терпѣнья? Довольно, что хватило силъ на первую безумную жертву — такая жертва, само-собою разумѣется, не приносится ни отцу, ни матери, потому-что они перестаютъ быть отцомъ и матерью, если требуютъ такихъ жертвъ. Супругъ, вѣроятно, не остановился на куплѣ, потребовалъ, сверхъ страшныхъ жертвъ, отъ которыхъ возмущается все человѣческое достоинство, любви, и не найдя ея, началъ, *par dѣpit*, тихое, кроткое, семейное преслѣдованіе, эту извѣстную охоту *par force*, преслѣдованіе внимательное, какъ самая нѣжная любовь, постоянное, какъ самая вѣрная старуха-жена, преслѣдованіе, отравляющее каждый ку-

согъ въ горлѣ и каждую улыбку на устахъ. Я коротко знакомъ съ этимъ преслѣдованіемъ; оно, какъ Янусъ о двухъ лицахъ—одно для гостей, глупо-улыбающееся, другое для домашняго употребленія, тоже улыбающееся, но улыбкой гienны, сказалъ бы я, еслибъ гienны улыбались: хищные звѣри добросовѣстны, они не дѣлаютъ медовыхъ устъ, когда хотятъ кусать. Умри жена, — супругъ воздвигнетъ монументъ; объ немъ будутъ жалѣть больше, нежели объ ней; онъ самъ обольетъ слезами ея гробъ, и, для довершенія удара, слезами откровенными: онъ, поддавая ей психическаго мышьяку, вовсе и не думалъ, что она умретъ.

Людямъ непремѣнно надобны видимые знаки, несчастію иѣмому они сочувствовать не могутъ. «Вотъ видите этого толстаго мужчину съ усами—онъ сидѣлъ годъ въ тюрьмѣ,» — и всѣ: «ахъ, Боже мой! бѣдный, что онъ вынесъ!» Ну, а какая же тюрьма въ образованномъ государствѣ можетъ сравниться съ свободной жизнью этой женщины? Съ чего тюремщику, если онъ не какой нибудь извергъ, которыхъ такъ-же мало, какъ и великихъ людей, съ чего ему ненавидѣть колодника? Они оба несутъ двѣ довольно тяжелыя ноши, и тюремщикъ, исполняя свою обязанность, не смѣетъ идти далѣе приказа. Конечно, заключеніе тяжело—я это знаю лучше многихъ, но ставить тюрьму рядомъ съ семейными несчастіями смѣшно. Люди, по своему несовершенствѣ, только тѣ несчастія считаютъ великими, гдѣ цѣпи гремятъ, гдѣ есть кровь, синія пятна, какъ будто хирургическія болѣзни сильнѣе нравственныхъ.

Когда я хожу по улицамъ, особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно, и только кое-гдѣ свѣтится ночникъ, тухнувшая лампа, догорающая свѣча, — на меня находитъ ужасъ; за каждой стѣной мнѣ мерещится драма, за каждой стѣной виднѣются горячія слезы, слезы, о которыхъ никто не свѣдаетъ, слезы обману-

тыхъ надеждъ, слезы, съ которыми утекаютъ не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь. — Есть, конечно, дома, въ которыхъ благоденственно ѣдятъ и пьютъ цѣлый день, тучнѣютъ, и спятъ безпробудно цѣлую ночь, да и въ такомъ домѣ найдется хоть какая-нибудь племянница притѣсненная, задавленная, хоть горничная или дворникъ, а ужь непременно кому нибудь да солоно жить.

Отъ-чего все это? Я полагаю, что вещество большаго мозга не совсѣмъ еще выработалось въ шесть тысячъ лѣтъ; оно еще не готово; отъ-того люди и не могутъ сообразить, какъ устроить домашній бытъ свой.

Право такъ. У большей части людей мозгъ ребячій, — имъ надобны дядьки, няньки, педели, наказанія, приказанія, карцеры, игрушки, конфекты и прочее, — дѣло дѣтское!

II.

Богатые люди по-большой-части или моты, или скупцы; на сотни выищется одинъ, который умѣетъ управлять своимъ состояніемъ, не впадая въ крайность расточительности или скупости. Совершенно случайное сосредоточеніе огромныхъ средствъ какъ-то кружить голову людямъ; они бросаютъ ихъ, или не употребляютъ, доказывая въ обоихъ случаяхъ ненужность ихъ. Впрочемъ, не надобно ставить расточительность и скупость на одну доску. Расточительность носить сама въ себѣ предѣлъ: она оканчивается съ послѣднимъ рублемъ и съ послѣднимъ кредитомъ; скупость безконечна и всегда при началѣ своего поприща; послѣ десяти милліоновъ, она съ тѣмъ же оханьемъ начинаетъ откладывать одиннадцатый. Расточительность поправляетъ сдѣланное стяжаніемъ, она видитъ горсть золота въ своихъ

рукахъ, неизвѣстно какъ въ нихъ попавшуюся, не выработанную, сваливающуюся съ неба — и бросаетъ ее за наслажденія, пиры, за упоеніе нѣгой, за удобства роскоши. Конечно, это дурно, т. е. то дурно, что человекъ ставитъ высшимъ наслажденіемъ суетное удовлетвореніе желаній, если и не порочныхъ, то пустыхъ; но вредъ расточительности больше отрицательный; мотъ могъ бы лучше употребить себя и свои средства — безъ сомнѣнія; но онъ и не удерживаетъ эти средства въ своихъ рукахъ, а отдаетъ ихъ другимъ; собственно гнуснаго, преступнаго ничего нѣтъ въ расточительности; мотовство часто сопрягается съ художественной любовью изящнаго, съ благородными порывами. Избалованный мотъ иногда откажетъ въ участіи, но дастъ денегъ; скупой никогда не откажетъ въ участіи, но никогда денегъ не дастъ. Въ мотѣ есть что-то избалованное, прихотливое, распушенность характера гетеры; въ скупцѣ что-то преступное, анти-соціальное, онъ похожъ на шакала, онъ хуже его. Дидро говоритъ, что онъ знаетъ только одинъ порокъ, и этотъ порокъ — скупость.

Ревнивая привязанность къ имуществу безнравственна; богатство хранимое болѣе развращаетъ человекъ, нежели богатство расточаемое; оно, какъ тяжелая гиря, стягиваетъ къ землѣ всякой порывъ, всякую благородную мысль; не имущество принадлежитъ скупому, а скупой имуществу. Слово — «недвижимое имѣніе» значитъ для скупца капканъ, въ который пойманъ подвижный духъ его. Деньги и богатство — страшный оселокъ для людей: кто на немъ попробовалъ себя и выдержалъ испытаніе, тотъ смѣло можетъ сказать, что онъ человекъ. Самоотверженіе на поприщѣ гражданственности, мужество на полѣ битвы, смѣлая рѣчь, патріотизмъ, готовность служить другу рукой, головой, — все это довольно часто встрѣчается на бѣломъ

свѣтъ; но.... но до кармана касаться не совѣтую тому, кто хочетъ сохранить юношескія вѣрованія. Гдѣ люди, которые не согнутся подъ бременемъ ожидаемаго мильона? А если есть такіе, которые не своротятъ съ прямой дороги для чужаго мильона, то конечно нѣтъ такихъ, которые не своротятъ, чтобъ сохранить свой собственный.

Обвиняютъ мота въ неуваженіи къ деньгамъ; но онѣ и недостойны уваженія, такъ какъ вообще всѣ вещи, кромѣ художественныхъ произведеній. Человѣкъ ими пользуется, употребляетъ ихъ, — и вещь вполне достигаетъ высшей цѣли, отдаваясь въ наслажденіе человѣку; другаго уваженія она не заслуживаетъ, другимъ образомъ человѣкъ можетъ уважать только человѣка; уважать вещь вообще безсмыслица, но уважать деньги — двойная безсмыслица: въ вещи я уважаю иногда ея красоту, воспоминанія, сопряженныя съ нею; но деньги алгебраическая формула всякой вещи, не вещь, а представительница вещей.

— Расточительность и скупость — двѣ болѣзни, текущія изъ одного источника и приводящія различными путями къ одному концу. Голодная бѣдность мота встрѣчается съ голоднымъ богатствомъ скупца — и тутъ они равны. Лучшаго доказательства нелѣпности богатства быть не можетъ.

✓ Безнравственно быть мотомъ, зная, что сосѣдъ умираетъ съ голоду — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; придетъ время, будутъ удивляться нашему аппетиту и крѣпости нервъ, особенно дамскихъ; но.... но есть нѣчто гораздо безнравственнѣйшее: беречь свои деньги, зная, что сосѣдъ умираетъ съ голоду.

III.

Совершеннолѣтіе закономъ опредѣляется въ 21 годъ. Въ дѣйствительности, убѣгающей отъ арифметическихъ однообразныхъ опредѣленій, можно встрѣтить старика лѣтъ двадцати и юношу лѣтъ въ пятьдесятъ. Есть люди, совершенно неспособные быть совершеннолѣтними, такъ какъ есть люди, неспособные быть юными. Знаменитая Бетина оставалась ребенкомъ на всю жизнь — тѣмъ самымъ восторженнымъ ребенкомъ, котораго кудри ласкалъ олимпийской рукой Гёте, никогда не бывшій юношей въ жизни; онъ отбылъ, какъ извѣстно, свою юность Вертеромъ. Біографы Ньютона удивляются, что ничего не извѣстно объ его ребячествѣ, а сами говорятъ, что онъ въ восемь лѣтъ былъ математикомъ, то-есть, не имѣлъ ребячества. Напротивъ, Лафайетъ въ восемьдесятъ лѣтъ нуждался еще въ гувернерѣ — это было самое благородное и самое старое дитя обоихъ полушарій. Для одного юность — эпоха, для другаго — цѣлая жизнь. Въ юности есть нѣчто, долженствующее проводить до гроба, но не все: юношескія грезы и романтическія затѣи очень жалки въ старикѣ и очень смѣшны въ старухѣ. Остановиться на юности потому скверно, что на всемъ останавливаться скверно, — надобно быстро нестись въ жизни; оси загорятся — пускай-себѣ, лишь бы не заржавѣли. Человѣкъ, способный на дѣйствительность, на совершеннолѣтіе, имѣетъ органъ претворенія всѣхъ событій, внутреннихъ и вѣшнихъ, въ такую ткань, которая, безпрестанно обновляясь, сама усугубляетъ силу и объемъ взгляда; изъ юношескаго романтизма онъ троитъ практическій взглядъ; онъ подъ тѣми же словами разумѣетъ несравненно ширшія понятія; старый юноша неподвижно остается при ста-

рыхъ понятіяхъ. — Въ юности человѣкъ имѣетъ непремѣнно какую-нибудь мономанію, какой-нибудь несправедливый перевѣсъ, какую-нибудь исключительность и бездну готовыхъ истинъ; плоская натура при первой встрѣчѣ съ дѣйствительностію, при первомъ жесткомъ толчкѣ, плюетъ на прежнюю святыню души своей, ругается надъ своими заблужденіями, и по мѣрѣ надобности беретъ взятки, женится изъ денегъ, строить домъ, два.... Благородная, но не реальная натура идетъ на переکورъ событіямъ, не стремится понять препятствій, а сломить ихъ, лишь бы спасти свои юношескія мечты, и обыкновенно видя, что нѣтъ успѣха, останавливается, и остановившись, повторяетъ всю жизнь одну и ту же ноту, какъ роговой музыкантъ. Натура дѣйствительная не такъ поступаетъ: она воспитываетъ свои убѣжденія по событіямъ, такъ, какъ Петръ I воспитывалъ своихъ воиновъ шведскими войнами; она не держится за старое въ его буквальномъ смыслѣ, она не съ юношескими сентенціями отправляется на борьбу, на жизнь, а съ юношеской энергіей; сентенціи, правила ей не нужны, у ней есть *тактъ*, т. е. органъ импровизаціи, творчества; она вступаетъ во взаимодействіе съ окружающею средой; ничего не можетъ быть болѣе удалено отъ твердыхъ и закоснѣлыхъ истинъ, какъ дѣйствительное воззрѣніе; оно тягуче, тягуче, оно колеблется какъ вода въ морѣ — но кто сдвинетъ подвижное море! Всѣ нѣмецкіе филистры по-большой-части бурши, не умѣвшіе примирить юное съ совершеннолѣтнимъ. Самая смѣшная сторона филистерства именно въ этомъ сожитіи въ одномъ и томъ же человѣкѣ теоретической юности съ мѣщанскимъ совершеннолѣтіемъ. Старѣться значитъ окостенѣть; неправда, что всякой долженъ старѣться: старѣется собственно остановившаяся натура, она тогда въ мертвенномъ покоѣ, осѣдаетъ кристаллами; въ нравственномъ

мірѣ то же, что въ физическомъ: мозгъ сохнетъ, хрящъ идетъ въ кость, зубы костенѣють до того, что выпадаютъ изо рта, какъ камешки; но въ нравственномъ мірѣ это не непременно, натура, безпрестанно обновляющаяся, безпрестанно развивающаяся — въ старости молода. Натура реальная почти не имѣетъ способности старѣться — она по преимуществу душа живая. Сикеть V распрямился, чтобъ достать головою тіару, старость не помѣшала ему.

Старый юноша имѣетъ свои приемы, которыми онъ съ двухъ словъ обличаетъ себя. Вы его узнаете по ненависти къ Гёте и по пристрастію къ Шиллеру, по его презрѣнію къ практической дѣятельности, къ матеріальному интересу; онъ не любитъ желѣзныхъ дорогъ, положительности, индустріи, Сѣверной Америки, Англіи; онъ любитъ средніе вѣка, платоническую любовь; ему надобенъ эффектъ, фраза — и замѣйте, что у него эффектъ и фраза вовсе не ложь, вовсе не поддѣльны, онъ за фразу пойдетъ и сядетъ на колѣ, если только онъ живетъ въ такой образованной странѣ, гдѣ за фразу сажаютъ на колѣ. Романтизмъ вообще ищетъ несчастій, онъ очищается ими, хотя мы не знаемъ, гдѣ онъ загрязнился; это особая метода леченія, Unglückskur, такъ какъ есть Wasserkur, Hungerkur. Старый юноша — это Эгмонтъ; юный старецъ — это Вильгельмъ-Оранскій. Донъ-Карлосъ, маркизъ Поза, Максъ Пикколомини — должны были умереть въ юности — и образы ихъ остались у насъ неразрывны съ чертами отроческой красоты, и такъ они хороши! Исторія намъ много завѣщала вѣчно-юныхъ лицъ, начиная съ представителя Греціи Ахилла и до... ну хоть до Шарлотты Кордай. Доживи Максъ Пикколомини до генерал-аншефовъ, Донъ-Карлосъ до смерти Филиппа II, они пережили бы себя, они играли бы престранную роль, или должны были бы переработаться, но

въ томъ-то и бѣда, что въ нихъ мало замѣтно переработывающей силы. Такъ, какъ они есть — они высокохудожественны; но для того, чтобъ ихъ оставить такими, надобно было ихъ спасти смертною казнью. Таковъ нашъ соотечественникъ Владиміръ Ленскій — и Пушкинъ разстрѣлялъ его. Не такова Татьяна — и она осталась, слава Богу, здорова. Шекспиръ зналъ, что дѣлалъ, перерывая, такъ сказать, на первомъ поцалувѣ нить жизни Ромео и Юліи.

ПАРИЖСКІЯ

У В Е С Е Л Е Н І Я.

И. ПАНАЕВА.

СЪ ПОЛИТИКАЖАМИ, РИСОВАНЫМИ И ГРАВЮИРОВАННЫМИ ВЪ ПАРИЖѢ.

ПАРИЖСКІЯ УВЕСЕЛЕНІЯ.

«Sans danser peut-on vivre un jour?
«du Parisien c'est la devise.»

I.

На другой день по прїѣздѣ моемъ въ Парижъ, въ ожиданіи обѣда у Вери, я гулялъ въ Пале-Роялѣ. Утро было теплое. Солнце свѣтило ярко. Лужайки сада, не смотря на позднюю осень, сохраняли свой изумрудный блескъ. Фонтанъ билъ со всею силою. Около бассейна фонтана толпами бѣгали, играли и рѣзвились дѣти очень граціозныя и ловкія. Ихъ няньки были одѣты чисто и со вкусомъ — и обращались съ дѣтьми кротко и внимательно. Глядя на этихъ дѣтей и на этихъ нянекъ, я вспомнилъ, не знаю почему-то, другихъ дѣтей и другихъ нянекъ, не зараженныхъ тлетворнымъ дыханіемъ Запада, которыя, утирая грязными лапами носики своихъ питомцевъ, приговариваютъ обыкновенно съ сердцемъ: «Ахъ, ты сопливый этакой чертенокъ, прости Господи!» или что-нибудь въ родѣ этого. И еще вспомнилъ я... Но здѣсь, я думаю, вовсе не кстати передавать то, о чемъ припоминалъ я въ ту минуту.... У кафѣ, извѣстной подъ именемъ *Ротонды*, на плетеныхъ соломенныхъ стульяхъ сидѣло нѣсколько господъ съ сигарами въ зубахъ и съ

огромными листами газетъ въ рукахъ. Въ галереяхъ была давка. Всѣ эти рестораны, блистающіе бронзою и зеркалами (а ихъ до тридцати, если не болѣе въ одномъ Пале-Роялѣ) были полны народомъ. *Гарсоны* (неимѣющіе, впрочемъ, ничего общаго съ нашими Фильками и Васьками) въ бѣлыхъ, какъ снѣгъ, галстукахъ, манишкахъ и фартукахъ и въ черныхъ курткахъ, перебѣгали отъ одного посѣтителя къ другому съ криками: «V'la, M'sieur, v'la» — и, что необыкновенно странно, — успѣвали удовлетворять требованіямъ каждаго. Блескъ и изящество живописно развѣшенныхъ и разставленныхъ за зеркальными стеклами товаровъ и особенно дамы, сидѣвшія за конторками, останавливали вниманіе проходящихъ на каждомъ шагу. Длинный хвостъ народа шевелился у входа въ пале-рояльскій театръ, на которомъ въ этотъ вечеръ давали новый водевиль съ *Левассоромъ* и *Равелемъ*. Повсюду движеніе, какъ у насъ наканунѣ свѣтлаго праздника; повсюду живыя и говорящія лица и ослѣпляющая роскошь, о которой нельзя дать и приблизительнаго понятія тому, кто не бывалъ въ Парижѣ.

Два раза обошелъ я кругомъ галереи и остановился у лавки довольно скромной наружности, неподалеку отъ палерояльскаго театра. Надъ входомъ въ эту лавку — простая и короткая надпись: *Change*, да еще другая на стеклѣ: *Exchange-office*, а за зеркальнымъ стекломъ ея колонны серебра, груды золота въ деревянныхъ чашкахъ и во всю длину широкаго окна въ нѣсколько рядовъ пятисотъ-франковые банковые билеты. У этого соблазнительнаго окна, въ одно время со мною, остановился человекъ среднихъ лѣтъ, худой и блѣдный, но съ рѣзкими и благородными чертами лица, съ такими, которыя, если не навсегда, то надолго запечатлѣваются въ памяти. На немъ была синяя изорванная блуза ремесленника. Долго и пристально, съ

грустною иронією, смотрѣлъ онъ на богатства, выставленные передъ нимъ будто въ насмѣшку, и потомъ съ судорожнымъ движеніемъ надвинулъ на глаза козырекъ своей истасканной фуражки и пустился бѣжать, точно преслѣдуемый кѣмъ-то, махнувъ рукой съ такимъ отчаяніемъ, котораго передать нѣтъ возможности. Онъ уже исчезъ въ толпѣ, а я все стоялъ еще на одномъ мѣстѣ и смотрѣлъ вслѣдъ ему....

— Боже мой, Боже мой, — кого я вижу! вдругъ раздается голосъ сзади меня.... — Какъ я радъ!... Да давно ли вы у насъ здѣсь въ мѣстечкѣ Парижъ-съ?

Я вздрагиваю при звукахъ роднаго языка и оборачиваюсь назадъ.

Передо мною человѣкъ небольшого роста съ густой рыжеватой бородой, одѣтый не совсѣмъ ловко, хотя съ большою щеголеватостію.

Я осматриваю его съ ногъ до головы.

Онъ смѣется.

— Вы, вѣрно, не узнаете меня-съ? Немудрено, немудрено-съ. Парижъ хоть кого измѣнить. Поживите-ка у насъ, такъ сами увидите.... Ну, очень радъ, очень радъ-съ.

И онъ протягиваетъ ко мнѣ обѣ руки.

Ничего не можетъ быть пріятнѣе, какъ встрѣтить на чужбинѣ, и еще такъ неожиданно, роднаго человѣка и услышать родные звуки. Отъ всего сердца желаю вамъ, дорогой читатель, когда-нибудь испытать это наслажденіе.... Я крѣпко и съ большимъ чувствомъ жаль руки, протянутыя мнѣ такъ радушно моимъ добрымъ соотечественникомъ.

— Чтó, вы все не узнаете меня-съ? продолжаетъ онъ.

— Признаюсь....

Онъ снова смѣется, дружески треплетъ меня по плечу — и наконецъ произноситъ свое имя, отчество и фамилію.

— Такъ это вы?... Я такъ давно не имѣлъ удовольствія васъ видѣть.

— И вотъ гдѣ Богъ привелъ свидѣться-съ.... скажите!... Да мы еще, кажется, съ вами земляки-съ.... Шарме, шарме....

И онъ опять схватываетъ меня за руку.

Здѣсь, можетъ-быть, не лишнее замѣтить, что этотъ господинъ — отставной кавалеристъ и казанскій помѣщикъ.... Въ отечествѣ я видѣлъ его не болѣе десяти разъ и, кажется, раза четыре говорилъ съ нимъ.

— Я никакъ не ожидалъ васъ встрѣтить въ Парижѣ....

Соотечественникъ мой, котораго мы будемъ звать Николаемъ Александрычемъ, — не много смущается и обижается отъ моего замѣчанія.

— Почему же-съ? Что-жь тутъ удивительнаго-съ... Я полагаю, что я могу путешествовать такъ же, какъ и другіе-съ.

Впрочемъ это у него такъ, мгновенная *вспышка*. Онъ черезъ минуту дружески беретъ меня подъ руку и увлекаетъ съ собою.

— Я здѣсь совершенно ожилъ-съ, говоритъ онъ мнѣ дорогою: — самъ себя не узнаю, просто.... И это натурально-съ: повсюду, знаете, такія развлеченія... кафѣ, палаты-съ, театры.... ну все это вмѣстѣ, знаете-съ.... журналы, и какіе вѣдь журналы-то! какъ пишутъ-то! какимъ слогомъ-то-съ!.... *Siècle*-съ, напри-мѣръ... вѣдь прелесъ что за журналъ!... утромъ этакъ сядешь и за чашкою кофе читаешь.... наслажденіе-съ!

Такимъ-образомъ разговаривая, Николай Александрычъ довелъ меня до *cabinet Montpensier*. Это въ Парижѣ самый полный и богатый кабинетъ для чтенія. Въ немъ, между прочими рѣдкостями, и наша *Съверная Пчела*, но объ этомъ уже, кажется, неоднократно говорилъ Николай Ивановичъ Гречъ въ своихъ занима-

тельныхъ письмахъ изъ-за границы.... Противъ этого кабинета — лавочки съ разными мелкими галантерейными товарами, которые продаются дамами очень галантерейнаго обращенія.

Одна изъ этихъ дамъ съ большою пріятностію улыбнулась и кивнула головкой Николаю Александрычу.... Николай Александрычъ не могъ скрыть при этомъ своего удовольствія.

— Видите ли-съ, сказалъ онъ мнѣ: — я ужь здѣсь приобрѣлъ нѣкоторую извѣстность-съ.... Всѣ эти гризеточки-съ меня знаютъ.... Вотъ одна, что сей часъ кивнула мнѣ головкой, —это мамзель Эмма-съ.... Плутовочка! большая плутовочка-съ!.... Подойдемте къ ней, поговоримте-съ.... Онъ вѣдь все, я вамъ скажу, прелюбезныя, образованныя такія; какой угодно разговоръ могутъ поддержать-съ.

Мы подходимъ къ прилавку, за которымъ сидитъ мамзель Эмма.

— Бонжуръ, мамзель Эмма! — Николай Александрычъ расшаркнулся передъ нею.

— Bon jour, M'sieur, отвѣчала ему мамзель Эмма скороговоркою.

— А! ву зеть комъ тужуръ жоли. Это Николай Александрычъ произнесъ на распѣвъ.

— Est-ce pas?... Ecoutez.... achetez quelque chose....

— Мерси.

— Allons donc! Soyez aimable.

— Гм! А когда же вы, мамзель Эмма, будете со мною любезны?

— Plus tard.... nous verrons.... Мамзель Эмма улыбнулась.

— Охъ ужь мнѣ эти плутарь!... Знаемъ мы ихъ.... проворчалъ сквозь зубы Николай Александрычъ....

— А кто это такой? воскликнула мамзель Эмма, указывая на меня. — Я въ первый разъ вижу этого господина. Это тоже Русскій, вашъ соотечественникъ?

— *Vuy*, — отвѣчалъ ей лаконически Николай Александрычъ....

Мамзель Эмма взглянула на меня.

— Вы вѣрно не такъ скупы, какъ м'сье Эрнестъ?

— Кто такой?

— М'сье Эрнестъ.

— Мамзель Эмма показала на Николая Александрыча.

Николай Александрычъ отказался въ Парижѣ отъ имени, даннаго ему въ Россіи при святомъ крещеніи, и нарекъ себя Эрнестомъ.

— Купите у меня что нибудь, продолжала мамзель Эмма: — вотъ эту гребеночку для усовъ или хоть вотъ эту щетку съ зеркаломъ. Она чудесно сдѣлана и стоитъ бездѣлицу, — только 4 франка.... (Щетка стояла, впрочемъ, не болѣе франка)... Вы возьмете ее? Не правда ли?

И мамзель Эмма, не дожидаясь моего отвѣта, завертываетъ щетку въ бумагу, отдаетъ мнѣ и прибавляетъ: «*Merci, m'sieur*».

Дѣлать нечего, — я плачу ей 4 франка.

Мамзель Эмма обратилась потомъ къ м'сье Эрнесту, или къ Николаю Александрычу, что одно и то же, съ вопросами:

— А вы будете завтра въ *Valentino*?... А что у васъ въ Россіи танцуютъ польку? *La polka doit faire le tour du monde!* прибавила она съ важностію — и вдругъ вскрикнула:

— *Dame! le v'la le mauvais sujet.... Gustave! Gustave!....*

Но тотъ, къ кому относились эти возгласы — молодой человекъ очень красивой наружности, въ мундирѣ

политехнической школы, прошелъ мимо, не обращая ни малѣйшаго вниманія на мамзель Эмму.

— Кто это такой? спросилъ ее Николай Александрычъ.

— C'est mon cousin Arthure, отвѣчала ни мало не задумавшись мамзель Эмма... И такъ завтра въ Valentino?

— О, непременно!...

Николай Александрычъ дружески простился съ мамзель Эммою, пожалъ ей руку и мы отправились далѣе...

Черезъ минуту онъ обратился ко мнѣ, посмотрѣлъ на меня очень сладко и произнесъ:

— Ну не правда ли, премиленькая плутовочка-съ?...

II.

Въ Парижѣ множество публичныхъ баловъ и на каждомъ изъ этихъ баловъ, по увѣренію афишъ, собирается l'élite de la fashion.

Самые замѣчательные изъ нихъ: *лыміе* — la Grande-Chaumière, продававшаяся за 500,000 фр., Ranelagh, le Château-Rouge и Мабиль (въ Елисейскихъ-Поляхъ); *зиміе* — Valentino (въ улицѣ Сент-Оноре) и Прадо (на лѣвой сторонѣ Сены, въ Латинскомъ Кварталѣ). Меньшею извѣстностію пользуются залы — d'Antin, Montessquieu и Vivienne. Впрочемъ, во всѣхъ этихъ мѣстахъ, танцуютъ до упаду отъ 8 до 12 часовъ ночи, пять дней въ недѣлю. По официальнымъ свѣдѣніямъ, зимою 1844 г. въ Парижѣ и около Парижа находилось 427 публичныхъ заведеній: театровъ, бальныхъ залъ и салоновъ у рестораторовъ и виноторговцевъ, гдѣ народъ, съ дозволенія правительства, веселился, подъ присмотромъ или муниципальнаго стража, или городского сержанта, или жандарма extra muros.

Въ каждомъ изъ этихъ заведеній есть непременно своя героиня, своя царица, своя *polkeuse d'honneur*. Имена ихъ сдѣлались громкими въ Европѣ. Въ *Chau-miègre* пользуются большою славою *Клара* и *Марія*, раздѣлившія публику на два враждующіе лагеря—на *Кларинетовъ* (*Clarinettes*) и *Маріанетовъ* (*Marionettes*). *Мабиль* справедливо передъ всѣми гордится знаменитою



Королевою Помаре (*la Reine Pomaré*) и ея пріятельницею — *Céleste Mogador*. Биографія королевы Помаре издана въ Парижѣ въ началѣ 1844 года. Изъ этой биографіи мы узнаемъ, что королева Помаре родилась въ парижскомъ циркѣ отъ бѣдныхъ, но знатныхъ родителей.... Родная племянница *M-me Franconi*, съ самаго дѣтства дышала она олимпійскою пылью и еще до-сихъ-поръ сохранилось истинно-олимпійское величіе въ

ея манерахъ и въ ея обращеніи съ *полькёрами* (*polkeurs*). «Mille cornets à piston! говоритъ она имъ, небрежно покуривая сигарку, — vous m'appellez tous Pomaré.... Je suis déjà reine du Ranelagh, princesse de Mabilles, du Prado et autres chaumières!» — Longue vie à Pomaré la belle! восклицаютъ въ одинъ голосъ восторженные полькёры, — que son règne soit une polka sans fin! — Однако прошлую зимою звѣзда королевы Помаре начала тускнѣть. Соблазненная предложеніями директора пале-рояльскаго театра, она вступила-было на театральные подмостки. Дебютъ ея былъ неудаченъ. Ее проводили со сцены свистками и шиканьемъ.

Нѣкоторыя изъ этихъ публичныхъ заведеній, гдѣ неограниченно владычествуетъ королева Помаре, какъ на примѣръ Ranelagh и la Grande-Chaumière, существуютъ болѣе полувѣка.

Баль *Prado* — на томъ мѣстѣ, гдѣ была нѣкогда церковь св. Варооломея — одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ памятниковъ среднихъ вѣковъ въ Парижѣ....

Valentino — танцевальная зала въ улицѣ Saint-Nopcé, хотя основана не болѣе 8 лѣтъ, но пользуется большою славою. Сюда-то мамзель Эмма пригласила Николая Александрыча.

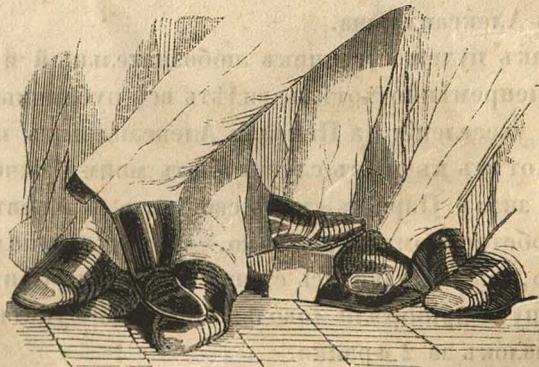
Я, какъ путешественникъ любознательный и праздный, непременно хотѣлъ видѣть всѣ публичныя парижскія увеселенія, а Николай Александрычъ непременно хотѣлъ въ этомъ случаѣ быть моимъ чичероне, ибо онъ зналъ Парижъ «какъ свои пять пальцевъ-съ», по его собственному выраженію. — И вотъ, въ половинѣ десятаго, мы отправились съ нимъ въ улицу Сент-Оноре и на пути приобрѣли довольно большой букетъ лиловыхъ фіалокъ за 2 франка.

— Кому же этотъ букетъ предназначается? спросилъ я у моего земляка: — конечно мамзель Эммѣ?

— Ей, или какой-нибудь другой-съ... Вѣдь она не одна у меня знакомая-съ.

Мы вошли въ залу.

Зала большая, освѣщенная газомъ ; кругомъ ея хоры. Танцующіе запросто въ сюртукахъ или въ пальто и въ шляпахъ, нѣкоторыя дамы даже съ муфтами. Полька во всемъ разгарѣ. Мы пробрались впередъ, чтобъ по-смотреть на полькирующихъ вообще и полюбоваться мамзель Эммою въ особенности. Въ послѣднія 12 лѣтъ, Парижане, говорятъ, сдѣлали величайшій прогрессъ въ танцахъ, благодаря генію Вестрисовъ публичныхъ баловъ. Теперь ужъ, конечно, нельзя упрекнуть Парижанъ въ томъ, что они танцуютъ *ходя*, съ небрежнымъ и утомленнымъ видомъ.... и теперь, правда, *ходятъ* въ публичныхъ балахъ, — но только по ногамъ любопытныхъ, что я самъ испыталъ, къ величайшему моему прискорбію, потому-что у меня на ногахъ мозоли....



Послѣ польки, въ которой и кавалеры и дамы предавались вполнѣ своей фантазіи бурной и необузданной, начался кадрили съ легкимъ канканомъ (*petit cancan léger*).

Не находя мамзель Эммы, Николай Александрычъ въ нетерпѣннн повертывалъ свой букетъ и обнаруживалъ сильное безпокойство, но въ началѣ второй фигуры, онъ вдругъ дернулъ меня за сюртукъ и радостно вскрикнулъ:

— Вотъ она, вотъ она-съ!... смотрите.

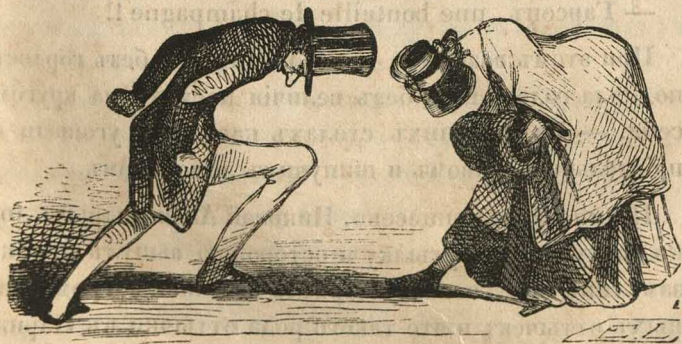
— Кто? Королева Помаре?

— Нѣтъ, — Эмма-съ.

— Гдѣ?

— Да вотъ направо-то-съ.

Въ-самомъ-дѣлѣ, въ эту минуту мамзель Эмма съ большою легкостію и не безъ граціи, въ зebровомъ *crispin*, въ черной бархатной шляпкѣ и съ муфтой, нагнувъ голову, летѣла на встрѣчу своему кавалеру, который, также нагнувъ голову, устремлялся на нее со всею яростію разъяреннаго быка. Это *avant-deux du taureau furieux*, замѣтилъ кто-то возлѣ меня.



Эмма и ея кавалеръ тотчасъ были всѣми замѣчены. Рукоплесканія раздались имъ со всѣхъ сторонъ.

Лицо моего Николая Александрыча просвѣтлѣло, какъ-будто эти рукоплесканія относились собственно къ нему.

— Какова Эмма-то-съ! шепнулъ онъ мнѣ въ восторгѣ.

Когда кадрили кончился, онъ подошелъ къ ней и поднесъ ей букетъ, произнеся какой-то комплементъ, явно вытверженный имъ заранѣе.

Эмма, улыбаясь, взяла букетъ, слегка ударила имъ по лицу Николая Александрыча, объявила, что находить его очень любезнымъ и что найдетъ еще любезнѣе, если онъ напоить ее чѣмъ-нибудь.... хоть шампанскимъ, на примѣръ, потому-что ей ужасно пить хочется.

Николай Александрычъ безпрекословно повиновался, предложилъ мамзель Эммѣ свою руку и полетѣлъ съ нею на хоры, нацѣвая что-то неопредѣленное себѣ подъ носъ. Я послѣдовалъ за ними.

На хорахъ они расположились у столика, возлѣ самыхъ перилъ, чтобъ удобнѣе видѣть танцующихъ. Николай Александрычъ закричалъ торжественно:

— Гарсонъ, *une bouteille de champagne* !!

При этомъ возгласѣ, мамзель Эмма не безъ гордости подняла голову и не безъ величія посмотрѣла кругомъ себя. — На сосѣднихъ столахъ кавалеры угощали ея пріятельницъ пивомъ и шипучимъ лимонадомъ.

Шампанское принесено. Николай Александрычъ ловко раскупорилъ бутылку и осторожно вынулъ пробку, замѣтивъ мнѣ, что онъ терпѣть не можетъ громогласныхъ оттычекъ и что такого рода оттычки въ Парижѣ не приняты.

Мамзель Эмма залпом осушила налитой ей бокаль, и, вслѣдъ за тѣмъ, выпила еще два.... Она болтала безъ умолку, критиковала и пародировала танцовавшихъ внизу дамъ и замѣтила, между прочимъ, что танцую — elle se livres toujours à toute l'improvisation de son génie и что въ Valentino одна только Pauline можетъ быть ея соперницей.

— Pauline очень мила и умна, продолжала мамзель Эмма, обращаясь ко мнѣ :—и считается въ Парижѣ одной изъ лучшихъ полькистокъ. Хотите, я васъ съ нею познакомлю ?

Я поблагодарилъ мамзель Эмму за ея участіе и вниманіе ко мнѣ.

— Вотъ она, — посмотрите, — танцуетъ съ Анатодемъ.... съ этимъ высокимъ и курносымъ господиномъ съ усами.... О! Анатоль славный танцоръ!

Я привсталъ, чтобъ посмотрѣть на мамзель Полину.

Въ это самое мгновеніе курносый господинъ, дѣлая en avant-deux, обнялъ ее, а она, прижала его къ своему сердцу.

— Bravo! вскрикнула мамзель Эмма: — c'est galant, c'est de bon goût, c'est vraiment français!

Выпивъ еще бокала два, она встрепенулась при звукахъ галона, говоря, что никакъ не можетъ равнодушно сидѣть на стулѣ, когда другіе галопируютъ, и съ этими словами бросилась внизъ.

— Что за дѣвочка! что за живчикъ-съ!... сказалъ Николай Александрычъ, провожая ее глазами. — Ахъ, эти Француженки!... Выпьемте-съ ей-Богу еще бутылочку шампанскаго.... Эхъ, куда ни шло!

И не дожидаясь моего отвѣта, онъ велѣлъ подать другую бутылку. Попивая, онъ описывалъ мнѣ прелести парижской жизни, а я, слушая его, смотрѣлъ на танцующихъ.

Поодаль отъ этой скакавшей и прыгавшей толпы, только два человека, съ видомъ апатическимъ, недвижно стояли, прислонясь къ столбамъ, вполне сохраняя строгую важность своего сана. То были муниципальные стражи, наблюдающіе за 25 су въ ночь надъ общественнымъ порядкомъ и нравственностію.



Только слишкомъ энергическіе и слишкомъ увлекающіеся танцоры тревожатъ иногда этихъ почтенныхъ людей. И въ такихъ случаяхъ, выходя изъ обычной своей неподвижности, они чрезвычайно вѣжливо подходятъ къ нарушителямъ приличія (*) и напоминаютъ имъ

(*) Полиція въ Парижѣ строга и дѣятельна, но вмѣстѣ съ этимъ чрезвычайно вѣжлива съ людьми всѣхъ классовъ, чему и былъ неоднократнымъ свидѣтелемъ.

объ одномъ очень замысловатомъ правительственномъ инструментѣ, называемомъ *скрипкою* (le violon) (*).



До 2 часовъ, то-есть до окончанія бала, мамзель Эмма танцевала безъ отдыха.

— Что, вы не устали? спросилъ я ее.

— M'sieur, — отвѣчала мнѣ съ достоинствомъ мамзель Эмма, — je suis encore capable de faire le tour du champ-de-Mars en cinq minutes, et de gagner le prix royal, si ce genre de course était encouragé par le gouvernement.

За симъ Николай Александрычъ попросилъ позволенія у мамзель Эммы проводить ее до дома. Она очень

(*) Арестъ.

охотно приняла его предложеніе, а такъ какъ идти съ ними мнѣ было по пути, то мы отправились всѣ вмѣстѣ пѣшкомъ, потому-что не нашли ни одного фіакра.

Въ первомъ часу, когда спектакли и публичные балы оканчиваются, неугомонный Парижъ успокоивается. Рестораны и кафѣ запираются. Стукъ и громъ экипажей смолкаетъ, и повсюду, даже на самыхъ главныхъ улицахъ, водворяется такая мертвая тишина, какъ въ Москвѣ въ 10 часовъ вечера.

Мы шли, не встрѣчая ни одного человѣка. Мамзель Эмма подъ ручку съ Николаемъ Александрычемъ; я сзади ихъ, потому-что тротуары въ Парижѣ очень узки.

Вдругъ мамзель Эммѣ пришла охота обучать Николая Александрыча полькѣ. Она заставила его обвить свою талію и пустилась съ нимъ полькировать по 'грязнымъ плитамъ. Николай Александрычъ поскользнулся, едва не упалъ и не уронилъ свою даму. Неловкость моего соотечественника забавляла мамзель Эмму и она отъ всего сердца и во все горло хохотала надъ нимъ.

На углу улицы Ришльѣ, я простился съ моими спутниками. Мамзель Эмма дружески протянула мнѣ руку и произнесла съ комическою важностью:

— *Recevez mes adieux, mon cher m'sieur....*

Они повернули направо, я на лѣво. На поворотѣ она громко запѣла:

Deux fois elle eut équipage,

Dentelles et diamants,

Et deux fois mit tout en gage

.....
Lariffa! fla! fla! lariffa! fla! fla!

И долго голосъ ея, впрочемъ очень пріятный, раздавался въ пустынной улицѣ, замирая въ отдаленіи.

III.

Николай Александрычъ посѣщалъ меня довольно часто. Не знаю почему, я приобрѣлъ его расположеніе и влѣдствіе того откровенность. Однажды, какъ-то къ случаю, онъ разсказалъ мнѣ о своей прошедшей жизни: о суровости нрава своего покойнаго родителя, державшаго его при себѣ въ деревнѣ лѣтъ до семнадцати; о плеткѣ, съ которою старичокъ его никогда не разставался и грозя которой, онъ обыкновенно приговаривалъ: «Вотъ, братецъ ты мой, самый лучший учитель для мальчика. И это испыталъ на самомъ себѣ. «Эта плетка у насъ переходила изъ рода въ родъ — и «ей-то именно я и обязанъ тѣмъ, что сдѣлался *человѣкомъ*»; о неукротимомъ жеребицѣ Полканѣ, на котораго родитель впервые посадилъ его — двѣнадцатилѣтняго ребенка, дрожащаго отъ страха и плачущаго; о томъ, какъ Полканъ понесъ его; какъ полумертвый ухватился онъ рученками за гриву коня, и какъ родитель, глядя на него, кричалъ, надрываясь отъ смѣха: «Ничего, «братецъ ты мой, ничего; не бойся! Полканъ мой выбьетъ изъ тебя бабій духъ; онъ сдѣлаетъ изъ тебя *человѣка*».

Николай Александрычъ сообщилъ мнѣ много также любопытнаго о разстригѣ, который обучалъ его грамотѣ и шилъ ерофеичъ съ его почтеннымъ родителемъ, и еще кое-о-чемъ не менѣе любопытномъ.

— Лѣтъ десять, говорилъ онъ мнѣ: — прослужилъ я въ конницѣ и чего только не натерпѣлся въ это время-съ, особенно при жизни отца. Какъ я перебивался-съ, право и до-сихъ-поръ понять не могу. Я всего получалъ только отъ него 400 рублей въ годъ на содержаніе.... Вѣрите ли вы этому-съ?... Ну, правда, послѣ его смерти я поотдохнулъ и пожилъ таки изряд-

но — и, слава Богу, вотъ вышелъ въ отставку съ чиномъ ротмистра.

Николай Александрычъ улыбнулся.

— До майора, признаться, я не хотѣлъ добираться. И служба, знаете, понаскучила-сь, да и чинъ майорской какъ-то не нравится прекрасному полу-сь.... Дѣвицы и дамы-сь всегда воображаютъ почему-то майора съ брюшкомъ-сь, съ шляпой на затылкѣ-сь.... А я, нечего грѣха таить-сь, всегда былъ немножко падокъ къ прекрасному полу. Въ отставкѣ случай свелъ меня съ людьми учеными и образованными-сь. Какъ я посмотрѣлъ на нихъ да послушалъ ихъ-сь, такъ мнѣ ей-Богу совѣстно стало за самого себя-сь.... У меня тутъ только открылись глаза-сь. Принялся было читать.... да нѣтъ, — чувствовалъ, что поздненько хватился.... однако все-таки кое-чему понаучился-сь. Въ деревнѣ я больше охотой занимался, да все было что-то скучно-сь. Одинъ сосѣдъ мой — человекъ образованный и богатый, отправлялся за границу-сь. А у меня всегда была какъ-то страстишка посмотреть на Божій свѣтъ да и себя показать. Я подумалъ-подумалъ, заложилъ имѣніе да и махнулъ сюда-сь. Теперь я такъ привыкъ къ здѣшней жизни-сь, что право часто мнѣ приходитъ въ голову: ужь не напрасно ли я прихалъ сюда?... Что же я буду дѣлать-сь, возвратясь къ себѣ въ Кобелевку-сь? Ужь лучше бы я, право, и понятія не имѣлъ объ этой жизни.... Все легче бы было.

Николай Александрычъ задумался и прошелся по комнатѣ.

— А вѣдь и то сказать-сь, и здѣсь-то я что такое, причемъ я? Конечно, что я ожилъ здѣсь, ну просто воскресъ.... объ этомъ что и говорить: но, признаться, и здѣсь на меня изрѣдка находить этакая, какъ бы вамъ сказать, хандра-сь.... Ахъ!

Николай Александрыч махнулъ рукой и мнѣ даже показалось, что глаза его сдѣлались влажны.

— Все какъ-то тяжело-сь, пусто-сь, чего-то не достаетъ. Пробоваль я ходить и въ Сорбону и въ Collège de France.... Оно, конечно, любопытно-сь.... Ну да и профессора-то здѣсь, вы сами знаете, безподобнѣйшіе профессора-сь.... Ясно, отчетисто все это такъ читаютъ-сь, съ жаромъ съ такимъ-сь.... Да учиться-то мнѣ ужъ лѣта прошли-сь....

Николай Александрыч покачалъ головою.

— Собственно мнѣ и здѣсь-то дѣлать нѣчего!

Онъ бросился на кресло, облокотился о ручку и нѣсколько минутъ молча пробылъ въ этомъ положеніи.

— На что моя жизнь? Кому она полезна? Ни себѣ, ни другимъ.... Эхъ, да что впрочемъ думать объ этомъ-сь.... Вѣдь ничего новаго не выдумаешь-сь.... Поговоримте-ка лучше объ Эммѣ-сь....

Мамзель Эмма очень правилаь Николаю Александрычу, а мамзель Эммѣ очень правилаь завтраки Николая Александрыча и потому она посѣщала его каждое утро. Она влетала къ нему въ комнату всегда беззаботная и веселая, съ пѣснію на устахъ, бросала муфту и шляпку на диванъ, придвигала кресла къ камину и, приподнявъ платице, начинала, обыкновенно, грѣть ножки у камина. Ножки у мамзель Эммы были маленькія и всегда, какъ у всѣхъ Парижанокъ, прекрасно обутыя. И не смотря на то, что мамзель Эмма большею частію ходила пѣшкомъ, на ея черныхъ прюнелевыхъ ботинкахъ, съ кончикомъ изъ лакированной кожи, никогда не было ни одной брызги грязи.

Николай Александрычъ, глядя на эти грѣвшіяся у камина ножки, умилительно покачивалъ головою и говорилъ своимъ пріятелямъ:

— Экая ножка-то-сь, посмотрите, ради Бога. Вѣдь вотъ чѣмъ хорошъ этотъ проклятый Парижъ, вѣдь

вогь отъ-чего нигдѣ нельзя жить кромѣ Парижа-съ....
Нѣтъ, лучше бы я не прѣзжалъ сюда-съ!

Когда портѣ являлся съ устрицами и съ бутылкою бургонскаго, мамзель Эмма вскакивала съ кресель, встрѣчала его съ рукоплесканіями, сама накрывала на столъ, тотчасъ принималась кушать и пить — и кушала съ большимъ аппетитомъ, какъ всѣ Француженки, выпивала стакана два бургонскаго, не умолкала почти ни на минуту, а въ заключеніе непременно пускалась полькировать съ кѣмъ-нибудь изъ присутствовавшихъ.

Если мамзель Эммѣ нравилась у Николая Александрыча, или у кого-нибудь изъ его гостей, какая-нибудь вещь: напимѣръ — булавка, печатка, ключикъ отъ часовъ, или даже носовой платокъ, — она, безъ церемоніи, обращалась къ хозяину этой вещи, хотя бы этого господина видѣла въ первый разъ.

— *Tiens, comme c'est joli!* восклицала она, рассматривая понравившуюся ей вещь, — подарите мнѣ это.

Отказъ, впрочемъ, нимало не смущалъ ея; но если ей дарили вещь, она прыгала отъ радости, какъ ребенокъ. Впрочемъ на Николая Александрыча она иногда очень сердилась, если онъ не исполнялъ ея желаніе. Въ такомъ случаѣ она схватывала съ горячностью свою муфту, надѣвала шляпку и дѣлала нѣсколько шаговъ къ двери. Николай Александрычъ бросался ее удерживать, но она, принявъ на себя серьезный и важный видъ, восклицала:

— *Ah! bah! laissez-moi donc! vous êtes un monstre!*

За тѣмъ слѣдовало тотчасъ же примиреніе и Николай Александрычъ отправлялся съ мамзель Эммою обѣдать въ какой-нибудь изъ маленькихъ ресторацовъ, а послѣ обѣда въ какой-нибудь изъ бульварныхъ театровъ. Бѣдная гризетка, она не имѣла понятія объ отдѣльныхъ великолѣпныхъ кабинетахъ Верн, или *Café Anglais*, — гдѣ свирѣпствуютъ *лоретки*, и не любила

ни Théâtre-Français, гдѣ, по собственному ея сознанию, она была только одинъ разъ въ жизни, да и то чуть не умерла со скуки, ни Итальянскаго театра, въ которомъ никогда не бывала. *Délassement comique* предпочитала она всѣмъ парижскимъ театрамъ — и для нея *Mlle Eléonore* (*) была несравненно лучше и забавнѣе г-жъ *Плесси* и *Рашель*.

Комната мамзель Эммы, какъ вообще комнаты гризетокъ, не отличалась особеннымъ убранствомъ: — четыре, или пять плетеныхъ стульевъ, столъ, кровать съ ситцевою занавѣскою, небольшое зеркало на стѣнѣ и литографированный портретъ *Hyacinthe* — актера театра *Variétés*, знаменитаго въ Парижѣ не столько по своему таланту, сколько по огромному носу.

Къ этой мебели Николай Александрычъ прибавилъ диванъ и два мягкіе стула. Онъ не жалѣлъ денегъ для мамзель Эммы. И она скоро оставила свою лавочку въ Пале-Рояль, бросила свой зебровый *crispin*, облачилась въ черный бархатный, и даже кошачью муфту замѣнила горностаевою. И глядя на нее въ этомъ нарядѣ, такъ и хотѣлось запѣть:

«Quoi! Lisette, est-ce vous?»

Vous, en riche toilette!

Vous, avec des bijoux!

Vous, avec une aigrette!

Eh! non, non, non,

Vous n'êtes plus Lisette.

Eh! non, non, non,

Ne portez plus ce nom.

За то, по мѣрѣ умноженія расходовъ мамзель Эммы, Николай Александрычъ уменьшалъ свои собственные и наконецъ дошелъ до того, что, уходя изъ дома, обсыпалъ непломъ полѣно, чтобъ оно не горѣло въ его отсутствіе.

(*) *Mlle Eléonore* занимаетъ роли гризетокъ въ *Délassement comique* — въ одномъ изъ маленькихъ бульварныхъ театровъ.

— Этакъ, пожалуй, совсѣмъ просвищешься-сь, — говорилъ онъ: надобно же хоть въ чемъ-нибудь соблюдать экономію-сь. Здѣсь вѣдь дрова ужасно какъ дороги!

Разъ какъ-то мамзель Эмма лежала у него на диванѣ и курила папироску, а онъ, смотря на нее, мрачно прохаживался по комнатѣ — и потомъ обернулся ко мнѣ.

— А что, вѣдь она меня не любитъ-сь? Какъ вы думаете?

— Это, право, вамъ лучше знать, чѣмъ мнѣ.

— Ужь это я знаю-сь; да и къ тому же, мнѣ кажется, Француженки неспособны къ настоящей любви-сь... Онѣ привыкли къ разсѣянню-сь, къ безпрестаннымъ перемѣнамъ-сь, или, можетъ-быть, онѣ насъ Русскихъ просто любить не могутъ, потому-что нравы-то наши-сь очень различны отъ ихъ-сь.... Ужь Богъ знаетъ, а только мнѣ все что-то какъ-будто неловко съ нею-сь.... Отъ-чего бы это?

— Опять при мнѣ на этомъ варварскомъ языкѣ, небрежно проговорила мамзель Эмма, пуская дымъ въ глаза Николаю Александрычу. — Сколько разъ я повторяла тебѣ, что это невѣжливо.... О чемъ ты сейчасъ говорилъ?

— Гм! Все объ одномъ и томъ же.... О томъ, что ты меня не любишь.

Мамзель Эмма расхохоталась.

— Фи! Какъ это старо. Нѣтъ ли чего-нибудь по новѣе?...

— Что жъ.... Вѣдь это правда.... вѣдь ты меня не любишь? сказалъ Николай Александрычъ, подходя къ мамзель Эммѣ и глядя на нее умоляющими глазами.

— Je t'adore, mon p'tit chat! отвѣчала мамзель Эмма, снова захохотавъ во все горло.

Николай Александрычъ вспыхнулъ.

— Видите ли-съ, воскликнулъ онъ опять по-русски (въ минуты волненія онъ ужъ рѣшительно не могъ говорить по французски), вотъ онѣ, вотъ онѣ каковы эти Француженки-то-съ. Имъ бы только надо всѣмъ хохотать-съ, имъ все смѣшно-съ; просто у нихъ никакого чувства нѣтъ-съ.

Наивность добраго Николая Александрыча трогала меня. Я сталъ его утѣшать, разумѣется, общими мѣстами. Утѣшенія мои не дѣйствовали. По его разстроенному виду, мамзель Эмма, вѣроятно, догадалась, что ея смѣхъ непріятно на него подѣйствовалъ.

Она взглянула на него очень нѣжно и съ большимъ участіемъ. Онъ просіялъ въ ту же минуту.

— Дитя! сказала ему мамзель Эмма: — ты совершенное дитя, Эрнестъ. Потомъ она наклонилась къ его уху и что-то шепнула ему.

— *Vraiment? vraiment?* пролететалъ Николай Александрычъ съ полнымъ довѣріемъ.

Въ этотъ же вечеръ онъ подарилъ мамзель Эммѣ золотую браслетку, висѣвшую у окна одного магазина въ *Passage vivienne*, мимо которой она никогда не могла проходить равнодушно....

Многіе изъ нашихъ соотечественниковъ, бывшихъ тогда въ Парижѣ, подсмѣивались надъ моимъ Николаемъ Александрычемъ и называли его пустымъ человѣкомъ. Правда, Николай Александрычъ не занимался глубокими вопросами и не разсуждалъ вкривь и вкось о предметахъ, которые были выше его разумнія, — но иногда бессознательно понималъ то, чего не понимали многіе изъ подсмѣивавшихся надъ нимъ.

Онъ никогда не проходилъ равнодушно и безотвѣтно мимо увѣчнаго или нищаго, который, съ бдѣніемъ озираясь кругомъ, не подсматриваетъ ли за нимъ городской сержантъ, судорожно протягивалъ къ нему изсохшую руку. Николаю Александрычу не приходила,

напримѣръ, въ голову мысль, что до французскихъ
нищихъ намъ Русскимъ иѣтъ дѣла....

Николай Александрычъ не карабкался, на коло-
кольню Собора Парижской Богоматери единственно
для того, чтобъ изрѣчь оттуда проклятiя Парижу.

Онъ не издавалъ такъ называемыхъ *Путевыхъ Запи-
сокъ*, т. е. выкранокъ изъ «Дорожниковъ», съ примѣсью
кое-какихъ собственныхъ пошлыхъ и устарѣлыхъ
мыслей и возгласовъ....

Онъ не ѣздилъ показывать свою физиономiю разнымъ
европейскимъ знаменитостямъ....

И не смотря на это мой герой-путешественникъ
кажется мнѣ несравненно оригинальнѣе и забавнѣе
всѣхъ *вышесчисленныхъ* путешественниковъ!...

Какъ вы объ этомъ думаете, мой читатель?...

IV.

Карнаваль приближался. Не одна мамзель Эмма ожи-
дала его съ нетерпѣнiемъ. Карнаваль въ-продолженiе
одиннадцати мѣсяцевъ любимая мечта всѣхъ Парп-
жанъ и Парижанокъ. Скакать и прыгать шесть или
семь часовъ сряду — это любимое отдохновенiе ихъ по-
слѣ трудовъ. Минута, когда по календарю г. Делессе-
ра (префекта полиции) можно безнаказанно облечься въ
костюмъ и явиться на балъ къ г. Мюзару — это мину-
та высочайшаго блаженства для Парижанина.

Итальянцы говорятъ: кто видѣлъ Неаполь, тотъ мо-
жетъ умереть. Парижане говорятъ: «быть Пьерро и
потомъ умереть!» (*Être Pierrrot et puis mourir!*)

Однѣ только старые портъе и ихъ жены ненавидятъ
карнаваль, потому-что въ это время имъ безпрестанно
приходится *дергать шнурокъ* (*tiger le cordon*) послѣ полу-
ночи. Съ заспанными глазами, ворча, эти мегеры про-

клинають и г. Мюзара и его поклонниковъ — ловкихъ и буйныхъ *дебардеровъ* мужскаго и женскаго пола (*débardeurs et débardeuses*), которыхъ мой другъ Николай Александрычъ вообще называлъ *дебардерчиками*.



Еще за недѣлю до перваго маскарада, Николай Александрычъ заказалъ для мамзель Эммы великолѣпный черный домино съ кружевами, бархатную черную маску и удивительный букетъ у цвѣтчицы въ Passage de l'Oréga, и заранѣе воображалъ, какъ она будетъ прохаживаться съ нимъ подъ руку въ фойе Большой-оперы и какъ его пріатели-соотечественники будутъ приставать къ нему съ разпросами: съ кѣмъ это ты, *mon cher*? кто это такая? и какъ они, вѣроятно, примутъ ее за какую-нибудь изъ извѣстныхъ лоретокъ. Всѣ эти фантази очень щекотали самолюбіе Николая Александрыча.

Наконецъ желанный вечеръ наступилъ. Балъ въ оперѣ открывается ровно въ полночь. Въ одиннадцать ча-

совъ явился къ Николаю Александрычу парикмахеръ. Онъ завилъ его, какъ барашка. Николай Александрычъ облекся въ лучшія свои одежды, раздушился и очень довольный собою началъ прохаживаться по комнатѣ, отъ поры до времени поглядывая на себя въ зеркало.

— А что, знаете, не вышить ли намъ-съ en attendant бутылочку шампанскаго? сказалъ онъ, вдругъ обратясь ко мнѣ.

— Для чего же?

— Да такъ, знаете, для смѣлости-съ.... Языкъ какъ-то послѣ этого сдѣлается развязнѣе, свободнѣе объясняешься пофранцузски, и вообще какъ-то ловче чувствуешь себя, ей-Богу-съ....

Шампанское принесено было старымъ портье.

Николай Александрычъ налилъ бокаль и поднесъ его портье.

А ма сенте, мосье Франсуа!

Портье поблагодарилъ Николая Александрыча, выпилъ бокаль за его здоровье, всполоснулъ его водой, вытеръ полотенцомъ, поставилъ на столъ и собирался идти.

— Же сюи комъ иль фо? Неспа, мосье Франсуа? сказалъ Николай Александрычъ, остановясь передъ нимъ и охарашиваясь.

Портье улыбнулся, посмотрѣлъ на Николая Александрыча съ ногъ до головы и произнесъ:

— Dame! Je crois b'en.

Въ эту минуту мамзель Эмма вбѣжала въ своемъ новомъ домино, съ букетомъ и съ маской въ рукѣ. Николай Александрычъ бросился къ ней на встрѣчу. Мамзель Эмма отступила шагъ назадъ, точно такъ-же какъ портье, съ ногъ до головы осмотрѣла Николая Александрыча и вскрикнула:

— Tiens! que tu est beau comme ça, mon chéri!

— Насмѣшница! замѣтилъ Николай Александрычъ, съ чувствомъ удовольствія, котораго онъ ни какъ не могъ скрыть.

— А каковъ домино-то-съ? сказалъ онъ, подмигивая мнѣ: — не правда ли прелесть? Около 100 франковъ стоилъ-съ, да и букетецъ-то не дурень.... Я увѣренъ, что ее никто не узнаетъ изъ нашихъ-съ.

Между-тѣмъ мамзель Эмма закурила папирску, налила себѣ бокаль шампанскаго, чокнулась съ Николаемъ Александрычемъ и развалилась на креслахъ, напѣвая :

Tant qu'on le pourra
L'on trinquera,
Chantera,
Aimera
La fillette....

Я просидѣлъ у Николая Александрыча около часа. Шампанское точно придало ему нѣкоторую развязность. Онъ былъ очень любезенъ, мамзель Эмма была имъ очень довольна. Все шло хорошо. Около часа они отправились на балъ въ ситадинѣ (citadine)....

На балахъ Большой-оперы сосредоточивается въ настоящее время весь парижскій карнавалъ. И не смотря на огромныя издержки: освѣщеніе и плату директору оперы 40,000 франковъ за наемъ залы, — въ прошедшую зиму оперные балы принесли чистаго дохода въ 2 мѣсяца 70,000 франковъ. Сборъ каждаго бала простирался до 15,000 франковъ. Парижъ во всеи его блескѣ и движеніи, является въ маскарадныя ночи. Съ десяти часовъ вечера бульвары принимаютъ уже праздничный видъ. Аристократическій газъ зажигается въ формѣ трехъ-угольниковъ передъ зданіемъ Большой-оперы, подъѣздъ Ambigu освѣщается скромными шкаликами. Маски появляются на бульварахъ. Блузники съ скамейками, съ ваксой, съ щеткой и съ фонарями разнолагаются при входѣ въ Passage de l'Opéra. Всѣ ресто-

раны до разсвѣта блещутъ огнями. Громъ экипажей не умолкаетъ всю ночь. Отъ одиннадцати до двѣнадцати часовъ всѣ бульварные кафе полны народомъ. Это самый затруднительный часъ, часъ ожиданія; надобно же какъ нибудь убить его. Почтенные отцы семейства, оставившіе для бала женъ и дѣтей и бумажные колпаки свои, безпрестанно посматривая на стрѣлку часовъ, занимаются чтеніемъ *Messenger*, или просто дремлютъ, склоняясь своими лысыми головами къ мраморнымъ столамъ; юноши-дебардеры, въ порывахъ нетерпѣнія, предаются разнымъ буйствамъ; ломаютъ бильярдные кѣи, курятъ, болтаютъ о политикѣ, о любви и о канканѣ съ *dames de comptoirs* и перебраниваются съ *garçonnami*, которые скромно осмѣливаются замѣчать имъ, что у нихъ-де въ кафе нельзя курить.... Въ полночь *Passage de l'Oréga* превращается въ маскарадную залу. Дебардеры канканируютъ, черныя домино пищаютъ... Шумъ, крикъ и пѣсни... Но это только еще преддвѣріе храма...

На другой день послѣ бала, мы сошлись съ Николаемъ Александрычемъ у Вефура. Николай Александрычъ былъ не въ духѣ. Онъ спросилъ пополамъ съ какимъ-то своимъ знакомымъ порцію *Julienne* и *barbue à la Hollandaise*, говоря, что больше ничего не можетъ ѣсть, оттого что у него желудокъ разстроенъ послѣ вчерашняго ужина.

— А кстати, какъ вы вчера веселились?

— Очень, очень-съ.... Да отъ-чего же вы-то не были-съ? Это вѣдь не то что наши маскарады-съ. Тутъ столько для наблюденія-съ и для прочаго другаго-съ.

— Ну ужъ въ слѣдующій разъ я непременно поѣду.

— Поѣзжайте-съ, поѣзжайте. А я, признаться сказать, вчера ужасно разсердился на Эмму-съ.

— За что же?

— Да помиуйте! какъ же съ.... увѣряетъ, что она надѣла въ первый и послѣдній разъ домино, что въ до-

мино ей скучно и душно, что она женирована въ немъ-сь; что видите ли костюмъ дебардерчика гораздо лучше-сь.... а вѣдь сама же просила у меня домино.... За чѣмъ же я бросалъ 100 франковъ? И потомъ все время ходила съ этимъ уродомъ *Гиацинтомъ-сь* (*Niacynthe*)... Чтожь это такое-сь? И наши всѣ ее тотчасъ узнали-сь: не умѣла скрыть себя. Да еще за ужинъ я долженъ былъ заплатить 50 франковъ-сь, не смотря на то, что мы ужинали у Броджія (*), а вѣдь у него гораздо дешевле, чѣмъ въ этихъ во всѣхъ ресторанахъ-сь.

— 50 франковъ?... Отъ-чего же такъ дорого?

Да она пригласила съ собою ужинать-сь своихъ пріятельницъ, какую-то Клару и Фифину.... Кабы хорошенькія-сь, такъ куда бы не шло, а то рожи-сь... Еще Фифина туда сюда-сь.... вертлявенькая-сь такая, славно, знаете, всѣ ихнія пѣсни поетъ-сь, только не въ моемъ вкусѣ: этакая спичка-сь, — ну а Клара пуасардка-сь какая-то, старая, толстая....



ьянской рестораторъ противъ Большой-Оперы.

Николай Александрычъ помолчалъ немного, пощипалъ усъ и вздохнулъ.

— Такъ вотъ какъ, батюшка, вы и въ Парижѣ, да еще во время карнавала вздыхаете ?

— Расходы-то эти непредвидимые дѣйствуютъ этакъ, понимаете, какъ-то неприятно-съ... За что же мнѣ угощать этакихъ Фифинъ, Кларъ? Кобелевка моя и безъ того трещить-съ.... Этакъ и въ отечество придется вернуться прежде срока.

Николай Александрычъ засмѣялся.

Нѣсколько дней послѣ этого, онъ не показывался въ Палероялѣ, потому что для экономіи обѣдалъ въ маленькомъ ресторанѣ въ rue Helder.

На слѣдующій маскарадъ я взялъ ложу съ нѣсколькими знакомыми. Николай Александрычъ отправился вмѣстѣ съ нами.

— А что же ваша мамзель Эмма? спросилъ я его дорогою.

— Осталась дома. Она не совсѣмъ здорова. Я, признаться, и радъ этому-съ... Одному свободнѣе-съ, а мнѣ хочется нынѣшній маскарадъ провести по холостому-съ.

Экипажъ нашъ остановился у ярко-освѣщеннаго подъѣзда оперы. Широкая лѣстница и коридоры устланы краснымъ ковромъ. Давка ужаснѣйшая; духота нестерпимая. Мы едва добрались до фойе. Въ фойе прохаживаются только такъ называемые порядочные люди, то-есть господа въ черныхъ фракахъ и желтыхъ перчаткахъ подъ руку съ черными домино.

Въ фойе царство интригъ. Въ фойе бѣдные юношеско-путешественники съ растрепанными волосами и чувствами и со сложенными руками, почти колѣнопрекло-

ненные передь своими замаскированными богинями, объясняютъ имъ пламень страстей ихъ пожирающихъ.



И тутъ же почтенные господа, страшно разбѣваюшіе рты отъ зѣвоты, которую наводитъ на нихъ утонченная любезность ихъ домино.

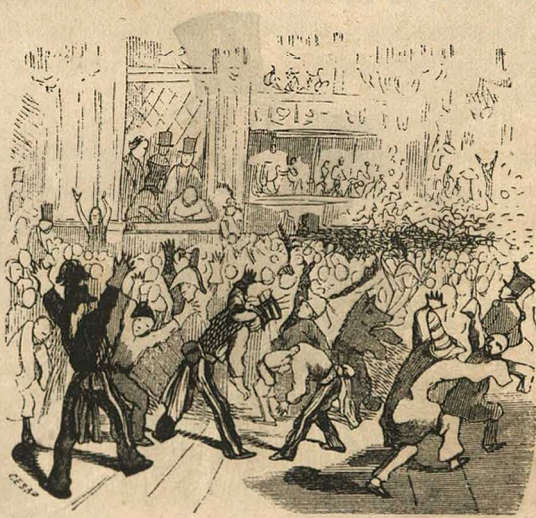


Въ фойе пискъ и визгъ, раздирающій уши, и вѣчные возгласы: *Je te connais, beau masque!*

Въ коридорахъ вольнѣе. Тамъ уже появляются разнохарактерные костюмы и лебардеры обоюго пола. Тамъ я встрѣтился даже съ какимъ-то крикуномъ огромнаго роста, который махалъ руками, вымазанными сажеей, на право и на лѣво, очищая себѣ такимъ образомъ дорогу.

Пройдясь по фойе и по коридорамъ и задыхаясь отъ жара, вошелъ я отдохнуть къ себѣ въ ложу. Но картина, открывшаяся передо мною, заставила меня забыть и утомленіе и жаръ.... Только одинъ Мартинъ — творецъ *Потопъ* и *Бальтазарова пира* могъ бы достойно воспроизвести эту картину.

Зала гигантская, вмѣщающая болѣе шести тысячъ человѣкъ, освѣщенная тридцатью огромными люстрами, затопленная свѣтомъ газа.... И эти шесть тысячъ мужчинъ и женщинъ, въ самыхъ фантастическихъ костюмахъ, не ходятъ, не танцуютъ, — а прыгаютъ, скачутъ, бѣснуются въ самозабвеніи, подъ неистовую музыку Мюзара.... Это великій раутъ у сатаны, если только у сатаны бываютъ рауты.



И вотъ онъ самъ, съ жезломъ въ рукѣ... не сатана, а г. Мюзаръ, на возвышеніи, царящій надъ всѣми, опьяняющій своими звуками эти массы... Вотъ онъ, во всей красотѣ своей, онъ, про котораго сказалъ какой-то поэтъ :

Enfin Musard parut, et le premier en France
Fit sentir dans nos pas une juste cadence!



Говорятъ, Мюзаръ триста сорокъ пять разъ въ своей жизни носимъ былъ въ триумфѣ. И не смотря на то, по увѣренію Charivari, великій маэстро обладаетъ необыкновенною скромностію: онъ удостоиваетъ иногда поклонами Мейербера и даже пожимаетъ руку Россини.

И надобно видѣть, съ какою благоговѣйною любовью окружаютъ его на балѣ толпы. Съ какимъ востор-

гомя каждый и каждая из этой толпы созерцают его благородный профиль, его величавое чело.



Самые отчаянные дебардеры едва осмѣливаются прикасаться къ складкѣ его одежды; самыя дерзкія лоретки никогда не рѣшаются сказать ему ты, хотя во время карнавала никто и никому не говорить вы.

Налюбовавшись Мюзаромъ и общимъ эффектомъ залы, я занялся разсматриваніемъ костюмовъ и отдѣльныхъ группъ.

Почти подъ самой нашей ложей необыкновенно-величественный геркулесъ танцуетъ канканъ съ скромною пастушкою. Не много подалѣе чопорный маркизь XVIII столѣтія идетъ дружески подъ руку съ *тети*.

За тѣмъ выступаютъ важно и медленно, съ чувствомъ собственнаго достоинства, герои знаменитаго романа *Juif errant*: — *Марокъ* — великій укротитель звѣрей, съ двумя львами подъ мышками, самъ *Вѣчный жидъ* растрепанный, съ бородою до пятъ, въ сапогахъ безъ подметокъ, поднявшихся выше колѣнъ и съ дубиною въ рукѣ — и наконецъ *Дагоберъ* съ огромнымъ накладнымъ носомъ и усами, въ чудовищныхъ ботфортахъ, которые служили колыбелью двумъ близнецамъ. Ему, какъ г. Вильмену, повсюду мерещутся иезуиты; онъ отыскиваетъ ихъ даже на балѣ Мюзара и пристаётъ къ дебардерамъ съ своимъ вѣчнымъ вопросомъ: — *La rue St-François, s'il vous plait?...*



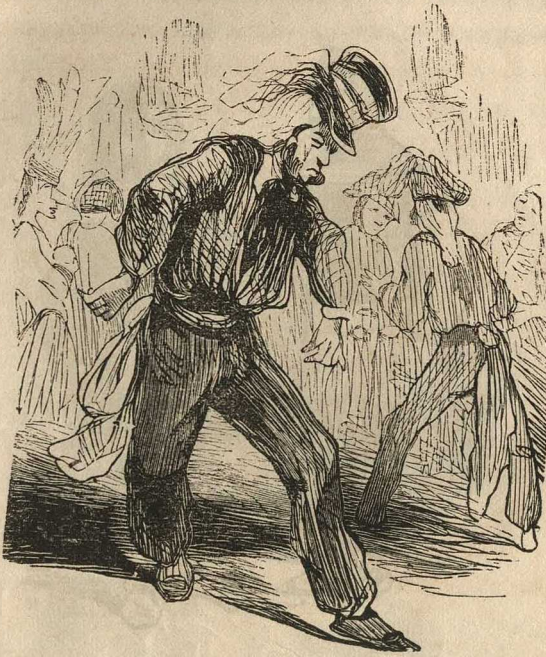
На лѣво гусарь танцуетъ съ поселянкою венгерскій танецъ съ примѣсю національнаго канкана.



Передъ нимъ господинъ весь въ галунахъ и въ трехъ-угольной шляпѣ съ чудовищнымъ перомъ. Онъ выдѣлываетъ какое-то невѣроятное па...



а сзади его рисуется человекъ пожилой, въ костюмѣ дебардера, съ высокою шляпою, украшенною разноцвѣтными лентами....



Около нихъ канканируютъ двѣ гризетки,



на которыхъ масляными глазками посматриваютъ два Фальстафа....

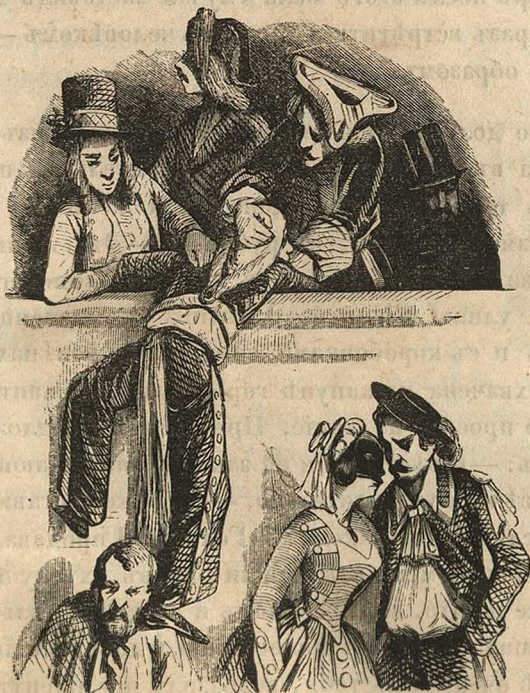


Въ самой срединѣ зала раздаются нестройные крики: «Pritschar!... à la porte!... Pritschar!...» (*) и толпа съ ожесточеніемъ преслѣдуетъ и гонитъ какого-то франта, вздумавшаго нарядиться въ британскій красный мундиръ.

(*) Бывшій англійскій консулъ на островѣ Таити, по наущенію котораго (въ 1843 г.) если вѣрить французскимъ журналамъ, туземцы самымъ предательскимъ образомъ зарѣзали до 300 челов. французовъ. Французскій консулъ вслѣдствіе этого арестовалъ Притшарда, а англійское правительство, оскорбленное поступкомъ французскаго консула, потребовало 25 т. фр. вознагражденія Притшарду, которые и заплачены французскимъ правительствомъ. Имя Притшарда Французы не могутъ слышать безъ негодованія.

(Примѣчаніе для незанимающихся политикой).

Между-тѣмъ всеобщее вниманіе привлекаетъ ложа аванъ-сцены съ правой стороны. Тамъ нѣсколько паръ отплясываютъ польку. Имъ аплодируютъ и бросаютъ снизу букеты. Одинъ изъ дебардеровъ, стоящихъ внизу, вспрыгиваетъ на плечо своего сосѣда и карабкается въ эту ложу....



Онъ уже стоитъ на перилахъ — и раскланивается публикѣ. Возлѣ самой нашей ложи раздается крикъ — браво! повторяющійся сотнею голосовъ. Человѣкъ среднихъ лѣтъ, худой и блѣдный, первый закри-

чавшій это браво, очень ловко танцуетъ кадрили. Къ его стройному стану чрезвычайно идетъ живописный костюмъ дебардера. Лицо его, какъ-будто мнѣ знакомо. Я начинаю вглядываться въ него, — и въ немъ, въ этомъ самомъ человѣкѣ, такъ беззаботно весящемся, узнаю того самого блузника, котораго я видѣлъ у стекла мѣняльной лавки въ Палеройялѣ на другой день по приѣздѣ моемъ въ Парижъ.

Вскорѣ послѣ этого бала случай заставилъ меня въ третій разъ встрѣтиться съ этимъ человѣкомъ — и вотъ какимъ образомъ.

Я, по долгу путешественника, забрелъ изъ любопытства въ одну изъ камеръ исправительной полиціи. Передъ трибуналъ приведена была женщина съ лицомъ измозженнымъ, въ рубищѣ. — Эту женщину я часто видѣлъ сидѣвшую на углу итальянскаго бульвара и улицы *Chaussée d'Antin*, съ младенцемъ на рукахъ и съ коробочками спичекъ на колѣнахъ. Она была схвачена на канунѣ городскимъ сержантомъ, за то, что просила подаяніе. Президентъ предложилъ ей вопросъ: — извѣстенъ ли ей законъ, запрещающій это? Она отвѣчала утвердительно. — Что же заставило тебя быть ослушницею закона? — Голодъ. Я продавала спички; спички у меня всѣ вышли; вновь ихъ купить мнѣ было не на что. Мой ребенокъ и я не ѣли цѣлыя сутки и я рѣшилась просить милостыню у добрыхъ людей.... — Мнѣ очень жаль тебя, возразилъ президентъ, потому-что, не смотря на все это, ты должна, по закону, подвергнуться на мѣсяцъ тюремному заключенію, если ктонибудь изъ присутствующихъ не возьметъ тебя на поруки, или не возьмется содержать тебя. Минута молчанія. Президентъ обвелъ взоромъ собраніе.... — Я, я беру ее на поруки, вдругъ раздается чей-то голосъ и изъ толпы зрителей выходитъ мой старшій знакомецъ-

человѣкъ въ оборванной блузѣ, въ той самой блузѣ, въ которой я видѣлъ его въ первый разъ передъ окномъ мѣняльной лавки. — Я берусь прокормить ее и ея ребенка, г. президентъ, продолжалъ блузникъ, остановившись передъ президентомъ: — хоть я такой же нищій какъ она, но у меня есть силы, я еще молодъ. Мы трое какъ-нибудь да прокормимся. Я отвѣчаю вамъ за то, что она впередъ не будетъ просить милостыню.

Онъ взялъ нищую подъ руку и вышелъ вмѣстѣ съ нею, сопровождаемый рукоплесканіями и восторженными криками присутствующихъ (*).

Но перейдемъ къ оперѣ.... Вотъ еще чудесная сцена! Испанецъ схватываетъ гризетку, одѣтую дебардеромъ, сажаетъ ее къ себѣ на плечо и обѣгаетъ съ ней кругомъ всей залы. Пуговицы на ея рубашкѣ разстегнуты, грудь полуобнажена, фуражка едва держится на головѣ. Она что-то такое кричитъ и размахиваетъ руками. Изъ ложъ раздается хохотъ. Вдругъ Испанецъ останавливается передъ нашей ложей. Надобно замѣтить, что рядомъ съ нами сидятъ арабскіе шефы, привезенные въ Парижъ г. Бюжо. (Въ эту минуту они привлекали вниманіе всего Парижа, какъ въ послѣдствіи генераль Томъ-Пусъ и дикіе....) Гризетка, сидящая на плечѣ у Испанца, кланяется, махаетъ платкомъ и дѣлаетъ ручки Арабамъ. На суровыхъ бронзовыхъ лицахъ Африканцевъ, къ которымъ такъ идутъ ихъ снѣжные бурнусы, показывается что-то въ родѣ улыбки — и они съ достоинствомъ, медленно помаваютъ головами въ отвѣтъ на безцеремонное привѣтствіе гризетки.... Раздается страшный громъ, шесть тысячъ человѣкъ рукоплещутъ

(*) Это фактъ. Любопытные могутъ справиться объ этомъ въ февральскихъ номерахъ Gazette des Tribunaux 1845 года и въ другихъ журналахъ.

этой сценѣ. Дама съ кавалеромъ (должно быть супруги благочестивые) черезъ ложу отъ насъ, преспокойно почивавшіе все время, —



вздрагиваютъ и просыпаются отъ этого грома.

Потомъ все смолкаетъ на одну минуту. Впрочемъ эта тишина только предвѣстница новой, грозной бури. Вотъ уже вдохновенный Мюзаръ поднимаетъ торжественно свой жезлъ и, по его мановенію, музыка начинается адскій галопъ. *Ohé! les amis! Ohé!* Кричать де-

бардеры...» en avant le galop infernal! vive la polka! vive la mazurka!» И пары за парами несутся въ дикомъ, безумномъ весельи, неустойчивые, бѣшеные, какъ разнузданные кони, съ криками, съ пѣнями, съ восклицаніями... Пыль поднимается столбомъ. Шляпа моя изъ черной превращается въ сѣрую. Глазамъ становится больно отъ свѣта и пыли...

Вдругъ раздается пронзительный стонъ. Это, какая-то несчастная упала въ галопъ....

Черезъ нѣсколько минутъ городскіе сержанты поднимаютъ ее и, полумертвую, вытаскиваютъ изъ залы.



Въ это самое время, я чувствую, что кто-то толкаетъ меня въ плечо. Я обертываюсь. Сзади меня Николай Александрычъ.

— Каковы-съ?

— Хороши, нечего сказать! ну, признаюсь, я до сихъ поръ не имѣлъ понятія о томъ, какъ веселятся люди!

— Да нѣтъ-съ, я не о томъ говорю.— Посмотрите-ка на право: въ ложѣ-то у Арабовъ — два дебардерчика-то-съ.... Что-съ, каковы-съ? Вотъ милашечки-то, канальство!... И вѣдь изобрѣли же этакой адской костюмъ?!... Обратите-ка вниманіе на ту, которая въ розовыхъ панталончикахъ.

Въ самомъ-дѣлѣ, двѣ гризетки очень стройныя и недурныя собой, съ масками въ рукахъ, окостюмированныя съ большимъ вкусомъ и кокетствомъ, вертелись и прыгали около неподвижныхъ Африканцевъ. Онѣ глядели ихъ бронзовыя щеки и черныя какъ смоль бороды своими маленькими, бѣлыми ручками, играли орденномъ почетнаго легіона, пришитымъ къ ихъ бѣлымъ бурнусамъ, смѣялись и что-то такое болтали; а Арабы только помавали имъ головами, поглядывая на нихъ, какъ тигры на добычу, глазами, налившимися кровію, и отъ поры до времени издавали какое-то странное мычанье.

Николай Александрычъ, пожиравшій взглядами этихъ женщинъ, самъ въ эту минуту походилъ болѣе на Араба, чѣмъ на Славянина.

— А знаете ли какая мысль мнѣ пришла въ голову? сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ.

— Напримѣръ?

— Что если бы подхватить этакого *дебардерчика*-съ?

— За чѣмъ же дѣло стало? Попробуйте счастья.

— Да нѣтъ-съ, я лучше, знаете, отворю дверь лоджи въ коридоръ: авось либо этакъ сама налетитъ.... а?... какъ вы думаете?

— Чтожь, прекрасно.

Не прошло пяти минутъ, какъ на его счастье, или несчастье, влетѣла въ нашу лоджу самая отчаянная изъ отчаянныхъ гризетокъ. Фурашка ея была на бекрень, волосы растрепаны, одной рукой она молодецки подпиралась въ бокъ, а другою схватила моего Николая Александрыча и два раза повернула его, присвистывая, — потомъ вскочила на стулъ и, махая платкомъ, закричала во все горло:

— Je suis Française! je suis libre! je gagne 30 sous par jour! Vive la France, vive Paris!



Всѣ обратились къ нашей ложѣ со смѣхомъ и аплодисманами. Я прижался въ уголь. Она продолжала кричать и прыгать на стулѣ. Когда она соскочила со стула, Николай Александрычъ шепнулъ ей на ухо (разумѣется на французскомъ діалектѣ).

— Не хотите ли чего-нибудь, оршадца или стаканчикъ сахарной воды?

— Fichtre! que c'est fade! отвѣчала гризетка: — Ça soulève le cœur, mon cher; je prendrai de l'absinthe.

Николай Александрычъ значительно мигнулъ мнѣ и торжественно улыбнувшись, вышелъ съ нею изъ ложи. Впрочемъ они скоро возвратились. Въ рукѣ у нея была огромнѣйшая палка sucre de pomme. Она выпила двѣ рюмки absinthe.

— Чтожъ, мы будемъ вмѣстѣ ужинать? спросилъ у нея Николай Александрычъ нѣсколько дрожащимъ голосомъ.

— Certainement, mon p'tit chat.... et même.... nous allons faire une pose ce soir....

— Съ этимъ словомъ, она приподняла свою маску и захохотала во все горло.

Николай Александрычъ, въ испугѣ, отскочилъ на два шага назадъ. — Это была мамзель Эмма.

— Ah! monstre, tu me fais des infidélités! закричала мамзель Эмма, продолжая хохотать. — Хорошо же! я тебѣ сейчасъ отомщу въ твоихъ глазахъ!

И мамзель Эмма подпрыгнула съ легкостію кошки къ старшему изъ арабскихъ шефовъ, обняла его сзади, опрокинула въ нашу ложу и начала цѣловать.

Африканецъ зарычалъ.

Николай Александрычъ не зналъ что дѣлать отъ замѣшательства. Онъ кусалъ губы, грозно поглядывалъ на мамзель Эмму и дергалъ ееза концы кушака, стягивавшаго ея талию.

Вдругъ кто-то три раза стукнулъ въ дверь нашей ложи. Мамзель Эмма высвободила Африканца изъ своихъ объятій.... Африканецъ, грозно сверкая очами, отряхивался.... Стукъ въ дверь раздался снова и сильнѣе прежняго. Николай Александрычъ отворилъ дверь....

Въ дверяхъ стоялъ городской сержантъ — безмолвный и неумолимый. Онъ манилъ къ себѣ рукой мамзель Эмму.

Мамзель Эмма взглянула на сержанта и также безмолвная, покорно и робко послѣдовала за нимъ съ палкой *sucre de roste* въ рукѣ.

Николай Александрычъ посмотрѣлъ на меня.

Я посмотрѣлъ на Николая Александрыча.

Николай Александрычъ присвиснулъ — и мы вышли изъ ложи. Было около 5 часовъ.

Послѣ этого мамзель Эмма уже не показывалась къ Николаю Александрычу, да и Николай Александрычъ не хотѣлъ объ ней слышать.... Я только раза два

встрѣтилъ ее на бульварѣ подъ руку съ М-г Нюасинте. Съ недѣлю Николай Александрычъ ходилъ очень мрачный, но потомъ совершенно утѣшился, отыскавъ гдѣ-то и какую-то мамзель Иду, которая, по его словамъ, обладала необыкновеннымъ умомъ, отличнымъ образованіемъ и сверхъ того различными очень замѣчательными талантами.

Маскарадъ оканчивался. Всѣ разошлись и разѣзжались по домамъ и ресторанамъ.

Передо мною по лѣстницѣ медленно спускался старичокъ въ очкахъ, весьма строгой наружности, со сложенными накрестъ руками, погруженный, вѣроятно, въ какое-нибудь важное размышленіе. Вдругъ сзади къ нему неслышно подкрался гуманный генералъ, ловко сорвалъ съ его лысой головы круглую шляпу и вмѣсто нея надѣлъ свою трехъугольную съ галунами и



съ огромнымъ перомъ....

Старичокъ вскрикнулъ, схватился за голову и въ бѣшенствѣ обратился назадъ; но уже генерала и слѣдовъ нѣтъ.... Передъ носомъ старичка лоретка съ ошипаннымъ букетомъ подъ руку съ полькеромъ.... Она напѣваетъ....

Je déjeune chez Dorsay ;

Je dine au Café Anglais ;

Je soupe chez Deffieux

Et je.....

а въ слѣдъ за нею молодой Англичанинъ, почтительно поддерживающій даму въ домино.... Онъ въ восторгѣ отъ своей bonne fortune.... и навѣрно отправляется съ нею ужинать въ Maison-d'Or, гдѣ также навѣрно должны увѣнчаться всѣ его надежды....



Я вышелъ на улицу. По бульварамъ разсыпались

толпы народа. У Café Anglais и у другихъ знаменитыхъ ресторановъ была давка.... Всѣ *отдѣльные кабинеты* были заняты. Тамъ разрѣшались интриги этой ночи — и нѣкоторыя, можетъ-статься, очень трагически.



Парижъ 16/28 февраля 1845.

V.

Часу въ шестомъ вечера, нынѣшнею осенью, я шелъ въ Казани по Вознесенской-Улицѣ.

На встрѣчу мнѣ — знакомое лицо.

Глядь, — да это мой Николай Александрычъ, только безъ бороды.

— Ба, ба, ба! Какими судьбами? Давно ли изъ-за границы, батюшка?

— Да вотъ ужъ скоро три мѣсяца-съ.

— Право? Гдѣ же вы хотите поселиться?

— У себя въ Кобелевкѣ-съ.... Милости прошу ко мнѣ-съ.

— Покорно васъ благодарю. Что жь, вы скучаете, чай, по Парижѣ?

— Первое время такъ скучалъ-съ, что, вѣрите ли, мѣста нигдѣ не находилъ-съ,— ну, а теперь ничего-съ, попривыкъ маленько.... Отыскалъ здѣсь новое мѣстечко для охоты-съ.... удивительнѣйшее! Чохова-Грива прозывается.... Знаете, въ-право отъ Мордохеевки по Камѣ-то....

— Знаю, знаю.... Ну, что жь вы намѣрены теперь съ собой дѣлать?

— Да ничего-съ.... Жениться хочу.

— Вотъ что!

Мы пожали другъ другу руки и разстались.

Казань 4 сентября 1845.

МАЖЕТЪ.

ТРАГЕДІЯ В. ШЕКСПИРА.

ПЕРЕВОДЪ

А. КРОНЕБЕРГА.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

=

ДУНКАНЪ, король шотландскій.
МАЛЬКОЛЬМЪ, {
ДОНАЛЬБАЙНЪ, { сыновья его.
МАКБЕТЪ, {
БАНКО, { его полководцы.
МАКДУФФЪ, }
ЛЕНОКСЪ, }
РОССЕ, } шотландскіе вельможи.
МЕНТЕТЪ, }
АНГУСЪ, }
КАТНЕССЪ, }
ФЛИНСЪ, сынъ Банко.
СИВАРДЪ, графъ норсомберлендскій, англійскій полководецъ.
МОЛОДОЙ СИВАРДЪ, сынъ его.
СЕЙТОНЪ, офицеръ изъ свиты Макбета.
Сынъ Макдуффа.
Англійскій докторъ. Шотландскій докторъ.
Солдаты. Дворникъ. Старикъ.
ЛЭДИ МАКБЕТЪ.
ЛЭДИ МАКДУФФЪ.
Придворная дама лэди Макбетъ.
ГЕКАТА и три вѣдьмы.
Лорды, вельможи, офицеры, солдаты, убійцы, свита и вѣстники.
Духъ Банко и другія явленія.

Дѣйствіе — въ концѣ четвертаго акта въ Англии; остальное — въ Шотландіи.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

=

СЦЕНА I.

Открытое мѣсто.

Громъ и молнія. Три вѣдьмы.

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Когда сойдемся мы опять?

Въ бурю, въ дождикъ или въ градъ?

ВТОРАЯ ВѢДЬМА.

Когда кровавый стихнетъ бой.

ТРЕТЬЯ ВѢДЬМА.

Передъ вечернею порой.

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Гдѣ же мѣсто?

ВТОРАЯ ВѢДЬМА.

Степь вонъ эта.

ТРЕТЬЯ ВѢДЬМА.

Мы встрѣтимъ тамъ.....

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Кого?

ВТОРАЯ ВѢДЬМА.

Макбета.

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Лѣшій крикнулъ!

всѣ.

Котъ мякнулъ !
Пора! пора!
Гроза гремитъ
Безъ черныхъ тучъ ,
На небесахъ
Играетъ лучъ. —
Сквозь паръ и дымъ
Летимъ , летимъ !

(Исчезаютъ).

СЦЕНА II.

Поле близъ Фореса.

Шумъ битвы вдали. Входятъ король Дунканъ , Малькольмъ , Дональд-байнъ , Ленокъ и другіе. Они встрѣчаютъ раненаго солдата.

ДУНКАНЪ.

Кто этотъ раненный ? Онъ прямо съ поля
И вѣрно можетъ намъ сказать , какъ идутъ
Дѣла мятежниковъ.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Лихой солдатъ !

Онъ смѣло выхватилъ меня изъ плѣна.
Здорово, молодецъ ! Что , какъ дерутся ?
Ты только-что оттуда , — разскажи.

СОЛДАТЪ.

Богъ вѣсть , чѣмъ кончится , а бьются жарко.
Устали мы , и , словно два пловца ,
Схватились , плавая въ крови , съ врагами.
Свирѣпый Макдонвальдъ , — кому и быть
Измѣнникомъ , какъ не ему : все злое
Все мерзкое срослось съ его душой , —
Свирѣпый Макдонвальдъ одушевился :
Къ нему на помощь подоспѣли Керны ,

Онъ силы свѣжія повелъ на бой
И счастье встрѣтило его улыбкой.

Да все не помогло! Нашъ бравый Макбетъ
(Не попусту слыветъ онъ молодцомъ!)

Съ презрѣньемъ глянулъ на врага; мгновенно
Отъ свѣжей крови задымился мечъ,

И онъ, какъ ловкій рудокопъ, прорылся
Къ лицу раба.

Сошлись, — и Макбетъ не почилъ отъ битвы,
Покамѣстъ черепа не раскрылъ врагу.

ДУНКАНЪ.

Мой храбрый Макбетъ! Мужъ, какихъ немного!

СОЛДАТЪ.

Но какъ случается: на небесахъ

За краснымъ солнышкомъ восходитъ буря, —

Такъ и теперь она взошла; изъ нѣдръ побѣды

Возникла новая борьба. Замѣьте!

Едва лишь мечъ, карающій неправду,

Заставилъ Керновъ обратиться въ бѣгство,

Какъ ринулся на насъ король норвежскій.

Пришлось опять схватиться съ свѣжей силой

И мечъ скрестить съ мечомъ еще блестящимъ.

ДУНКАНЪ

Что жъ? Банко и Макбетъ не испугались?

СОЛДАТЪ.

Да,

Какъ зайца можетъ испугаться левъ.

Сказать вамъ правду, — на ряды враговъ

Они ударили, какъ залпъ орудій,

Разорванныхъ на тысячу кусковъ.

Богъ вѣдаетъ, чего они хотѣли:

Омыться ли въ дымящейся крови,

Иль повторить всѣ ужасы Голгофы....

Но я усталъ; меня терзаютъ раны.

ДУНКАНЪ.

Онѣ идутъ къ тебѣ, какъ твой разсказъ.
Въ нихъ дышетъ честь. — Отвѣсть его къ врачу.

(Солдата уводятъ. Входитъ Россѣ.)

А это кто сюда идетъ?

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Танъ росскій.

ЛЕНОКСЪ

Какой огонь горитъ въ его глазахъ!
Такъ смотрятъ вѣстники чудесь.

РОССЕ.

Господь

Храни царя!

ДУНКАНЪ.

Откуда, храбрый танъ?

РОССЕ.

Изъ Файфа, государь, гдѣ такъ недавно
Пятнали небеса враговъ знамена
И дерзко навѣвали холодъ страха
На твой народъ. Съ безчисленной дружиной
Свенонъ, примкнувъ къ измѣннику Кавдору,
Вступилъ въ жестокий бой. И битва длилась,
Пока онъ Макбета не повстрѣчалъ.
Беллоны другъ, облитый крѣпкой сталью,
Схватился съ нимъ грудь съ грудью и рука съ рукой—
И гордый духъ смиренъ. Мы побѣдили.

ДУНКАНЪ.

Какое счастье!

РОССЕ.

Теперь онъ проситъ мира.
За позволеніе предать землѣ
Убитыхъ ратниковъ онъ заплатилъ
Двѣнадцать тысячъ долларъ въ Сен-Кольмѣ.

ДУНКАНЪ.

Впередъ Кавдоръ не будетъ измѣнять.
Иди и прикажи его казнить,
А Макбета поздравь кавдорскимъ таномъ.

РОССЕ.

Иду.

ДУНКАНЪ.

Чего лишился онъ,
Тѣмъ пусть обогатится Макбетъ.

СЦЕНА III.

С т е п ь .

Громъ. Три вѣдьмы схолятся.

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Гдѣ была, сестра?

ВТОРАЯ ВѢДЬМА.

Свиной душила.

ТРЕТЬЯ ВѢДЬМА.

Ну, а ты?

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Я по селу бродила;

Глядь: купчиха у воротъ

Щелкаетъ орѣхи.

Щелкъ да щелкъ, — и полонъ ротъ!

«Дай», сказала я старухѣ.

А проклятая въ отвѣтъ:

— Для тебя орѣховъ нѣтъ! —

Ну, постой же! Мы сочтемся,

Съ муженькомъ твоимъ сойдемся.

Онъ поплывъ съ товаромъ въ море, —

Не за злато жь, не купцамъ,

Онъ отдастъ его за горе

Жаднымъ, бѣшенымъ волнамъ.

Я лечу за нимъ на мщенье!
Сърой крысой обернусь
И за вѣтра дуновеньемъ
Въ рѣшетѣ за нимъ помчусь.

ВТОРАЯ ВѢДЬМА.

Слушай! Я тебѣ дарю
Вѣтеръ мой.

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Благодарю.

Остальные мнѣ подвластны.
Погоди жь, пловецъ несчастный!
Ты не можешь утонуть, —
Но ужасенъ будетъ путь!
Въ черной писти бурныхъ волнъ,
Ожиданья смерти полнъ,
Лютыхъ семью семь седмицъ
Не сомкнешь своихъ рѣсницъ!
Будешь чахнуть, не исчахнешь,
Будешь сохнуть, не изсохнешь,
День рожденья проклянешь,
Окаяннымъ пропадешь! —
Посмотрите, что нашла я.

ВТОРАЯ ВѢДЬМА.

Что тамъ?

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Палецъ моряка.

Плылъ морякъ издалека,
Видѣлъ домъ, дѣтей, жену,
Да у берега пошелъ ко дну.

(Слышны звуки барабана.)

ТРЕТЬЯ ВѢДЬМА.

Чу! барабанъ тамъ бьетъ!
Макбетъ, Макбетъ идетъ!

ВСѢ ТРИ пляшутъ и поютъ.

Мы, вѣщія сестры, урочной порою
Несемся надъ моремъ, летимъ надъ землею.
Сомкнувшись въ кружокъ очарованный вмѣстѣ
Мы трижды обходимъ зачатое мѣсто.
Кругъ первый для первой, второй для второй,
И третій для третьей. Довольно, постой!
Заключать готово, погибнетъ герой.

(Входятъ Макбетъ и Банко.)

МАКБЕТЪ.

Какъ страненъ день: гроза безъ тучъ,
На небесахъ играетъ лучъ.

БАНКО

До Фореса далеко ль? — Это кто,
Худыя, дикія, изсохшія какъ тѣнь?
Какъ не похожи на жильцовъ земли!
Однакожь здѣсь онѣ. — Живете ль вы?
И можно ль къ вамъ съ вопросомъ обратиться?

Конечно вамъ слова мои понятны:

Я вижу — каждая свой палецъ костяной

Къ губамъ, давно поблекшимъ, поднесла.

Вы женщины, но бороды густыя

Совсѣмъ другое говорятъ объ васъ.

МАКБЕТЪ.

Когда вы можете, скажите: кто вы?

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Да здравствуетъ Макбетъ, гламисскій тань!

ВТОРАЯ ВѢДЬМА.

Да здравствуетъ Макбетъ, кавдорскій тань!

ТРЕТЬЯ ВѢДЬМА.

Да здравствуетъ Макбетъ, король въ грядущемъ!

БАНКО.

Ты изумленъ? Ты будто испугался

Ихъ сладкихъ словъ? — Во имя чистой правды!

Вы призраки иль существа живыя?

Макбета вы почтили предсказаньемъ
Высокой почести; одушевили
Надеждою на царскую корону.
Внимая вамъ, онъ упоенъ восторгомъ,
Мнѣ ничего не говорите вы....
Когда вашъ взоръ въ посѣвъ времяъ проникнуть
И плодъ отъ смерти можетъ отличить,
То слово вѣщее скажите мнѣ.
Я вашей дружбы не ишу,
И не боюсь вражды.

Ура!

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Ура!

ВТОРАЯ ВѢДЬМА.

Ура!

ТРЕТЬЯ ВѢДЬМА.

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Ниже и выше Макбета.

ВТОРАЯ ВѢДЬМА.

Не столько счастливъ, но счастливѣе его.

ТРЕТЬЯ ВѢДЬМА.

Царей родоначальникъ, но не царь!
Да здравствуютъ Макбетъ и Банко!

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Да здравствуютъ Банко и Макбетъ!

МАКБЕТЪ.

Постойте, вѣстницы! Загадки прочь!
Скажите больше мнѣ! Я танъ гламисскій
Съ тѣхъ поръ какъ умеръ мой отецъ Синель.
Но танъ кавдорскій живъ и въ цвѣтѣ лѣтъ;
И быть царемъ, какъ быть кавдорскимъ таномъ
Не изъ числа возможныхъ дѣлъ. Откуда
Чудесное исходитъ ваше знанье?
Зачѣмъ вы насъ пророческимъ привѣтомъ

Здѣсь на степи глухой остановили?
Я заклинаю васъ, скажите!

(Вѣдьмы исчезаютъ.)

БАНКО.

Земля, какъ и вода, содержитъ газы,
И это были пузыри земли.
Куда онѣ исчезли?

МАКБЕТЪ.

Въ воздухъ. Вѣтеръ

Разнесъ ихъ мнимыя тѣла, какъ вздохъ.
Какъ жаль, что не остались!

БАНКО.

Полно такъ ли?

Не о мечтѣ ль мы говоримъ? Не обаялъ ли
Насъ запахъ травъ, лишающихъ разсудка?

МАКБЕТЪ.

Твоимъ потомкамъ суждена корона.

БАНКО.

Ты будешь самъ король.

МАКБЕТЪ.

И танъ кавдорскій.

Не такъ ли?

БАНКО.

Слово въ слово. Это кто?

(Входятъ Россѣ и Августъ.)

РОССЕ Макбету.

Король обрадованъ счастливой вѣстью
Твоихъ побѣдъ; когда узналъ онъ, Макбетъ,
Что ты съ измѣнникомъ сразился лично,
Онъ и хвалить тебя не могъ: умолкнулъ,
Дивяся подвигамъ твоимъ. Вездѣ,
Куда въ тотъ день ни обращалъ онъ взоры,
Вездѣ тебя въ толпѣ враговъ встрѣчалъ онъ,
Вездѣ былъ ты, безтрепетный и смѣлый

Средь вызванныхъ тобой явленій смерти.
За вѣстью вѣсть какъ въ сказкѣ прилетала;
Что ни гонецъ, то новую побѣду
Слагалъ Макбетъ къ дункановымъ стопамъ.

АНГУСЪ.

Мы присланы отъ имени монарха
Благодарить и звать къ нему; награды
Мы для тебя не принесли.

РОССЕ.

А только

Въ залогъ другихъ, почетнѣйшихъ даровъ,
Онъ танство Кавдора тебѣ даетъ.
Будь счастливъ, танъ! Будь счастливъ въ новомъ санѣ!

БАНКО.

Какъ? Дьяволъ правду можетъ говорить?

МАКБЕТЪ.

Но танъ кавдорскій живъ; такъ для чего же
Чужой одеждой украшать меня?

АНГУСЪ.

Онъ живъ еще, но онъ уже не танъ.
Остатокъ дней подавленъ приговоромъ,
И онъ умирать. Что сдѣлалъ онъ, не знаю:
Мятежнымъ тайною ли подаль помощь,
Иль явно сталъ въ свеноповыхъ рядахъ;
Но онъ въ измѣнѣ уличенъ, и палъ.

МАКБЕТЪ.

Гламисъ и Кавдоръ, — впереди престоль. —
Благодарю за трудъ. — Что скажешь, Банко?
Не вправду ль царствовать твоимъ сынамъ?
Мнѣ новый санъ, а имъ престоль обѣщанъ.

БАНКО.

Да, ввѣрся имъ, — онѣ тебя заставятъ
Всѣ танства въ мѣрѣ позабыть
И руку протянуть къ коронѣ. Странно!
Какъ часто, чтобъ вѣрнѣе погубить,

Созданья мрака говорятъ намъ правду!
Манятъ къ себѣ невинною бездѣлкой,
А тамъ, — обманываютъ и влекутъ
Въ пучину ужасающихъ послѣдствій.

(Россе и Августъ)

Друзья, на пару словъ.

(отходить въ сторону)

МАКБЕТЬ.

Два изрѣченія сбылись: прологъ разыгранъ,
И драма царская растетъ. —
Благодарю васъ, господа. —
Ихъ сверхъ-естественный и темный вызовъ
Ни золь, ни добръ; когда онъ зло, къ чему бы
Давать залогъ вѣрнѣйшаго успѣха,
Начавши истиной? Я танъ кавдорскій,
Когда онъ добръ, зачѣмъ я такъ невольно
Прильнулъ къ мечтѣ, ужасной искушеньемъ...
Гляжу — и чувствую, какъ бьется сердце
И волосъ всталъ, — что прежде не бывало.
Но ужасъ истинный не такъ великъ,
Какъ ложный страхъ, дитя воображенья.
Убийство — мысль; оно еще въ умѣ:
Но эта мысль встревожила всю душу!
Вся сила органовъ подавлена,
Исчезла истина, и мѣръ видѣній
Меня объялъ.

БАНКО.

Смотри, какимъ восторгомъ
Онъ упоенъ!

МАКБЕТЬ.

Когда судьбѣ угодно

Меня вѣнчать, такъ пусть меня вѣнчаетъ;

Я ей не помогу.

БАНКО.

Что намъ одежда,

То почестъ Макбету: пока нова,

Все какъ-то въ ней неловко.

МАКБЕТЬ.

Будь что будеть!

Ненастный день — промчится какъ и ясный.

БАНКО.

Мы ждемъ тебя, мой благородный тань.

МАКБЕТЬ.

Ахъ, виновать.... забылся.... вспоминаль

Кой-что забытое.

(Россе и Аугуеу, указывая на сердце.)

Вашъ трудъ записанъ

Сюда, друзья; а въ этой книгѣ Макбетъ

Привыкъ читать. — Пойдемте къ королю. —

(Банко.)

Что было, не забудь. Въ другое время,

Когда пройдетъ вліяніе минуты,

Откроемъ мысль другъ другу откровенно.

БАНКО.

Я очень радъ.

МАКБЕТЬ.

Теперь довольно. — Въ путь!

(Уходятъ.)

СЦЕНА IV.

ФОРЕСЪ. Комната во дворцѣ.

Звуки трубъ. Входятъ Дунканъ, Малькольмъ, Дональбайнъ, Леноксъ
и придворные.

ДУНКАНЪ.

Казненъ ли Кавдоръ? Посланные здѣсь?

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Ихъ нѣтъ еще. Но былъ здѣсь очевидецъ

Кончины Кавдора; онъ говорилъ,

Что бывшій тань признался откровенно

Въ своей винѣ, молилъ васъ о прощеньи,

И глубоко покаялся въ грѣхѣхъ.
На поприщѣ его минувшей жизни
Всего прекраснѣй былъ конецъ. Онъ умеръ,
Какъ-будто смерть онъ изучилъ. Свой лучшій,
Дражайшій даръ онъ бросилъ какъ игрушку.

ДУНКАНЪ.

Въ чертахъ лица души не прочитаешь. —
Я довѣрялъ ему вполне.

(Входятъ Макбетъ, Банко, Росссе, и Ангусъ.)

Герой нашъ!

На мнѣ лежитъ тяжелый грѣхъ, о Макбетъ!
Неблагодаренъ я, — но ты далеко
Ушелъ впередъ, и соколинымъ крыльямъ
Моихъ награда — тебя ужь не настичь!
Будь подвигъ твой не такъ великъ, я могъ бы
Тебя за трудъ твой наградить. Теперь
Одно осталось мнѣ: сказать, что долгъ мой
Мнѣ никогда, ничѣмъ не уплатить.

МАКБЕТЪ.

Я выполнилъ мой долгъ, не больше.
Награда за него — онъ самъ. Мы — дѣти,
Вы — нашъ отецъ; съ сыновнею любовью
Намъ легокъ трудъ, и вамъ на честь и славу
Мы всѣ трудиться рождены.

ДУНКАНЪ.

Я насадилъ тебя, и позабочусь,
Чтобъ ты расцвѣлъ въ роскошной полноцѣ. —
И ты великъ, мой благородный Банко,
Въ твоихъ дѣлахъ! Я ихъ не позабуду.
Сюда, на грудь мою, въ мои объятія!

БАНКО.

О! если тамъ созрѣю я, то жатва ваша.

ДУНКАНЪ.

Восторгомъ переполнена душа,
И онъ готовъ сбѣжать слезою скорби. —

Сыны! родные! царедворцы! Знайте,
Что старшему изъ сыновей, Малькольму,
Мы завѣщаемъ нашъ престоль; отнынѣ
Онъ принцемъ комберлендскимъ нареченъ.
Но почести не одному; и мы
Всѣхъ вѣрныхъ слугъ наградами осыпемъ,
Какъ звѣздами осыпанъ сводъ небесъ. —
Отсюда въ Инвернесъ съ тобою, Макбетъ.

МАКБЕТЪ.

Нѣтъ, это трудъ; а трудъ сужденъ не вамъ.
Я самъ лечу, чтобъ радостно вѣстью:
Король нашъ гость! обрадовать жену.
И такъ простите.

ДУНКАНЪ.

Благородный Кавдоръ!

МАКБЕТЪ тихо.

Принцъ Комберлендъ! Вотъ камень на пути!
На немъ мнѣ пасть, иль все за нимъ найти. —
Померкните, свѣтила въ небесахъ!
Глазамъ не вынести, — взоръ ужаснется, —
Такъ пусть ударъ мой ниспадетъ въ потьмахъ;
Рука вѣрна, она не промахнется.

(Уходитъ.)

ДУНКАНЪ.

Ты, Банко, правъ: онъ истинно великъ.
Хвалить его — прямое наслажденье.
Скорѣй же въ путь! За нимъ! Съ какой любовью
Домой спѣшитъ онъ, чтобы насъ принять!
Ему подобнаго нѣтъ въ цѣломъ мірѣ.

(Уходитъ.)

СЦЕНА V.

ИНВЕРНЕСЬ. КОМНАТА ВЪ ЗАМКѢ МАКБЕТА.

Входитъ лэди Макбетъ, читая письмо.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ, читаетъ.

«Онѣ встрѣтились со мною въ день побѣды, и я убѣжденъ фактомъ, что знаніе ихъ сверхъестественно. Когда я сгаралъ желаніемъ распросить ихъ подробности, — онѣ превратились въ воздухъ и исчезли. Я не успѣлъ еще опомниться отъ удивленія, какъ передо мною стояли уже посланные отъ короля и поздравили меня таномъ кавдорскимъ, — санъ, которымъ только что привѣтствовали меня вѣщія сестры, намекнувъ на будущее восклицаніемъ: «да здравствуетъ Макбетъ, король въ грядущемъ!» Я счелъ за нужное увѣдомить тебя объ этомъ, милая соучастница моего величія. Я не хотѣлъ лишить тебя твоей доли радости, умолчавъ о прошедшемъ. Запечатлѣй его въ сердцѣ, и прощай.» —

Гламись и Кавдоръ! — Королемъ ты будешь. —
Но я боюсь: въ твоей душѣ такъ много
Млека любви, что ты не избереши
Пути кратчайшаго. Въ тебѣ, я знаю,
И гордость есть и жажда громкой славы,
Да нѣтъ сопутника ихъ — зла. Престола
Путемъ прямымъ желалъ бы ты достигнуть,
Игрою чистою сорвать весь банкъ....
Нельзя, Гламись! звучать неотразимо
Слова: «убей, или откажись отъ власти!»
А ты смущенъ, и страхомъ и желаньемъ.
Спѣши сю. Въ твой слухъ пролью я смѣлость
Моей душѣ. бодрыми словами
Заставлю въ златой вѣнецъ. Судьба
И сонмъ да въ тебя уже вѣнчали.

(Входитъ слуга.)

Что новаго

СЛУГА.

Король сегодня на ночь

Приѣдетъ къ вамъ.

ЛЭДИ МАКБЕТЬ.

Король? въ умѣ ли ты?

Макбетъ при немъ, и вѣрно поспѣшилъ бы
Прислать гонца; вѣдь надобно приготовить
Ему приѣмъ.

СЛУГА.

Самъ танъ уже въ дорогѣ.

Гонецъ его опередилъ; усталый,
Едва дыша, онъ сообщилъ намъ новость.

ЛЭДИ МАКБЕТЬ.

Пусть отдохнетъ. Принять его получше.

Онъ вѣсть великую привезъ.

(Слуга уходитъ. Слышно карканье ворона.)

И воронъ

Охрипъ, закаркавъ на приѣздъ Дункана.

Сюда жъ, сюда, о демоны убійства!

Въ мой женскій духъ вселите лютость звѣря!

Сгустите кровь мою, загородите

Путь сожалѣнiю къ моей груди!

И будетъ замыселъ мой твердъ; — природа

Не пошатнетъ его, и духи мира

Моей руки не отклонятъ. Сюда,

Убійства ангелы, гдѣ бъ ни витали

Вы въ этотъ часъ, на гибель естеству!

Сюда, къ грудямъ моимъ! Смѣните желчью

Ихъ молоко! Скорѣй, глухая ночь!

Спустись на мiръ, и въ мрачномъ дымѣ ада

Укрой мой пожъ! Пусть онъ не видитъ раны,

И небо не пронзитъ покрова тьмы

Словами: «стой! остановись!»

(Входитъ Макбетъ.)

Великiй танъ гламисскiй и кавдорскiй!

Король, судьбой отмѣченный на царство!

Твое письмо меня уже умчало

Изъ этихъ жалкихъ, настоящихъ дней.

Всю будущность я сознаю теперь.

МАКБЕТЪ.

Душа моя! Дунканъ пріѣдетъ къ ночи.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

А ѣдетъ онъ когда отсюда?

МАКБЕТЪ.

Завтра, —

Такъ онъ предполагалъ.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

О, никогда

Такого завтра не увидѣть солнцу!

Въ твоемъ лицѣ, мой милый танъ, какъ въ книгѣ,

Прочтутъ недоброе. Смотри свѣтлѣй!

Обманемъ свѣтъ, надѣвъ его личину:

Радущій взглядъ, да ласковыя рѣчи,

Да видъ цвѣтка, — съ змѣей подъ нимъ сокрытой.

Мы гостя угостимъ. Я позабочусь,

Чтобъ даромъ ночь не потерять. Она

Всѣмъ нашимъ будущимъ ночамъ и днямъ

Доставитъ власть, доставитъ славу намъ.

МАКБЕТЪ.

Поговоримъ объ этомъ послѣ.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Да.

Но ободрись, смотри повеселѣе —

Кто измѣняется въ лицѣ, тотъ трусь.

За остальное я берусь.

(Уходятъ.)

СЦЕНА VI.

ПЕРЕДЪ ЗАМКОМЪ МАКБЕТА.

Музыка Вдали слуги Макбета. Входятъ Дунканъ, Малькольмъ, Дональбайнъ, Банко, Леноксъ, Макдуффъ, Россъ, Ангусъ и свита.

ДУНКАНЪ.

Прекрасный видъ! Какъ чистъ и легокъ воздухъ!
Какъ нѣжно онъ ласкаетъ наши чувства!

БАНКО.

А вотъ и ласточка, весенній гость;
Ея присутствіе намъ говоритъ,
Что мирно здѣсь дыханье неба вѣетъ.
Взгляните: нѣтъ ни уголка, ни фриза,
Гдѣбъ не висѣлъ птенцовъ воздушный домикъ.
А гдѣ они: замѣтилъ я, гнѣздяся
Съ такой охотою, тамъ воздухъ чистъ.

(Входитъ лэди Макбетъ.)

ДУНКАНЪ.

Моя хозяйюшка! Я вамъ такъ много
Принесъ заботъ! Но много и любви.
Примите жъ трудъ, любовью освященный.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Что значить трудъ нашъ, государь? Ничто!
И будь онъ во сто разъ важнѣй, — ничто
Въ сравненіи съ щедротами монарха.
Вы царской милостью взыскали насъ,
И за нее мы ваши богомольцы.

ДУНКАНЪ.

Гдѣ танъ кавдорскій? Мы за нимъ гнались,
Но онъ не ѣдетъ, а летитъ. Умчался
Гонимый любящей душой, какъ конь
Гонимый шпорою. Мы ваши гости
На эту ночь, прекрасная хозяйка.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Мы ваши, государь; своимъ добромъ
Владѣемъ мы не больше какъ займомъ;
Угодно вамъ потребовать разчета, —
И мы обязаны отдать вамъ все.

ДУНКАНЪ.

Нѣтъ, только руку, и пойдемте къ тану.
Въ моей любви онъ можетъ быть увѣренъ.
Позвольте.

Уходятъ.

СЦЕНА VII.

Комната въ замкѣ Макбета.

Гобои и факелы. Кравчій и нѣсколько слугъ проходятъ черезъ сцену съ кушаньями. Потомъ входитъ Макбетъ.

МАКБЕТЪ.

Ударъ.... одинъ ударъ.... будь въ немъ все дѣло,
Я не замедлилъ бы. Умчи съ собою
Онъ всѣ слѣды, подай залогъ успѣха,
Будь онъ одинъ начало и конецъ, —
Хоть только здѣсь, на отмели времянь, —
За вѣчность мнѣ перелетѣть не трудно. —
Но судъ свершается надъ нами здѣсь:
Едва урокъ кровавый данъ, обратно
Онъ на главу учителя падеть.
Есть судъ и здѣсь: рукою безпристрастной
Подноситъ намъ онъ чашу съ нашимъ ядомъ. —
Король Дунканъ вдвойнѣ здѣсь безопасенъ:
Родной и подданный — я не могу
Поднять руки на короля; хозяинъ —
Убийца долженъ затворить я дверь,
Не самъ своимъ пожемъ зарѣзать гостя.
Дунканъ царилъ такъ доблестно и кротко!

Высокій санъ такъ чисто сохранялъ!
Его убить? — О! страшень будетъ вопль,
Прекрасныхъ доблестей его души!
За черный грѣхъ онъ прогремитъ проклятье
Какъ трубы ангеловъ! Въ сердцахъ пробудитъ
Онъ состраданье, какъ грудной младенецъ,
Несомый бурей! Какъ херувимъ
Промчится вихремъ надъ землей! Убийство
Возстанетъ призракомъ передъ людьми
И выжжетъ слезы изъ очей народа! —
И что влечетъ меня? — Желанье славы; —
Какъ ярый конь, поднявшись на дыбы,
Оно обрушится — и я задавленъ.

(Входитъ лэди Макбетъ.)

Что новаго?

ЛЭДИ МАКБЕТЬ.

Онъ всталъ изъ-за стола.

Зачѣмъ ты вышелъ вонъ?

МАКБЕТЬ.

Онъ спрашивалъ меня?

ЛЭДИ МАКБЕТЬ.

А ты не знаешь?

МАКБЕТЬ.

Оставимъ этотъ планъ. — Онъ такъ недавно

Меня наградами почтилъ; въ народѣ

Я мнѣнье золотое заслужилъ;

Дай сохранить его прекрасный блескъ, —

Его не должно помрачать такъ скоро.

ЛЭДИ МАКБЕТЬ.

Такъ вѣрно пылъ, въ который ты рядился,

Былъ жаръ вина? Съ тѣхъ поръ тебѣ вздремнулось?

И вотъ, со сна, мутитъ тебѣ въ глазахъ

Отъ смѣлыхъ думъ? — Теперь я оцѣнила

Твою любовь. — Ты на желанья смѣлъ,

На дѣло нѣтъ? И ты бы согласился

Носить вѣнецъ, — красу и славу жизни,
И труса сознать въ себѣ? Сказать:
Хочу, и вслѣдъ за тѣмъ: не смѣю?

МАКБЕТЪ.

Замолчи!

На все, что можетъ человѣкъ, готовъ я;
Кто смѣетъ больше, тотъ не человѣкъ, а звѣрь.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Какой же звѣрь мнѣ умыселъ довѣрилъ?
Задумалъ ты какъ человѣкъ; исполни,
И будешь выше ты; не звѣрь, а мужъ.
Удобный часъ и ловкое мѣстечко, —
Ихъ не было, ты ихъ создать хотѣлъ.
Теперь они столкнулись здѣсь случайно,
И ты ничто. Кормила я и знаю
Какъ дорого для матери дитя;
Но я безъ жалости отторгла бѣ грудь
Отъ иѣжныхъ, улыбающихся губокъ,
И черепъ бы малютки раздробила,
Когда бѣ клялась, какъ клялся ты!

МАКБЕТЪ.

Но если не удастся?...

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Не удастся!

Рѣшишь — и намъ удастся все. Дунканъ
Уснетъ, усталый отъ пути дневнаго;
Тогда пажей его я угошу
Такимъ винцомъ, что память, стражъ разсудка,
Какъ дымъ въ трубу сквозь черепъ улетитъ.
Когдажъ виномъ пропитанное тѣло
Погрязнетъ въ снѣ, чего надъ беззащитнымъ
Не сдѣлать намъ? Чего не своротить
На пьяныхъ слугъ? И плата за труды
Придется имъ.

МАКБЕТЪ.

Раждай мнѣ мальчиговъ однихъ!
Огонь, пылающій въ твоей крови,
Однихъ мужей производить способенъ!
Что, если сиящихъ мы обрыжемъ кровью,
И ихъ кинжалами его пронзимъ?
Не ясно ль будетъ, что работа ихъ?

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

И ктожь дерзнетъ подозрѣвать другое?
Намъ стоитъ только не жалѣть возгласовъ
И воплей горести.

МАКБЕТЪ.

Такъ рѣшено!

Вся сила органовъ слилась въ одно.
Пойдемъ. Ужасный часъ не далеко;
Но все равно, мы будемъ улыбаться.

(Уходятъ.)

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

СЦЕНА I.

ИНВЕРНЕСЬ. ДВОРЬ ВНУТРИ ЗАМКА.

Ночь. Входятъ Банко и Флинсъ; передъ ними слуга съ факеломъ.

БАНКО.

Который часъ?

ФЛИНСЪ.

Луна уже зашла;

Я не слыхалъ, который часъ пробило.

БАНКО.

Она заходитъ въ полночь.

ФЛИНСЪ.

Нѣтъ, поздне.

БАНКО

Возьми-ка мечь мой, Флинсъ. На небесахъ
Ведутъ расчетъ: всѣ свѣчи погасили.
Меня гнететъ тяжелая дремота,
Но я бы не желалъ уснуть. — О, Боже!
Избавь меня отъ грѣшныхъ помышлений,
Невольныхъ замысловъ во время сна! —
Подай мнѣ мечь.

(Входятъ Макбетъ и слуга съ факеломъ.)

Кто это?

МАКБЕТЬ.

Другъ.

БАНКО.

Какъ! Ты еще не спишь? Король ужь легъ.

Онъ былъ сегодня чрезвычайно веселъ;

Всѣхъ слугъ твоихъ онъ одарилъ по-царски;

А вотъ алмазь добрейшей изъ хозяекъ,

Твоей женѣ. Какъ былъ онъ всѣмъ доволенъ!

Какой онъ свѣтлый прожилъ день! —

МАКБЕТЬ.

Мы угощали чѣмъ пришлось; во многомъ

Былъ недостатокъ; насъ не предварили.

БАНКО.

Все было хорошо. — Прошедшей ночью

Во снѣ я видѣлъ трехъ сестеръ; тебѣ

Онѣ отчасти предсказали правду.

МАКБЕТЬ.

А я объ нихъ и позабылъ; однакожь,

Въ свободный часъ, когда тебѣ угодно,

Поговоримъ объ этомъ.

БАНКО.

Я готовъ.

МАКБЕТЬ.

Настанетъ время, — согласишься со мной, —

Оно тебѣ доставитъ много чести.

БАНКО

Да, лишь бы изъ-за чести не нажить безчестья;
А то, изволь, на все, что не противно
Ни совѣсти, ни долгу, я согласенъ.

МАКБЕТЪ.

И такъ, покойной ночи.

БАНКО.

До свиданья.

(Уходитъ съ Флинсомъ и слугой.)

МАКБЕТЪ своему слугѣ.

Скажи женѣ моей, чтобъ позвонила

Какъ приготовить мнѣ питье.

Ты спать иди.

(Слуга уходитъ.)

Га! это что? кинжалъ?

И рукояткою ко мнѣ? — Возьму. —

Ты не даешься, и не исчезаешь; —

Такъ ты неуловимъ? такъ ты доступенъ

Однимъ глазамъ, — видѣнье роковое?

Кинжалъ — мечта, дитя воображенья,

Горячки, жгущей угнетенный мозгъ?

Но нѣтъ! ты здѣсь. Твой образъ осязаемъ

Не меньше этого въ моей рукѣ.

Ты въ путь задуманный меня ведешь:

Такой клинокъ хотѣлъ употребить я. —

Мой глазъ безумствуетъ, иль онъ острѣе

Всѣхъ прочихъ чувствъ; ты здѣсь еще, —

Вотъ капли крови на твоємъ клинкѣ;

Ихъ прежде не было. — Нѣтъ! это призракъ!

Кровавый замыселъ морочить зрѣнье. —

Полмира спитъ теперь, — но сонъ тревоженъ,

Его видѣнья посѣтили злыя;

Теперь слетаются на праздникъ вѣдьмы;

Убийца всталъ, услыша волчій вой, —

И къ жертвѣ крадется какъ привидѣнье. —

Ты, твердо—прочная земля, не слышь,
Куда пойдутъ мои шаги! Иначе
И мертвый камень, завопивъ, прогонитъ
Безмолвный ужасъ темноты; а онъ
Мнѣ добрый другъ теперь. — Я угрожаю,
А онъ живетъ. Съ словами исчезаетъ
Весь страсти пылъ, и дѣло умираетъ.

(Слышетъ звонокъ.)

Иду, и кончено. Звонокъ зоветъ.
Не слышь его, Дунканъ. То звонъ зловѣщій!
Онъ въ небо или въ адъ тебя зоветъ!

(Уходитъ.)

СЦЕНА II.

Тамъ же. Комната въ замкѣ.

Входитъ лэди Макбетъ.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Вино лишило ихъ ума и силы,
А мнѣ дало и смѣлость и огонь. —
Тсъ! Чу!...
Сова то крикнула, зловѣщій сторожъ;
Какъ страшно воетъ онъ: покойной ночи!
Онъ тамъ — за дѣломъ. Дверь раскрыта. Слышно
Какъ стражи пьяные храпятъ. Теперь
И долгъ и честь имъ ни по чемъ. Удачно
Я угостила ихъ виномъ. Надъ ними
И смерть и жизнь... пусть спорятъ за добычу!

МАКБЕТЪ, за сценой.

Кто здѣсь? — А? кто?

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

О! ежели они проснулись!

А онъ живетъ еще! — Для насъ опасна
Не смерть, а умыселъ на жизнь. — Чу! слышь! —

Я подготовила кинжалы спящихъ,
Онъ ихъ не можетъ не найти. — Не будь онъ
Во снѣ такъ рѣзко на отца похожъ,
Я поразила бы его сама.

Ну? что?

(входитъ Макбетъ.)

МАКБЕТЪ.

Окончено. — Не слышала ты шума?

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Сова провыла да пицаль сверчокъ.

Ты что-то говорилъ?

МАКБЕТЪ.

Когда?

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Теперь.

МАКБЕТЪ

Когда я шелъ назадъ?

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Да.

МАКБЕТЪ.

Тише. Слышь!

Кто спить въ той комнатѣ?

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Тамъ Дональдбайнъ.

МАКБЕТЪ, оглядывая свои руки.

Печальный видъ!

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

И, что за вздоръ! Какой печальный видъ!

МАКБЕТЪ.

Одинъ захохоталъ во снѣ; другой

Вскричалъ: *убійца!* — и они проснулись. —

Я притаился и внималъ; они,

Молитву сотворивъ, опять уснули.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Тамъ двое вмѣстѣ снятъ.

МАКБЕТЬ.

Одинъ сказалъ :

Помилуй, Господи! другой: аминь!

Какъ будто видѣли, какъ притаился

Во тмѣ палачъ. А я, я былъ не въ силахъ

Сказать : «аминь!» когда они молились :

«Помилуй Господи!»

ЛЭДИ МАКБЕТЬ

Къ чему такъ мрачно ?

МАКБЕТЬ.

Зачѣмъ не могъ я произнестъ : «аминь?»

Я такъ нуждался въ милосерды Бога ,

Аминь же замеръ на моихъ губахъ.

ЛЭДИ МАКБЕТЬ.

На это нечего смотрѣть; пожалуй

Не долго и съ ума сойти.

МАКБЕТЬ.

Я слышалъ,

Раздался страшный вопль : *не стите больше!*

Макбетъ заръзалъ сонъ, невинный сонъ!

Заръзалъ искупителя заботъ ,

Цѣлебный бальзамъ для больной души ,

Великаго союзника природы ,

Хозяина на жизненномъ пиру !

ЛЭДИ МАКБЕТЬ.

Что хочешь ты сказать ?

МАКБЕТЬ.

По сводамъ замка

Неумолкаемый носился вопль :

Гламисъ заръзалъ сонъ ; за то отнынѣ

Не будетъ спать его убійца Кавдоръ ,

Не будетъ спать его убійца Макбетъ !

ЛЭДИ МАКБЕТЬ.

Гмъ! Кто же такъ кричалъ? Ты уничтожишь

Всю крѣпость духа, благородный таяъ,

Такъ лихорадочно глядя на вещи.
Ступай, возьми воды и смой скорѣе
Кровавую улику съ рукъ. —
За чѣмъ кинжалы ты принесъ сюда?
Ихъ мѣсто тамъ: снеси же ихъ назадъ
И спящихъ сторожей запачкай кровью.

МАКБЕТЬ.

Я не пойду туда опять; мнѣ страшно,
Когда подумаю, что сдѣлалъ я.
Иди сама, — я не могу.

ЛЭДИ МАКБЕТЬ.

Бездушный!

Подай кинжалы. Спящій и мертвецъ
Не больше какъ картины; только дѣти
Боятся нарисованнаго чорта. —
Я имъ обрызжу и лицо и руки,
Чтобъ всѣмъ казалось, что работа ихъ.

(Уходитъ. Сваружи стучать.)

МАКБЕТЬ.

Откуда этотъ стукъ? О, что со мною,
Что каждый шумъ меня пугаетъ? Га!
Какія руки! о! онѣ готовы!
Мнѣ вырвать зрѣніе! А эту кровь
Не смоетъ съ рукъ весь океанъ Нептуна?
Нѣтъ! нѣтъ! скорѣй отъ этихъ рукъ
Въ моряхъ безчисленныхъ заплещутъ волны
Какъ кровь багровыя!

ЛЭДИ МАКБЕТЬ, возвращаясь.

Моя рука

Красна какъ и твоя, но я стыжусь,
Что сердце у меня такъ бѣло.

(Стучать.)

Слышь!

Стучать! Пойдемъ скорѣе въ нашу спальню.

Стаканъ воды — и дѣло наше смыто.

И что жь тутъ важнаго? Ты потерялъ

Всю твердость духа.

(Стучать.)

Слышь! опять стучать!

Ступай, раздѣнься, а не то замѣтятъ,

Что мы не спали. — Перестань такъ жалко

Теряться въ мысляхъ.

МАКБЕТЪ.

Сознавать убійство —

Мнѣ легче бы не сознавать себя!

(Опять стучать.)

О, если бы ты могъ Дункана пробудить!

(Уходить.)

СЦЕНА III.

Тамъ же.

Входитъ дворникъ. Въ ворота стучать.

ДВОРНИКЪ.

Вотъ что во истинну можно назвать стукѣмъ! Будь дворникъ въ аду, было бы кому отворять. *(Стучать)* Тукъ! тукъ! тукъ! Кто тамъ, во имя Вельзевула? — А! почтенный фермеръ! Ждалъ, ждалъ урожая, да и повѣсился. Милости просимъ! платковъ съ вами довольно? Тутъ придется попотѣть. *(Стучать)* Тукъ! тукъ! Кто тамъ, во имя другаго чорта? Смотри, пожалуй! Свидѣтель противъ кого и за кого угодно; свидѣтель во имя Господне, — а въ небеса не пустили? *(Стучать)* Тукъ! тукъ! Кто тамъ? Портной Англичанинъ имѣеть честь быть впущеннымъ сюда за умѣнье украсть ло-скутъ матеріи отъ французскихъ штановъ въ обтяжку. Пожалуйте! Тутъ и утюгъ вашъ можно изжарить. *(Стучать)* Опять? вотъ не дадутъ покоя! Кто тамъ? — Однако для присподисей тутъ, чортъ возьми, холодно.

Не хочу быть больше адскимъ дворникомъ. А думаль-
было впустить всякаго званія по штучкѣ; вѣдь сами же
бѣгутъ по гладкой дорожкѣ на потѣшный огонь.
(Стучатъ) Сейчасъ! сейчасъ! (Отворяетъ ворота. Вхо-
дятъ Макдуффъ и Леноксъ.) — Пожалуйте на водку.

МАКДУФФЪ.

Должно быть ты позднеенько легъ, пріятель,
Что не добудисься тебя.

ДВОРНИКЪ.

Гуляли до вторыхъ пѣтуховъ; ну; а напьешься,
такъ ужъ извѣстно что бываетъ.

МАКДУФФЪ.

Что?

ДВОРНИКЪ.

Покраснѣетъ носъ, уснешь и — — — Оно и еще
кое чего захочется, да ужь-зубъ не йметъ.

МАКДУФФЪ.

Кажется, ты не любишь водки?

ДВОРНИКЪ.

Терпѣть не могу, и потому истребляю ее.

МАКДУФФЪ.

Всталъ твой господинъ?

Стукъ разбудилъ его; вотъ самъ онъ здѣсь.

(Входить Макбетъ.)

ЛЕНОКСЪ.

Здорово, танъ!

МАКБЕТЪ.

Друзья, здорово.

МАКДУФФЪ.

Что,

Его величество проснулся?

МАКБЕТЪ.

Нѣтъ.

МАКДУФФЪ.

Онъ приказалъ придти къ нему пораньше;

Я чуть не опоздалъ.

МАКБЕТЪ.

Я провожу...

МАКДУФФЪ.

Я знаю, этотъ трудъ тебѣ приятенъ,
Но все жь онъ трудъ.

МАКБЕТЪ.

Приятная забота

Для насъ сладка. Вотъ дверь.

МАКДУФФЪ.

Я позову.

Миѣ такъ приказано.

(Макдуффъ уходитъ.)

ЛЕНОКСЪ.

Король сегодня

Оставитъ васъ?

МАКБЕТЪ.

Да.... то-есть, онъ хотѣлъ.

ЛЕНОКСЪ.

Ночь бурная была; надъ нашей спальней
Снесло трубу; по воздуху носились
Унылый вопль и смертное хрипѣнье;
Ужасный голосъ предрекалъ войну,
Пожаръ и смуты. Филинъ, вѣрный спутникъ
Временъ злосчастныхъ, прокричалъ всю ночь.
Земля, какъ говорятъ, дрожала.

МАКБЕТЪ.

Да,

Ночь бурная была.

ЛЕНОКСЪ.

Я не припомню

Подобной ей.

(Макдуффъ возвращается.)

МАКДУФФЪ.

О ужасъ! ужасъ! Сердцу не постичь,
Словамъ не выразить!

МАКБЕТЪ и ЛЕНОКСЪ.

Что? что такое?

МАКДУФФЪ.

Злодѣйства образецъ! Убійца—татъ
Вломился въ храмъ и изъ священныхъ сводовъ
Похитилъ жизнь.

МАКБЕТЪ.

Что говоришь ты? жизнь?

ЛЕНОКСЪ.

Ты разумѣешь короля?

МАКДУФФЪ.

Идите! —

Тамъ Горго новая васъ ослѣпитъ.

Нѣтъ, я не выскажу; взгляните сами —

У васъ отнимется языкъ. — Вставайте!

(Макбетъ и Леноксъ уходятъ.)

Ударьте въ колоколъ! — Измѣна! — Банко!

Малькольмъ и Дональбайнъ! проснитесь!

Покиньте сонъ, — къ чему эмблема смерти?

Здѣсь на-лицо она сама. Вставайте!

Вотъ образъ страшнаго суда! Малькольмъ!

Сюда! какъ тѣнь, возникшая изъ гроба,

Приди, взгляни на ужасъ гробовой!

(Бьютъ въ вавать. Входятъ лэди Макбетъ.)

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Что за тревога? Что за звонъ зловѣщій

Всѣхъ спящихъ въ замкѣ разбудилъ? скажите.

МАКДУФФЪ.

Не вамъ внимать моимъ словамъ, о лэди!

Для слуха женскаго ихъ звуки — смерть.

(Входитъ Банко.)

О Банко! Банко! нашъ король убитъ!

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

О Боже! въ нашемъ домѣ?

БАНКО.

Все равно ,

Гдѣ бѣ ни было , жестоко слишкомъ . Макдуффъ !

Любезный Дуффъ ! Скажи , что ты ошибся !

(Входить Макбетъ и Леноксъ.)

МАКБЕТЪ.

Умри я часъ тому назадъ , не дальше , —

Я жилъ бы счастливо . Теперь вся смертность

Игрушка , вздоръ ! Скончались честь и милость ,

Елей пролить , разбита чаша жизни ,

Намъ черепки презрѣнные остались —

Для хвастовства !

(Входить Малькольмъ и Дональбайнъ.)

ДОНАЛЬБАЙНЪ.

Что здѣсь случилось ? Съ кѣмъ ?

МАКБЕТЪ (Макдуффъ).

Съ тобой — и ты не знаешь ! Высохъ ключъ

Твоей крови , и высохъ въ самыхъ нѣдрахъ .

МАКДУФФЪ (Леноксъ).

Отецъ твой , Дональбайнъ , убитъ .

МАЛЬКОЛЬМЪ.

О ! кѣмъ ?

ЛЕНОКСЪ.

Придворными , что спали вмѣстѣ съ нимъ .

Лицо и руки ихъ въ крови ; при нихъ

Лежали неотуртые кинжалы ;

Ихъ взоръ былъ дикъ и изступленъ ; никто

Имъ не рѣшился бы довѣрить жизнь .

МАКБЕТЪ.

Теперь досадно мнѣ , что я убилъ ихъ

Въ порывѣ ярости .

МАКДУФФЪ.

Зачѣмъ же сдѣлалъ ?

МАКБЕТЪ.

Кто можетъ быть горячъ и хладнокровенъ ,

Умень и глупъ въ одно и то же время ?

Никто. Любовь во мнѣ заговорила,
И разсуждать я опоздалъ. — Предъ нами
Лежалъ Дунканъ; на серебристомъ тѣлѣ
Струилась лентой золотая кровь;
Изъ ранъ какъ-будто порывался демонъ
Разрушить мѣръ, чтобъ онъ погибъ съ Дунканомъ.
Вдали — убійцы, и на нихъ алѣла
Ихъ обличительница кровь. О! кто же,
Въ чьемъ сердцѣ есть отвага и любовь,
Своей любви не доказалъ бы дѣломъ?

ЛЭДИ МАКБЕТЬ (падая въ обморокъ.)

Ахъ! помогите!

МАКДУФФЪ.

Поддержите лэди.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

А мы молчимъ? Намъ горе ближе всѣхъ.

ДОНАЛЬБАЙНЪ.

Что говорить, когда судьба въ засадѣ,

Готова выскочить и насъ убить?

Пойдемъ скорѣй; слезамъ еще не время.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Да, горько на душѣ, а словъ не съищешь.

БАНКО.

Смотрите, господа, за лэди.

(Лэди Макбетъ уносятся.)

Здѣсь холодно; пойдемъ, набросимъ платье

На нашу брэнность и сойдемся вновь.

Такой кровавый, безпримѣрный случай

Мы постараемся разоблачить.

На сердцѣ страхъ, догадки насъ тревожатъ....

Но длань Всевидящаго надо мной,

И я клянусь: цареубійца подлый

И черный замыселъ его найдутъ

Во мнѣ жестокаго врага!

МАКБЕТЪ.

Я тоже.

ВСЪ.

Мы всѣ.

МАКБЕТЪ.

Рѣшимся же на что-нибудь

И соберемся въ залъ.

ВСЪ.

Согласны.

(Всѣ, кромѣ Малькольма и Дональбайна, уходятъ.)

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Что будемъ дѣлать, братъ? Оставимъ ихъ;

Выказывать притворную печаль

Измѣнникамъ легко. Я ѣду въ Лондонъ.

ДОНАЛЬБАЙНЪ.

А я въ Ирландію. Раздѣлимъ участь;

Оно вѣрнѣй. А здѣсь изъ-за улыбки

Сверкаетъ ножъ, и чѣмъ кто однокровнѣй,

Тѣмъ кровожаднѣе.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Стрѣла убійцы

Еще летитъ; такъ отойдемъ отъ цѣли.

Не станемъ тратить на прощанье время.

Скорѣе въ путь! скорѣе на коня!

Уйдемъ тайкомъ; себя украсть не стыдно,

Когда не вѣрится въ чужую честь.

(Уходятъ.)

СЦЕНА IV.

ВЪ ЗАМКА.

(Входятъ Россс и старикъ.)

СТАРИКЪ.

Мнѣ восемьдесятъ лѣтъ; за это время

Я много страшныхъ пережилъ минуты

И былъ свидѣтелемъ чудесъ.... Игрушки,
Пустьякъ предъ тѣмъ, что было въ эту ночь!

РОССЕ.

Взгляни-ка, дѣдушка, — и небеса
Какъ-будто хмурятся на доль кровавый,
Гдѣ оскорбилъ ихъ человѣкъ. Теперь
Давно ужъ день, а надъ лампадой неба
Витаетъ ночь. Не царство-ль тмы настало?
Иль стыдно дню лобзаніемъ обычнымъ
Лицо земное озарить?

СТАРИКЪ.

Да, эта тьма,

Какъ этотъ грѣхъ, съ природой несогласна.
Прошедшій вторникъ видѣлъ я, какъ соколъ,
Парившій гордо въ высотѣ, внезапно
Былъ схваченъ и убитъ совой.

РОССЕ.

Какъ странно,

А между-гѣмъ не подлежитъ сомнѣнью,
Что лошади Дункана одичали,
Сломали стойла и умчались въ поле,
Какъ-будто вызвали людей на бой.

СТАРИКЪ.

Онѣ пожрали, говорятъ, другъ друга.

РОССЕ.

Въ моихъ глазахъ; дивился я не мало.

(входитъ Макдुффъ.)

Что въ свѣтѣ новаго, мой добрый Макдुффъ?

МАКДУФФЪ.

Какъ, развѣ ты не видишь?

РОССЕ.

Что, узнали

Кто грѣхъ неслыханный свершилъ?

МАКДУФФЪ.

Тѣ двое,

Которыхъ Макбетъ закололъ.

РОССЕ.

О Боже!

Что пользы было имъ?

МАКДУФФЪ

Ихъ подкупили;

Малькольмъ и Дональдбайнъ бѣжали тайно,

И подозрѣнье падаетъ на нихъ.

РОССЕ.

И все на зло естественнымъ законамъ!

О, честолюбіе! какъ безразсудно,

Какъ слѣно льешь ты собственную кровь! —

Такъ вѣрно тронъ достанется Макбету.

МАКДУФФЪ.

Онъ избранъ и уже поѣхалъ въ Сконы

Короноваться.

РОССЕ.

Гдѣ жъ Дункана тѣло?

МАКДУФФЪ.

Его отправили на Кольмескиль,

Въ священную отцовъ его гробницу,

Обитель ихъ костей.

РОССЕ.

Ты ѣдешь въ Сконы?

МАКДУФФЪ.

Нѣтъ, въ Фейфъ.

РОССЕ.

Такъ я поѣду въ Сконы.

МАКДУФФЪ.

Ступай.

Дай Богъ, чтобъ было чѣмъ повеселиться,

И въ новомъ платьѣ не тужить по старомъ.

РОССЕ.

Прощай, старикъ.

СТАРИКЪ

Благослови васъ Боже!

И всѣхъ, готовыхъ на добро и миръ.

(Уходятъ.)

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

СЦЕНА I.

ФОРЕСЪ. Комната во дворцѣ.

Входитъ Банко.

БАНКО.

И такъ, ты Гламисъ, Кавдоръ и король,

Ты все, что вѣщія тебѣ сулили.

Боюсь, ты не безчестно ль велѣ игру?

Однако сказано: твоя корона

Не родственной достанется главѣ.

Не ты, а я царей родоначальникъ.

И если правду говорятъ онѣ, —

(А какъ не вѣрить ихъ словамъ? Ихъ слово

Такъ оправдалось надъ тобою, Макбетъ!)

То почему бы имъ не быть и мнѣ

Оракуломъ, питающимъ надежду?...

Но тише! тсъ!

(Звуки трубъ. Входитъ Макбетъ, въ королевской одеждѣ; лэди Макбетъ также; за ними Леноксъ, Россс, придворныя дамы и кавалеры.)

МАКБЕТЪ.

Вотъ первый гость нашъ.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Безъ него

Не полонъ былъ бы нашъ великій праздникъ,

И пиръ бы не былъ въ пиръ.

МАКБЕТЪ.

Сегодня ночью

Друзьямъ торжественный даемъ мы ужинъ.

Прошу пожаловать.

БАНКО.

Повелѣвайте ;

Мой долгъ прикованъ къ волѣ государя

Узами вѣчными.

МАКБЕТЪ.

Вы ѣдете сегодня по полудни ?

БАНКО.

Да , государь.

МАКБЕТЪ.

А мы было хотѣли

Спросить у васъ въ сегодняшнемъ собраньи

Совѣта о дѣлахъ ; но пусть до завтра.

Вы ѣдете далеко ?

БАНКО.

Вѣроятно ,

Я раньше ужина не возвращусь.

И если конь не поспѣшитъ , придется

Проѣхать часъ , другой , и темной ночью.

МАКБЕТЪ.

Прошу же не забыть насъ.

БАНКО.

Не забуду.

МАКБЕТЪ.

Мы слышимъ , что преступные сыны

Въ Ирландію и въ Англію бѣжали ,

И , дерзко передъ всѣми отрицая

Жестокое отцеубійство , сѣютъ

Въ народѣ сказки ; но объ этомъ завтра :

Намъ надобно обдумать вмѣстѣ съ вами

Довольно важныя дѣла . — Прощайте !

За ужиномъ увидимся опять.

Флинсъ ѣдетъ съ вами ?

БАНКО.

Да, со мной. Пора.

Мнѣ время дорого.

МАКБЕТЬ.

Счастливыи путь.

Прошу вернуться къ намъ скорѣи. Прощайте.

(Банко уходитъ.)

Вы все свободны до семи часовъ.

Чтобъ тѣмъ живѣи бесѣдой насладиться,

Я остаюсь теперь одинъ. Прощайте.

(Леди Макбетъ и придворные уходятъ.)

Послушай, эй! Тѣ люди здѣсь?

СЛУГА.

Пришли;

Они стоятъ за воротами замка.

МАКБЕТЬ.

Введи-ка ихъ сюда.

(Слуга уходитъ.)

Зайти такъ далеко — немного значить;

Но твердо устоять на высотѣ!

Мой страхъ предъ Банко глубоко проникъ

Мнѣ въ сердце; въ царственной его натурѣ

Есть что-то, поселяющее страхъ.

Онъ смѣлъ, и съ смѣлостью неукротимой

Въ немъ слить холодный умъ: онъ умѣряетъ

И въ вѣрный путь ведетъ порывы сердца.

Изъ всехъ живыхъ мнѣ страшень онъ одинъ.

Мой духъ подавленъ имъ, какъ былъ Антоній

Подавленъ Цезаремъ. — Суровой рѣчью

Онъ требовалъ, чтобъ вѣщія сказали

Что будетъ съ нимъ, когда онъ сначала

Меня назвали королемъ; и сестры

Сказали: ты — царей родоначальникъ.

Мою же голову онъ вѣнчали

Вѣнцомъ безрадостнымъ, мнѣ въ руку дали

Бесплодный скиптръ, — онъ будетъ достояньемъ

Чужихъ дѣтей. Такъ для потомковъ Банко

Я душу осквернилъ? Для нихъ зарѣзалъ

Дункана благодатнаго? Для нихъ

Я чашу мира отравилъ и продалъ

Мой вѣчный духъ врагу людскаго рода?

Чтобъ ихъ вѣнчать? вѣнчать потомковъ Банко?

Нѣтъ, этому не быть! Тебя зову я, —

Судьба, на смертный поединокъ! — Кто тамъ? —

(Входитъ слуга съ двумя убійцами.)

Ступай за дверь и жди. Я позову.

(Слуга уходитъ.)

Мнѣ помнится, вчера мы говорили?

ПЕРВЫЙ УБІЙЦА.

Такъ точно, государь.

МАКБЕТЪ.

Ну что жъ, друзья?

Мои слова успѣли вы облудить?

Вы знаете, что онъ васъ угнеталъ,

А я былъ вами обвиненъ напрасно.

Я объяснилъ вамъ все: какъ васъ ловили,

Кто разорилъ васъ, кто вамъ ставилъ сѣти,

Короче, все, что даже пол-душѣ

И бѣдному уму сказало бѣ ясно:

То сдѣлалъ Банко.

ПЕРВЫЙ УБІЙЦА.

Да, вы такъ сказали.

МАКБЕТЪ.

И намекнулъ вамъ кой о чемъ. Теперь

Поговоримъ подробнѣе о дѣлѣ.

Не-ужь-ли вы такъ многотерпѣливы,

Что все готовы позабыть? Такъ святы,

Что станете молиться о спасеньи

Благопріятеля, за то, что онъ

Чуть не въ могилу васъ втопталъ, и сдѣлалъ

На вѣки нищими?

ПЕРВЫЙ УБИЙЦА.

Мы люди.

МАКБЕТЬ.

Да,

И вы считаетесь въ числѣ людей,
Какъ пудель, шавка, гончая, лягавый,
Борзой и мопсъ — всѣ за собакъ слывуть.

Но въ списокѣ доблестей различены
Лѣнивый, быстрый, хитрый и сердитый,
Стражъ дома и охотникъ смѣлый, всѣ
Смотря по внутреннему свойству духа,
Какое каждому дала природа.

По немъ уже даютъ ему прозванье
Отличное отъ пса. Такъ и съ людьми.

И если вы не изъ числа послѣднихъ,
Когда въ васъ мужество не спитъ, — скажите.

Я поручу вамъ кое-что; вы исполняйте —

И отъ врага свободны вы, и теплый

Я въ сердцѣ отведу вамъ уголокъ.

Пока онъ живъ, я не дышу свободно,

И только смерть его мнѣ дастъ покой.

ПЕРВЫЙ УБИЙЦА.

Меня удары и обманы свѣта

Такъ раздражили, что на зло ему,

Не разбирая, я готовъ на все.

ВТОРОЙ УБИЙЦА.

И я съ судьбой боролся неудачно,

И жизнь мнѣ стала тяжела; я радъ

Нести ее опасностямъ на встрѣчу,

Чтобъ улучшить или развязаться съ ней.

МАКБЕТЬ.

Вы знаете, что Банко былъ вашъ врагъ.

ВТОРОЙ УБИЙЦА.

Да, правда, государь.

МАКБЕТЪ.

И мнѣ онъ врагъ ,

Такой кровавый и смертельный врагъ ,

Что каждый мигъ его существованья

Какъ ножъ впивается мнѣ въ жизнь. Конечно ,

Я могъ бы отъ него освободиться

Открытой силою; но не хочу

Разстроить дружескія отношенья

Кой съ кѣмъ , кто другомъ былъ ему и мнѣ.

Придется даже пожалѣть о жертвѣ.

Вотъ почему я жду отъ васъ услуги;

Есть много важныхъ для меня причинъ

Скрыть это дѣло отъ толпы.

ВТОРОЙ УБИЙЦА.

Мы , государь , исполнимъ вашъ приказъ.

ПЕРВЫЙ УБИЙЦА.

И еслибъ даже наша жизнь....

МАКБЕТЪ.

Довольно!

Я вижу мужество у васъ въ глазахъ.

Черезъ часъ , не дальше , я васъ извѣщу ,

Когда и гдѣ ихъ ловче подстеречь.

Покончить надо въ эту ночь , притомъ

Не очень близко отъ дворца. Вообще ,

Чтобъ на меня не пало подозрѣнье.

Флинсъ ѣдетъ съ нимъ ; равно необходимо

Нужна мнѣ смерть и сына и отца.

Такъ что бы не было потомъ оглядокъ ,

Пусть участь мрачную раздѣлить съ нимъ.

Рѣшайтесь ! Я сейчасъ приду назадъ.

УБИЙЦЫ.

Рѣшились , государь.

МАКБЕТЪ.

Такъ обождите ,

Я позову васъ.... Банко ! рѣшено !

И если небо суждено
Твоей душѣ, — чрезъ два часа
Она пойдетъ на небеса!

(Уходить.)

СЦЕНА II.

ТАМЪ ЖЕ. ДРУГАЯ КОМНАТА.

Входятъ леди Макбетъ и слуга.

ЛЕДИ МАКБЕТЪ.

Уѣхалъ Банко?

СЛУГА.

Да; но онъ сказалъ,
Что къ ночи возвратится.

ЛЕДИ МАКБЕТЪ.

Попроси

Его величество на пару словъ.

(Слуга уходитъ.)

Что пользы намъ желать, и все желать?
Гдѣ жъ тотъ покой, вѣнецъ желаній жаркихъ?
Не лучше ли въ могилѣ тихо спать,
Чѣмъ жить среди души волненій жалкихъ?

(Входитъ Макбетъ.)

Ну, что, мой другъ? Зачѣмъ ты все одинъ,
Все съ мрачной душою? Твоимъ мечтамъ
Пора бы въ гробъ, къ тому, о комъ мечтають.
Чему помочь нельзя, — къ чему жъ и думать?
Того, что сдѣлано, не воротить.

МАКБЕТЪ.

Змѣю разсѣкли мы, но не убили;
Она состется — и опять жива,
И мы опять должны въ безсильной злобѣ
Дрожать за жизнь. — Но нѣтъ! скорѣй погибнетъ
Союзъ вешей и дрогнуть оба міра,
Чѣмъ намъ нашъ хлѣбъ придется ѣсть со страхомъ

И спать подъ гнетомъ мрачныхъ сновъ,
Гостей полуночи! Съ убитымъ легче,
Купившимъ миръ цѣной своей короны,
Съ нимъ легче спать, чѣмъ жить въ душевной пыткѣ
Среди мученій безъ конца!...

Дунканъ въ своей могилѣ; безмятежно,
Покойно спитъ онъ послѣ бури жизни.

Измѣна! ты взяла свое! Теперь,

Ни ножъ, ни ядъ, ни братъ, ни чужеземецъ,

Не посягнуть ужъ на него!

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

И, полно!

Послушай, проясни свой дикій взоръ;

Будь веселъ и привѣтливъ; скоро ужинъ.

МАКБЕТЪ.

Я буду веселъ; будь, пожалуйста, и ты.

На Банко обрати твое вниманье;

Будь съ нимъ поласковѣй въ словахъ и взглядахъ.

Какъ тягостно, что мы еще должны

Потокомъ лести омывать нашъ санъ,

И изъ лица слагать для сердца маску,

Чтобъ скрыть движенія души.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Да полно!

МАКБЕТЪ.

О! скорпіонами полна душа!

Ты знаешь: Банко и Флеансъ живутъ.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Но имъ безсмертье не дано.

МАКБЕТЪ.

Да, къ счастью.

Ихъ разрушаемость отраднѣе мнѣ.

Порадуйся: еще не встрепенется

Пустынный нетопырь, и жукъ крылатый

Еще не прожужжитъ во тьмѣ ночной,

Летя на зовъ таинственной Гекаты, —
Какъ страшный ниспадетъ ударъ.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Какой?

МАКБЕТЪ.

Будь, милый другъ, въ незнаніи невинна;
Вкуси лишь сладкій дѣла плодъ. Скорѣй,
Слѣпая ночь! закрой твоей завѣсой
Глаза чувствительнаго дня!
Кровавою, невидимой рукой
Схвати и растерзай мои оковы....
Мнѣ душно въ нихъ! Уже блѣднѣетъ день;
Летитъ въ отеческую рошу воронъ;
Вздремнули добрыя созданья дня,
И духи тьмы несутся за добычей....
Дивишься ты моимъ словамъ? — Пустое!
Посѣвъ былъ золь, такъ и пожнемъ мы злое.
Пойдемъ со мной.

(Уходятъ.)

СЦЕНА III.

Тамъ же. Паркъ передъ воротами дворца.

Входятъ трое убійцъ.

ПЕРВЫЙ УБИЙЦА.

Да кто велѣлъ тебѣ пристать къ намъ?

ТРЕТИЙ УБИЙЦА.

Макбетъ.

ВТОРОЙ УБИЙЦА.

Мы можемъ смѣло довѣрять; онъ знаетъ
Зачѣмъ мы здѣсь; все рассказалъ подробно.

ПЕРВЫЙ УБИЙЦА.

Такъ оставайся здѣсь. — Еще играетъ
На западѣ вечерняя заря;

Коня пришпорилъ путникъ запоздалый,
Торопится доѣхать до ночлега, —
И близко тотъ, кого мы ждемъ.

ТРЕТИЙ УБИЙЦА.

Постой!

Я слышу топотъ лошадей.

БАНКО за сценой.

Огня!

Эй! освѣтите!

ВТОРОЙ УБИЙЦА.

Это онъ! Другіе,

Которыхъ намъ не надобно, ужь въ замкѣ.

ПЕРВЫЙ УБИЙЦА.

Ихъ лошадей куда-то увели.

ТРЕТИЙ УБИЙЦА.

Ихъ поведутъ другой дорогой, съ версту.

Онъ долженъ, какъ и всѣ, по парку

Идти до самага дворца пѣшкомъ.

(Входятъ Банко и Флинсъ. Передъ ними идетъ слуга съ факеломъ.)

ВТОРОЙ УБИЙЦА.

Огонь!

ТРЕТИЙ УБИЙЦА.

Вотъ онъ!

ПЕРВЫЙ УБИЙЦА.

За дѣло!

БАНКО.

Ночью будетъ дождь.

ПЕРВЫЙ УБИЙЦА.

Онъ ужь идетъ!

(Они нападаютъ на Банко.)

БАНКО.

Измѣна! Флинсъ, бѣги!

Бѣги! ты можешь отомстить! — О извергъ!

(Онъ умираетъ. Флинсъ и слуга бѣгутъ.)

ТРЕТИЙ УБИЙЦА.

Кто погасил огонь? —

ПЕРВЫЙ УБИЙЦА.

Что жь, развѣ худо?

ТРЕТИЙ УБИЙЦА.

Убить одинъ отецъ. Сынъ убѣжалъ.

ВТОРОЙ УБИЙЦА.

По лучшему—то мы и промахнулись.

ПЕРВЫЙ УБИЙЦА.

Пойдемъ, доложимъ, что готово.

(Уходятъ.)

СЦЕНА IV.

Торжественный залъ во дворцѣ.

Накрытъ столъ. Входятъ: Макбетъ, лэди Макбетъ, Россъ, Леноксъ,
лорды и свита.

МАКБЕТЪ.

Вы знаете свои мѣста, — садитесь.

Душевно ради всѣмъ.

ЛОРДЫ.

Благодаримъ.

МАКБЕТЪ.

Мы будемъ съ вами наравнѣ; хозяинъ

Самъ долженъ угощать своихъ гостей.

Хозяйка сѣла ужь на тронъ; мы просимъ

Намъ слово ласковое подарить.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Скажите вы его; душевно рада

Привѣтствовать друзей.

(Первый убійца появляется въ дверяхъ.)

МАКБЕТЪ.

Тебѣ на встрѣчу

Летятъ ихъ благодарныя сердца. —

Столъ занять весь; мы сядемъ по срединѣ.

Ну, веселѣй! осушимъ круговую!

(Убийцѣ.)

Лицо твое въ крови.

УБИЙЦА.

Она изъ Банко.

МАКБЕТЪ.

Ей лучше на тебѣ, чѣмъ въ немъ. Совсѣмъ?

УБИЙЦА.

Поконченъ. Горло пополамъ. Моя работа.

МАКБЕТЪ.

Ты лучший изъ всѣхъ головорѣзовъ. Но
Хорошъ и тотъ, кто рассчитался съ Флинсомъ;

И если это ты, такъ ты единственъ.

УБИЙЦА.

Флинсъ спасся бѣгствомъ, государь.

МАКБЕТЪ.

И такъ

Я болѣнъ вновь. Я былъ уже здоровъ;

Какъ мраморъ твердъ, и крѣпокъ какъ скала,

Какъ воздухъ свѣжъ, и невредимъ, и воленъ!

Теперь опять я связанъ и стѣсненъ,

И блѣдный страхъ опять ко мнѣ прикованъ.

Но Банко вѣдь навѣрно?

УБИЙЦА.

Не проснется, —

Уснулъ во рву. На головѣ зіяютъ

Пятнадцать ранъ — слабѣйшая смертельна.

МАКБЕТЪ.

Благодарю. Такъ старый змій задавленъ;

А червь ушелъ, и будетъ ядовитъ —

Какъ зубы выростутъ. — Теперь ступай.

Доскажешь завтра.

(Убийца уходитъ.)

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Вы гостей забыли.

Безъ добрыхъ словъ хозяина имъ скучно,
И пиръ похожъ на купленный обѣдъ.
Чтобъ ѣсть — покойнѣй оставаться дома;
Въ гостяхъ мы ждемъ радушную бесѣду
И ласковость; безъ нихъ не вкусенъ столъ.

МАКБЕТЪ.

Да, правда, милый другъ! Прошу васъ кушать;
Желаю веселиться на здоровье.

ЛЕНОКСЪ.

Угодно сѣсть вамъ, государь?

(Духъ Банко является на макбетовомъ мѣстѣ.)

МАКБЕТЪ.

Будь съ нами здѣсь нашъ благородный Банко,
Здѣсь былъ бы собранъ королевства цвѣтъ.
Дай Богъ, чтобъ съ нимъ чего бы не случилось;
Пусть лучше пожуримъ его за лѣность.

ЛЕНОКСЪ.

Онъ слово данное забылъ. Угодно ль
Вамъ сдѣлать честь, присѣсть къ намъ, государь?

МАКБЕТЪ.

Столъ полонъ!

ЛЕНОКСЪ.

Вотъ еще есть мѣсто.

МАКБЕТЪ.

Гдѣ?

ЛЕНОКСЪ.

Здѣсь, государь. Что съ вами?

МАКБЕТЪ.

Кто это сдѣлалъ, лорды?

ЛОРДЫ.

Что такое?

МАКБЕТЪ.

Меня ты въ этомъ уличить не можешь;
Къ чему кивать мнѣ головой кровавой?

РОССЕ.

Король нашъ боленъ; встанемъ, господа.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Сидите, добрые друзья. Съ нимъ это часто,
И съ дѣтскихъ лѣтъ. Прошу васъ, не вставайте.

Припадокъ мимолетенъ, — двѣ минуты

И онъ прошелъ. Оставьте, не смотрите!

Онъ только пуше раздраженъ отъ взглядовъ.

Не обращайтесь на него вниманья

И кушайте. — И ты мужчина?

МАКБЕТЪ.

Да,

И смѣлый; я могу смотрѣть на то,

Предъ чѣмъ самъ дьяволъ поблѣднѣлъ бы.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Такъ!

Вотъ призраки ребяческаго страха,

Тотъ тѣнь-кинжалъ, что велъ тебя къ Дункану!

Признаться надо, эта дрожь и взгляды,

Пародія на истинный испугъ,

Прекрасны были бы у камелька,

Подъ говоръ сказки, на лицѣ старухъ.

Стыдись! какъ искажаешь ты лицо!

И изъ чего? Чтò испугало? — Стулъ!

МАКБЕТЪ.

Но посмотри! туда! туда! Что скажешь? —

Что мнѣ до этого? Когда ты можешь

Кивать мнѣ головой, такъ говори!

Земля отвергла мертвецовъ; могилы

Ихъ шлютъ назадъ, — такъ пусть орловъ утробы

Гробами будутъ для людей!

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Возможно ль!

Такъ оробѣть?

(Духъ исчезаетъ.)

МАКБЕТЪ.

Онъ былъ передо мною!

Клянусь тебѣ!

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Стыдись!

МАКБЕТЪ.

Кровь проливали

Уже давно, когда еще законъ

Не охранялъ общественнаго мира.

Да, и потомъ убійства совершались, —

Объ нихъ и слышать тяжело. Но встарь,

Когда изъ черепа былъ выбить мозгъ,

Со смертью смертнаго кончалось все.

Теперь встають они, хоть двадцать ранъ

Разсѣкли голову, и занимають

Мѣста живыхъ. Вотъ что непостижимо!

Непостижимѣе царубійства!

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Васъ гости ждутъ.

МАКБЕТЪ.

Ахъ, виновать, забылся.

Не удивляйтесь мнѣ, друзья; я болѣнъ;

Припадки странные, но это вздоръ, —

Домашніе давно къ тому привыкли.

Что жъ, выпьемъ за всеобщее здоровье!

Потомъ я сяду. Эй! вина!

(Слугъ, который наливаетъ вино.)

Полнѣ!

Я пью за здравіе всего стола.

(Духъ является на томъ же мѣстѣ.)

И Банко, друга моего! Какъ жаль,

Что съ нами нѣтъ его! Его здоровье

И всѣхъ любезныхъ намъ гостей!

ЛОРДЫ.

Вамъ тоже.

МАКБЕТЪ.

Исчезни! Прочь! Пусть гробъ тебя укроетъ!
Твой черепъ пѣсть и кровь охолодѣла!
Въ твоихъ сверкающихъ глазахъ нѣтъ зрѣнья!

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Не удивляйтесь; это съ нимъ перѣдко.
Мнѣ только жаль, что вечеръ нашъ разстроень.

МАКБЕТЪ.

На все, что можетъ человѣкъ, готовъ я.
Явись мнѣ грознымъ, разъяреннымъ львомъ,
Гирканскимъ тигромъ, сѣвернымъ медвѣдемъ,
Явись чѣмъ хочешь ты — и я не дрогну.
Воскресни вновь и вызови въ пустыню
На смертный бой меня — не откажусь,
И если въ страхѣ отступлю на шагъ,
Зови меня игрушкою дѣвчонки!
Прочь, тѣнь ужасная! Прочь, ложный призракъ!

(Духъ исчезаетъ.)

Исчезъ. Я снова мужъ.... Не безпокойтесь.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Ты все веселье разогналъ; нашъ праздникъ
Нарушенъ недугомъ твоимъ. Ты странецъ.

МАКБЕТЪ.

Но эта тѣнь не тѣнь отъ лѣтней тучки,
И какъ ей странностью не поразить?
Не знаю, вѣрить ли своимъ глазамъ:
Ты смотришь на подобное видѣнье
И кровь играетъ на твоёмъ лицѣ,
Тогда какъ я — отъ ужаса блѣднѣю.

РОССЕ.

Что за видѣнье, государь?

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Молчите;

Вы видите, ему отъ часу хуже:

Онъ вдвое горячится отъ вопросовъ.
Разстанемся; прощайте, доброй ночи.

ЛЕНОКСЪ.

Покойной ночи! Лучшаго здоровья
Его величеству!

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Прощайте, лорды.

(Лорды и свита уходягь.)

МАКБЕТЪ.

Онъ хочетъ крови. Кровь за кровь. — Случалось,
Что камни двигались и излетало
Живое слово изъ деревъ; гадатель
Не разъ отгадывалъ посредствомъ птицъ
Убийцъ непроницаемыя тайны. —
Который часъ?

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Почти уже свѣтаеть.

МАКБЕТЪ.

И Макдуффъ, говоришь ты, отказался
Прийти на праздникъ нашъ?

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Ты звалъ его?

МАКБЕТЪ.

Отвѣтъ его узналъ я стороною.
Пошлю еще. У всѣхъ безъ исключенья
Я содержу шпионовъ на мой счетъ.
Съ разсвѣтомъ я пойду къ волибнымъ сестрамъ;
Пусть погадаютъ мнѣ еще; я все
Хочу узнать, не разбирая средствъ,
И всѣмъ пожертвую для нашихъ пользъ.
Я такъ глубоко погрузился въ кровь,
Что все равно, не стоитъ ворочаться, —
Цѣлыву впередъ.... Я кое-что задумалъ,

И быстро надо нанести ударъ;
Тутъ думать нечего.

ЛЭДИ МАКБЕТЬ.
Ты сна лишень,

Отрады всѣхъ существъ.

МАКБЕТЬ.
Пойдемъ же спать.

Мое тревожное себязабвенье —
Страхъ новичка. Душа еще не свыклась.
Для этихъ дѣлъ мы просто еще дѣти.

(Уходятъ.)

СЦЕНА V.

С т е п ь .

Громъ. Геката и три вѣдьмы.

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Твой взоръ сердить; ты сердишься, Геката?

ГЕКАТА.

И есть за что.
Не къ вамъ ли въ сѣть
Попалъ давно
Король Макбетъ?
Вы нарекли
Его царемъ
И завлекли
Обманомъ словъ
На путь грѣховъ.
Источникъ зла,
Царица чаръ,
Я вамъ дала
Мой тайный даръ.
Зачѣмъ же я

Отчуждена?
Зачѣмъ же я
Устранена?
Онъ безъ меня
Торжествовалъ,
Лукавый врагъ, —
И Макбетъ палъ!

Вашъ трудъ пропалъ:
Онъ и безъ васъ
Былъ гордъ и золъ
И не для васъ
Къ убійству шолъ.
Въ немъ лучъ любви
Давно погасъ
И не для васъ
Въ людской крови
Онъ весь погрязъ.
Едва лишь лучъ
Блеснетъ изъ тучъ
Онъ вновь придетъ
Спроситъ судьбу.
Сквозь дымъ и паръ
Волшебныхъ чаръ
Увидитъ онъ
Грядущихъ лѣтъ
Неясный сонъ,
Невѣрный свѣтъ.

Пора! Лечу!
Съ морей. луны
Туманъ волны
Я захвачу.
Въ немъ дивный даръ
Волшебныхъ сновъ;

Искусствомъ чарь
И тайныхъ словъ
Онъ призоветъ
Толпу духовъ;
Ихъ мрачный кругъ
Безсмертный духъ
Въ немъ омрачить.
Его судьба
Не устрашитъ,
Его борьба
Не утомитъ,
И онъ взойдетъ, —
Но съ высоты
Онъ ниспадетъ
Отъ слѣпоты.

ГОЛОСЬ, поетъ за сценой.

Лети сюда!
Я жду тебя!

ГЕКАТА.

Малютка-духъ
Меня зоветъ;
На облакахъ
Меня онъ ждетъ.
Малютка мой!
Какъ легкій дымъ
Летимъ съ тобой,
Летимъ, летимъ!

(Исчезаетъ.)

ПЕРВАЯ ВЪДЬМА.

За дѣло же, сестры! Она скоро воротится.

(Уходить.)

СЦЕНА VI.

ФОРЕСЪ. КОМНАТА ВЪ ЗАМКѢ.

Входятъ Леноксъ и другой лордъ.

ЛЕНОКСЪ.

Я намекнулъ вамъ кой на что , и только ;
А дальше изъясняйте какъ угодно .
Мнѣ только странно , какъ тутъ все случилось :
Макбетъ оплакивалъ Дункана , — да ,
Конечно , какъ не пожалѣть о мертвомъ ?
Несчастный Банко ѣхалъ слишкомъ-поздно ;
Пожалуй , можете , когда угодно ,
Сказать , что Флинсъ его убилъ ; вѣдь Флинсъ
Бѣжалъ . Не надо ѣздить слишкомъ-поздно .
Кому не бросится въ глаза , какъ звѣрски
Малькольмъ и Дональбайнъ отца убили ?
Ужасный грѣхъ ! Какъ оскорбленъ былъ Макбетъ !
Не онъ ли въ ярости благочестивой
Убилъ убійцу , рабовъ вина и сна ?
Не благородный ли порывъ ? — и умный .
Они , конечно , сталибъ отпираться ;
Кого жъ не возмутили бъ ихъ слова ?
Я думаю , онъ ловко свелъ концы ,
И попались ему сыны Дункана
(Отъ этого да сохранить ихъ Богъ !)
Онъ вѣрно показалъ бы имъ , что значить
Убить отца ; и Флинсу не забылъ бы
Прочестъ урокъ Но лучше замолчимъ .
Вы слышали ? За пару вольныхъ словъ ,
И за отказъ придти на пиръ къ тиранну
Макдуффъ въ немилости . Вамъ неизвѣстно
Гдѣ онъ теперь ?

ЛОРДЪ.

Дункана старшій сынъ ,
Земель отцовскихъ истинный наследникъ ,

Живетъ при англійскомъ дворѣ ; онъ принять
Такъ милостиво кроткимъ Эдуардомъ ,
Что злость судьбы какъ-будто не касалась
Высокихъ правъ его Туда-то Макдуффа
Бѣжалъ молить святаго короля
Помочь отечеству ; съ его войсками
И съ Божьей помощью онъ возвратитъ
Намъ хлѣбъ насущный и ночной покой ;
Исчезнетъ ножъ изъ дружеской бесѣды ,
И будемъ вновь мы подъ законной властью
Служить какъ честь велитъ . Всѣ эти вѣсти
Такъ заживо задѣли короля ,
Что онъ готовится и ждетъ войны .

ЛЕНОКСЪ .

Не звалъ ли онъ къ себѣ Макдуффа ?

ЛОРДЪ .

Звалъ ;

Но танъ отвѣтилъ на отрѣзъ : *не ѣду* ;
И посланный , нахмутивъ мрачно брови ,
Пробормоталъ отворотясь : *постой !*
Настанетъ часъ когда ты пожалѣешь ,
Что далъ такой отвѣтъ !

ЛЕНОКСЪ .

Изъ этихъ словъ

Пусть онъ научится быть осторожнымъ ,
Держать себя въ дали благоразумной .
Да будетъ ангелъ на его пути
Предтечей благодатнымъ ; край родной
Да будетъ вновь благословенъ Всевышнимъ ,
И исцѣленъ отъ тягостныхъ страданій
Въ когтяхъ проклятаго !

ЛОРДЪ .

Аминь .

(Уходятъ .)

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

СЦЕНА I.

Темная пещера.

Въ глубинѣ ея котель на огнѣ. Вокругъ него три вѣдьмы.

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Три раза мяукнулъ котъ;
Часъ урочный настаетъ.

ВТОРАЯ ВѢДЬМА.

Трижды филинъ простоналъ.

ТРЕТЬЯ ВѢДЬМА.

Лѣшій свиснулъ! — Часъ насталъ.

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Такъ начнемте.

Духи воздуха, огней,
Духи суши и морей!
Вы, ночные и полуночные,
Денные и полуденные!
Вамъ съ словами тайныхъ чаръ
Мы приносимъ мрачный даръ.

ВСѢ ТРИ, поютъ.

Кипи, котель! Шипи! Бурли!
Огонь, гори! вари! вари!

ВТОРАЯ ВѢДЬМА.

Жабу, тридцать дней прославшую,
Острый ядъ въ себя впитавшую;
Злой дурманъ, крыло совиное,
Желчь козла, глаза мышинные,
Волчій зубъ, змѣю холодную,
Злую, подколенную!

ВСѢ ТРИ, поютъ.

Кипи, котель! Шипи! Бурли!
Огонь, гори! вари! вари!

ТРЕТЬЯ ВЪДЬМА.

Кровь младенца, въ тѣмѣ зарытаго,
Грѣшной матерью убитаго, —
Плодъ преступнаго сознанія
Черной смерти достояніе!
Все проклятемъ пораженное,
Зломъ въ природѣ зарожденное!

ВСѢ ТРИ, поютъ.

Киши, котелъ! шипи! бурли!
Огонь, гори! вари! вари!

(Является Геката и трое другихъ вѣдьмъ.)

ГЕКАТА.

Спасибо вамъ!
Прилежный трудъ
Не пропадетъ.
На пользу вамъ,
Во славу всѣхъ,
Онъ наведетъ
На новый грѣхъ.
Пора кончать!
Послѣдній хоръ!

(Поютъ заклинаніе.)

Духи воздуха, огней,
Духи суши и морей!
Вы, ночные и полуночные!
Вы, денные и полуденные!
Васъ со дна морей глубокаго,
Васъ изъ облака високаго,
Изъ далекихъ, неизвѣданныхъ
Странъ отъ вѣка заповѣданныхъ,
Къ намъ зоветь непреклонное,
Слово крѣпкое, неотразимое!

ВТОРАЯ ВЪДЬМА.

Палець у меня зудитъ,

Что-то злое къ намъ спѣшитъ. —

Входи, ктобы ни былъ тамъ! —

(Входитъ Макбетъ.)

МАКБЕТЪ.

Здорово, тайныя, ночныя вѣдьмы!

Чѣмъ заняты?

ВѢДЬМЫ.

Для нашихъ дѣлъ нѣтъ слова.

МАКБЕТЪ.

Такъ тайной безыменнаго искусства

Я заклинаю, отвѣчайте мнѣ!

Мнѣ все равно, откуда ваше знанье, —

Пусть вашъ отвѣтъ подыметъ ураганы,

.....

Пусть всѣ суда погибнуть въ океанѣ,

Изохнеть жатва на поляхъ, падуть

Твердыни замковъ на своихъ жильцовъ,

И въ прахъ поникнуть гордыя вершины

Дворцовъ и пирамидъ! Пусть въ нѣдра жизни

Проникнетъ смерть и возвратится хаосъ, —

Я требую отвѣта на вопросъ!

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Такъ говори.

ВТОРАЯ ВѢДЬМА

Спроси.

ТРЕТЬЯ ВѢДЬМА.

Дадимъ отвѣтъ.

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Скажи, отъ насъ, или отъ нашихъ старшихъ

Желаешь ты узнать отвѣтъ?

МАКБЕТЪ.

Зовите ихъ, я ихъ хочу увидѣть.

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Такъ свершите возліаніе

Кровью звѣря, раскопавшаго

Прахъ могилы и пожравшаго

Трупъ погибшаго въ отчаяннѣ.

Всѣ три.

Малый иль большой, явись!

Заклинанью покорись!

(Громъ. Является голова въ шлемѣ.)

МАКБЕТЬ.

Скажи, невѣдомая сила,...

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Тише!

Онъ знаетъ мысль твою. Молчи и слушай.

ГОЛОВА.

О, Макбетъ, Макбетъ! Берегись Макдуффа!

Опасенъ фэйфскій танъ!... Пусти... довольно.

(Исчезаетъ.)

МАКБЕТЬ.

Ктобъ ни былъ ты, спасибо за совѣтъ!

Ты страхъ мой разгадалъ. Еще два слова мнѣ скажи.

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Ему приказывать нельзя. Молчи.

Но вотъ другой, и онъ сильнѣе. Слушай.

(Громъ. Является окровавленное дитя.)

ДИТЯ.

Макбетъ! Макбетъ! Макбетъ!

МАКБЕТЬ.

Когдабъ природа

Три органа для слуха мнѣ дала,

Я всѣми впилъ бы въ твои слова.

ДИТЯ.

Будь смѣлъ и твердъ; судьба тебя хранить;

Рожденный женщиной тебѣ не повредитъ.

(Исчезаетъ.)

МАКБЕТЬ.

Живи жь, Макдуфъ! Чего тебя бояться?

Но нѣтъ! Я огражусь двойнымъ щитомъ,

Двойной залогъ возьму я отъ судьбы :
Ты долженъ умереть. Тогда спокойно
Я страху блѣдному скажу : ты лжешь !
И буду спать на зло громамъ. —

(Громъ. Является дитя въ коронѣ, съ вѣтвью въ рукѣ.)

А, это что за царственный ребенокъ ,
Съ короной на младенческомъ челѣ ?

ВѢДЬМЫ.

Молчи и слушай !

ДИТЯ.

Будь гордъ , какъ левъ ;
Ни злость , ни гнѣвъ
Живыхъ людей
Не измѣнять
Судьбы твоей.
Макбетъ царить
Ненобѣдимъ ,
Пока стоитъ
Неколебимъ ,
Пока не идетъ
Съ своихъ высотъ
Бирнамскій лѣсъ
На Дунсинанъ.

(Исчезаетъ.)

МАКБЕТЪ.

Тому не быть. Кто навербуетъ рощу ?
Кто скажетъ дереву : освободи
Глубокій корень изъ земли ? Спасибо
За вѣсти добрыя !... Смирись , измѣна !
Пока не двинется бирнамскій лѣсъ ,
Тебѣ главы не вознести , — и Макбетъ ,
Живя на гордой высотѣ , отдастъ
Свое дыханіе одной природѣ ,
Когда придетъ урочный часъ. — Но сердце
Дрожить опять ; еще хочу спросить васъ :

Скажите мнѣ, когда вашъ взоръ проникнетъ
Въ такую даль, царить ли въ этомъ царствѣ
Потомству Банкову?

ВѢДЬМЫ.

Оставь вопросы.

МАКБЕТЪ.

Я все хочу узнать! Отриньте просьбу, —
И будьте прокляты изъ рода въ родъ!
Скажите мнѣ.... Куда исчезъ котель?
И что за шумъ?

(Гобси)

ПЕРВАЯ ВѢДЬМА.

Явись!

ВТОРАЯ ВѢДЬМА.

Явись!

ТРЕТЬЯ ВЕДЬМА.

Явись!

ВСѢ ТРИ.

Явитесь! Пусть рядъ вашъ предъ нимъ пронесется!
Пусть холодъ по гордому сердцу прольется!

(Являются восемь королей; они идутъ черезъ сцену
однимъ за другимъ. Послѣдній держитъ въ рукѣ зеркало.
За ними Банко.)

МАКБЕТЪ.

Ты слишкомъ схожъ
Съ видѣшемъ Банко! Прочь! Твоя корона
Мнѣ жжетъ глаза!... Другой! Исчезни, призракъ!
Ты тотъ же ликъ, и съ той же діадемой!...
Еще одинъ! Проклятыя колдуньи!...
Къ чему мнѣ этихъ вызывать?... Четвертый?
Не до послѣдняго ль суда продлится
Ихъ рядъ? Идутъ, и все идутъ.... Седьмой!
Я больше видѣть не хочу.... Осьмой!
Онъ съ зеркаломъ, и въ немъ я вижу цѣпь
Коронъ и лицъ со скиптрами двойными,

Съ тройной державою. Ужасный призракъ!
Нѣтъ, это истина; теперь я вѣрю, —
Мнѣ улыбается убитый Банко;
Онъ мнѣ указываетъ на другихъ,
Какъ-будто хочетъ мнѣ сказать: смотри!
Они сыны мои! — Не такъ ли? А?

ПЕРВАЯ БѢДЬМА.

Да, это правда. Но зачѣмъ
Макбетъ стоитъ смущенъ и нѣмъ?
Не унывай! — Сестрицы! Въ кругъ!
Утѣшимъ сѣтующій духъ.
Живѣй! живѣй! рука съ рукой
Сплетайся въ кругъ, пляши и пой!
Будь веселѣй, король Макбетъ!
Тебѣ почетъ, тебѣ привѣтъ!

(Музыка. Вѣдьмы исчезаютъ въ пляскѣ.)

МАКБЕТЪ.

Ихъ нѣтъ? Ушли? — Будь этотъ часъ на вѣки
Отмѣченъ проклятымъ въ календарѣ! —
Эй, ты, сюда!

(Входитъ Леноксъ.)

ЛЕНОКСЪ.

Я здѣсь. Что повелите?

МАКБЕТЪ.

Ты вѣщихъ не видалъ?

ЛЕНОКСЪ.

Нѣтъ, не видалъ.

МАКБЕТЪ.

И тамъ онѣ не проходили?

ЛЕНОКСЪ.

Нѣтъ.

МАКБЕТЪ.

Такъ пусть чума вселится въ этотъ воздухъ!
Да будутъ прокляты, кто вѣритъ имъ! —
Я слышалъ конскій топотъ; кто проѣхалъ?

ЛЕНОКСЪ.

Два всадника пріѣхали съ извѣстьемъ,
Что Макдуффъ въ Англию бѣжалъ.

МАКБЕТЪ.

Бѣжалъ?

ЛЕНОКСЪ.

Да, государь.

МАКБЕТЪ.

О время! Ты перехватило жертву! —

Летучій замыселъ не воротить

Когда летитъ онъ на легкѣ, безъ дѣла.

Отнынѣ сердца первенецъ да будетъ

И первенцомъ моей руки. Сейчасъ же

Вѣнчаю мысль короной исполненья:

На замокъ Макдуффа я нападу,

Возьму весь Файфъ, отдамъ мечу на жертву

Жену, дѣтей, всѣ жалкія душонки

Его родни. Прочь, глупость красныхъ словъ!

За дѣло! Замыселъ еще горячъ!

Видѣнья, прочь! — Гдѣ вѣстники? Пойдемъ.

(Уходятъ.)

СЦЕНА II.

Файфъ. Комната въ замкѣ Макдуффа.

Входятъ лэди Макдуффъ, маленькій сынъ ея и Росссе.

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Что сдѣлалъ онъ, что долженъ былъ бѣжать?

РОССЕ.

Терпѣніе!

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Онъ не имѣлъ терпѣнья.

Его побѣгъ безумство. Не дѣла,

Такъ этотъ страхъ насъ обвинитъ въ измѣнѣ.

РОССЕ.

Но этотъ страхъ былъ, можетъ-быть, расчесть.

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Расчесть! Покинуть домъ, жену, дѣтей,
Покинуть тамъ, откуда самъ бѣжалъ?
Нѣтъ, онъ не любитъ насъ; онъ чуждъ простыхъ,
Природныхъ чувствъ; бѣдняжка королекъ,
Малѣйшая изъ птицъ — и та дерется
Съ совою за маленькихъ птенцовъ! А онъ!
Тутъ видѣнъ страхъ, и ни слѣда любви.
Нѣтъ, плохъ расчесть — бѣжать на зло разсудку.

РОССЕ.

Любезная сестрица, успокойтесь.
Вашъ мужъ уменъ, догадливъ, благороденъ;
Онъ лучше всѣхъ постигъ значенье вѣка.
Не смѣю много говорить: настала
Година бѣдствія; какъ тяжело
Прослыть измѣнникомъ, не измѣняя,
Дрожать, не зная передъ чѣмъ, носиться
По бурной прихоти свирѣпыхъ волнъ! —
Прощайте. Я приду опять, и скоро. —
Такому бѣдствию не устоять:
Оно пройдетъ, пройдетъ необходимо;
Порядокъ прежній *долженъ* воротиться. —
Благослови тебя Господь, дружокъ!

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Отецъ не умеръ, а дитя сиротка!

РОССЕ.

Нѣтъ, я не въ силахъ оставаться дольше;
Невольно слезы.... это васъ разстроитъ....
Прощайте.

(Уходитъ.)

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Отецъ твой умеръ. Что ты станешь дѣлать?
Какъ будешь жить?

СЫНЬ.

Какъ птички.

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Какъ? червями?

СЫНЬ.

Чѣмъ Богъ пошлетъ; онѣ вѣдь такъ живутъ.

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

О птичка бѣдная! и не боишься ты

Ни клѣтокъ, ни силковъ?

СЫНЬ.

Зачѣмъ бояться?

На бѣдныхъ птичекъ ихъ никто не ставитъ.

Отецъ мой живъ, хоть ты и говоришь,

Что умеръ онъ.

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Онъ умеръ, говорю я.

Гдѣ взять другаго?

СЫНЬ.

Гдѣ? А гдѣ тебѣ

Другаго мужа взять?

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

О! ихъ на рынкѣ

Я разомъ дюжину могу купить.

СЫНЬ.

А черезъ день опять продать?

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Бѣдняжка!

Какъ метокъ безсознательный твой лепеть!

СЫНЬ.

Маменька! папенька былъ измѣнникъ?

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Да.

СЫНЬ.

А что такое измѣнникъ?

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Человѣкъ, который клянется и лжетъ.

СЫНЪ.

И всѣхъ, которые клянутся и лгутъ, надо вѣшать?

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Всѣхъ.

СЫНЪ.

А кто же долженъ ихъ вѣшать?

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Честные люди.

СЫНЪ.

Такъ глупы же лгуны: ихъ столько, что они могли бы перевязать и перевѣшать всѣхъ честныхъ людей.

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Господь съ тобой, бѣдняжка-лепетунъ!

Но гдѣ достанешь ты отца?

СЫНЪ.

Если бы онъ умеръ, вы плакали бы; а еслибы не плакали, такъ добрый знакъ: значить у меня скоро былъ бы новый папенька.

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Чего ты не болтаешь!

(Входитъ вѣстникъ.)

ВѢСТНИКЪ.

Богъ въ помощь вамъ! Я незнакомъ вамъ, лэди,

Но я васъ знаю. Вамъ грозитъ опасность;

Примите добрый мой совѣтъ: бѣгите

Отсюда прочь, да дѣтокъ не забудьте.

Я грубо испугалъ васъ, — что же дѣлать!

Жестоко было бы не предупредить.

Бѣда близка. Господь да защититъ васъ!

Я дольше оставаться не могу.

(Уходитъ.)

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Куда бѣжать? Что сдѣлала я злаго?

Однакожь, да! Я здѣсь, на этомъ свѣтѣ,

Гдѣ часто злой бываетъ прославляемъ,
А тотъ, кто добръ, слыветъ за дурака,
Безумца вреднаго. Что жь пользы въ томъ,
Что женщины щитомъ я укрываюсь,
И говорю: я зла не сотворила? —

(Входятъ убійцы.)

А! это что за лица!

ПЕРВЫЙ УБИЙЦА.

Гдѣ вашъ мужъ?

ЛЭДИ МАКДУФФЪ.

Надѣюсь, не въ такомъ нечистомъ мѣстѣ,
Гдѣ бь могъ онъ встрѣтиться съ такимъ, какъ ты.

ПЕРВЫЙ УБИЙЦА.

Измѣнникъ онъ!

СЫНЪ.

Ты лжешь, мерзавецъ!

УБИЙЦА.

Ба!

И онъ тудажъ? негодное отродье!

(Онъ убиваетъ его.)

СЫНЪ.

Меня убилъ онъ! Маменька, бѣгите.

(Умираетъ. Лэди Макдуффъ бѣжитъ, преслѣдуемая убійцами.)

СЦЕНА III.

АНГЛІЯ. Комната во дворцѣ короля.

Входятъ Малькольмъ и Макдуффъ.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Пойдемъ и выплачемъ въ уединеньи

Печаль души.

МАКДУФФЪ

Нѣтъ! Лучше обнажимъ

Губящій мечъ, пойдемъ спасать отчизну,

И бодро станемъ за свои права.

Что новый день, то вопли новыхъ вдовъ,
И плачь сиротъ, и тяжкій стонъ несчастья
Восходятъ къ небу — и въ его громахъ
Какъ-будто слышится глаголь участя.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Я сѣтую о томъ, чему я вѣрю,
А вѣрю я тому, въ чемъ я увѣренъ;
Исправлю все, когда настанетъ время. —
Тиранъ, котораго одно названье
Способно воздухъ заразить, — когда-то
Онъ честнымъ слыль. Ты былъ къ нему привязанъ,
И онъ тебя еще не уязвилъ.
Я молодъ; но и я гожусь въ подарокъ,
И мною можно услужить; расчетъ
Приносить въ жертву бѣднаго ягненка,
Чтобъ гнѣвное смирить имъ божество.

МАКДУФФЪ.

Я не измѣнникъ.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Но Макбетъ измѣнникъ.

Приказъ властителя могъ пошатнуть
И душу честную. Прости мнѣ, Макдуффъ!
Ктобъ ни былъ ты, тебя не перемѣнитъ
Чужая мысль, — и ангелы всѣ свѣтлы,
Хотя свѣтлѣйшіе изъ нихъ и пали.
Пусть подлый врагъ наброситъ маску чести,
Какъ распознать ее съ лицомъ друзей?

МАКДУФФЪ.

Я потерялъ мои надежды.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Да,

Быть можетъ тамъ, гдѣ я нашелъ сомнѣнья.
Съ такой посѣшностью, и не простяся
Покинуть домъ, жену, дѣтей? Расторгнуть

Узы священные любви? Но, Макдуффъ,
Я не хочу обидѣть подозрѣняемъ,
Я безопасенъ быть хочу, — и только.
Ты можешь честнымъ быть, что бъ я ни думалъ.

МАКДУФФЪ.

Страдай, отечество, страдай! Ликуй
Тиранство гордое! Святая правда —
Тебя не смѣетъ поразить! злодѣйствуй!
Законъ призналъ тебя. — Прощай, Малькольмъ!
За всѣ страны, подвластныя тирану,
За всѣ сокровища богатаго Востока
Я не могу быть той презрѣнной тварью,
Какой ты счелъ меня.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Не обижайся.

Мое сомнѣніе не безусловно.
Я вѣрю: край родной страдаетъ тяжко,
Довольно слезъ и крови пролито.
Охотно вѣрю, что найдутся руки
Въ защиту правъ моихъ; король Эдвардъ
Даетъ мнѣ войско, — что же будетъ дальше?
Положимъ, я попру моей погою
Тирана голову, или вонжу
Ее на мечъ мой, — бѣдная отчизна!
Ты станешь жертвою другихъ страстей!
Тебя больнѣй и глубже истерзаетъ
Наслѣдникъ Макбета.

МАКДУФФЪ

Но кто же онъ?

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Я самъ. Во мнѣ пороки вкоренились
Такъ глубоко, что дай имъ только волю,
И черный Макбетъ станетъ бѣлъ какъ снѣгъ.
Народъ, сравнивъ его съ моею злостью,
Увидитъ въ немъ ягненка.

МАКДУФФЪ.

И въ аду

Не съищешь дьявола, который могъ бы
Поспорить съ Макбетомъ въ искусствѣ зла.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Я знаю, онъ кровавъ, двуличенъ, жаденъ,
Свирѣпъ и золь, — въ немъ живы все пороки.
Но и мое безмѣрно сластолюбье:
Все ваши дочери, все ваши жены,
Все ваши дѣвушки не утолятъ
Бездонной пропасти моихъ желаній.
Я грубо ниспровергну все преграды,
Какія встрѣчу на моемъ пути.
Пусть лучше царствуетъ Макбетъ, чѣмъ я.

МАКДУФФЪ.

Конечно, сладострастіе безъ мѣры
Есть тоже зло — жестокий деспотизмъ.
Оно не разъ опустошало троны
И низводило королей. При всемъ томъ,
Чего бояться взять свое? Ты можешь
Насытить страсть свою до пресыщенья,
И вмѣстѣ съ тѣмъ воздержнымъ слыть. У насъ
Довольно дамъ, готовыхъ ко услугамъ;
И коршунъ страсти, какъ ни будь онъ жаденъ,
Не можетъ всѣхъ ихъ исклевать.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Къ тому же,

Въ моей испорченной душѣ живетъ
Ненасытимое любостяжанье.
О! будь я королемъ, я за богатство
Зарѣжу всѣхъ: кого за блескъ алмазовъ,
Кого за земли и дома. Добыча
Не утолитъ неугасимой жажды;
Напротивъ — будетъ только раздражать.

Ни преданность, ни святость не спасутъ
Богатаго отъ плахи и суда.

МАКДУФФЪ.

Да, эта страсть пускаетъ въ душу коринь
Опаснѣе и глубже сладострастья.
Она была ужасный мечъ-губитель,
Сразившій нашихъ королей. Однако
Опять я повторю: чего бояться?
Шотландія богата; ей легко
И эту жажду утолить. Повѣрь мнѣ,
При доблестяхъ иныхъ, все это сносно.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Ихъ ни единой нѣтъ во мнѣ: правдивость,
Умѣренность, терпѣніе, любовь,
Рѣшимость волю подчинить закону,
Умѣнье управлять самимъ собой,
Дать доступъ истинѣ и отличать
Заслугу скромную отъ гнусной лести, —
О! этихъ доблестей, царя достойныхъ,
Нѣтъ и слѣда во мнѣ. За то кипитъ
Въ моей душѣ водоворотъ пороковъ.
О! дай мнѣ власть, и я въ пучину ада
Сплесну елей согласія и мира,
Разрушу связь и единство вселенной.

МАКДУФФЪ.

Шотландія! Шотландія!

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Скажи,

Такой достоинъ ли быть королемъ?

А я таковъ.

МАКДУФФЪ.

Быть королемъ? — о, нѣтъ,

И просто жить онъ даже недостоинъ.

Народъ несчастный, подъ кровавымъ скиптромъ

Тирана страждущій! Когда же снова
Увидишь ты дни счастья и покоя?
Наслѣдникъ истинный своимъ признаньемъ
Самъ осудилъ себя и опозорилъ
Свой царскій родъ! — Король, отецъ твой,
Благочестивый былъ король; царица,
Тебя родившая, гораздо чаще
Молилась, чѣмъ блистала на престолѣ.
Въ тебѣ, Малькольмъ, нашелъ я всѣ пороки,
Все зло, которое меня изгнало
Изъ милой родины! Прощай! — О, сердце!
Здѣсь кончились твои надежды!

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Макдуффъ!

Твой честный гнѣвъ, дитя души открытой,
Освободилъ меня отъ подозрѣнья,
И примирилъ съ твоею честью. Макбетъ
Уже не разъ пытался хитрой ложью
Меня въ ловушку заманить; но скромность
Меня спасала: не рѣшался я
Повѣрить на слово всему, что слышалъ.
Но будь Господь свидѣтель между нами!
Отнынѣ я вполнѣ тебѣ ввѣряюсь
И всѣ слова мои беру назадъ.
Отъ всѣхъ пороковъ отрекаюсь я:
Они мнѣ чужды; я еще невиненъ;
Я клятву данную не нарушалъ;
Едва ль желалъ я своего; всегда
Хранилъ святыню данныхъ словъ, и правду
Любилъ какъ жизнь; здѣсь въ первый разъ солгалъ я
На самого себя. Но прочь, притворство!
Я твой, и весь принадлежу отчизнѣ;
Туда еще до твоего приѣзда
Готовились идти: старикъ Сивардъ
И съ нимъ двѣнадцать тысячъ войска.

Теперь и мы соединимся съ ними.
Господь за праваго! Зачѣмъ молчишь ты?

МАКДУФФЪ.

Меня смутилъ внезапный переходъ
Отъ горя къ радости.

(Входитъ докторъ.)

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Довольно; послѣ. —

Его величество сегодня выйдеть?

ДОКТОРЪ.

Да; тамъ ужъ ждетъ его толпа несчастныхъ.
Болѣзни ихъ наукѣ недоступны,
Но Богъ благословилъ его десницу: —
Едва рукой коснется онъ страдальца,
И онъ здоровъ.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Благодарю васъ, докторъ.

(Докторъ уходитъ.)

МАКДУФФЪ.

Что за болѣзнь?

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Ее зовутъ здѣсь немощь,

И добрый царь творить надъ нею чудо.
Съ тѣхъ поръ, какъ я здѣсь въ Англии, не разъ
Онъ совершалъ его въ моихъ глазахъ.
Какъ молится онъ Господу, не знаю,
Но только онъ страдальцевъ исцѣляетъ,
Покрытыхъ язвами; врачей наука
Отъ недуга ихъ отеклась, и страшно
На нихъ взглянуть; но онъ съ святой молитвой
На шею налагая имъ монету,
Врачуетъ ихъ. Въ народѣ говорятъ,
Что царственнымъ потомкамъ передастъ онъ
Свой дивный даръ; съ цѣлительною силой
Онъ одаренъ и духомъ прорицанья.

Престоль его украшенъ чудесами; —
Знать благодати преисполненъ онъ!

(Входитъ Россє.)

МАКДУФФЪ.

Кто это тамъ ?

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Землякъ, но кто — не знаю.

МАКДУФФЪ.

А! здравствуй, милый братъ!

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Теперь узналъ я!

О, Господи! скорѣе уничтожь

Все то, чѣмъ чужды мы другъ другу!

РОССЕ.

Аминь!

МАКДУФФЪ.

Ну, что въ Шотландіи? все то же?

РОССЕ.

Страна несчастная! увы, ей страшно

И оглянуться на себя. Для насъ

Она не мать, а темная могила.

Улыбки тамъ не встрѣтишь на лицѣ;

На стонъ и вопль, звучащій безъ умолку,

Никто не обращаетъ и вниманья;

Печаль слыветъ за пошлое безумство,

При мрачномъ звукѣ похоронной мѣди

Едва ль кто вздумаетъ спросить: по комъ?

И люди мрутъ, съ болѣзною не знакомясь,

Какъ вянетъ сорванный цвѣтокъ.

МАКДУФФЪ.

Ужасный,

Но вѣрный очеркъ.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Кто погибъ послѣдній?

РОССЕ.

Кто вздумаетъ разсказывать о томъ ,
Что было часъ назадъ , того освищутъ.
Тамъ что ни мигъ то новое несчастье.

МАКДУФФЪ.

А что жена ?

РОССЕ.

Что ? ничего.

МАКДУФФЪ.

А дѣти ?

РОССЕ.

И дѣти тоже.

МАКДУФФЪ.

Извергъ не нарушилъ

Покоя ихъ ?

РОССЕ.

Нѣтъ , при моемъ отъѣздѣ

Они покойны были.

МАКДУФФЪ.

Не скупись ,

Словами , Россъ ; что , каково имъ ?

РОССЕ.

Когда я выѣхалъ съ душой , отягощенной
Вѣстями горькими , пронесся слухъ ,
Что многія изъ знатныхъ лицъ убиты ;
Я этому повѣрилъ тѣмъ скорѣ ,
Что былъ свидѣтелемъ движенья въ войскѣ.
Теперь часъ помощи насталъ : явитесь ,
И взоръ вашъ будетъ создавать солдатовъ ;
Чтобъ ужасъ бѣдствій прекратить , возьмутся
За мечъ и женщины.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Мы въ путь готовы.

Король Эдвардъ даетъ намъ въ помощь войско

И храбраго вождя : старикъ Сейвардъ

Славнѣйшій изъ воителей Христа.

РОССЕ.

О, еслибъ я на радостныя вѣсти
Могъ вѣстью радостною отвѣчать!
Но нѣтъ!... я слово вамъ принесъ, — друзья! —
Ему въ степи бы прозвучать глухой,
И не коснуться бы людскаго слуха!

МАКДУФФЪ.

Къ кому относится оно? ко всѣмъ?
Иль горе частное заключено въ немъ?

РОССЕ.

Въ комъ сердце есть, тотъ будетъ огорченъ;
Но ты особенно.

МАКДУФФЪ.

Такъ говори!

Скорѣй!

РОССЕ.

Не прокляни же мой языкъ;
Онъ поразитъ твой слухъ ужасной вѣстью.

МАКДУФФЪ.

Гмъ! я предчувствую.

РОССЕ.

Твой замокъ взять.

Жену, дѣтей, — зарѣзали безчеловѣчно.
Разсказывать подробно я не стану,
Я не хочу къ окровавленнымъ трупамъ
Прибавить новый трупъ.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Творецъ небесный!

Макдуффъ! не надвигай на брови шляпу;
Дай скорби вылиться въ словахъ; иначе
Она невидимо источитъ жизнь.

МАКДУФФЪ.

Такъ и дѣтей?

РОССЕ.

Жену, дѣтей, васалловъ, —

Все, что могли найти.

МАКДУФФЪ.

А я былъ здѣсь!

Такъ и жену?

РОССЕ.

Да, и жену.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Мужайся!

Пойдемъ, и эту рану сердца

Пусть безошадная излечить мечь.

МАКДУФФЪ.

Макбетъ бездѣтенъ!... Всѣхъ моихъ малютокъ?

Всѣхъ, говоришь ты?... Адскій коршунъ!... Всѣхъ?

Птенцовъ и мать однимъ налетомъ?... Дьяволъ!

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Снеси несчастье, какъ мужъ.

МАКДУФФЪ.

Снесу:

Но я и чувствую его какъ мужъ.

Я не могу не вспоминать о томъ,

Что было для меня дороже жизни. —

И небо не вступилось?! Грѣшный Макдуффъ!

Они погибли за тебя! Презрѣнный!

Не за свои грѣхи они убиты,

А за твои! О Боже, упокой ихъ!

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Точи свой мечъ на этомъ камнѣ, Макдуффъ;

Дай волю сердцу, растравляй страданье,

Дай скорби превратиться въ гнѣвъ.

МАКДУФФЪ.

Я могъ бы

Какъ женщина залиться горькимъ плачемъ,

Храбриться на словахъ! — Но, Боже, Боже!

Не отлагай суда! лицомъ-къ-лицу

Сведи меня съ Шотландіи тираномъ!

Дай мнѣ сойтись съ нимъ на длину меча,

И если онъ уйдетъ живой, — тогда
О, Господи, прости ему и Ты.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Слова, достойныя мужчины. —
Пойдемте къ королю; войска готовы. —
Теперь простимся, и въ походъ. Макбетъ
Созрѣлъ для гибели, и мечъ небесный
Ужъ занесенъ; пусть доживаетъ день свой,
Ночь безразсвѣтная близка.

(Уходятъ.)

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

СЦЕНА I.

Донзиганъ. Комната въ замкѣ.

Входятъ докторъ и придворная дама.

ДОКТОРЪ.

Вотъ уже двѣ ночи, какъ я на сторожѣ вмѣстѣ съ
вами, и разсказъ вашъ все еще не подтверждается.
Когда блуждала она въ послѣдній разъ?

ДАМА.

Съ тѣхъ поръ какъ его величество отправился въ по-
ходъ, я не разъ видѣла, какъ она встаетъ съ постели,
набрасываетъ ночное платье, открываетъ бюро, беретъ
бумагу, пишетъ, складываетъ ее, запечатываетъ, и по-
томъ опять ложится. И все это въ глубочайшемъ снѣ.

ДОКТОРЪ.

Страшное разстройство организма! Наслаждаться
благодѣяніемъ сна и въ то же время исполнять дѣла
дневныя! — Кромѣ этихъ прогулокъ во время сна и
другихъ движеній, не замѣтили ли вы, чтобъ она что
нибудь говорила?

ДАМА.

Да, слова, которыхъ я не повторю.

ДОКТОРЪ.

Мнѣ можно; это даже необходимо.

ДАМА.

Ни вамъ, и ни кому на свѣтѣ. У меня нѣтъ свидѣтелей, которые подтвердили бы сказанное.

(Входитъ лэди Макбетъ, со свѣчей.)

Смотрите! вотъ она идетъ. Всегда такъ. И, клянусь вамъ, она спитъ. Замѣчайте; подойдите ближе.

ДОКТОРЪ.

Гдѣ она взяла свѣчу?

ДАМА.

Свѣча стояла возлѣ нея. Это всегда такъ. Она сама приказала.

ДОКТОРЪ.

Вы видите, глаза открыты.

ДАМА.

Но чувство ихъ закрыто.

ДОКТОРЪ.

Что это она дѣлаетъ? Смотрите; какъ третъ она руки.

ДАМА.

Это ея привычка; какъ-будто моетъ ихъ. Мнѣ случилось видѣть, что она занимается этимъ минутъ двадцать.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Вотъ еще пятно.

ДОКТОРЪ.

Тсъ! она говоритъ. Я запишу слова ея, чтобъ лучше упомянуть.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Прочь, проклятое пятно! прочь, говорю я! — Разъ, два, — пора за дѣло. — Преисподняя мрачна.... Стыдись! солдатъ и бояться? Какое дѣло, знаютъ, нѣтъ ли; кто позоветъ насъ къ отвѣту?... Однако кто бы могъ подумать, что въ старикѣ такъ много крови?

ДОКТОРЪ.

Слышите?

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

У тана Фейфскаго была жена; гдѣ она теперь? — Какъ? Не-ужь-ли эти руки никогда не вымоются до чиста?... Полно, другъ мой, полно объ этомъ; ты все дѣло испортишь своей пугливостью.

ДОКТОРЪ.

Продолжай, продолжай! Ты узнала, чего тебѣ не должно бы было знать.

ДАМА.

По-крайней-мѣрѣ сказала, чего не должна была говорить. Одному Богу извѣстно, что она узнала.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Все еще пахнетъ кровью. Всѣ ароматы Аравіи не очистятъ этой маленькой руки. О! о! о!

ДОКТОРЪ.

Что за вздохъ! Тяжело у нея на сердцѣ!

ДАМА.

Такого сердца я не согласилась бы носить въ груди за все величіе ея сана.

ДОКТОРЪ.

Да, да.

ДАМА.

Успокой ее Господи!

ДОКТОРЪ.

Эта болѣзнь выше моего искусства. Я зналъ однако же людей, которые блуждали во снѣ и скончались въ мирѣ, на смертномъ одрѣ своемъ.

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Умой руки, набрось ночное платье. Какъ ты блѣденъ! — Я говорю тебѣ: Банко похороненъ; онъ не можетъ встать изъ могилы.

ДОКТОРЪ.

Право?

ЛЭДИ МАКБЕТЪ.

Въ постель! въ постель! Слышишь: стучать въ во-
рота. Пойдемъ, пойдемъ, пойдемъ! дай мнѣ твою ру-
ку. Что сдѣлано, то сдѣлано. — Въ постель! въ по-
стель!

(Уходитъ.)

ДОКТОРЪ.

И она ляжетъ теперь?

ДАМА.

Непремѣнно.

ДОКТОРЪ.

Въ народѣ носятся дурные слухи.

Дѣла неслыханныя порождаютъ

И страхъ неслыханный; больная совѣсть

Глухимъ подушкамъ повѣряетъ тайну.

Священникъ ей нужнѣй врача. — О, Боже!

Прости намъ всѣмъ! — Вамъ надо удалить

Всѣ острия оружья отъ милэди

И не сводить съ ней глазъ. — Теперь прощайте.

Она встревожила мой умъ и взоры!

Я думаю, но говорить не смѣю.

ДАМА.

Покойной ночи, докторъ.

(Уходитъ.)

СЦЕНА II.

Поле недалеко отъ Донзинана.

Входятъ Ментеть, Катнесъ, Августъ, Ленокъ и войско, съ распущен-
ными знаменами и барабаннымъ боемъ.

МЕНТЕТЬ.

— Британскія войска недалеко.

Малькольмъ, Сивардъ и прямодушный Макдуффъ

Ведутъ ихъ въ битву, пламенѣя мщеньемъ.

Обиды ихъ зажгли бы жажду крови

Въ душѣ отшельника.

АНГУСЬ.

Они пойдутъ
Черезъ бирнамскій лѣсъ; мы тамъ ихъ встрѣтимъ.

КАТНЕССЪ.

Кто знаетъ: Дональбайнъ при братѣ?

ЛЕНОКСЪ.

Нѣтъ;

Вотъ списокъ всѣхъ дворянъ; тамъ сынъ Сиварда
И много юношей, схватившихъ мечъ
На подвигъ мужества.

МЕНТЕТЬ.

А что тиранъ?

КАТНЕССЪ.

Онъ укрѣпляетъ Донзинанскій замокъ.
Сошелъ съ ума, какъ говорятъ; другіе,
Напротивъ, въ бѣшенствѣ его находятъ
Черту геройства. Несомнѣнно то,
Что онъ не въ силахъ устоять.

АНГУСЬ.

Теперь

Онъ чувствуетъ, какъ тайныя убійства
Сломали силу въ немъ; повсюду бунты —
Улики собственнаго вѣроломства;
Войска — идутъ не изъ любви, а страха;
Теперь онъ чувствуетъ, что царскій санъ
Виситъ на немъ, какъ панцырь великана,
Надѣтый карликомъ.

МЕНТЕТЬ.

Понятно

Какъ падшій духъ смутился отъ проклятій
Преступной совѣсти.

КАТНЕССЪ.

Друзья, идемъ

На встрѣчу истинному королю,

Врачу больного государства; съ нимъ
Всю нашу кровь прольемъ для исцѣленья
Страны родной.

ЛЕНОКСЪ.

Мы ею оросимъ

Нашъ царственный цвѣтокъ, и вырвемъ терны.

Идемте же, въ Бирнамъ!

(Уходятъ.)

СЦЕНА III.

Донзипанъ. Комната въ замкѣ.

Входятъ Макбетъ, докторъ и свита.

МАКБЕТЪ.

Впередъ съ докладами не приходите!

Пусть все бѣгутъ; пока бирнамскій лѣсъ

Не двинулся на Донзипанскій замокъ,

Страхъ не знакомъ мнѣ! Что дитя Малькольмъ?

Иль онъ не женщиной рожденъ? «*Не бойся,*

Сказали духи мнѣ, — а имъ открыты

Судьбы людей, — *тебѣ не повредитъ*

Рожденный женщиной. — Бѣгите жъ, таны!

Бѣгите къ Англіи изнѣженнымъ сынамъ!

Мой крѣпокъ духъ и сердцу не смутиться;

Сомнѣнья чужды мнѣ и страхъ мнѣ незнакомъ.

(Входитъ слуга.)

— Чтобъ почернѣть тебѣ въ когтяхъ у чорта!

Глядитъ какъ гусь! Чего ты поблѣднѣлъ?

СЛУГА.

Тамъ десять тысячъ....

МАКБЕТЪ.

Да, гусей, конечно?

СЛУГА.

Солдатовъ, государь.

МАКБЕТЬ.

Возьми румянь,
Замажь свой страхъ. Что за солдаты, баба?
Чтобъ чортъ тебя унесъ! Ты только годень
Пугать другихъ. Что за солдаты, трусь?

СЛУГА.

Британскія войска, мой государь.

МАКБЕТЬ.

Пошелъ же!... Сейтонъ! мнѣ тѣснить въ груди
Когда подумая, — Сейтонъ! — что этотъ бой
Покончить все: убьеть или излечить.
Довольно долго пожилъ я; мой май
Промчался быстро; желтыми листьями
Опалъ моей весны увядшій цвѣтъ.
Но гдѣ же спутники преклонныхъ лѣтъ?
Любовь, почтеніе, кружокъ друзей, —
Ихъ мнѣ не ждать. А вмѣсто ихъ — проклятья
На днѣ сердець, и лесть на языкѣ;
Ихъ жалкій родъ и въ ней бы отказалъ мнѣ,
Когда бы смѣлъ. — Сейтонъ!

СЕЙТОНЪ, входя.

Здѣсь, государь.

МАКБЕТЬ.

Что новаго?

СЕЙТОНЪ.

Все оказалось правдой

О чемъ докладывали, государь.

МАКБЕТЬ.

Такъ я дерусь, пока мнѣ не обрубятъ
Всѣ мышцы съ остова. Подать мнѣ панцырь!

СЕЙТОНЪ.

Еще успѣете.

МАКБЕТЬ.

Подать, я говорю! —

Пошли за валъ еще кавалеристовъ, —

И вѣшать всѣхъ, кто только заикнется
О страхѣ предъ врагомъ.... Подай мнѣ панцырь....
А что твоя больная, докторъ?

ДОКТОРЪ.

Страждеть

Подъ гнетомъ мрачныхъ и тяжелыхъ грезъ.

МАКБЕТЪ.

Ну, что же? вылечи ее. Иль ты
Больной души не можешь исцѣлить?
Не можешь грусть изъ сердца вырвать съ корнемъ,
Изгладить врѣзанную въ мозгъ заботу,
И сладкимъ усыпляющимъ лекарствомъ
Очистить грудь отъ ядовитой дряни?

ДОКТОРЪ.

Отъ этихъ недуговъ я не лечу.
Пусть самъ больной отыскиваетъ средства.

МАКБЕТЪ.

Такъ брось же псамъ твои лекарства; что въ нихъ?...
Подай мнѣ шлемъ! Гдѣ мечъ мой?... Дай... не надо....
Всѣ таны, докторъ, отъ меня бѣгутъ....
Скорѣе, Сейтонъ!... Еслибы ты могъ
Узнать болѣзнь моихъ владѣній, докторъ,
И возвратитъ имъ крѣпость прежнихъ лѣтъ,
Я эхъ пробудилъ бы славою твоей....
Прими, я говорю.... Какія травы,
Какіе корни, порошки, пилюли,
Избавятъ насъ отъ Англичанъ? Ты слышалъ?

ДОКТОРЪ.

Я вижу, государь, приготовленья
Для встрѣчи ихъ.

МАКБЕТЪ.

На, отнеси за мною....

Пока не тронулся бирнамскій лѣсъ,
Все вздоръ, — ни ядъ, ни мечъ мнѣ не опасны.

(Уходитъ.)

ДОКТОРЪ.

Дай только Богъ уйти изъ Донзинана!

За горы золота не возвращусь.

(Уходитъ.)

СЦЕНА IV.

Поле недалеко отъ Донзинана. Вдали виднѣтъ лѣсъ.

Входятъ Малькольмъ, Сивардъ, сынъ его, Макдуффъ. Ментетъ, Каннессъ, Ангусъ, Ленокъ, Россъ. За ними идетъ войско, съ барабаннымъ боемъ и распушенными знаменами.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

И такъ, друзья, мы можемъ утѣшаться,

Что близокъ часъ, когда подъ мирной кровлей

Начнемъ мы жизнь, свободную отъ страха.

МАГБЕТЪ.

Въ томъ нѣтъ сомнѣнья.

СИВАРДЪ.

Что это за лѣсъ?

МЕНТЕТЪ.

Бирнамскій лѣсъ.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Пусть каждый изъ солдатъ

Отрубить вѣтвь; подъ тѣнью ихъ мы скроемъ

Число людей, и врагъ нашъ ошибется.

СОЛДАТЪ.

Слушаемъ.

СИВАРДЪ

Мы слышимъ, что тиранъ, надежды полный,

Засѣлъ въ стѣнахъ, и ждетъ осады замка.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Да, Донзинанъ — его оплотъ послѣдній;

Всѣ отложились отъ него; вельможа

И бѣдный рабъ бѣгутъ, нашедши случай.

А кто остался по неволѣ съ нимъ,
Тотъ сердцемъ далеко.

МАКДУФЪ.

Дождемся слѣдствій,

Они разсудятъ лучше словъ. Впередъ!

СИВАРДЪ.

Идемте. Дѣло разрѣшитъ вопросъ.

Надежда словъ — пустой, невѣрный призракъ;

Ударъ меча ее осуществитъ.

Идемъ.

(Уходятъ.)

СЦЕНА V.

Донзиганъ. Дворъ внутри замка.

Входятъ Макбетъ, Сейтонъ и солдаты съ знаменами и барабаннымъ боемъ

МАКБЕТЪ.

Знамена выставить на укрѣпленьяхъ!

Отвсюду слышенъ крикъ: идутъ! идутъ!

Мой замокъ крѣпокъ, пусть ведутъ осаду;

Она смѣшна. Подъ этими стѣнами

Дождутся голода или чумы!

Не будь у нихъ такъ много нашихъ тановъ,

Я встрѣтилъ бы гостей лицомъ къ лицу,

И съ честью проводилъ бы ихъ домой....

Что тамъ за крикъ?

СЕЙТОНЪ.

Какъ будто женскій вопль.

(Уходитъ.)

МАКБЕТЪ.

Я позабылъ почти, что значить страхъ.

А было время, — замирали чувства

При крикѣ Филина; отъ страшныхъ сказокъ

Вставали волосы на головѣ,

Какъ-будто въ нихъ дышала жизнь! — Я сытъ;
Всѣхъ ужасовъ полна моя душа,
И трепетать я не могу.

(Сейтонъ возвращается.)

Ну, что тамъ?

СЕЙТОНЪ.

Ея величество скончалась, государь.

МАКБЕТЪ.

Она могла бы умереть и позже.
Всегда бы въ время поспѣла эта вѣсть....
Да! завтра, завтра, и все тоже завтра
Скользятъ невидимо со дня на день,
И по складамъ отсчитываетъ время;
А всѣ вчера глупцамъ лишь озаряли
Дорогу въ гробъ. Такъ догарай, огарокъ!
Что жизнь? тѣнь мимолетная, фигляръ,
Неистово шумящій на помостѣ,
И черезъ часъ забытый всѣми; сказка
Въ устахъ глупца, богатая словами
И звономъ фразъ, но нищая значеньемъ!

(Входитъ вѣстникъ.)

Ты хочешь что-то говорить, — скорѣй!

ВѢСТНИКЪ.

Я долженъ доложить о томъ, что видѣлъ,
Но истинно, не знаю, какъ сказать.

МАКБЕТЪ.

Что жь, говори.

ВѢСТНИКЪ.

Стоявши на часахъ
Взглянулъ съ горы я на бирнамскій лѣсъ;
Гляжу, — и вдругъ мнѣ показалось, будто....
Онъ движется.

МАКБЕТЪ.

Ты лжешь!

(Бьетъ его.)

ВѢСТНИКЪ.

Когда я лгу,
Пусть на меня падетъ вашъ гнѣвъ. Взгляните!
Я говорю вамъ, онъ идетъ. Отсюда видно.

МАКБЕТЪ.

Послушай! если ты солгалъ, — живому
На первомъ деревѣ тебѣ висѣть,
Пока отъ голода ты не изсохнешь!
Но если правду ты сказалъ, — тогда
Мнѣ все равно, повѣсь меня, пожалуй....
Моя увѣренность поколебалась;
Въ словахъ врага двойной я вижу смыслъ.
Онъ жетъ и въ истинѣ: *«не бойся, Макбетъ,
Пока не двинется бирнамскій лѣсъ!»*
И вотъ онъ двинулся. — Такъ въ поле! въ поле!
Теперь мнѣ все равно, спасенья нѣтъ.
Мнѣ опротивѣлъ этотъ свѣтъ! иду!
И если пасть мнѣ суждено, паду
Съ мечомъ въ рукахъ. — Ударить сборъ, тревогу!
О, еслибъ міръ разрушился со мною!

(Уходить.)

СЦЕНА VI.

Тамъ же. Долина передъ замкомъ.

Входятъ Малькольмъ, старикъ Сиварль, Макдуффъ и другіе. За ними войско съ распущенными знаменами и барабаннымъ боемъ. Солдаты держатъ въ рукахъ вѣтви.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Мы подошли теперь довольно близко;
Пора явиться въ настоящемъ видѣ.
Отбросьте вѣтви! — Вы, почтенный дядя,
И братъ, вашъ храбрый, благородный сынъ,
Вы поведете авангардъ, а мы,

И храбрый Макдуффъ, мы распорядимся
Всѣмъ остальнымъ, согласно съ нашимъ планомъ.

СИВАРДЪ.

Намъ лишь бы засвѣтло сойтись съ врагомъ;
А тамъ — умремъ иль побѣдимъ.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Трубите!

(Уходятъ.)

СЦЕНА VII.

Тамъ же. Другая часть равнины.

Входитъ Макбетъ.

МАКБЕТЪ.

— Я окруженъ; бѣжать нельзя;
Какъ звѣрь, за жизнь я принужденъ сражаться! —
Но гдѣ же тотъ, кто не рожденъ женой?
Его боюсь я, — больше никого.

(Входитъ молодой Сивардъ.)

МОЛОДОЙ СИВАРДЪ.

Кто ты?

МАКБЕТЪ.

Не спрашивай; ты ужаснешься
При имени моемъ.

МОЛОДОЙ СИВАРДЪ.

Нѣтъ, никогда!

Хоть будь оно ужаснѣй всѣхъ именъ,
Какія слышатся въ аду.

МАКБЕТЪ.

Я Макбетъ.

МОЛОДОЙ СИВАРДЪ.

Самъ сатана не могъ бы произнести
Мнѣ болѣе ненавистнаго звука.

МАКБЕТЪ.

И болѣе ужаснаго.

МОЛОДОЙ СИВАРДЪ.

Ты лжешь!

Я докажу тебѣ мечомъ , презрѣнный ,
Что ты солгалъ.

(Они сражаются. Молодой Сивардъ падаетъ.)

МАКБЕТЪ.

Ты женщиной рожденъ,

Смѣшонъ мнѣ мечъ — безвредный и тупой
Въ рукѣ рожденнаго на свѣтъ женой.

(Уходитъ. Шумъ битвы продолжается. Входитъ Макдуффъ.)

МАКДУФФЪ.

Шумъ битвы здѣсь. — Но гдѣ же ты, тиранъ?

Явись! О, если отъ чужой руки

Погибнешь ты, мнѣ не найти покоя

Отъ призраковъ малютокъ и жены.

Я не могу рубить наемныхъ Керновъ;

Съ тобою, Макбетъ, мы поспоримъ на смерть,

Иль мечъ въ ножны вложу я безъ удара.

Ты вѣрно тамъ: по громкимъ кликамъ слышно,

Что знатный бьется тамъ боецъ. О, счастье!

Я объ одномъ тебя молю: сведи насъ вмѣстѣ!

(Уходитъ. Шумъ продолжается. Входятъ Малькольмъ и Сивардъ старикъ.)

СИВАРДЪ.

Сюда, мой принцъ! намъ замокъ сдался скоро;

Солдаты похитителя дерутся

За насъ и противъ насъ; еще не много

И врагъ разбить.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Да, онъ дерется плохо.

СИВАРДЪ.

Войдите въ замокъ.

(Они уходятъ. Макбетъ возвращается.)

МАКБЕТЪ.

Къ чему играть мнѣ римскаго глушца

И пастъ на собственный свой мечъ?

Пока передо мной живые люди, —
Имъ лучше раны наносить.

МАКДУФФЪ, входя.

Стой, извергъ!

МАКБЕТЪ.

Изъ всѣхъ людей я избѣгалъ тебя.
Ступай! Душа моя уже довольно
Запачкана твоею кровью, Макдуффъ!

МАКДУФФЪ.

Мой мечъ — языкъ мой; у меня нѣтъ словъ,
И имъ не выразить, какъ гнусенъ ты.

(Они сражаются.)

МАКБЕТЪ.

Напрасно ты теряешь трудъ, Макдуффъ;
Твой острый мечъ, скорѣе можетъ ранить
Нераздѣлимый воздухъ, чѣмъ меня.
Побереги его, онъ пригодится
Для черепа, доступнаго желѣзу;
А я заговоренъ; мнѣ не опасенъ
Рожденный женщиной.

МАКДУФФЪ.

Разочаруйся жь,

И знай, слугитель сатаны, что Макдуффъ
Изъ чрева вырѣзанъ, а не рожденъ.

МАКБЕТЪ.

Будь проклятъ твой языкъ за это слово!
Онъ вырвалъ бодрость изъ моей души.
Да будутъ прокляты и силы ада!
Онѣ дурачатъ насъ: въ словахъ коварныхъ
Сулятъ успѣхъ — и поражаютъ дѣломъ.
Я не дерусь съ тобой.

МАКДУФФЪ.

Такъ сдайся, трусь.

Ты рѣдкій звѣрь; народу на потѣху
Мы въ клѣткѣ выставимъ тебя; пусть смотрять
На изверга, какого не бывало.

МАКБЕТЪ.

Мнѣ сдаться? Жить на поруганье черни?
Мнѣ ползать и лизать Малькольму ноги?
Нѣтъ, никогда! Хотя бирнамскій лѣсъ
И двинулся на донзинанскій замокъ,
Хотя ты женщиной и не рожденъ, —
Послѣднее хочу я испытать:
Вотъ щитъ мой на груди, — руби, Макдуффъ!
И проклять будь, кто первый скажетъ: стой!

(Они уходятъ сражаясь. Отступленіе. Входятъ: Малькольмъ, старикъ Сивардъ, Россе, Ленокъ, Августъ, Катнесъ, Мектеъ и войско съ распущенными знаменами и барабаннымъ боемъ.)

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Дай Богъ, чтобъ всѣ явились на лицо.

СИВАРДЪ.

Инымъ и не явиться; но побѣда
Досталась дешево.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Макдуффа нѣтъ

И сына вашего.

РОССЕ.

Вашъ сынъ окончилъ

Свой счетъ съ войной. Онъ выступилъ какъ отрокъ,
И палъ какъ мужъ, на шагъ не отступая.

СИВАРДЪ.

Такъ онъ убитъ?

РОССЕ.

И съ поля унесенъ.

Забудьте доблести его; иначе
Безмѣрна будетъ ваша скорбь.

СИВАРДЪ.

Онъ раненъ спереди?

РОССЕ.

Да, прямо въ грудь.

СИВАРДЪ.

Такъ будь же, сынъ мой, ратникомъ Господнимъ!

Будь у меня хоть тысяча сыновъ,
Я всѣмъ имъ лучшей не желаю смерти.

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Объ немъ нельзя не пожалѣть.

СИВАРДЪ.

Довольно.

Онъ честно разсчитался съ жизнью, — Богъ съ нимъ! —
Вотъ новая и радостная вѣсть.

(Входитъ Макдуффъ, съ головою Макбета на копьѣ.)

МАКДУФФЪ.

Да здравствуетъ король! Смотри, Малькольмъ!

Вотъ хищника проклятая глава!

Свободенъ міръ! Вокругъ тебя я вижу

Всѣ перлы трона твоего; друзья!

Воскликнемъ же отъ сердца глубины:

Да здравствуетъ Малькольмъ, король шотландскій!

ВСѢ.

Да здравствуетъ Малькольмъ, король шотландскій!

МАЛЬКОЛЬМЪ.

Мое спасибо не замедлитъ.... Таны!

Отнынѣ графы вы, и этимъ титуломъ

Шотландія привѣтствуетъ васъ первыхъ....

Все прочее, что предстоитъ исполнить:

Призвать друзей, бѣжавшихъ изъ отчизны

Искать спасенья отъ сѣтей тирана;

Открыть помощниковъ царевѣицы

И злой жены его, какъ слышно, павшей

Отъ собственной руки, — мы все исполнимъ

Съ Господней помощью; а между-тѣмъ

Благодаримъ васъ всѣхъ и просимъ въ Скопъ

На торжество коронованья.

(Уходятъ при звукахъ трубъ.)

МАРТИНГАЛЪ.

(ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ГРОБОВЩИКА.)

КНЯЗЯ В . О . ОДОЕВСКАГО.

МАРТИНГАЛЬ.

(ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ГРОБОВЩИКА.)

.... Не все для мертвыхъ — однажды мнѣ случилось поработать и для живыхъ. Странная была исторія — никогда ея не забуду. Видите : нашла какая-то полоса, не знаю какъ ее назвать, счастливая или несчастная, но для меня, по-крайней-мѣрѣ очень убыточная ; какъ бы вамъ сказать поблагоприличіе , покось былъ плохой, то есть не было требованій на мое издѣлье.... Оно, въ общемъ смыслѣ, можетъ-быть, было и очень хорошо, да для меня-то очень дурно ; что дурно ? просто бѣда да и только ! не соблазняйтесь , сдѣлайте милость, моими словами ; не я въ томъ виноватъ ; ужь такъ свѣтъ устроенъ, что почти всякій прибытокъ живетъ на счетъ чужаго несчастья. Ужь, кажется, что можетъ быть почтеніе докторскаго дѣла ; тутъ нужно и ученье, и твердость духа, и благородство, и самоотверженіе, словомъ, вся любовь человѣческая, — а разберите-ка хорошенько, такъ и выдетъ, что его ремесло хуже моего ; я по-крайней-мѣрѣ работаю — для другихъ, да и для себя, а бѣдный докторъ именно противъ себя работаетъ ; тутъ ужь какъ ни вертись, и ночи просиживай, и хлопочи надъ больнымъ, и подымай цѣлый свѣтъ, чтобъ его вылечить — все такъ ; кажется, вся

цѣль именно въ томъ, чтобы не было вовсе больныхъ, а достигни цѣли, не будь больныхъ — филантропу и придется зубы положить на полку. Что тутъ дѣлать! ужь такъ свѣтъ устроенъ, говорю вамъ; зачѣмъ оно такъ? должно ли оно быть такъ? на долго ли такъ? это до меня не касается; знаю только, что такъ свѣтъ покуда устроенъ: дѣло коммерческое! И, кажется, радъ, что не видишь слезъ, что не слышишь рыданья, — а съ другой стороны посмотришь: и женѣ нужна обнова, и дѣтямъ игрушка, и себѣ бутылка пива, да и товаръ закупишь, работники безъ дѣла, векселямъ срокъ близко, даже и о банкротствѣ помышляешь, — вотъ мысли иначе и свернутся.

Такъ не судите жь меня, что я волею и неволею горевалъ надъ чужимъ счастьемъ. Чтобы не терять понапрасну времени, я заготовилъ два экземпляра моего издѣлья и на досугѣ снарядилъ какъ нельзя лучше: доски сухія, бархатъ настоящій французскій, гвозди полированные — любо-дорого смотрѣть, я таки, признаюсь, и посматривалъ, да, такъ сказать, немножко подумывалъ: не пошлетъ ли судьба — *желающаго*.

Смотрю — къ окошку прильнули два лица, глядятъ пристально на мою выставку, переговариваются, — видно поправилась — я жду: что-то будетъ! — а между-тѣмъ, нѣчего грѣха таить, въ головѣ у меня такъ и завертѣлся чепчикъ, котораго просила Энхенъ къ балу на будущей недѣлѣ у нашего сосѣда-портнаго. Житейское дѣло, сударь! все на свѣтѣ ассигнація! у одного изъ бумаги, у другаго изъ полугара, у третьяго изъ мягкой спины, у четвертаго изъ досокъ и обита бархатомъ, — а на повѣрку все то же: какъ бы размѣнять свою ассигнацію! Наконецъ, звонокъ зазвенѣлъ и въ рабочую вошли два человѣка.

Одинъ ужь пожилой, съ черными усами, пресуровой осанки, и какъ теперь смотрю въ синей венгеркѣ; дру-

гой, молодой, блѣдный какъ смерть, съ покраснѣвшими глазами и отчаяннымъ видомъ.

— А что оба? — сказалъ мнѣ пожилой отрывистымъ басомъ, указывая на мое издѣлье.

— Оба?... спросилъ я невольно.

— Ну, оба? что же? развѣ странно?

Я сказалъ цѣну.

— А дешевле?

— Я не торгуюсь.

— Готовы?

— Нѣтъ! еще винты надобно приладить, — чтобы остановки не было, знаете, когда.... впрочемъ, это минутное дѣло....

Человѣкъ въ венгеркѣ вынулъ деньги, положилъ ихъ на столъ, промолвилъ: — завтра, въ такой-то домъ, въ девять часовъ утра.... и тихими шагами пошелъ къ дверямъ; за нимъ побрелъ и молодой человѣкъ, — я не могъ не замѣтить, что онъ трясся какъ въ лихорадкѣ.

Признаюсь, я взялъ деньги, пересчиталъ ихъ, и не безъ удовольствія, по на умѣ у меня было и одинъ и два: «что тутъ такое?» думалъ я «комедія, или трагедія, или такъ, просто, обыкновенное житейское дѣло? мои *желающіе* что-то смотреть такъ странно; тутъ не одно горе, — примѣтался я къ нему, — тутъ что-то такое....» но я терялся въ догадкахъ.

Послѣ обѣда вышелъ я со двора для закупки кое-чего домашняго; подхожу къ Мойкѣ; вижу кто-то шагаетъ по набережной самымъ романтическимъ образомъ (тогда еще романтизмъ только-что входилъ въ моду) — пройдетъ нѣсколько шаговъ, потомъ остановится, мрачно посмотритъ на зіяющую бездну, то-есть на Мойку, и опять шагаетъ-шагаетъ, опять остановится, вынетъ изъ кармана то какую-то записку, то платокъ, и по очереди прикладываетъ къ лицу, а иногда

и обѣ вещи вмѣстѣ прижметъ къ груди и — опять положить въ карманъ. Глядь — это мой юноша, утренній посѣтитель, одинъ изъ *желающихъ*. Его странныя эволюціи не обращали ни малѣйшаго вниманія всегда озабоченныхъ Петербуржцевъ; — мало-ли людей останавливаются смотрѣть на пріятное теченіе Мойки? — о вкусахъ спорить нельзя, — но для меня эти эволюціи имѣли какой-то темный смыслъ, который, по разнымъ причинамъ, какъ вы легко можете себѣ вообразить, мнѣ хотѣлось разгадать, хоть скольконибудь. Я своротилъ на тротуаръ и пошелъ вслѣдъ за мрачнымъ юношею; скоро я догналъ его, снялъ шляпу и очень вѣжливо освѣдомился о его здоровьи. Мой герой въ первую минуту не узналъ меня и я принужденъ былъ ему напомнить, что давеча утромъ *имѣлъ удовольствіе* съ нимъ познакомиться. Герой вздрогнулъ. Это однакоже меня не остановило; мы шли въ одну и ту же сторону, своротить въ улицу было некуда, и волею и неволею романтической юноша долженъ былъ подвергнуться моимъ тонкимъ разспросамъ. Вы знаете, въ карманъ я за словомъ не хожу, обучался-таки немножко, слыхалъ про то и другое (*), вотъ я и началъ стороною и о красотѣ природы вообще и Мойки въ особенности, о бренности міра, о злополучіяхъ жизни человѣческой — словомъ, мой романтической юноша заслушался, — сначала отвѣчалъ мнѣ только какими-то полугласными, а потомъ мало-по-малу и самъ разговорился. Вотъ я рѣчь свою веду тонко, цѣпляюсь за то, за другое, за примѣры пагубнаго вліянія страстей и такъ далѣе.... мой юноша самъ не свой, — да вдругъ и брякнулъ: «Повѣрьте! нѣтъ ни

(*) Гѣ изъ читателей, которые помнятъ другіе рассказы Гробовщика, можетъ-быть не забыли, что раскащикъ готовилъ себя совсѣмъ къ другому званію, вообще любить иногда напомнить объ этомъ и немножко прихвастнуть.

чего хуже картежной игры! гибель да и только.» — Ге! ге! — сказалъ я самому себѣ — вотъ оно что.

И дальше въ распросы — мой юноша туго подавался, однакожь выпыталъ я изъ него, что онъ играетъ и давно играетъ. Тутъ я счелъ нужнымъ сдѣлать молодому человѣку нѣкоторое нравственное поученіе, приличное обстоятельствамъ, замѣтилъ ему, какъ онъ вредитъ самому себѣ, какъ разстроиваетъ свое здоровье, и проч. и проч.... молодой человѣкъ былъ видимо тронутъ, — тогда я приступилъ къ патетическому мѣсту рѣчи и сталъ въ рѣзкихъ чертахъ изображать ему горестъ его почтенныхъ родителей, когда они узнаютъ какъ онъ, вмѣсто того, чтобъ слѣдовать ихъ спасительнымъ наставленіямъ, убиваетъ понапрасну и способности и золотое время, и ужь хотѣлъ-было подкрѣпить слова мои извѣстною латинскою цитаціею изъ *Виргилія*.... какъ вдругъ молодой человѣкъ прервалъ меня:

«Что вы мнѣ говорите!» сказалъ онъ: «если бы вы знали! родители! родители! если бы вы знали, что я взросъ на картахъ, что едва ли не съ молокомъ я сосалъ ихъ проклятыхъ! Скажу вамъ всю правду: отецъ мой игрокъ, — онъ игрою сдѣлалъ себѣ состояніе. Матери моей не помню, но помню до-сихъ-поръ первыя слова, которыя на меня дѣйствовали: «не кричи, сударь» говорила мнѣ нянька, «папенька играетъ»—и я замолкалъ, переставалъ плакать. «Папенька играетъ!» Я еще не вполнѣ понималъ эти слова, — но въ нихъ было для меня что-то важное, страшное и почтенное. Подростая, я сталъ замѣчать, что иногда папенька приходилъ къ намъ въ дѣтскую, ласкалъ меня, смѣялся, игралъ съ моими старшими братьями, и братья весело шептали между собою: «слава Богу! папенька выигралъ!» Иногда же папенька былъ угрюмъ, сердитъ, бранилъ насъ за все и про все и дралъ за уши, —

и братья печально прижимались въ уголокъ; я приста-валъ къ нимъ: «что такое?» они отвѣчали: «молчи! вотъ ужъ тебѣ — развѣ не видишь, что папенька въ проигрышѣ?» Часто, папенька входилъ къ намъ съ необыкновенно веселымъ лицомъ, бросалъ на столъ двадцатипяти-рублевую ассигнацію и говорилъ: «вотъ вамъ, дѣти, на *жуировку*.» Мы хлопали въ ладоши, кричали: «папенька выигралъ!» и разомъ у насъ являлись и пряники, и конфекты, и игрушки, и все, чего намъ только хотѣлось.

И вотъ, бывало, когда у отца не ночамъ игра, мы соберемся тихонько у двери и смотримъ въ щелку: какое лицо у папеньки? скоро мы привыкли понимать каждое его движеніе; у него незамѣтная улыбка и у насъ духъ занимается; у него руки трясутся и мы дрожимъ всѣмъ тѣломъ, жмемъ другъ къ другу, шепчемъ задыхаясь «ахъ! проигрываетъ!... нѣтъ! стираетъ.... вѣрно лучше.... дай-то Богъ!» Въ эти минуты ужъ ничѣмъ не могли насъ отманить няньки, ни игрушками, ни конфектами, мы ужъ чувствовали всю игрецкую сладость, всю игрецкую желчь, сердчишко стучало какъ молотокъ, мы злились вмѣстѣ съ отцомъ, мы сжимали кулаки и проклинали счастливаго понтера, который отгребалъ себѣ кучу денегъ; но когда понтеры выходили изъ себя, рвали на себѣ волосы, бросали подъ столъ измятыя карты — то-то была радость, — то-то было счастье! мы обнимали другъ-друга, цаловались и радостно шептали промежъ себя: «папенька выигралъ! папенька выигралъ!» Вотъ мое первое воспитаніе.

«Лѣтъ пятнадцати, я ужъ помогалъ отцу; если, бывало, въ долгія ночи онъ устанетъ отъ сидѣнья, то заставитъ меня метать, а самъ ходитъ по комнатамъ, смотритъ на мое мастерство и похваливаетъ, или по-браниваетъ. По утрамъ, бывало, отъ нечего дѣлать, учить меня какъ держать руки, чтобъ не видать было

угловъ, показываетъ чѣмъ понтеръ можетъ обмануть банкмета, или играетъ со мною въ никетъ для развлечения и сердится, когда я промахнусь. Отправляя меня въ Петербургъ, отецъ мнѣ далъ только одно наставленіе: «смотри, братъ, не зѣвай,—знай съ кѣмъ играешь, да играй съ толкомъ, — а пуще всего никогда не понтируй — знай, мечи честный банкъ — всегда будешь въ выигрышѣ.» — Хорошо ему было говорить: не понтируй! — хорошо, что у него кровь холодная, — сидитъ—себѣ мечетъ, глазомъ не мигнетъ, а вѣдь что ни говори, а понтъ и есть настоящая игра, — все дрянъ передъ нимъ, — тутъ — и сердце бьется, и голова трещить.... помню, какъ однажды на сторублевую ассигнацію я взялъ десять тысячъ — въ двѣ минуты, не болѣе — вотъ это кушъ, — индо потъ пробилъ, а на душѣ-то, на душѣ — женскій поцалуй ничто! — И вѣдь не деньги главное, — а вотъ то, что сердце щиплетъ — и рассказать нельзя.... какъ тутъ не понтировать.... то-есть такъ, — скажу вамъ всю правду, вотъ видите эту записку, — я вамъ покажу.... въ ней нѣтъ ничего особаго.... только цифра «двѣнадцать съ четвертью» — понимаете? Если бы вы знали чья рука это писала! вотъ ужъ три мѣсяца добивался я этой записки, — мучился, страдалъ.... а все-таки — хоть сейчасъ, еслибы можно, поставилъ на карту....

— А счастливо играете? — спросилъ я.

Молодой человекъ рванулъ меня за рукавъ: «Эхъ! что вы мнѣ напомнили!»

— Что, видно крѣпко проигрались?

«Не спрашивайте лучше.... бѣда, да и только!»

— Ну, да вотъ господинъ, что съ вами приходилъ, развѣ онъ....

«Кто? дядя? — у! онъ человекъ строгій, страшный человекъ, и чулакъ и кремень. Былъ въ старину игро-

комъ, теперь картъ въ руки не беретъ.... неумолимый человекъ! что за правила....»

— Да развѣ онъ не можетъ?...

«Кто? онъ? — у него одна поговорка: «что должно, то должно! давши слово держись!» да какъ заладить ее, — такъ ужь тутъ что хочешь. Вы не знаете что это за человекъ! ужасъ! ни суда, ни милосердія «все это вздоръ!» говоритъ, «бабы выдумали!» однажды дядя узналъ, что кто-то про него сказалъ дурное слово, — дядя нахмурился и обѣщалъ, что отнесется къ личности обидчика, сказалъ и пошелъ въ домъ къ нему, приходитъ, ему говорятъ, что ужь-де три дни какъ въ заразной горючкѣ съ пятнами, — а мнѣ что нужды? отвѣтилъ дядя «долгъ! святой долгъ!» Родственники, прокуренные хлоромъ, съ почтеніемъ пропустили такого неустрашаемаго друга, а дядя въ спальную, прямо къ постели больного, да не говоря лишняго слова....» Молодой человекъ загнулся — передъ нами явилась фигура въ венгеркѣ. Ужасный дядя поглядѣлъ на меня искоса, холодно отвѣчалъ на мой поклонъ, взялъ племянника подъ руку и повелъ его въ другую сторону, какъ ребенка.

Очень мнѣ было досадно! только-что молодякъ распоясался! не успѣлъ я у него ничего хорошенько повыспросить: кого они изъ родни потеряли? отъ чего двоихъ вмѣстѣ? нѣтъ ли тутъ чего другаго? такая досада — нѣчего было дома женѣ рассказать.

На другой день, по условію, ровно въ девять часовъ, я явился въ назначенный домъ съ произведеніями моего искусства. Между-тѣмъ, какъ я узналъ послѣ, случилось слѣдующее происшествіе:

Наканунѣ, около часа по полудни, племянникъ пришелъ къ дядѣ въ отчаянномъ положеніи и между ними произошелъ слѣдующій разговоръ:

Дядя: «Что, игралъ?»

Племянникъ : — Игралъ.

«У кого?

— У Тяпкина....

«Понтировалъ?

— Понтировалъ....

«Проигралъ?

— Проигралъ....

«Много?

— Двѣсти....

«Заплатилъ?

— Сто заплатилъ.... сто черезъ двадцать четыре часа....

«Есть?

— Нѣтъ....

«Что же ты?...

— Пулю въ лобъ....

«Хорошо.»

Дядя замолчалъ. Племянникъ тоже. Такъ прошло четверть часа. Дядя молчалъ. Племянникъ началъ:

«Дядюшка....

— Что?...

«Дядюшка....

— Что такое?...

«Миѣ девятнадцать лѣтъ....

— Когда?...

«Въ этомъ году....

— Правда....

Дядя замолчалъ. Племянникъ тоже. Прошло еще четверть часа. Племянникъ опять:

«Дядюшка....

— Что?...

«Завтра въ двѣнадцать съ четвертью....

— Что такое?

«Моя графиня....

— Не дурна....

«Въ первый разъ....»

— Поздравляю....»

Дядя замолчалъ. Племянникъ тоже. Прошло еще четверть часа.

«Дядюшка....»

— Что?...

«Неужь-ли, въ самомъ дѣлѣ, пулю въ лобъ?...

— Непремѣнно....»

«Нѣтъ надежды!...»

— Понтировалъ.... Говорили.... Не послушался....»

Хочешь своимъ умомъ жить. Вольнодумство. Подлость. Гнусность. Что на повѣрку? Долгъ, святой долгъ. Не чѣмъ? одно средство....»

Дядя замолчалъ. Племянникъ тоже. Прошло еще четверть часа.... Племянникъ всталъ.

«Дядя!» сказалъ онъ.

— Что такое?

«Однажды отецъ мой выручилъ тебя изъ бѣды....»

— Правда, хорошо.

Дядя спокойно вынулъ листъ бумаги и принялся писать. Племянникъ смотрѣлъ на него съ нетерпѣніемъ. Дядя исписалъ листъ; потомъ отворилъ коммодъ, вынулъ изъ него какія-то бумаги, положилъ въ конвертъ, надписалъ, запечаталъ, сказалъ: «теперь все въ порядкѣ; потомъ пододвинулъ къ себѣ прекрасный ящикъ краснаго дерева, открылъ и примолвилъ: «настоящій кухенрейтъ; никогда не осѣкаются.»

Спокойно осматривалъ дядя одинъ пистолетъ за другимъ; спускалъ курокъ, отвертывалъ винты, бережно вытиралъ ихъ замшею и опять привертывалъ.

«Что все это значить?» вскричалъ племянникъ наконецъ выведенный изъ терпѣнья.

— Ничего. Однажды твой отецъ выручилъ меня изъ бѣды. Правда. Долгъ, святой долгъ. — Хочешь про- честь?... —

Дядя подалъ племяннику исписанный листъ бумаги и племянникъ прочелъ съ ужасомъ :

«Никто не виноватъ. Мы сами своей волею.

За вырытіе двухъ могилъ столько-то.

Доктору за осмотръ столько-то.

На угощенье столько-то.

И того: 515 р. 75 к., которые при семь прилагаются.

Такого-то числа въ 12 съ четвертью по полуночи.»

«Вы шутите?» вскричалъ молодой человекъ.

— Я? — спокойно спросилъ дядя.

«Что значить эта бумага?

— Ничего. Порядокъ, какъ всегда. Такъ должно. Такъ привыкъ. А то извѣстное дѣло, послѣ меня, на то, на се, расташутъ, разворуютъ... —

«Вы сами?..»

— Да — я самъ. Твой отецъ выручилъ меня изъ бѣды. Правда. Долгъ, святой долгъ!...

«Но у васъ есть деньги?..»

— Есть деньги — не много, есть и дѣти — ихъ много. Безъ изъяна на нихъ достанетъ; съ изъяномъ — не достанетъ. — Не по міру же имъ — ради тебя.

«Что жъ вы намѣрены дѣлать?..»

— Что должно. Въ полночь 24 часа. Честь страждетъ. Въ долгій ящикъ — поздно. Сегодня зову на игру. На квитъ не согласятся. Одно средство: двоить — на мартингалъ. Твой отецъ меня выручилъ. Тряхну стариной. Или панъ или пропалъ. Повезетъ до полночи — хорошо, — не повезетъ — ты и я разомъ — и концы въ воду.

«Это ужасно! не-ужь-ли нѣтъ другаго средства?.... въ девятнадцать лѣтъ.... Графиня.... счастье....»

— Поздно хныкать..... Говорили. Не послушалъ. Убивалъ и время и деньги. Теперь поздно. Твой отецъ

выручилъ меня изъ бѣды. Дѣлаю что могу. Спасая семейную честь....

«Не-ужь-ли нельзя перехватить гдѣнибудь?....»

— Занять? кому? тебѣ? игроку? Шутишь. Я — не могу и не хочу. Тутъ долгъ. —

Они снова замолчали.

Черезъ нѣсколько времени, дядя всталъ.

— И забылъ съ тобою. Пойдемъ-ка. Надобно позаботиться о новосельи.

«О новосельи? повторилъ молодой человѣкъ.»

— А какъ же. Все надобно приготовить, честно рассчитаться — и лишняго не платить. То ли дѣло свой глазъ.

За новосельемъ они приходили ко мнѣ. За тѣмъ дядя называлъ племянника бабою и послалъ его просвѣжить-ся, — но издали за нимъ подсматривалъ.

Около одиннадцати часовъ, дядя еще разъ осмотрѣлъ пистолеты; вогналъ пули, — наложилъ пистоны.

«Вотъ» сказалъ онъ «два для тебя, два для меня. Одинъ не удался — другой не обманетъ. Тебѣ безъ денегъ нѣчего соваться, да и голова у тебя не въ порядкѣ. Сиди въ кабинетѣ и жди. Если въ полночь не отыгрались — я къ тебѣ.... и тогда — прежде ты, потому-что ты баба.... или.... ты меня знаешь.... мое слово крѣпко и рука также.... я жь подоспѣю...»

Между-тѣмъ, въ гостиной разставлялись столы, зажигались лампы и свѣчи, слуги суетились, — прохожіе останавливались у оконъ и говорили: «эхъ свѣтло — видно балъ какой?»

Игроки начали собираться.

Дядя сталъ выходить изъ кабинета.

«Дядя! не-ужь-ли все кончено?» робко проговорилъ бѣдный молодой человѣкъ....

— Нѣтъ! еще не все! ты баба — отвѣчалъ старикъ и вышелъ въ гостиную.

Описывать нечего, что происходило въ эту минуту въ душѣ молодаго человѣка, — вы найдете это описаніе въ любомъ романѣ.

Въ полутемномъ кабинетѣ, прильнувъ къ двери, онъ, почти безъ памяти смотрѣлъ въ свѣтлую гостиную; все, что предъ нимъ было, представлялось ему сномъ, сценой, въ какомъ-то туманѣ.... онъ видѣлъ и не видѣлъ, слышалъ и не слышалъ: — вотъ гости раскладываются, пожимаютъ другъ другу руки, расходятся кучками, сходятся вмѣстѣ, — слышны разныя рѣчи, о погодѣ, о театрѣ, о выигрышахъ и проигрышахъ; вотъ подають чай; вотъ Тяпкинъ предлагаетъ стотысячный банкъ; усаживаются, кричатъ отъ восхищенія, что дядя наконецъ опять играетъ, поздравляютъ его, выговариваютъ разныя плоскости; вокругъ стараго игрока составляется кружокъ, — новыя колоды трещать въ рукахъ поитеровъ; — играютъ.

А молодой человѣкъ все прильнулъ къ двери, — окрайна врѣзалась ему въ лицо... и невольно вспоминаетъ онъ свое дѣтство, — ищетъ глазами отца, прислушивается не голосъ ли няньки, — не зоветъ ли она его въ теплую постельку, не манитъ ли его игрушкой..... ему хочется обмануть себя.... тщетно! предъ нимъ холодное, неумолимое лицо палача: палачъ вынимаетъ карту за картой и ставитъ ихъ на жизнь или смерть — багровые круги вертятся около нагорѣвшихъ свѣчей, часы пробили половину двѣнадцати. Молодой человѣкъ вспоминаетъ о прекрасной душистой запискѣ, прижимаетъ ее къ губамъ, слезы текутъ изъ его глазъ, — онъ проклинаетъ и карты, и себя, и рожденіе, и жизнь, и дѣтство, и свое воспитаніе, проклинаетъ все, что только представляется его памяти.... все! онъ готовъ предупредить своего палача, — ворваться въ средину игроковъ, швырнуть со стола карты, разможжить головы, броситься изъ окошка..... но вотъ говоръ игроковъ

умолкъ, — видно рѣшительная минута... все стихло — всѣ наклонились на столъ, слышно тихое трепетаніе маятника, отрывистые дрожащіе голоса произносятъ какъ-будто изъ могилъ. семерка.... идетъ.... убита.... тройка.... дама.... пліе....

«Ва — банкъ!» вскричалъ палачъ громовымъ голосомъ.....

Молодой человекъ отбѣжалъ отъ двери и упалъ безъ чувствъ на диванъ....

Черезъ нѣсколько времени, довелось мнѣ быть на макарьевской ярмаркѣ по коммерческимъ дѣламъ. Старые и новые пріятели затащили меня въ какой-то домъ истиннаго ихъ пріятеля, какъ говорили они, и гдѣ очень весело. Я поддался. Приходимъ; смотрю: квартира славная, убранство и зеркала, и гардины, и мебели — очень красиво, точь въ точь въ залѣ петербургскаго парикмахера; оборотился на людей: шулеръ на шулеръ, а между ними набольшій, такъ всѣ его уважаютъ, такъ всѣ ухаживаютъ за нимъ.

Отворяются двери, — входятъ новые гости; глядь, анъ мои старые знакомые дядя съ племянникомъ въ дорожныхъ платьяхъ—и прямо на шею къ набольшему-то.

«Ну, братъ, Ванюша» проговорилъ басистый дядя,— «поздравляю; вотъ тебѣ твой сыночекъ; можешь на него положиться: вѣрный помощникъ, вѣрная опора на старости; отучилъ молодца; онъ больше.... не *понируетъ*.»

К. В. О.

МАШЕНЬКА.

ПОЭМА

А. МАЙКОВА.

ИЗВЕЩАНИЕ

О РАБОТАХ

В 1901 ГОДУ

Куда какъ надоэль элегій современныхъ
Плаксивый тонъ ; то ль дьло иногда
Послушать старичковъ-разскащиковъ почтенныхъ ,
Про молодости ихъ удалые года.
Невольно впришь имъ , когда почти съ слезою ,
Они , смотря на насъ , качая головою ,
Насмьшливо твердятъ : «То ль было въ старину!»

Теперь изъ ихъ времянь я свой разсказъ начну.
Хоть онъ въ моихъ устахъ теряетъ сто процентовъ ;
Хоть нынѣ далеки мы отъ блаженныхъ дней ,
Дней буйныхъ праздниковъ , гусарскихъ кутежей ,
Упздныхъ Ариаднѣ , языковскихъ студентовъ ;
Хоть этихъ лицъ теперь почти ужь боль нѣтъ ;
Хотя у насъ теперь иные люди , нравы , —
Но все еще поймемъ мы были прошлыхъ льтъ
И дьдовъ старыя проказы и забавы.

МАШЕНЬКА.

ЧАСТЬ I.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Жилъ на Пескахъ одинъ чиновникъ. Звали
Его Василій Тихонычъ Крупа.
Жилъ тихо онъ. Въ дому лишь принимали
По праздникамъ съ святой водой попа;
А брати своей мелкочиновной
Онъ никогда почти не приглашалъ,
Хоть знали все, что службой безгрѣховной
Онъ тысячу рублишекъ получалъ,
Да домъ имѣлъ; и такъ квартира даромъ,
Такъ «скупъ старикъ» — все говорили съ жаромъ.

II.

Когда бы вы увидѣли его,
Вы, чуждые чиновничьяго міра,
«Чудакъ, чудакъ!» сказали бъ про него;
И воротникъ высокій виц-мундира,
И на локтяхъ истертое сукно,
Уста безъ жизни, волосы клочками,
Глаза тупые съ блѣдными зрачками, —
Да, точно бъ вы сказали: «въ немъ давно
Все человѣчество умерщвлено».

III.

Онъ двигался какъ машина пѣмая ;
Какъ автоматъ писалъ, писалъ, писалъ....
И что писалъ почти не понималъ ,
На благо ли отеческаго края,
Иль приговоръ онъ смертный объявлялъ —
Онъ только буквы выводилъ.... Порою
Лишь подходилъ къ сосѣду стороною ,
Не для того, чтобы прогнать тоску ,
Иль сплнѣ, а такъ.... понюхать табачку.

IV.

Надъ нимъ острился молодой народъ :
« Чай въ сундукахъ у васъ есть капиталецъ ,
А вѣдь, злодѣй, къ себѣ не позоветъ, —
— Что деньги вамъ : вѣдь вы одинъ, какъ палецъ .
— Куда-те ? говорятъ, что дочка есть .
— Скажите ! что, на васъ она похожа ?
— Ну, если такъ, вамъ не большая честь .
— И у нея шафрановая кожа ? »
Старикъ молчитъ, или, поднявши глазъ ,
Изъ-за пера шепнетъ : « получше васъ » .

V.

Такъ жизнь его ползла-себѣ въ тиши ,
Безъ радости и безъ тоски-злодѣйки....
Ни разу не смущалъ его души
Ни преферансъ задорный по копѣйкѣ ,
Ни съ самоваромъ за городъ пикникъ .
Но вдругъ всѣ въ немъ замѣтили движенье ,
Сталъ о погодѣ говорить старикъ ,
И цѣну спрашивалъ французскихъ книгъ ;

Видали, онъ на Невскомъ, въ дождь, въ волненьѣ,
Глядѣлъ въ окно у магазина модъ —
«Ишь, старый чортъ!.... кого-нибудь да ждетъ».

VI.

Однажды всталъ онъ рано; задыхаясь,
Всю ночь почти онъ глаза не смѣжилъ.
Вздѣлъ туфли и открылъ окно. Онъ былъ
Тревожимъ чѣмъ-то, такъ что, одѣваясь,
На мѣсто колпака чуть не надѣлъ
Чулокъ. Былъ праздникъ; день свѣтился яркій;
Кругомъ далеко благовѣсть гудѣлъ;
Тутъ въ берегахъ тесьмой каналъ блестялъ;
Въ кружокъ тѣснясь за миской шей на баркѣ,
За полдникомъ сидѣли бурлаки....
Какое утро съ свѣжестью и жаромъ!
Земля какъ-будто дышетъ раннимъ паромъ,
А небеса такъ сини, глубоки!

VII.

Василій Тихонычъ открылъ окошко
Другое въ садъ — и вѣтерокъ съ кустовъ,
Какъ мальчикъ милый, но шалунъ немножко,
Его тихонько ждавшій межъ цвѣтовъ,
Пахнулъ въ лицо ему, въ покой прорвался,
Соръ по полу и легкій пухъ погналъ,
На столикѣ въ бумагахъ пошпенталъ,
И въ комнатѣ сосѣдней потерялся.
Василій Тихонычъ глядѣлъ кругомъ
На зелень, на сирень, большимъ кустомъ
Разростшуюся тамъ — и улыбался.

УШ.

Единственной забавою всегда,
И собесѣдникомъ его и другомъ
Былъ чижикъ. Съ нимъ однимъ между досугомъ
Онъ разговариваль, и иногда
Не только о вещахъ обыкновенныхъ,
Но даже о предметахъ отвлеченныхъ.
Почувствовавъ прохладный вѣтерокъ,
Чижъ сталъ скакать по клѣткѣ и забился;
Вдругъ сѣлъ; чирикать началъ и залился
Потомъ такъ громко, чисто, какъ звонокъ.
Василій Тихонычъ ему съ улыбкой
Грозя, рѣчь началъ: «что, куда такъ шибко?»
«Что, Шурочка, распѣлся такъ куда?»
«Что веселъ такъ? Иль знаешь развѣ?... А?»

ИХ.

«А кто сказалъ тебѣ? подслушалъ вѣрно,
«Какъ говорилъ вчера Анюткѣ я?
«Подслушать тоже любишь?... я тебя!
«Мошенникъ! наказать его примѣрно!
«Сейчасъ скажу директору!... Смотри!
«Ну, что ты слышалъ, Шурка? повтори!
«Что?... Машенька къ намъ будетъ?... Знаешь Машу?
«Не знаешь? то-то ты и спалъ всю ночь.
«Полюбишь ли ее, голубку нашу?
«Смотри же — полюби: она мнѣ дочь.

Х.

«Она тебя за то полюбитъ тоже...
«Ну, а какъ нѣтъ? А какъ начнетъ скучать,
«И станетъ плакать и худѣть, вздыхать?»

« Не пережить мнѣ этого... Эхъ, Боже!
« Въ три мѣсяца чай къ роскоши она
« Привыкла у княгини... вѣдь не шутка —
« Балы, театръ.... а здѣсь?... не сметена
« Вѣдь даже пыль.... Что жь дрыхнешь ты, Анютка!
« Да подмети, да пыль сотри. Ишь, садъ
« Заросъ совсѣмъ. Дай заступъ поскорѣе, —
« Куртинки пообрѣжу.... да въ аллеѣ
« Проклятый подорожникъ вонъ.... да съ грядъ
« Крапиву.... Ахъ, мой Богъ, какая гадость!
« Что, старый хрычъ, о чемъ же думалъ ты?
« Щавель, крапива — славные цвѣты!
« Вотъ хорошо готовилъ дочкѣ радость!»

XI.

Онъ принялся копать, возилъ песокъ,
Пололъ и рылъ, какъ записной садовникъ.
Ну, глядя на него, никто бъ не могъ
Подумать, что онъ класный былъ чиновникъ.
Ужъ полдень былъ. Затихнулъ вѣтерокъ;
Недвижные листы къ землѣ склонились;
Желѣзо крышъ и камни накалились;
На улицахъ все пусто; тишь кругомъ;
Одинъ мужикъ на баркѣ, да собака
На солнцѣ спали; голуби рядкомъ
Подъ крышею, подъ слуховымъ окномъ
Усѣлися, ища прохлады мрака.

XII.

Василій Тихонычъ, крехтя, отвезъ
Послѣдній соръ. «Ну, эдакъ будетъ лихо!»
Сѣлъ на скамью подъ вѣтвями березъ,
Отеръ свой лобъ и любовался тихо

Какъ макъ, нарциссъ пестрѣли между розъ.

«Ну, лихо будеть!... Уфъ, какъ жарко, душно!»

«Умаялся.» Совѣмъ не думалъ онъ,

Чѣмъ за свой трудъ онъ будетъ награжденъ:

Лишь не было бъ здѣсь только Машѣ скучно.

«Ну, дождался, голубушка, тебя!»

«Цѣлковики копилъ не даромъ я!»

«Вотъ поживемъ годокъ-другой, а тамъ ужь»

«Какъ разъ пристроимся и выйдемъ замужъ!»

«Ухъ! набѣжитъ пострѣловъ! Клики кличъ —»

«Лука Лукичъ, да что Лука Лукичъ!»

«Столоначальники.... мое почтенье!»

«Бей выше.... самъ начальникъ отдѣленья!...»

«Анютка, выйдь-ко въ переулокъ, — что?»

«Не видно ль тамъ.... не ѣдетъ тамъ никто?»

«Гляди, гляди, послушай-ко, что это?»

— Да ничего не видно.... «Врешь, карета....»

«Какъ ничего? гляди... я слышу стукъ.»

— Да кабы стукъ, такъ слышно бъ... Старый бредить.

«Анютка!... эй, бѣги, подай сюртукъ,

«Да что жь стоишь ты, дура?!... Ёдетъ, ёдетъ!»»

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Василій Тихонычъ не могъ довольно
Налюбоваться дочкою своею.

Заботливо показывалъ онъ ей

Садъ, комнаты, и трепещя невольно,

Смотрѣлъ, какъ ей понравится? «Вотъ тутъ

«Гостиная.... У насъ пойдутъ балишки;

«Ухъ! гости-то наѣдутъ, набѣгутъ;

«Постарше кто — посадимъ за картишки....

«Въ саду — фонарики со всѣхъ сторонъ....

«А здѣсь, смотри, какой у насъ балконъ;

«По вечерамъ мы будемъ на балконѣ

«Пить чай.»

— Ахъ, да! Я буду вамъ читать

Всю ночь, всю ночь! Я такъ люблю не спать!

Какъ весело! не то что въ пансіонѣ —

Тамъ въ десять ужъ извольте почивать!

II.

«Какая ты хорошенькая, Маша!»

Любуясь ею, говорилъ папаша.

«Да поцѣлуй меня еще, дружокъ....»

«Эхъ, нѣтъ покойницы Настасы

«Ананьевны! Знать не судилъ ей Богъ,

«Какъ мнѣ, дожить до эдакаго счастья!»...»

Старикъ отеръ слезу и изъ очей

У Машеньки блеснули слезки тоже.

«Эхъ, старій я дуракъ! Ну! царство ей

«Небесное! ты мнѣ всего дороже!
«Не плачь, дружокъ, развеселись скорѣй.»

III.

Какъ описать вамъ Машу безпристрастно?
Въ ея чертахъ особенности нѣтъ,
Хотя черты такъ тонки и прекрасны,
Заманчивъ щекъ прозрачный, смуглый цвѣтъ,
Коса густая, взоръ живой и ясный....
V Но не люблю я дѣвъ ея поры:
Онѣ — алмазь безъ грани, безъ игры;
И я, смотря на дѣву молодую,
Прекрасную какъ мраморный антикъ,
Твержу — ахъ, еслибъ жизни лучъ проникъ
И освѣтилъ чудесную статую!

IV.

Дѣйствительность, гдѣ страждетъ нищета,
.....
Гдѣ ишетъ духъ отрады въ усыпленѣхъ,
Гдѣ чувство сдавлено, гдѣ жизнь — пуста,
Вся въ кукольной комедіи приличій;
Гдѣ человѣкъ — манкенъ, гдѣ богъ — обычай, —
Была для Маши пламенной чужда,
И называлась *прозою презрѣнной*.
Въ ней разумъ спалъ; за то ея мечта
Работала, какъ зодчій вдохновенный.
Фантазія безъ образовъ, безъ лицъ,
Какъ дивное предчувствіе чего-то,
Творила міръ безъ цѣли, безъ границъ,
Блестѣвшій яркой, ложной позолотой.
То гениемъ хотѣлось ей парить
И человѣчеству благотворить:
Однимъ движеніемъ палочки волшебной
Пролить покой и силою цѣлебной

Больныя раны излечать; то въ глушь
Уйти, межъ горъ и безднъ; жить въ гротѣ дикомъ
Съ однимъ созданнымъ избраннымъ, великимъ,
И утопать въ гармоніи двухъ душъ....

V.

Для старика не много измѣненія
Въ житьѣ-бытьѣ произошло тогда,
Какъ появилась Маша: иногда
Былъ на гуляньѣ съ дочкой въ воскресенье;
Ложился позже, позже сталъ вставать;
На цыпочкахъ ходилъ, когда читать
Изволитъ Маша.... Лилии, тюльпаны
Въ саду явились; въ залѣ фортепяны
(Хоть музыкантшей Маша не была)
Да пяльцы у рабочаго стола.

На столикѣ валялось разныхъ книжекъ
Десятокъ — вотъ и все.... Ахъ, нѣтъ, забылъ,
Изъ Шурочки вертлявый желтый чижикъ
Повышенъ: Ламартиномъ названъ былъ,
Хоть старику темна была причина —
«Да чѣмъ же хуже Шурочка Мартына?»
Почти не измѣнилось ничего;
Предметы тѣ же, но съ иной душою,
Съ иною жизнью. Свойство таково
У женщины: наполнить все собою!
Вокругъ нея какъ-будто разлита
Намъ чуждая, другая атмосфера,
Какой-то свѣтъ, и миръ, и теплота,
Любовь и смѣхъ, спокойствіе и вѣра.

VI.

Прошла недѣля — Маша весела;
Глубокій миръ ея уединенія
Воспламенялъ ея воображеніе....

Сердилась лишь, скучна она была,
Когда старикъ опаздывалъ обѣдать,
Да на подругъ роптала — не могла
Никакъ понять — какъ можно не провѣдать?
Не разъ она въ Морскую въ *бель-этажъ*
Посланія по почтѣ отправляла;
Рѣшилась *объясниться* и писала....
Какъ вдругъ гремитъ знакомый экипажъ,
И съ дочерью подѣхала старушка.

УП.

— Zizine!

— Marie! вотъ видишь ли, Marie,
Какъ слово я держу.

— Zizine! ахъ, душка!

О, мы друзья и вѣчно? говори!

— О вѣчно!...

— У меня такъ было много

Тебѣ сказать....

— И мнѣ!

— О, ради Бога,

Скорѣй!

— Постой. Какъ мило у тебя —

Цвѣты....

— Цвѣты? Все накупилъ папаша.

Ты не повѣришь, душка, какъ меня

Онъ любитъ.

— Твой рара?... Ахъ, Маша,

Мнѣ кажется, я полюблю его

За то, что онъ тебя такъ любитъ.... Право...

Хоть онъ такой....

— Zizine!

— Ахъ, ничего,

Ну, не сердись. Что это за кудрявый

Цвѣтокъ?

— Простой.

— А этотъ вонъ, большой

Высокій, желтый? вѣрно дорогой!

— Подсолнечникъ.

— Милашка! Ахъ, конечно,

Я для себя велю купить.... Marie,

Завидовать тебѣ я буду вѣчно!

Какъ хорошо тебѣ здѣсь, посмотри,

Счастливица! аллея! сколько тѣни!

Какой чудесный запахъ отъ сирени....

Какъ весело здѣсь цѣлый день гулять,

Мечтать и думать, думать и мечтать.

— Конечно... по одной, безъ друга, скучно!

— А я-то что жъ? Ты только паниши,

Вѣрь, я явлюсь. Мы были неразлучны

И въ классахъ. Ты — ты часть моей души.

— Ахъ, добрая Zizine!

Смѣясь сквозь слезы,

Подруги обнялись. Какъ вешни розы

Пылали щеки ихъ; рука съ рукой;

Головка Маши смуглой и живой

Лежала на груди блондинки Зины.

У Греза есть подобныя картины.

VIII.

Маша. — Я многое обдумала одна,

О Боже! для чего я не богата!

Ты знаешь, душка, я вѣдь не жадна,

И вѣрь, презрѣннаго металла злата

Желала бъ я для счастья людей.

Пренебрегла бы я законы свѣта:

Нѣтъ, гдѣ-нибудь, въ лачугѣ, безъ друзей,

Въ страданіяхъ — нашла бы я поэта;

Къ нему бъ пришла я ангеломъ любви;

Сказала бы: «ты удрученъ судьбою,

Но я даю тебѣ, своей рукою —

Любовь мою и золото : живи !
Живи !... Ему была бъ я вдохновеньемъ ;
Онъ міру бы слова небесъ вѣшалъ ,
И цѣлый міръ ему бъ рукоплескалъ...
Какъ я бъ была горда своимъ твореньемъ !
— «Когдабъ , Marie , была поэтомъ я ,
Я бъ выбрала тебя своею музой !
Но вѣдь поэты — гадкіе мужья ;
Бракъ , говорятъ , имъ тягостныя узы....
Кто это , погляди , Мімі , скорѣй !
Кавалеристъ и на конѣ.... Вотъ чудо !
Вообрази : знакомый ! Точно : онъ
Бывалъ всегда у Вѣрочки Посуды.
— Противный ! какъ онъ былъ всегда смѣшонъ !
Я презираю !

— Что же онъ здѣсь скачетъ ?

Ахъ , погляди , какой чудесный конь !
А латы , каска блещутъ какъ огонь !
Ахъ , душка — каска ! Что же это значитъ ?
Зачѣмъ онъ здѣсь ?

— Какъ смѣлъ ?

• — Скорѣй уйдемъ .

Подумаетъ , что мы нарочно ждемъ .

— Заговорить , пожалуй !... Фи , какъ стыдно !

— Ахъ Боже ! Маменька за мной... Прощай .

Marie !

— Прощай , Zizine ; Не забывай !

— Ахъ quelle idée ! мнѣ , право , преобидно !

— Нѣтъ , поклянись !

— Я разъ ужъ поклялась .

— Такъ мы друзья ?

— Ахъ , Боже мой , конечно !

— И вѣчно ?

— Да ! карета понеслась ,

И дѣвушки разстались съ крикомъ : «вѣчно.»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Чуть освѣжась холодною водою,
И на скоро свернувши косу змѣйкой,
Въ капотѣ легкомъ, съ обнаженной шейкой,
Красавица являлась въ садикъ свой,
Къ своимъ цвѣтамъ, то съ граблями, то съ лейкой.
Потомъ въ тѣни, среди семьи цвѣтовъ,
Какъ ихъ сестра, садилась и читала.
О, какъ тогда ея кипѣла кровь!
Изъ рукъ порою книга выпадала.
И въ сладкомъ забытїи неслась тогда
Душа ея.... Богъ вѣдаетъ куда....

II.

Кавалеристъ межъ-тѣмъ являлся чаще....
То будто вихрь промчится на конѣ;
Въ красивой каскѣ, въ блещущей бронѣ;
То такъ идетъ, разстроенный, молящій.
Онъ Машеньку немножко занималъ —
(Такъ крошечку! Предметъ ея мечтаній)
Все былъ поэтъ — дитя святыхъ страданій).
«А этотъ что? Быть можетъ, проигралъ!
Вѣдь эти гадкіе мужчины, право,
Богъ знаетъ, какъ живутъ!... Противный онъ!
Обкрадывать другъ друга имъ забава!»

Она ушла, захлопнувши балконъ;
Но на себя потомъ досадно стало.
«Кто право даль его миѣ оскорблять;
Могу ль я людямъ запретить гулять
По улицѣ? Имъ нравится — пожалуй!
Пускай и онъ.... привыкла я давно;
Быть можетъ.... О, миѣ, впрочемъ, все равно!»

III.

Какъ звѣзды средь небеснаго селенья,
Онъ совершалъ обычное теченье.
Такъ медленно идетъ, усы крутитъ,
Вздыхаетъ, въ садъ задумчиво глядитъ.
Разъ, встрѣтивъ взоры Маши, поклонился,
Но такъ былъ блѣденъ, грустенъ и угрюмъ,
Что въ этотъ мигъ ей не пришло на умъ
Что надо разсердиться. Онъ сокрылся.

IV.

Другой, быть можетъ, бросилъ бы письмо.
Но сей герой писалъ не очень шибко —
Онъ размышлялъ — въ письмѣ одна ошибка
Испортитъ дѣло: вѣчное клеймо!

.....
.....

V.

Остановясь однажды за рѣшеткой,
Заговорилъ онъ такъ печально, кротко,
Что Маша испугалася его.
«Сударыня, вамъ ничего не стоитъ

Страдальца осчастливить.

— Мнѣ, кого?

Что вамъ угодно?

— Если беспокоить

Васъ просьба — я, пожалуй, замолчу.

— Что вамъ угодно?

— Ахъ, прошу.... позвольте....

Изъ сада вашего имѣть хочу

Цвѣтокъ я непремѣнно.

— Вотъ, извольте.

— Нѣтъ, нѣтъ не этотъ.

— Розанъ?

— Нѣтъ, не тотъ.

— Который же? скажите, я не знаю.

— Ахъ, еслибъ могъ я указать.... Ну, вотъ

Что подлѣ лиліи....

— Не понимаю;

Тутъ былъ нарциссъ — его я сорвала.

— Нѣтъ, не нарциссъ.... вы имъ такъ любовались!

Тюльпанъ, гдѣ, помните, еще ползла

Букашка; вы сначала испугались....

— Не знаю гдѣ же мнѣ его найти?....

— Позвольте на минуточку войти?

— Какъ это можно? Папеньки нѣтъ дома.

— Такъ что жъ, ему расскажете потомъ,

.....

Что жъ тутъ дурнаго?

— Вы вѣдь незнакомый!

И думала она, какъ Гамлетъ — *быть*

Или не быть — впустить иль не впустить?

— Ахъ, что вы? что вы? Боже мой, уйдите!

Я закричу.

— Уйду-сь.....

.....

Вы ледъ: душа въ васъ какъ гранитъ жестка.

Вы слезы лить готовы надъ романомъ,
А человѣкъ предъ вами хоть умри —
Вамъ все равно. Какимъ-нибудь тюльпаномъ,
Который свянетъ нынче жь до зари,
Вы дорожите.... Это вѣдь ужасно!
— Возьмите, я хоть всѣ цвѣты отдамъ;
Мнѣ ихъ не надо.... Но зачѣмъ же вамъ
Тюльпанъ такъ нуженъ?

— Ангелъ мой прекрасный,

И можете вы спрашивать зачѣмъ?
Глядѣть и знать, что вы его касались,
Что вы ему съ любовью улыбались —
А я слезами оболую.... Затѣмъ,
Чтобъ онъ всегда мнѣ вспоминалъ мгновенье,
Когда отъ васъ теперь изъ сожалѣнья
Онъ данъ мнѣ.... Вы не знаете, вашъ ликъ
Какъ ангела Господня я встрѣчаю,
Съ тѣхъ поръ, какъ васъ увидѣлъ, я постигъ
Всѣ ваши совершенства.

— Я не знаю

Чего же вы хотите?

— Иногда

Позвольте видѣть, слышать васъ, хоть тайно,
Хоть издали; улыбку, хоть случайно,
Мнѣ искупить цѣною слезъ моихъ —
Позволите? О, я вамъ благодаренъ
За жизнь. Ахъ, дайте ручку!...

Въ этотъ мигъ

Анютка изъ окна шепнула: «баринъ!»

— Ахъ, папенька! пустите.

— Я прійду

Сюда же завтра.

— Боже мой, скорѣе

Уйдите!

— Машенька, гдѣ ты! въ саду?

Анютка', собирай обѣдъ живѣе!

Здорово, Маша, ангелочикъ мой.

Не знаю право, другъ мой, что со мной.

Я съ молоду трезовъ былъ въ поведенѣ;.

И нынче развѣ что для дня рожденья

Сотерну рюмку. Я, вотъ видишь, всталъ;

Ну, къ должности пришелъ; дѣла сыскалъ —

Все хорошо. Кузьма Ильичъ Батыевъ

Перебѣлить мнѣ предписанье далъ

Въ палату въ Могилевъ, нѣтъ прежде въ Кіевъ —

Все хорошо — окончилъ — написалъ.

Сѣлъ за другое: тутъ меня схватило

Подъ ложечкой, въ глазахъ ажъ помутило.

Да, слава Богу, тутъ случись со мной

Ошлепниковъ Панталеонъ Иванычъ,

«Что съ вами, говорить, вы бѣ шли домой,

Да выпили чего-такого на ночь».

Насилу вышелъ — тутъ ужъ отлегло,

И слава Богу, вотъ совсѣмъ прошло».

— Ахъ, бѣдненькій! ахъ, добрый мой папаша!

Какъ коршуна избѣгшій голубокъ,

Къ отцу прижавшись, зарыдала Маша.

— «Эхъ, дурочка! прошло вѣдь. Съ нами Богъ!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Какъ тонкій ядъ въ взволнованную кровь,
Прокралась въ сердце Машеньки любовь;
И мощно вдругъ въ душѣ проснулись юной
Живымъ аккордомъ дремлющія струны.
Ей чудный міръ открылъ врата свои,
Міръ — сладкихъ тайнъ, плѣнительныхъ мечтаній,
Міръ съ нѣгою блаженства и страданій,
Со всею милой глупостью любви.

II.

О, не бѣги любви, дитя мое!
Пусть розы цвѣтъ лицо твое утратитъ,
За то твой духъ, все бытіе твое
Такою полной жизнью охватитъ!
Вокругъ тебя пока міръ цѣлый спитъ;
Потомъ проснется вдругъ, заговоритъ;
Въ блаженствѣ ты душою съ нимъ сольешься;
Тогда найдешь ты друга въ немъ себѣ:
Онъ засмѣется, если ты смѣешься,
Заплачетъ, если плачется тебѣ.
И звѣзды вечера тебѣ укажутъ
Свой тайный смыслъ; поймешь внезапно ты
Что шепчутъ ночью листья и цвѣты;
И слезы дивныя глаза увлажжутъ:

Услышишь — міръ шепнетъ тебѣ «люблю» —
И этотъ звукъ проникнетъ грудь твою,
И грудь твоя, уста и очи скажутъ
«И я люблю»....

Ш.

У Машеньки въ глазахъ

Все измѣнилось: будто на крылахъ
Какой-то геній, духъ неуловимый,
По комнатѣ ея порхалъ незримо,
Надъ нею вился, жилъ въ ея цвѣтахъ.
Какъ часто вдругъ, себя не понимая,
Невольно остановится она;
Глядитъ и внемлетъ, втайнѣ замирая,
Какъ-будто бы она тамъ не одна:
Въ ея окно ворвавшіяся вѣтки
Черемухи, сирени и березъ,
И вѣтерокъ, дышавшій нѣгой розъ,
И чижики, рѣзво прыгавшій по клѣткѣ,
Какъ-будто съ кѣмъ-то были за одно,
И видѣли невидимое ею....
И Маша думала: «душа его
«Является бесѣдовать съ моею»....

IV.

Теперь въ часы волшебныхъ вечеровъ,
Когда заря полнеба обнимала,
Понятною, торжественною стала
Ей музыка. Языкъ ея безъ словъ
Такъ ясенъ былъ, такъ полнъ душевной боли;
И въ этомъ царствѣ воплей, бурь и слезъ
Неосязаемый рѣдѣлъ хаосъ,
Міръ возникалъ вельнѣемъ высшей воли,
Но книга — прежде вѣрный, милый другъ,
Теперь у ней ужъ падала изъ рукъ:

Казалось ей тамъ все такъ глухо, нѣмо....
Что ей Омиръ и Шекспиръ, если въ ней
Творилася великая поэма,
Всѣхъ эпопей громаднѣй и живѣй?
Какъ ни возись съ октавой иль сонетомъ —
Все будешь передъ ней плохимъ поэтомъ!

V.

Какія жь пѣсни пѣла муза ей?
Какой она заслушивалась лиры?
Въ величїи героевъ древнихъ дней,
Строителей Бабеля и Пальмиры,
Иль рыцаремъ креста, любви и дамъ,
Иль музыкальнымъ странникомъ Прованса,
Ея герой предсталъ ея мечтамъ?
Въ его рѣчахъ — то нѣжный стихъ романа,
Исполненный любви, и слезъ, и нѣгъ,
У оконъ замка, съ арфой, ночью лунной;
То вопли Байрона, землѣ перуны,
Угрозы небу; мощный, гордый смѣхъ,
Великїй, злой — хотѣ женски-малодушный.
И чувству новому во всемъ послушно
Вся отдалась она своей душой;
Участїя хотѣ въ комъ-нибудь искала,
И, наклонясь надъ розой молодой,
Какъ другу, тайно ей она шептала
Событїя романа своего.
Тоску любви и трепетъ ожиданья,
Восторгъ и робость тайнаго свиданья,
И долгаго лобзанья волшебство....

VI.

Онъ говорилъ — «мы будемъ неразлучны,
Поѣдемъ въ полкъ; возьмемъ отставку; тамъ
Постранствуемъ по разнымъ городамъ,

Въ Италію — о, намъ не будетъ скучно!
Но мой отецъ — онъ человѣкъ крутой,
Меня женить онъ хочетъ на другой,
Но пусть меня оставитъ онъ безъ крова —
Лишь сердце можетъ друга указать....
Но надобно до времени молчать
И папенькѣ не говорить ни слова.
Ужъ онъ кому нибудь словцо ввернетъ:
Разскажетъ — ну, хоть чижикю, а тотъ
Анюткѣ; Аннушка кумѣ Оеклушѣ,
И прокричатъ по улицамъ кликуши.»

VII.

О, Боже мой! все есть въ его словахъ,
Чтобъ поширять фантазіи летучей:
Гонимъ отцомъ, — ему душой могучей
Противусталъ; онъ презрѣлъ *тльнѣ* и *прахъ*
(Касательно наслѣдства); какъ изгнанникъ
Скитаться онъ пойдетъ, печальный странникъ;
Но съ нимъ она — подъ небомъ голубымъ
Италіи; тамъ гондолы и Брента;
Тамъ міръ искусствъ; Феррара и Соренто,
Везувій, море, Колизей и Римъ!!!..

ГЛАВА ПЯТАЯ.

I.

Василій Тихонычъ имѣлъ привычку,
Обѣдъ окончивъ, поласкавши птичку,
Пойти всхрапнуть.

Однажды той порой
Въ ближайшей къ дому улицѣ глухой,
Остановилась страннаго размѣра
Извозищья карета. У угла
Въ шинеляхъ два стояли офицера,
И бойкая у нихъ бесѣда шла.

II.

Одинъ изъ нихъ былъ давній нашъ знакомецъ —
Кавалеристъ и маменькинъ питомецъ;
Хоть лѣтопись боярской ихъ родни
Давно хранила имена одни
Прокофія, Егора и Ивана,
Но въ слѣдствіе какого-то романа
Обычая порядокъ измѣненъ —
И Клавдій — Клавдіемъ былъ нареченъ.

III.

Другой — его я имени не знаю;
Да врядъ ли кто и зналъ, я полагаю.

Онъ вышелъ самъ изъ строевыхъ чиновъ,
Его всѣ звали — просто Гвоздаревъ.
Онъ слылъ всегда отчаяннымъ рубакой,
Лихимъ товарищемъ, а отъ-того
Не обходилось дѣло безъ него,
Грозившее опасностью иль дракой.

IV.

Гвоздаревъ. — Ну братъ, поддѣлъ! Ужь если ты не
врешь —

Забавная исторія!

— Прекрасно!

Изо всѣхъ лжей, въ такихъ вещахъ, братъ, ложь —
Гнуснѣйшая, порокъ, братецъ, ужасный!

Скажи, совралъ ли я когданибудь?

Ты помнишь Соню — прелесть что такое!

Вѣдь не совралъ? Я не могу надуть

Товарища. Потомъ, княгинѣ Зоѣ

Не самъ ли ты записки отдавалъ?...

Да что тутъ говорить — увидишь скоро.

— Ну, молодецъ! вѣдь дѣло не изъ спора.

Вотъ Вьюшкинъ, фу, ты чортъ, какъ вреть! сказалъ

Что поддѣшилъ посланницу — да только

Посланница-то просто....

— Ну, нашель!

Понравится онъ женщинѣ: осель!

— Посланница!... вѣдь правды ни на столько!

Я только такъ тебѣ теперь сказалъ:

Не знаю, что за стать тебѣ возиться

Съ дѣвчонками; и изъ чего тутъ биться —

Слезъ.... Господи! навяжутся.... пропалъ!

Я не могу — расплачусь самъ какъ дура.

Что дѣлать, братецъ, — скверная натура!

Нѣтъ, женщинъ я люблю, да вотъ такихъ,

Какъ кто-то написалъ стихи про нихъ:

«Блаженъ кто могъ, о дѣва noci....»

— Эге! давно ль ты сталъ читать стихи?

— Читалъ, братецъ, да много чепухи.

— Такъ дѣвочки....

— Ни на что не похожи.

— И я тебѣ скажу стихами то же,

Старинные: какъ въ корпусѣ я былъ,

Еще тогда ихъ какъ-то затвердилъ —

Съ дѣвцами мнѣ очень пригodiлось.

Какъ, знаешь, брякнешь вдругъ — *«постыли мнѣ*

Всѣ дѣвы міра!» Смотришь и склонилась

Головкою и таетъ, какъ въ огнѣ;

А я себѣ реку, какъ жрецъ искусства,

«Ты рождена воспламенять»... Фу, чортъ!

Соперникъ тутъ — капутъ и à la porte!

.....

— Да, хорошо въ стихахъ, а такъ-то гадко,

Поплачешься. Ей Богу никогда

Не буду брать я на себя труда

Вамъ помогать. Бьетъ точно лихорадка.

— Эхъ, баба, трусь! тебѣ бѣ гусей пасти;

Да если ты боишься, такъ поди.

— Нѣтъ, что! ужь обѣщаль.

— Чего жъ ты трусишь?

— Да, какъ заплачетъ, такъ языкъ прикусишь.

Смотри, мелькнуло что-то тамъ, въ саду.

— Ну, жди меня, я тотчасъ съ ней прійду.

— Ступай, ступай! Ужъ эти мнѣ интрижки!

.....

.....

Добро бѣ мѣщанка — ну, туда-сюда,

Ну нѣмка, швейка или хотъ цыганка,

А то вѣдь все, какъ ни было бѣ, дворянка.

Чай у нея и связи и родня....

V.

КЛАВДІЙ, МАША.

— Ну, ангель мой, давно я жду тебя;
Что, наконецъ успѣла ты собраться?

— Куда же, другъ мой?

— Какъ куда? вѣичаться.

— Послушай, Клавдій, нынѣ же я всю ночь

Проплакала.

— Что такъ?

— Мнѣ страшно было....

— Пожалуйста, дурнаго не пророчь.

— И не было во мнѣ день цѣлый силы

Глядѣть на папеньку; зачѣмъ скрывать

Отъ старика?

— Ну, расскажи пожалуй —

А онъ пойдетъ по городу болтать.

И планъ нашъ, счастье — все какъ не бывало!

Нѣтъ, ты меня не любишь. Для тебя

Я бросилъ все... Что жъ, этого все мало?

Нѣтъ, это не любовь.

— Ахъ полно! я твоя....

— О чемъ же плачешь ты, душа моя?

— Не знаю.... Такъ.... Мнѣ въ этотъ мигъ казалось,

Что будто бы на вѣкъ я разставалась

И съ домикомъ и съ садомъ....

— Пустяки!

Мы завтра же сюда какъ-разъ подкатимъ.

Папѣ намъ будетъ радъ — вѣдь старики

Посердятся, а тамъ, глядь, въ три ноги

Ударятъ сами.... Но мы время тратимъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

I.

- Прошло три дня. Поутру Гвоздаревъ
Шелъ къ Клавдію. «Чортъ знаетъ что со мною!
Вѣдь, кажется, натурой боевою
Я надѣленъ, и двадцать пять годовъ
На линіи чуть съ чортомъ не сдружился.
А тутъ теперъ съ дѣвчонкой повозился....
Сталъ самъ не свой, и гадко, чай, взглянуть.
Ужъ не болѣзнь ли это? Ноетъ грудь....
Нѣтъ, не болѣзнь, а просто скверность. Тѣ-то,
Все думаешь затылкомъ. Помогать
Чортъ знаетъ въ чемъ припала вдругъ охота!
Да не подумалъ къ рожѣ ль, есть ли стать!
Эй, Куликовъ, ну что, не принимаютъ?
— Да, нѣ звали; должно быть почиваютъ.
— Здоровы?
— Слава Богу.
— А она?
— Кто-съ, барыня? Да что имъ?
— Очень плачеть?
— Извѣстно плачуть.
— Чай, она больна?
— Да, то больна, а то поетъ и скачетъ.
— А баринъ что?... Онъ крѣпко полюбилъ?
— На счетъ того не слышно разговора,
Да мы не долго вѣдь — наскучить скоро.
— Ну, ты скажи, что я-моль приходилъ.

II.

А Клавдій , съ трубкой длинною въ рукахъ ,
На канаве сидѣлъ какъ падишахъ ,
Въ халатѣ шитомъ , въ узорочной фескѣ .
Лучъ солнечный , скользя сквозь занавѣски ,
Прозрачный дымъ разрѣзавъ , заclubивъ ,
По комнатѣ лился златой струею ;
И мимоходомъ , ярко озаривъ
Тальони бюстъ , хрусталь съ живой игрою ,
Онъ упалъ на голову , на грудь
Маріи спящей .

III.

Милое созданье !...

Кто на нее , въ волшебномъ обаяньѣ
Не заглядѣлся бы , боясь дохнуть ?
Какъ живописно , какъ небрежно-ловко
Она раскинулась : одна рука
Заброшена за милою головкой ;
Къ другой прижалась жаркая щека ;
И косы , пышныя какъ шолкъ развитый ,
Бѣгутъ , блестя , съ подушки пуховой ;
Тамъ ножки такъ заманчиво открыты ,
И очеркъ формъ прекрасныхъ.... чудный видъ....
Устами бы коснулся упоенный ,
Холодныхъ плечъ , щеки воспламененной !...
Но эта мысль , которая не спитъ ,
И спящею красавицей играетъ ,
То пурпуромъ лицо ей обагрываетъ ,
То блѣдностью въ ланитахъ пробѣжитъ ,
То сдавить грудь , и грудь ея заносетъ ,
Какъ-будто крикъ обиды въ ней замретъ ,
То ужасомъ уста ея раскроетъ ,

То въ поцѣлуй горячій ихъ сомкнетъ;
Нѣтъ, эту мысль, ту дѣющую душу
Въ ней чувствуя и съ трепетомъ слѣдя,
Ты очарованъ, скажешь: «спи, дитя,
Сна тайнства я дерзко не нарушу.»
И Клавдій думалъ: «пусть она поспитъ,
Покуда самоваръ не закипитъ.»

IV.

— «Ну, розанчикъ, насилу встала ты,
Лѣнивица. А я ужъ приступаю
Къ чаю.»

— Зачѣмъ же ты, не понимаю,
Не разбудилъ?

— У васъ вѣдь все мечты.

Особенно подъ утро — о, я знаю!!!

Скажи же, что ты видѣла во снѣ?

А, покраснѣла!

— Вамъ какое дѣло?

— Признайся, все мечтала обо мнѣ?

— Вотъ вздоръ какой! Ни мало.

— Покраснѣла!...

Мадамъ прислала шляпку и бурнусъ.

Когда не такъ — прошу ужъ извиненья —

Я виноватъ: я выбралъ на свой вкусъ.

— Ахъ, шляпка бѣлая... я въ восхищеньѣ!

Вотъ именно какой хотѣлось мнѣ.

— Да не ее ль ты видѣла во снѣ?

— Пожалуйста!... Ахъ, какъ сидитъ чудесно!

Бурнусъ прекрасный. Этотъ цвѣтъ небесный

Ко мнѣ идетъ. Вѣдь я всегда блѣдна,

И брови черныя, глаза большіе,

Ну, погляди, я, право, недурна.

Я выпущу тутъ локоны: густые

И черные на голубомъ — charmant.

Вся завернусь въ бурнусъ съ гладкой спинкой ,

На шеѣ съ легкой палевой косынкой ,

Въ атласныхъ башмачкахъ — mais c'est riquant !

— У! божество мое !

— И мы съ тобою

Поѣдемъ за городъ , гдѣ нѣтъ людей.

— Хоть за сто верстъ.

— Я жажду всей душою

Увидѣть небо, лѣсъ, просторъ полей.

Вѣдь я почти природы не видала ;

Разъ только лѣтомъ съ папенькой гуляла :

За нашимъ домомъ поле и ручей —

Какъ весело.... Ахъ, что-то мой папаша !

Что съ нимъ теперь ! Ахъ, Боже мой, гдѣ онъ ?

Онъ не проститъ меня ! Онъ раздраженъ ,

Онъ такъ любилъ меня !...

— Что это, Маша ,

Опять ты плачешь — скучно ! Я сказалъ ,

Что онъ намъ дастъ свое благословенье ,

Но надо ждать. Священникъ не вѣнчалъ

И не хотѣлъ вѣнчать безъ позволенья

Родителей, но послѣ общалъ ,

Со мной отправаюсь къ архіерею...

Меня ты сердишь глупостью своею.

— Прости меня. Я вѣрю , я о томъ

Не буду даже думать.

— И прекрасно !

И вотъ она опять съ улыбкой ясной ,

Исчезла мигъ сверкнувшая слеза ;

Она глядѣла такъ ему въ глаза

Довѣрчиво , какъ смотреть только дѣти.

— «Послушай, Клавдій, ты мнѣ все на свѣтѣ ,

Ты счастливъ ли какъ я ?

— А могъ ли бѣ быть

Я меньше счастливъ?

— О, какъ жизнь прекрасна!

А жизнь въ одномъ лишь словѣ — вѣкъ любить.

А вѣдь живутъ и безъ любви.... Ужасно!

Не вѣрю я — жить безъ любви — страдать.

Но знаешь ли, когда бъ меня спросили,

Какъ я люблю и сколько — отвѣчать

Я бъ не могла.... Ужели бъ заключили,

Что не люблю я? О, какъ свѣтъ смѣшонъ!...

— «Эге, такъ вотъ, не въ этомъ ли твой сонъ?»

— «Ахъ, ты все шутишь!... Помнишь ли, объ этомъ»

Ты говорилъ со мной давно ужъ, лѣтомъ;

Ты помнишь ли, сказалъ мнѣ, что любовь

Безъ жертвъ не есть любовь; я этихъ словъ

Значеніе теперь лишь угадала.

Хоть я тебѣ покорна, какъ судьбѣ,

Все кажется, что сдѣлала я мало,

И что ничѣмъ не жертвую тебѣ.»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

I.

Какъ опустѣлъ нашъ домикъ на Пескахъ!

Закрѣты ставни, заросли травою

Дорожки, и крапива въ цвѣтникахъ.

Недавно, бурей сломаны ночью,

Лежали вѣтви желтыя деревъ;

Никто прибрать не думалъ ихъ съ дорожки,

Ни подвязать попорченныхъ кустовъ,

Ни вставить стекло въ выбитыхъ въ окошки.

Василій Тихонычъ лежалъ больной,

Безъ памяти, въ горячкѣ. День-денской

При немъ была сидѣлка нанятая,

Гадавшая спокойно при больномъ,

Что скоро ли ея догука злая

Окончится какимъ-нибудь концомъ,

И вымещавшая на кофеишкѣ

Заботы о проклятомъ старичишкѣ.

II.

Нѣтъ, время не старикъ. Нѣтъ, въ старцѣ умъ

Спокоенъ, мудръ, безгнѣвенъ, твердъ, угрюмъ.

Нѣтъ, время — женщина, дитя: ревниво,

И легкомысленно и прихотливо.

Капризное — вдругъ радость унесетъ,

За мигъ блаженства вырветъ злыя слезы,

Сорветъ съ чепа цвѣтушіи миртъ и розы,
И терніемъ колючимъ обовѣтъ;
Но вдругъ потомъ пробудится въ немъ жалость,
И выкупить свою захочетъ шалость —
Тутъ явится оно опять какъ другъ,
И исцѣлитъ мучительный недугъ.
Василій Тихоныхъ, чуть-чуть, по малу,
Сталъ поправляться, въ комнатѣ бродить,
И иногда на солнце выходить,
Гулять одинъ въ сосѣдствѣ, по каналу.

III.

Осенній день былъ ярокъ. Громкій звонъ
Гудѣлъ далеко. Было воскресенье.
Василій Тихоныхъ всталъ рано. Онъ
Всю ночь не спалъ. Тяжелыя видѣнья
Его терзали, отгоня сонъ.
Онъ вышелъ на крыльцо. Цыплята, куры,
Кудахча, тамъ тѣснилися къ пшени.
Онъ ихъ ласкалъ при этомъ въ старицу,
А нынче отошелъ, сказавши: «дуры».
Онъ въ залу. Солнцемъ оживленный, тамъ
Веселый чижикъ пѣсню заливался,
Какъ въ дни, когда, бывало, по утрамъ
Здороваться старикъ къ нему являлся
И говорилъ, что было за душой.
Теперь онъ сталъ съ поникшей головой;
Особенно теперь онъ вспомнилъ ясно
Иные дни, которыхъ не вернешь....
А чижикъ пѣлъ все также звонкогласно....
«Да что, дуракъ, ты горло-то дерешь,
Да замолчи, сверчокъ, ушамъ вѣдь больно.»
Онъ отошелъ, сердитый, недовольный.

IV.

По службѣ былъ пріятель у него.

Ужъ двадцать лѣтъ они сидѣли рядомъ ;

√ Вѣриѣ — двадцать лѣтъ другъ къ другу задомъ

Они сидѣли.... Боже мой! Чего

Не дѣлаетъ судьба на свѣтѣ бѣломъ!

Пріятели по днямъ сидѣли цѣлымъ

Другъ друга слыша, чувствуя, слѣдя,

Почти въ лицо другъ другу не глядя.

V.

Давно Иванъ Петровичъ въ службѣ высохъ.

Но, можетъ-быть, (не знаемъ мы того)

У множества головъ сихъ странныхъ, лысыхъ,

Какъ кажется умершихъ для всего,

Которыхъ міръ такъ жалко обезличилъ,

Все есть одно, куда живымъ ключомъ

Прорвалась жизнь и съ чувствомъ и съ умомъ....

Такъ узникъ былъ, который наукомъ

Всю жизнь ума и чувства ограничилъ.

VI.

— Василій Тихонычъ, пойдемъ гулять.

— Гдѣ мнѣ гулять!

— На острова поѣдемъ.

— Эхъ, полно вамъ.

— Да что же вамъ лежать

Весь день въ берлогѣ эдакимъ медвѣдемъ....

Поѣдьте, надѣньте виц-мундиръ.

— Ахъ, знаете ль, не хочется, ей Богу!

— Ну, полно же, живѣй, маршъ-маршъ въ дорогу!

Въ трактиръ зайдемъ пить чай.

— Ну, ужъ въ трактиръ

Я не пойду. Тамъ, чай, народу много,
И въ публику мнѣ страшно выходить.

— Вотъ то-то, все сидитъ, да дома тужить!

.....
.....
— Нѣтъ, не пойду, Иванъ Петровичъ.

— Что жь?

— Такъ, не могу.

— Ужь вы надѣли брюки?

— Все не могу.

— Васъ, право, не поймешь.

Да ну, скорѣй мундиръ да шляпу въ руки!

— Меня какъ-будто лихорадка бьетъ,

Такъ на сердцѣ не хорошо.

— Пройдетъ!

— Нѣтъ, не пройдетъ; ужъ развѣ Богу душу

Отдамъ, тогда пройдетъ. Такъ не *пройти*.

— Охота вамъ такъ страшно говорить,

И всякій смертенъ.

— Смерти я не трушу.

— Берите шляпу.

— Что мнѣ смерть теперь?

— Да полно, говорятъ.

— Такъ околѣю,

Какъ песъ, какой-нибудь поганый звѣрь,

Глазъ нѣкому закрыть мнѣ, какъ злодѣю.

— Ну, ну, пойдемъ. Ну, запирайте дверь.

VII.

Чиновники скромненько ваньку взяли

И поплелись рысцой на острова.

«И лѣтомъ былъ денекъ такой едвали,

Смотрите-ко, вѣдь будто спитъ Нева.»

Василій Тихонычъ хранилъ молчанье ,
За то Иванъ Петровичъ говорилъ :
«Какъ пыльно ! уфъ ! дышать почти нѣтъ силъ !
Да слѣземъ тутъ , пройдемте до гулянья .
Смотрите-ка народу что идетъ ,
Чай всякіе — держитесь за карманы ,
Кто ихъ теперь въ толпѣ-то разбереть...
Глядите-ко , присталь какой-то пьяный
Къ купчихѣ , знать : повязана платкомъ .
Здоровая , ей-ей , кровь съ молокомъ !
Чай ѣсть за трехъ ! ишь жирная какая !
Эге , ругнула ! вотъ люблю , лихая !

Да это что , смотрите-ко сюда —
Здѣсь прежде будки не было . Когда
Поставили ? Спросить бы часоваго....
Ахъ нѣтъ , была , да выкрашена снова .

Послушаемъ шарманки . Ишь какой
Тальянецъ — мальчикъ , а ужъ черномазый .
Чай сколько онъ проходитъ день-денской !
Какъ вертится ! ахъ дьяволъ пучеглазый !
Ѣсть нечего въ своей землѣ у нихъ ,
И суются куда бы ни попало .
Да . Ну , у насъ бы припугнули ихъ .
Вонъ Нѣмецъ — тоже честный надувало :
Я чай сигаръ изъ браку набереть ,
А тутъ , поди-ка , сунься , такъ сдереть ,
За штучку гривенникъ , да пятьалтынникъ .
Вотъ что ! И знай .

Полвинемтесь туда ,
Къ каретамъ . Ты , сѣдая борода ,
Слышь , не толкай ! посторонись , аршинникъ !
Не видишь , что чиновники.... Скорѣй ,
Василій Тихонычъ , не пропустите ,

Директорша. Да шляпу-то снимите.
Проѣхала. Директоръ не при ней.
А вонъ коляска.... да кто въ ней, глядите —
Не знаете? вѣдь стыдно и сказать....
Вся въ кружевахъ теперь и блондахъ.... Тащка,
Та, что жила у Прохорова нянькой!
И шляпка внизъ торчитъ.... То жь лѣзетъ въ знать!
Чуфарится! туда жь съ осанкой барской!....

.....
.....
.....
Василій Тихонычъ, что жь вы стоите?

Пойдемъ пить чай.

— Глядите-ко.... глядите....

— Кто тамъ?

— Глядите....

— Кто?

— Она, она!...

Разряжена.... Какъ весела.... смѣялась....

— Пойдите прочь, вамъ просто показалось,

— И онъ верхомъ.... Мерзавецъ!... Какъ жена

Съ нимъ говорить.... Да что вы, не держите.

— Василій Тихонычъ! уйдемъ, молчите!

Вы въ публикѣ.... вниманье обратять.

Подумають, что вы.... свести велятъ

Въ полицію....

— Она того хотѣла,

Такъ на же, пусть въ полицію сведуть!

Пускай при ней и свяжутъ и возьмутъ!

Пусти меня!...

— Опомнись, это тѣло

И кровь твоя....

— Ну, тѣло, кровь, пусти!

Отца забыть! Съ любовникомъ уйти,

Отець — онъ старъ, дуракъ! Какое дѣло

Есть или нѣтъ отецъ.... Пускай реветь....

Оставила.... Пускай сума сойдетъ ,

Что жить ему: околѣвай , собака!

Смотрите всѣ : вонъ , вонъ она , вонъ та —

Анаеема! будь вѣки проклята!...

— Уфъ , страхъ какой!

— Что тутъ за шумъ?

— Что? драка?

Старикъ умолкъ. Дрожащія уста,

Казалось , говорить еще хотѣли ,

Но голосъ замеръ , ноги ослабѣли

И онъ упалъ. Коляска понеслась

Какъ вихрь. Толпа кругомъ еще тѣснилась.

— Я съ духомъ все еще не собралась.

Вотъ ужаси! Она, моя родная ,

Какъ взвизгнула!

— Да блѣдная такая!

— Что тутъ такое?

— Проклялъ дочь отецъ.

— Да, проклялъ; да за что же? Злая доля

Тому кто проклятъ.... Ишь вѣдь молодецъ!

— Ахъ, батюшка! Родительская воля!

— Ишь , проклялъ!...

— Онъ вѣдь какъ безумный самъ.

Смотрѣли бы за нимъ всѣ по пятамъ —

Воды-то много тутъ. Чтобъ не случился

Съ нимъ грѣхъ какой....

— Ты слышалъ , тутъ одинъ

Порядочно одѣтый господинъ ,

Чиновникъ , проклялъ дочь и утопился?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

I.

Пришла весна. Свѣтлѣютъ неба своды;
Свой бѣлый саванъ сдернула зима,
Дома темны, какъ древніе дома;
По улицамъ, журча, струятся воды;
Нева блеститъ и дымчатой волной
Играетъ съ жемчугомъ зеленой льдины.
Я Петербургъ люблю еще весной.
Какъ-будто есть движенье: цѣлью длинной
Въ грязи шума и плеча колесомъ,
Стремятся экипажи; по колѣно
Въ водѣ еще кой-гдѣ, вертя кнутомъ,
Съ санями ванька тащится, рядкомъ
Съ лошадкою, покрытой бѣлой пѣной;
И тротуаръ на Невскомъ оживлентъ;
Толпы ползутъ туда со всѣхъ сторонъ;
Людей, какъ мухъ, живить весны дыханье;
И раздаются шумно восклицанья
«Что, братъ, весна! Я просто въ сюртукъ —
И ничего!» — «Я тоже налегкѣ.»
Лишь скептикъ, жертва мѣстнаго недуга,
(Зараза эта такъ у насъ сильна),
Замѣтитъ: «да, пожалуй и весна,
А все, гляди, уже потянетъ выюга.» —
Ну, словомъ жизни уличной просторъ!
Точь-въ-точь Парижъ: кофейни, лавки, клубы,

На улицѣ!... Давно ль, съ которыхъ поръ
Вы бойки такъ, совсѣмъ другіе стали!
Я помню васъ студентомъ....

— Я созрѣлъ;

Въ два года много я узнать успѣлъ.

— Ужели сердцемъ вы не трепетали,
Когда родной языкъ вы услышали?

— Какой языкъ, и какъ здѣсь говорить!

Французскія слова на русскій ладъ!

Не тотъ языкъ, что искрится алмазомъ,

И радуется и поражаетъ разомъ

Въ устахъ Француза; нѣтъ, совсѣмъ другой,

Сухой, дипломатически-пустой,

Какая-то привычка къ мертвымъ фразамъ.

Вы, женщины, вы корень зла всего.

Одушевить языкъ своей улыбкой,

Сроднить его съ своей природой гибкой,

И женскимъ сердцемъ воспитать его

Вы не хотите.... Грубая ошибка!

Какъ ни возись съ упрямымъ языкомъ

Писатели — прозаики, поэты,

Онъ будетъ сынъ, воспитанный отцомъ,

Незнавшій ласкъ сестры и не согрѣтый

Улыбкой матери.

— Кто жъ виновать?...

Вы точно Чацкій.... Жолчь и злость — что слово.

Вы нынче вечеръ съ нами?

— Очень радъ....

Я такъ увлекся.... Тетушка здорова?

— Мегсі.

— А дядюшка?

— Онъ очень хилъ.

— Кузины?

— Васъ увидѣть будутъ ради.

Додо ужъ замужемъ.... и послѣ дяди

Получить много мужъ.... онъ очень милъ.

— А ваши всѣ друзья?... Мими?

— Какая

Мими?

— Брюнетка, помните, живая,

Вашъ другъ.

— *Ei donc!*

— Вы вышли вмѣстѣ съ ней

Изъ пансіона....

— Боже мой, молчите!

— Мими.... вашъ другъ?

— Ахъ, что вы говорите!

— Вотъ дружба-то!

— Нѣтъ у меня друзей.

— Жива ль она?

— Да, умерла.... для свѣта....

Матап, матап, чудесная карета,

Что привезли изъ Лондона Sophie....

— А гдѣ Sophie?

— Воиъ тамъ.

— А съ ней мосье Fifi?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

I.

Но гдѣ она, гдѣ героиня наша,
Гдѣ бѣдная, гдѣ любящая Маша?...
Убита ли нечаянной грозой?
Иль чистая душа и съ ней сроднилась?
Изъ устъ отца проклятье разразилось
Какъ громъ небесъ надъ юной головой;
Надменный свѣтъ, ласкающій невѣжду
И мытаря, грабителя, шута,
Для ней навѣкъ закрыть свои врата
Съ ужасной надписью: «оставь надежду»...
(Ты палъ — такъ падай глубже; не мечтай
Когда-нибудь опять увидѣть рай,
Гдѣ человѣкъ блаженъ, безукоризненъ, —
Такъ скучно чистъ, такъ чопорно безжизненъ.)

II.

Марія все, увы! пережила...
Пережила: она какъ прежде любить.
Пусть страсть ее гнететь, терзаетъ, губить,
Ея любовь подъ бурю была
Еще сильнѣй и пламеннѣй. Казалось,
Что дивная душа проснулась въ ней;
Какъ подъ грозой прекрасный цвѣтъ полей,
Она въ слезахъ, казалось, укрѣплялась.

Пусть свѣтъ ее караетъ и разитъ,
Пусть страшный остракизмъ на ней лежитъ :
Что судъ толпы посильно безпорочной,
Ругающей непризнанную страсть,
Хотя о ней мечтающей заочно
И каждый мигъ готовой втайнѣ часть?

III.

А Клавдій? О, какъ ей мечталось сладко
Всю жизнь свою ему лишь посвятить,
Смягчать его, исправить недостатки,
Врожденное добро въ душѣ раскрыть.
Любовь надѣется.... Однако нынѣ
Недѣля, какъ исчезъ онъ. Живъ ли онъ?
И цѣлый міръ для Маши сталъ пустыней.
Онъ вспыльчивъ, онъ, быть-можетъ, завлеченъ
Въ дуэль.... быть-можетъ, кровью истекаетъ,
И не она какъ другъ при немъ была....
Ахъ, лучше пусть убить, чѣмъ измѣняетъ —
Вопило сердце, но она ждала.

IV.

Звонятъ. «Онъ, онъ!» и молніей блеснула
Ей радость. Взоръ мгновенно просвѣтлѣлъ,
Но крикъ, напрягшій грудь, вдругъ излетѣлъ
Глубокимъ вздохомъ; сердце обмануло —
То былъ не онъ.

Вьюшкинъ.
— «Я къ вамъ.... я посланъ къ вамъ»

Отъ Клавдія.

— Отъ Клавдія? О Боже,

Онъ живъ?.... Ахъ, гдѣ онъ?

— Живъ-то живъ.

— Такъ что же?

— Какъ вамъ сказать, не знаю, право, самъ;
Довольно трудно, хоть всего два слова.

— Ахъ, говорите, я на все готова!

— Онъ въ полкъ уѣхалъ: срокъ сталъ выходить...

— Уѣхалъ? Безъ меня? Не можетъ быть,

Я васъ не понимаю.

— Очень ясно

Уѣхалъ въ полкъ.

— И я пойду за нимъ.

— Послушайте, отъ васъ скрывать напрасно.

Отецъ его суровъ, неумолимъ,

И Клавдій.... васъ оставилъ.

— Нѣтъ, вы лжете!

— Съ чего жъ мнѣ лгать пришла охота вдругъ?

Вотъ вамъ письмо.

— Подложное!

— Прочтете

Того не скажете.

«Любезный другъ,

«Чтобъ избѣжать несносныхъ объясненій,

«Мнѣ тягостныхъ, а также и тебѣ,

«Беру перо. Оставь всѣ слезы, пени,

«Сообрази и покорись судьбѣ.

«Пора, мой другъ, намъ наконецъ разстаться.

«Ты — умница; ты все сама поймешь;

«Ты хороша, одна не пропадешь;

«И такъ, прощай, счастливо оставаться!

«Вѣрь, не забуду я любви твоей —

«На первый разъ вотъ тысяча рублей.»

— «Вотъ видите каковъ онъ?

— Боже, Боже!....

— Я говорилъ: ни на что не похоже

Ты, братецъ, дѣлаешь; а онъ свое,

Что надоѣла, надобно ее
Оставить.

— Извергъ!

— Извергъ и ужасный!

Да что вы плачете? ей-ей напрасно!

Слезинки бѣ я не пролилъ за него.

Въ его душѣ — святаго ничего!

Онъ говоритъ, что женщинъ только любить,

Пока ему противятся онѣ;

Что вопль и слезы только въ немъ сугубятъ

Презрѣніе.... Марія, вѣрьте мнѣ,

Ни вашихъ слезъ, ни мыслей онъ не стоитъ....

Не знаю, право, что васъ беспокоитъ.

Да плюньте на него. Несправедливъ

Онъ къ вамъ; да вы ужель его не знали?

Онъ эгоистъ безкровный и едва ли

Когда любилъ — быть-можетъ и счастливъ

Онъ оттого бывалъ у женщинъ въ свѣтѣ.

Хотите ль знать каковъ онъ? въ немъ все ложь,

И добраго и чести ни на грошъ;

Письмо — все вздоръ; резоны эти

Все выдумки, все тѣ же въ сотый разъ.

.....

.....

Я очень радъ, что онъ избавилъ васъ

Отъ объясненій — это трудъ напрасный.

Вы стали бы тутъ плакать, онъ курить

И въ потолокъ пускать колечки дыма....

Послушайте.... вы будете любимы.

Нельзя васъ видѣть мигъ, и такъ уйти,

Не полюбить.... Клянусь, вы такъ прекрасны....

Не плачьте. Вѣрьте, вы не такъ несчастны,

Какъ кажется.... Клянусь, вамъ впереди

Такъ много въ жизни.... Маленькая тучка

Примчалась и чрезъ мигъ пройдетъ гроза,

И эти косы, дивные глаза,
И эта ножка, пухленькая ручка...
Марія! дайте вашу ручку мнѣ....

(цѣлуеть руку.)

Ахъ, ручка, ручка! только вѣдь во снѣ
Такую видишь.... Ангелъ черноокій,
У вашихъ ногъ клянусь любить всегда,
Всю жизнь свою любить, какъ никогда
Онъ не любилъ.... не будьте же жестоки,
Позвольте мнѣ любить васъ, вѣкъ любить!»....

И онъ рукой старался охватить
Марію станъ. Его прикосновенье
Вдругъ вывело ее изъ онѣмѣнья.

— «Стыдитесь, что вы?

— Ангелъ милый мой!

Отдайтесь мнѣ.

— Пустите!

— Ангелъ милый!

Отчаянье въ ней пробудило силы,
Глаза зажглись обиды полнотою,
И — хлопъ пощечина.... Но нашъ герой
Нашелся.

— Ну, теперь ужъ расцѣлю!

— Подите вонъ!

— Нѣтъ, расцѣлю!

— Вонъ,

Я васъ убью!

— Ты шутишь шутку злую!

Но полно, миръ воюющихъ сторонъ,
И руку! Вы не въ духѣ?

— Прочь подите!

— Вы шутите?

— На шагъ лишь подступите,

Я размножу вамъ голову!

— Уйду-сь....

Экъ подняла какую вѣдь тревогу!
Нѣтъ, Клавдій, ты надумъ меня, ей Богу!
Бѣсенокъ! Право, лучше уберусь....
— Ахъ, Клавдій, Клавдій! гдѣ ты?.... Что со мною?
Что сдѣлалъ ты?....

IV.

— И голосъ ослабѣлъ,

Румянецъ, вызванный обидой злою,
Угасъ и ликъ какъ-будто помертвѣлъ.
Недвижная, поникши головою,
Она, казалось, силилась понять
Что было съ ней.... хваталася руками
За голову, какъ-будто удержать
Стараясь разумъ; мутными глазами
Искала все кого-то.... Давить грудь
Стѣсненное, тяжелое дыханье....
О, хоть бы слезы.... но увы, въ страданьѣ
И слезы даже могутъ обмануть....
Потомъ какъ бы вернулась сила снова,
И вырвались изъ устъ и стонъ и слово:
«Онъ обманулъ!.... Я всѣмъ теперь чужда....
Онъ правъ, всѣ скажутъ, онъ вѣдь никогда
И не любилъ: она одна любила»....
И горькое рыданье заглушило
Ея слова....

V.

Что жь думала она?

Какая мысль въ душѣ свинцомъ лежала?
Что изъ груди разбитой исторгало
То стонъ, то плачь, то хохоть, то порой
Въ очахъ сіяло тихою слезой?

Одно: «онъ разлюбилъ».... Въ ней сердце, разумъ,
Вся жизнь ея, казалось, были разомъ
Убиты этимъ словомъ роковымъ.
«О, еслибъ хоть увидѣться мнѣ съ нимъ!....
Вотъ деньги.... О, палачъ безъ состраданья!
Онъ выкупъ далъ позора моего!
Ахъ, гдѣ онъ самъ, гдѣ низкое созданье?
Я бъ бросила ему въ лицо его
Червонцами.... Одно, одно осталось!»
И будто свѣтлой мыслию чело
Вдругъ просіяло; точно отлегло
Отъ сердца. Что-то страшное, казалось,
Она задумала.

VI.

Марія шла дрожащею стоцой,
Одна съ больной, растерзанной душой.
«Дай силы умереть мнѣ, правый Боже!
Весь міръ — чужой мнѣ.... А отецъ?.... старикъ....
Оставленный.... и онъ.... онъ проклялъ тоже!
За что жъ? Хотя на него взглянуть бы мигъ,
Все рассказать.... а тамъ — пусть проклинаетъ!»
Она идетъ; сторонится народъ,
Кто молча, кто съ угрозой, кто шепнетъ:
«Безумная!» и въ страхъ отступаетъ.
И вотъ знакомый домикъ; меркнулъ день,
Зарей вечерней небо обагрилось,
И длинная по улицамъ ложилась
Отъ фонарей, деревъ и кровель тѣнь.
Вотъ садъ, скамья, поросшая травой
Подъ вѣтвями широкими березъ.
На ней старикъ. Послѣдній клокъ волосъ
Давно ужъ выпалъ. Блѣдный онъ казался
Однимъ скелетомъ. Ветхій виц-мундиръ

Не снять: онъ видно снять не догадался,
Прійдя отъ должности. Покой и миръ
Его лица былъ страшень: это было
Спокойствіе отчаянья. Уныло
Онъ только ждалъ скорѣй оставить міръ.
Вдругъ слышитъ вздохъ и листья задрожали
Отъ шороха. «Что, ужъ не воры ль тутъ?
«А пусть все крадутъ, пусть все разберутъ,
«Вѣдь ужъ они.... они ее украли»....
Старикъ закрылъ лицо и зарыдалъ,
И чуются ему рыданья тоже,
И голосъ: «что я сдѣлала съ нимъ, Боже!»
Не зная какъ, онъ дочь ужъ обнималъ,
Не въ силахъ слова вымолвить. — Папаша,
Простите! — «Что, я развѣ звѣрь иль Жидъ?»
— «Простите!» — «Полно! Богъ тебя проститъ!
А ты.... а ты меня простишь ли, Маша?»....

и свята: она имино снѣтъ по долъзвѣнъ,

и нѣтъ отъ долъзвѣнъ. Юной и нѣтъ

это нѣтъ отъ долъзвѣнъ: это нѣтъ

поносите отъ долъзвѣнъ. У нѣтъ

нѣтъ только нѣтъ отъ долъзвѣнъ нѣтъ

нѣтъ свѣтлѣ нѣтъ в нѣтъ нѣтъ нѣтъ

Отъ нѣтъ. «Нѣтъ, нѣтъ нѣтъ нѣтъ»

А нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ

Нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ

нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ

нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ

нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ

Д Т Е Т О М И Т Е

нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ

нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ

нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ

нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ

нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ нѣтъ

ТРИ ПОРТРЕТА.

РАЗСКАЗЪ

ИВ. ТУРГЕНЕВА.

1844

ПРИКАЗ

Всего известно, что в 1844 году в городе Москве
было открыто училище для детей бедных
и сирот, в котором обучаются грамоте и
искусству. Училище это имеет целью
воспитание детей в добродетели и
искусстве, а также дать им возможность
заработать на пропитание. Училище
открыто в городе Москве, в доме
№ 12 по улице...
Всего известно, что в 1844 году в городе
Москве было открыто училище для детей
бедных и сирот, в котором обучаются
грамоте и искусству. Училище это имеет
целью воспитание детей в добродетели и
искусстве, а также дать им возможность
заработать на пропитание. Училище
открыто в городе Москве, в доме
№ 12 по улице...

ТРИ ПОРТРЕТА.

«Сосѣдство» составляетъ одну изъ важнѣйшихъ не-приятностей деревенской жизни. Я знавалъ одного вологодскаго помѣщика, который при всякомъ удобномъ случаѣ повторялъ слѣдующія слова: «слава Богу, у меня нѣтъ сосѣдей» — и признаюсь — не могъ не завидовать этому счастливому смертному. Моя деревенька находится въ одной изъ многочисленнѣйшихъ губерній Россіи. Я окруженъ великимъ множествомъ сосѣдушекъ, начиная съ благонамѣренныхъ и почтенныхъ помѣщиковъ, облеченныхъ въ просторные фраки и просторнѣйшіе жилеты, — и кончая записными гуляками, носящими венгерки съ длинными рукавами и такъ называемымъ «фимскимъ» узломъ на спинѣ. Въ числѣ всѣхъ этихъ дворянъ, случайнымъ образомъ открылъ я однакожь одного весьма любезнаго малаго: онъ прежде служилъ въ военной службѣ, потомъ вышелъ въ отставку и поселился на вѣки вѣковъ въ деревнѣ. По его рассказамъ онъ служилъ два года въ П-мъ полку; но я рѣшительно не понимаю, какъ могъ этотъ человекъ нести какую-нибудь обязанность, не только въ теченіи двухъ лѣтъ, но даже въ продолженіи двухъ дней. Онъ былъ рожденъ «для жизни мирной, для деревенской тишины», то есть для лѣниваго безпечнаго

прозябанія, которое, замѣчу въ скобкахъ, не лишено великихъ и неистощимыхъ прелестей. Онъ пользовался весьма порядочнымъ состояніемъ: незаботясь слишкомъ о хозяйствѣ, проживалъ около десяти тысячъ рублей въ годъ, досталъ себѣ прекраснаго повара (мой пріятель любилъ хорошо покушать); также выписывалъ изъ Москвы новѣйшія французскія книги и журналы. По-русски же читалъ онъ одни лишь донесенія своего приказчика и то съ большимъ трудомъ. Онъ съ утра (если не уѣзжалъ на охоту) до обѣда и за обѣдомъ не покидалъ халата; перебиралъ какіе-нибудь хозяйственные рисунки; не то отпраплялся на конюшню или въ молотильный сарай и пересмѣивался съ бабами, которыя при немъ взмахивали цѣпами, какъ говорится, съ прохвалá. Послѣ обѣда, мой любезный другъ одѣвался передъ зеркаломъ весьма тщательно и ѣхалъ къ какому-нибудь сосѣду, одаренному двумя или тремя хорошенькими дочками; безопасно и миролюбиво волочился за одной изъ нихъ, игралъ съ ними въ жмурки, возвращался домой довольно поздно и тотчасъ же засыпалъ богатырскимъ сномъ. Онъ скучать не могъ, потому что никогда не предавался полному бездѣйствию; а на выборъ занятій не былъ прихотливъ, и какъ ребенокъ тѣшился малѣйшей бездѣлицей. Съ другой стороны — особенной привязанности къ жизни онъ не чувствовалъ, и бывало когда приходилось *перескакивать* волка или лисицу — пускалъ свою лошадь во всю прыть по такимъ рытвинамъ, что я по сихъ поръ понять не могу, какъ онъ себѣ сто разъ не сломалъ шеи. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые возбуждаютъ въ васъ мысль, что они сами себѣ не знаютъ цѣны, что подъ ихъ наружнымъ равнодушіемъ скрываются сильныя и великія страсти; но онъ бы разсмѣялся вамъ въ носъ, еслибъ могъ догадаться, что вы питаете о немъ подобное мнѣніе; да и

признаться сказать, я самъ думаю, что если и водилось за моимъ пріятелемъ въ молодости какое-нибудь, хотя неясное, но сильное стремленіе къ тому, что весьма мило названо «чѣмъ-то высшимъ», то это стремленіе давнымъ-давно въ немъ утомилось и *зачичкало*. Онъ былъ довольно толстъ и наслаждался превосходнымъ здоровьемъ. Въ нашъ вѣкъ нельзя не любить людей, мало помышляющихъ о самихъ себѣ, потому что они чрезвычайно рѣдки... а мой пріятель едва ли не забылъ о своей особѣ. Впрочемъ, я, кажется, уже слишкомъ много говорю о немъ,—и моя болтовня тѣмъ болѣе неумѣстна, что не онъ служитъ предметомъ моего разказа. Его звали Петромъ Федоровичемъ Лучиновымъ.

Въ одинъ осенній день съѣхалось пять человѣкъ пять записныхъ охотниковъ у Петра Федоровича. Цѣлое утро мы провели въ полѣ, затравили двухъ волковъ и множество зайцевъ и вернулись домой въ томъ восхитительно-пріятномъ расположеніи духа, которое овладѣваетъ всякимъ порядочнымъ человѣкомъ послѣ удачной охоты. Смеркалось. Вѣтеръ разбигрывался въ темныхъ поляхъ, и шумно колебаль обнаженные вершины березъ и липъ, окружавшихъ домъ Лучинова. Мы пріѣхали, слѣзли съ коней... на крыльцѣ я остановился и оглянулся: по сѣрому небу тяжело ползли длинныя тучи; темно-бурый кустарникъ крутился на вѣтрѣ и жалобно шумѣлъ; желтая трава безсильно и печально пригибалась къ землѣ; стаи дроздовъ перелетывали по рябинамъ, обсыпаннымъ ярко-пунсовыми гроздьями; въ тонкихъ и ломкихъ сучьяхъ березъ съ свистомъ попрыгивали синицы... на деревьяхъ сипло лаяли собаки. Мнѣ стало грустно... за то я съ истинной отрадой вошелъ въ столовую. Ставки были заперты; на кругломъ столѣ, покрытомъ скатертью ослѣпительной бѣлизны, среди хрустальныхъ графиновъ, наполненныхъ краснымъ виномъ, горѣло восемь

свѣчей въ серебряныхъ подсвѣчникахъ; въ каминѣ весело пылалъ огонь — и старшій, весьма благообразный дворецкшй, съ огромной лысиной, одѣтый по-англійски, стоялъ въ почтительной неподвижности передъ другимъ столомъ, на которомъ уже красовалась большая суповая чаша, облитая легкимъ и пахучимъ паромъ. Въ сѣнцахъ мы прошли мимо другаго почтеннаго чело-вѣка, занятаго мороженіемъ шампанскаго — «по строгимъ правиламъ искусства». — Обѣдъ былъ, какъ водится въ подобныхъ случаяхъ, — чрезвычайно пріятный; мы хохотали, рассказывали происшествія, случившіяся на охотѣ, и съ восторгомъ упоминали о двухъ знаменитыхъ «угонкахъ». Покушавши довольно плотно, расположились мы въ широкихъ креслахъ около камина; на столѣ появилась объемистая серебряная чаша и черезъ нѣсколько мгновеній, легкое пламя запылавшаго рома возвѣстило намъ о пріятномъ намѣреніи хозяина: «сотворить жжѣнку». — Петръ Федоровичъ былъ чело-вѣкъ не безъ вкуса — онъ, напри-мѣръ, зналъ, что ничего не дѣйствуетъ такъ убійственно на фантазію, какъ ровный, холодный и педанти-чeskій свѣтъ лампъ — и потому велѣлъ оставить въ комнатѣ всего двѣ свѣчи. Странныя полу-тѣни трепетали по стѣнамъ, произведенныя прихотливою игрою огня въ каминѣ и пламени жжѣнки.... тихая, чрезвычайно пріятная отрада замѣнила въ нашихъ сердцахъ нѣсколько буйную веселость, господствовавшую за обѣдомъ.

Разговоры имѣютъ свои судьбы — какъ книги (по латинской пословицѣ), какъ все на свѣтѣ. Нашъ разговоръ въ этотъ вечеръ былъ какъ-то особенно разнообразенъ и живъ. Отъ частности восходилъ онъ къ довольно важнымъ общимъ вопросамъ, легко и непринужденно возвращался къ ежедневностямъ жизни.... Поболтавши довольно-много, мы вдругъ всѣ замол-

чали. Въ это время, говорятъ, пролетаетъ тихій ангель.

Не знаю, отъ-чего мои товарищи затихли; я замолчалъ отъ того, что мои глаза остановились внезапно на трехъ запыленныхъ портретахъ въ черныхъ деревянныхъ рамкахъ. Краски истерлись и кое-гдѣ покоробились, но лица можно было еще разобрать. На среднемъ портретѣ изображена была женщина молодыхъ лѣтъ въ бѣломъ платьѣ съ кружевными каемками, въ высокой прическѣ восьмидесятыхъ годовъ. На право отъ нея, на совершенно черномъ фонѣ виднѣлось круглое и толстое лицо добраго русскаго помѣщика лѣтъ двадцатипяти, съ низкимъ и широкимъ лбомъ, тупымъ носомъ и простодушной улыбкой. Французская напудренная прическа весьма не согласовалась съ выраженіемъ его славянскаго лица. Живописецъ изобразилъ его въ кафтанѣ алаго цвѣта съ большими стразовыми пуговицами; въ рукѣ держалъ онъ какой-то небывалый цвѣтокъ. На третьемъ портретѣ, писанномъ другою болѣе искусною рукою, былъ представленъ человѣкъ лѣтъ тридцати, въ зеленомъ мундирѣ екатерининскаго времени, съ красными отворотами, въ бѣломъ камзолѣ, въ тонкомъ батистовомъ галстухѣ. Одной рукою опирался онъ на трость съ золотымъ набалдашникомъ, другую заложилъ за камзолъ. Его смуглое, худощавое лицо дышало дерзкою надменностью. Тонкія длинныя брови почти срослись надъ черными какъ смоль глазки; на блѣдныхъ, едва замѣтныхъ губахъ играла недобрая улыбка.

— Что вы это заглядѣлись на эти лица? спросилъ меня Петръ Федоровичъ.

— Такъ! отвѣчалъ я, посмотрѣвъ на него.

— Хотите ли выслушать цѣлый разговоръ объ этихъ трехъ особахъ?

Сдѣлайте одолженіе, отвѣчали мы въ одинъ голосъ. Петръ Ѳедоровичъ всталъ, взявъ свѣчку, поднесъ ее къ портретамъ, и голосомъ человѣка, показывающаго дикихъ звѣрей, «Господа!» провозгласилъ онъ: «эта дама — пріемышь моего роднаго прадѣдушки, Ольга Ивановна N. N, прозванная Лучиновой, умершая лѣтъ сорокъ тому назадъ въ дѣвицахъ. Этотъ господинъ» — показывая на портретъ мужчины въ мундирѣ — «гвардіи еержантъ, Василій Ивановичъ Лучиновъ же, скончавшійся волею Божіею въ тысяща семь сотъ девяностомъ году; а этотъ господинъ, съ которымъ я не имѣю чести состоять въ родствѣ, нѣкто Павелъ Аванасьевичъ Рогачевъ, нигдѣ, сколько мнѣ извѣстно, не служившій. Извольте обратить вниманіе на дыру, находящуюся у него на груди, на самомъ мѣстѣ сердца. Эта дыра, какъ вы видите, правильная, трехъ-гранная, вѣроятно, не могла произойти случайно.... Теперь, продолжалъ онъ обыкновеннымъ своимъ голосомъ, извольте усѣться, вооружитесь терпѣніемъ и слушайте.

«Господа! началъ онъ, я происхожу изъ довольно стариннаго рода. Я моимъ происхожденіемъ не горжусь, потому-что мои предки были всѣ страшные мотыги. Впрочемъ, этотъ упрекъ не относится къ моему прадѣду, Ивану Андреевичу Лучинову, — напротивъ: онъ слылъ за человѣка чрезвычайно бережливаго и даже скупаго — по-крайней-мѣрѣ въ послѣдніе годы своей жизни. Онъ провелъ свою молодость въ Петербургѣ, и былъ свидѣтелемъ царствованія Елизаветы. Въ Петербургѣ онъ женился, и прижилъ съ своей женой, а моею бабушкой, четырехъ человѣкъ дѣтей — трехъ сыновей, Василья, Ивана и Павла (моего роднаго дѣда) и одну дочь, Наталью. Сверхъ-того, Иванъ Андреевичъ принялъ къ себѣ въ семейство дочь одного весьма отдаленнаго родственника, круглую безымянную сироту — Ольгу Ивановну, о которой я уже вамъ

говорилъ. Подданные моего дѣдушки, вѣроятно, знали о его существованіи, потому-что выслали къ нему (когда не случилось особаго несчастія) весьма значительный оброкъ — но никогда въ лицо его не выдали. Сельцо Лучиновка, лишенное лицезрѣнія своего господина, процвѣтало, какъ вдругъ, въ одно прекрасное утро, тяжкая колымага вѣхала въ деревню и остановилась передъ избою старосты. Мужики, встревоженные такимъ небывалымъ происшествіемъ, сбѣжались и увидали своего барина, барыню и всѣхъ ихъ чадь, исключая старшаго, Василія, оставшагося въ Петербургѣ. Съ того достопамятнаго дня и до самой своей кончины, Иванъ Андреевичъ не выѣзжалъ изъ Лучиновки. Онъ выстроилъ себѣ домъ — тотъ самый, въ которомъ я теперь имѣю удовольствіе бесѣдовать съ вами; построилъ также церковь и началъ жить помѣщикомъ. Иванъ Андреевичъ былъ человекъ огромнаго роста, худой, молчаливый и весьма медлительный во всѣхъ своихъ движеніяхъ; никогда не носилъ халата и никто, исключая его камердинера, не видалъ его не напудреннымъ. Иванъ Андреевичъ обыкновенно ходилъ залажа руки за спину, медленно поворачивая голову при каждомъ шагѣ. Всякой день прогуливался онъ по длинной липовой аллеѣ, которую самъ собственноручно насадилъ — и передъ смертью имѣлъ удовольствіе пользоваться тѣнью этихъ липъ. Иванъ Андреевичъ былъ чрезвычайно скупъ на слова; доказательствомъ его молчаливости служить то замѣчательное обстоятельство, что онъ въ теченіи двадцати лѣтъ не сказалъ ни одного слова своей супругѣ, Аннѣ Павловнѣ. Вообще, его отношенія къ Аннѣ Павловнѣ были весьма страннаго рода. — Она завѣдывала всѣмъ домашнимъ хозяйствомъ, за обѣдомъ сидѣла всегда возлѣ своего мужа — онъ нещадно наказалъ бы человека, который осмѣлился бы сказать ей одно непочти-

тельное слово, — а между-тѣмъ самъ съ ней никогда не говорилъ, не прикасался къ ея рукѣ. Анна Павловна была робкая, блѣдная, убитая женщина; каждый день молилась въ церкви на колѣняхъ и никогда не улыбалась. Говорятъ, они прежде, т. е. до прїѣзда въ деревню, жили въ большомъ ладу; поговаривали также, что Анна Павловна нарушила свои супружескія обязанности, что мужъ узналъ о ея проступкѣ.... Какъ бы то ни было, но Иванъ Андреевичъ даже умирая не примирился съ ней. Во время послѣдней его болѣзни, она не отлучалась отъ него, но онъ, казалось, ея не замѣчалъ. Въ одну ночь, Анна Павловна сидѣла въ спальнѣ Ивана Андреевича; его мучила бессонница — лампада горѣла передъ образомъ; слуга моего дѣдушки, Юдичъ, о которомъ я вамъ въ-послѣдствіи скажу два слова, вышелъ. Анна Павловна встала, перешла черезъ комнату и рыдая бросилась на колѣни передъ постелью мужа, хотѣла что-то сказать — протянула руки.... Иванъ Андреевичъ посмотрѣлъ на нее — и слабымъ голосомъ, но твердо закричалъ: «человѣкъ!» Слуга вошелъ, Анна Павловна поспѣшно встала, и шатаясь возвратилась на свое мѣсто.

Дѣти Ивана Андреевича чрезвычайно его боялись. Они выросли въ деревнѣ и были свидѣтелями страннаго обхожденія Ивана Андреевича съ своею женою. Они все страстно любили Анну Павловну, но не смѣли выказать свою любовь. Она сама какъ-будто ихъ чуждалась.... Вы помните, господа, моего дѣда, онъ до своей смерти всегда ходилъ на цыпочкахъ и говорилъ шопотомъ.... что значитъ привычка! Мой дѣдъ и братъ его, Иванъ Ивановичъ, были люди простые, добрые, смиренные и грустные; моя grand'tante Наталья вышла, какъ вамъ извѣстно, замужъ за грубаго и глупаго человѣка, и до смерти питала къ нему безмолвную, подобострастную, овечью любовь — но не такую

былъ братъ ихъ Василій. Я вамъ, кажется, сказывалъ, что Иванъ Андреевичъ оставилъ его въ Петербургѣ. Ему было тогда лѣтъ двѣнадцать. Отецъ поручилъ его попеченіямъ одного отдаленнаго родственника, чело-вѣка уже не молодого, холостаго, страшнаго вол-теріанца.

Василій выросъ, поступилъ на службу. Онъ былъ не великъ ростомъ, но хорошо сложенъ и чрезвычайно ловокъ; прекрасно говорилъ по-французски и славился своимъ умѣньемъ драться на шпагахъ. Его считали однимъ изъ блистательныхъ молодыхъ людей начала царствованія Екатерины. Отецъ мой мнѣ часто говаривалъ, что онъ знавалъ не одну старушку, которая безъ сердечнаго умиленія вспомнить не могла о Васильѣ Ивановичѣ Лучиновѣ. Вообразите себѣ чело-вѣка, одареннаго необыкновенной силой воли, страстнаго и расчетливаго, терпѣливаго и смѣлаго, скрытнаго до чрезвычайности и — по словамъ всѣхъ его современниковъ — очаровательно — обаятельно-любезнаго. Въ немъ не было ни совѣсти, ни доброты, ни честности, хотя никто же не могъ назвать его положительно-злымъ чело-вѣкомъ. Онъ былъ самолюбивъ — но умѣлъ таить свое самолюбіе, и страстно любилъ независимость. Когда, бывало, Василій Ивановичъ, улыбаясь, ласково прищурить черные глаза, когда захочетъ плѣнить ко-го-нибудь, говорятъ — невозможно было ему проти-виться — и даже люди, увѣренные въ сухости и холод-ности его души, не разъ поддавались чарующему могу-ществу его вліянія. Онъ усердно служилъ самому себѣ, и другихъ заставлялъ трудиться для своихъ же вы-годъ, и всегда во всемъ успѣвалъ, потому-что нико-гда не терялъ головы, не гнушался лести, какъ сред-ства, и умѣлъ льстить.

Лѣтъ десять спустя послѣ поселенія Ивана Андре-евича въ деревнѣ, пріѣхалъ онъ на четыре мѣсяца въ

Лучиновку блестящимъ гвардейскимъ офицеромъ — и въ-теченіе этого времени успѣлъ вскружить голову даже угрюмому старику, отцу своему. Странно! Иванъ Андреевичъ съ наслажденіемъ слушалъ рассказы своего сына о нѣкоторыхъ его *побѣдахъ*. Братья его нѣмѣли передъ нимъ и удивлялись ему, какъ существу высшему. Да и сама Анна Павловна едва ли не любила его болѣе всѣхъ другихъ дѣтей, такъ страстно, такъ искренно ей преданныхъ.... Видно, господа, только тѣхъ и любятъ, которые сами не очень-то способны любить....

Василій Ивановичъ пріѣхалъ въ деревню во-первыхъ для того, чтобы повидаться съ родными; но во-вторыхъ и для того, чтобы достать какъ можно болѣе денегъ отъ отца. Онъ жилъ пышно и открыто въ Петербургѣ и надѣлалъ множество долговъ. Не легко ему было сладить съ скупостью родителя, и хотъ Иванъ Андреевичъ далъ ему въ одинъ его пріѣздъ, вѣроятно, гораздо болѣе денегъ, чѣмъ всѣмъ другимъ своимъ сыновьямъ въ продолженіи двадцати лѣтъ, прожитыхъ ими въ родительскомъ домѣ, но Василій держался извѣстнаго русскаго правила: «братъ такъ братъ!» У Ивана Андреевича былъ слуга, по прозванію Юдичъ, такой же высокій, худой и молчаливый человѣкъ, какъ самъ его баринъ. Говорятъ, этотъ Юдичъ былъ отчасти причиной страннаго обращенія Ивана Андреевича съ Анной Павловной; говорятъ — онъ открылъ преступную связь моей прабабушки съ однимъ изъ лучшихъ пріятелей моего прадѣда; — впрочемъ, вѣроятно Юдичъ глубоко раскаялся въ своей неумѣстной ревности, потому-что трудно вообразить себѣ болѣе добраго человѣка. Память его до-сихъ-поръ священна всѣмъ моимъ дворовымъ людямъ. Юдичъ пользовался неограниченною довѣренностью моего прадѣда. Въ то время, помѣщики имѣли деньги, но не отдавали ихъ на сбере-

женіе въ заемныя учрежденія, а сами хранили ихъ въ сундукахъ, въ подполицахъ и т. д. Иванъ Андреевичъ запиралъ все свои деньги въ большомъ кованномъ сундукѣ, находившемся у него подъ изголовьемъ. Ключъ отъ этого сундука былъ отданъ Юдичу. Каждый вечеръ, ложась спать, Иванъ Андреевичъ при себѣ приказывалъ отпирать этотъ сундукъ, постукивая палкой поочередно по всемъ туго-набитымъ мѣшкамъ, а по субботамъ самъ съ Юдичемъ развязывалъ мѣшки и тщательно пересчитывалъ деньги. Василій провѣдалъ о всѣхъ этихъ проделкахъ и возгорѣлъ желаніемъ потревожить завѣтный сундучекъ. Въ теченіи пяти, шести дней онъ умягчилъ Юдича, то есть довелъ бѣднаго старика до того, что тотъ въ молодомъ баринѣ — какъ говорится — души не чаялъ. Подготовивъ его надлежащимъ образомъ, Василій прикинулся озабоченнымъ и мрачнымъ, долго не хотѣлъ отвѣчать на запросы Юдича и наконецъ сказалъ ему, что онъ проигрался, и что положить на себя руки — если не достанетъ гдѣ-нибудь денегъ. Юдичъ зарыдалъ, бросился передъ нимъ на колѣни, просилъ вспомнить Бога, не губить себя. Василій, не говоря ни слова, заперся въ своей комнатѣ. Черезъ нѣсколько времени услышалъ онъ, что кто-то осторожно къ нему стучится; онъ отперъ дверь, и увидѣлъ на порогѣ Юдича, бѣднаго, трепещущаго, съ ключемъ въ рукѣ. Василій тотчасъ все повялъ. Сперва онъ долго отказывался. Юдичъ со слезами твердилъ: «извольте, баринъ! возьмите». Василій наконецъ согласился. Дѣло было въ понедѣльникъ. Василью пришла въ голову мысль, замѣнить вынутыя деньги битыми черепками. Онъ рассчитывалъ на то, что Иванъ Андреевичъ, постукивая по мѣшкамъ палкой, не обратитъ особеннаго вниманія на едва замѣтное различіе звука — а до субботы, онъ надѣялся достать и вложить обратно деньги въ сундукъ. Придума-

но — сдѣлано. Отецъ дѣйствительно ничего не замѣтилъ. Но къ субботѣ Василій денегъ не досталъ; онъ надѣялся на взятые деньги обыграть одного богатаго сосѣда — и напротивъ, самъ все проигралъ. Между тѣмъ настала суббота; дошла очередь и до мѣшковъ, набитыхъ черепками. Представьте себѣ, господа, удивленіе, негодованіе Ивана Андреевича!

— Это что значитъ? загремѣлъ онъ.

— Юдичъ молчалъ.

— Ты укралъ эти деньги?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Такъ кто-нибудь ключъ у тебя бралъ?

— Я никому не отдавалъ ключа.

— Никому? А когда никому — такъ ты воръ. Сознавайся!

— Я не воръ, Иванъ Андреевичъ.

— Откуда жъ взялись эти черепки, чортъ возьми! Такъ-то ты меня обманываешь? въ послѣдній разъ говорю тебѣ — сознайся!

Юдичъ потупилъ голову и сложилъ руки за спиной.

— Палокъ! закричалъ Иванъ Андреевичъ изступленнымъ голосомъ.

— Какъ? мнѣ палокъ.... мнѣ? прощенталъ Юдичъ.

— Вотъ тебѣ на! да чѣмъ ты лучше другихъ? Ты воръ! ну, Юдичъ! не ожидалъ я отъ тебя такого мошенничества!

— Я посѣдѣлъ на вашей службѣ, Иванъ Андреевичъ, проговорилъ съ усиленіемъ Юдичъ.

— А мнѣ что за дѣло до твоихъ сѣдыхъ волосъ! Чортъ бы тебя побралъ съ твоей службой! Люди вошли съ розгами. — Растяните-ка этого стараго мерзавца, да хорошенько его!

У Ивана Андреевича поблѣднѣли и затряслись губы. Онъ ходилъ по комнатѣ, какъ дикой звѣрь въ тѣсной клеткѣ.

Люди не смѣли исполнить его приказанія.

— Что жъ вы стоите, хамовы дѣти? Иль мнѣ самому за него приняться, что ли?

Юдичъ молча легъ и истязаніе началось.

— Стойте! закричалъ Иванъ Андреевичъ.— Юдичъ, въ послѣдній разъ говорю тебѣ, прошу тебя, Юдичъ, сознайся.

— Не могу! простоналъ Юдичъ.

— Такъ въ могилу жъ его.... на мою голову!... загремѣлъ бѣшеный старикъ.

Дверь вдругъ растворилась и вошелъ Василій. Онъ былъ едва-ли еще не блѣднѣе отца, руки его дрожали, верхняя губа приподнялась и обнажила рядъ бѣлыхъ и ровныхъ зубовъ.

— Я виноватъ, сказалъ онъ глухимъ, но твердымъ голосомъ. — Я взялъ эти деньги. Палачи остановились.

— Ты! какъ? ты, Васька! безъ согласія Юдича?

— Нѣтъ! сказалъ Юдичъ, съ трудомъ приподнявшись: — съ моего согласія. Я самъ отдалъ ключъ Василью Ивановичу. Батюшка, Василій Ивановичъ! зачѣмъ вы изволили беспокоиться?

— Такъ вотъ кто воръ! закричалъ Иванъ Андреевичъ. — Спасибо, Василій, спасибо. А тебя, Юдичъ, я все-таки не помилую. Зачѣмъ ты мнѣ тотчасъ же во всемъ не сознался? Эй, вы! что вы стали? или уже и вы моей власти не признаете? А съ тобой я справлюсь, голубчикъ! прибавилъ онъ, обращаясь къ Василью.

Люди опять было-взялись за Юдича.

— Не трогайте его! прошепталъ Василій сквозь зубы. Слуги его не послушались. Назадъ! закричалъ онъ и бросился на нихъ.... Они отшатнулись.

— А! бунтовать! простоналъ Иванъ Андреевичъ, и, поднявъ палку, пошелъ на сына. Василій отекочилъ, схватился за рукоять пшавы и обнажилъ ее до поло-

вины. Всѣ затрепетали. Анна Павловна, привлеченная шумомъ, испуганная, блѣдная, показалась въ дверяхъ.

Страшно измѣнилось лицо Ивана Андреевича. Онъ зашатался, уронилъ папку, и тяжко опустился на кресло, закрывъ лицо обѣими руками. Никто не шевелился, всѣ стояли какъ вкопанные, не исключая и Василья. Судорожно стискивалъ онъ стальную рукоятъ шпаги, глаза его сверкали унылымъ, злобнымъ блескомъ....

— Подите всѣ.... всѣ вонъ, проговорилъ тихимъ голосомъ Иванъ Андреевичъ, не отнимая рукъ отъ лица. Вся толпа вышла. Василій остановился на порогѣ, потомъ вдругъ тряхнулъ головой, пламенно обнялъ Юдича, поцаловалъ руку матери.... и черезъ два часа его уже не было въ деревнѣ. Онъ уѣхалъ въ Петербургъ.

Вечеромъ того же дня, Юдичъ сидѣлъ на крылечкѣ дворовой избы и легонько охалъ отъ боли. Люди окружали его, сожалѣли объ немъ и горько упрекали барина. — Полно-те, дѣти, сказалъ онъ имъ наконецъ: — полноте.... что вы его браните? онъ и самъ чай, батюшка нашъ, своей удали не радъ....

Въ-слѣдствіе этого происшествія, Василій уже болѣе не видался съ своимъ родителемъ. Иванъ Андреевичъ умеръ безъ него, и умеръ вѣроятно съ такой ужасной тоской на сердцѣ, какую не дай Богъ испытать кому-либо изъ насъ. Василій Ивановичъ между-тѣмъ выѣзжалъ, веселился по-своему и сорилъ деньгами. Какъ онъ добывалъ эти деньги, не могу навѣрное сказать. Досталъ онъ себѣ слугу Француза, ловкаго и смѣшленнаго малаго, нѣкоего Бурсье. Этотъ человѣкъ страстно къ нему привязался, и помогалъ ему во всѣхъ его многочисленныхъ продѣлкахъ. Я не намѣренъ рассказывать вамъ въ подробности всѣ проказы моего grand-oncle; онъ отличался такой неограниченной смѣлостью, такой змѣиной изворотливостью, такимъ непостижи-

мымъ хладнокровіемъ, такимъ ловкимъ и тонкимъ умомъ, что, признаюсь, я понимаю неограниченную власть этого безправственнаго человѣка надъ самыми благородными душами....

Вскорѣ послѣ смерти отца, Василій Ивановичъ, не смотря на свою изворотливость, былъ вызванъ на дуэль однимъ оскорбленнымъ мужемъ. Онъ дрался, тяжело ранилъ своего соперника и принужденъ былъ выѣхать изъ столицы; ему приказали безвыѣздно жить въ своемъ помѣстьѣ. Василю Ивановичу было 30 лѣтъ. Вы легко можете себѣ представить, господа, съ какими чувствами этотъ человѣкъ, привыкшій къ столичной, блестящей жизни, ѣхалъ на родину. Говорятъ, онъ на дорогѣ часто выходилъ изъ кибитки, бросался лицомъ въ снѣгъ и плакалъ. Никто, въ Лучиновѣ, не узнавалъ прежняго веселаго, любезнаго Василя Ивановича. Онъ ни съ кѣмъ не говорилъ, съ утра до вечера ѣздилъ на охоту, съ видимымъ нетерпѣніемъ сносилъ робкія ласки своей матери и безжалостно насмѣхался надъ братьями, надъ ихъ женами (они уже оба успѣли жениться)....

Я вамъ до-сихъ-поръ, кажется, ни чего не сказалъ объ Ольгѣ Ивановнѣ. Груднымъ ребенкомъ привезли ее въ Лучиновку; она чуть-чуть не умерла на дорогѣ. Ольга Ивановна была воспитана, какъ говорится, въ страхѣ Божіемъ и родительскомъ.... надобно сознаться, что Иванъ Андреевичъ и Анна Павловна—оба обращались съ ней какъ съ дочерью. Но въ ней таилась искра того огня, который такъ ярко пылалъ въ душѣ Василя Ивановича. Между-тѣмъ, какъ настоящія дѣти Ивана Андреевича не дерзали помышлять о причинахъ страннаго, безмолвнаго раздора между ихъ родителями—Ольгу съ раннихъ лѣтъ тревожило и мучило положеніе Анны Павловны. Подобно Василю она любила независимость; всякое притѣсненіе ее возмущало. Она страст-

но, пламенно, всѣми силами души привязалась къ своей благодѣтельница; старика Лучинова она ненавидѣла и не разъ, сидя за столомъ, устремляла на него такіе мрачные взгляды, что даже челоуѣку, подававшему кушанье, становилось жутко. Иванъ Андреевичъ не замѣчалъ всѣхъ этихъ взглядовъ потому, что вообще не обращалъ никакого вниманія на своихъ дѣтей...

Сперва Анна Павловна старалась истребить въ ней эту ненависть — но нѣкоторые смѣлые вопросы Ольги заставили ее замолчать совершенно. Дѣти Ивана Андреевича обожали Ольгу, и старуха ее любила тоже, хотя довольно холодной любовью...

Продолжительное горе подавило въ этой бѣдной женщинѣ всякую веселость, всякое сильное чувство; и ничего такъ ясно не доказываетъ очаровательной любви Василья, какъ то, что онъ даже мать свою заставилъ пламенно полюбить себя. Изліянія дѣтской нѣжности не были въ духѣ того времени, — а потому не удивительно, что Ольга не смѣла обнаруживать свою приверженность, хотя всегда съ особенной нѣжностью цаловала руку Анны Павловны вечеромъ, при прощаніи. Читать и писать она едва умѣла. Двадцать лѣтъ спустя, русскія дѣвицы начали почитать романы въ родѣ похождения маркиза Глаголя, Фанфана и Лолоты, Алексея или хижинны въ лѣсу; — начали учиться на клавикордахъ и пѣть пѣсни въ родѣ слѣдующей, нѣкогда весьма извѣстной:

Мужчины на свѣтѣ

Какъ мухи къ намъ льнуть....

и т. д.

но въ семидесятыхъ годахъ (Ольга Иванова родилась въ 1757 году) наши деревенскія красавицы не имѣли понятія обо всѣхъ этихъ усовершенствованіяхъ. Трудно намъ теперь себѣ представить русскую барышню того вѣка:

правда, мы можемъ, по нашимъ бабушкамъ, судить о степени образованности дворянокъ времянь Екатерины; но какъ прикажете отличить то, что постепенно къ нимъ прививалось въ теченіи ихъ долгой жизни, отъ того, чѣмъ они были во дни молодости?

Ольга Ивановна нѣсколько говорила по французски — но съ сильнымъ русскимъ произношеніемъ: въ ея время объ эмигрантахъ не было еще и помина. Словомъ, при всѣхъ ея хорошихъ качествахъ она все таки была порядочнымъ *divorcé* — и, пожалуй, въ простотѣ сердца своего изъ собственныхъ рукъ не разъ наказывала какую-нибудь злополучную горничную...

За нѣсколько времени до пріѣзда Василья Ивановича, Ольгу Ивановну сговорили за сосѣда — Павла Аванасьевича Рогачева, добрѣйшаго и честнѣйшаго человѣка. Природа позабыла надѣлать его желчью. Собственные люди не слушались его, уходили иногда все отъ первого до послѣдняго и оставляли бѣднаго Рогачева безъ обѣда.... но ничто не могло возмутить тишину его души. Онъ съ дѣтскихъ лѣтъ отличался толстотою и неповоротливостію, нигдѣ не служилъ, любилъ ходить въ церковь и пѣть на крилосѣ. Посмотрите, господа, на это доброе, круглое лицо; взгляните въ эту тихую, свѣтлую улыбку.. не правда ли, вамъ самимъ становится отрадно? Отецъ его въ кои-то вѣки ѣзжалъ въ Лучиновку и по праздникамъ привозилъ съ собой Павлушу, котораго маленькіе Лучиновы всячески терзали. Павлуша выросъ, началъ самъ ѣздить къ Ивану Андреевичу, влюбился въ Ольгу Ивановну и предложилъ ей руку и сердце — не лично ей, а ея благодѣтелямъ. Благодѣтели согласились. У Ольги Ивановны даже не подумали спросить нравится ли ей Рогачевъ? Въ то время, по словамъ моей бабушки — «такихъ роскошей не водилось.» — Впрочемъ Ольга скоро привыкла къ своему жениху; нельзя было не привязаться

къ этому кроткому, снисходительному созданію. Воспитанія Рогачевъ не получилъ никакого; по-французски умѣлъ только сказать: «бонжуръ» — и въ тайнѣ почиталъ даже это слово неприличнымъ. Да еще какой-то шутникъ выучилъ его слѣдующей будто бы французской пѣснѣ: «Сонечка, Сонечка! Ке ву ле ву де муа — я васъ обожаю — ме же не пе па»... эту пѣсенку онъ всегда напѣвалъ вполголоса, когда чувствовалъ себя въ духѣ. Отецъ его былъ тоже человѣкъ доброты неописанной; вѣчно ходилъ въ длинномъ панковомъ сюртукѣ, и что бы ему ни говорили — на все съ улыбкой подлакивалъ. Со времени помолвки Павла Аоанасьевича, оба Рогачевы — отецъ и сынъ, хлопотали страшно; переделывали свой домъ, пристроивали разныя «галдарей», дружелюбно разговаривали съ работниками, подчивали ихъ водкою и такъ далѣе. Къ зимѣ не успѣли окончить всѣ постройки; отложили свадьбу до лѣта; лѣтомъ умеръ Иванъ Андреевичъ; отложили свадьбу до будущей весны; зимой пріѣхалъ Василій Ивановичъ. Ему представили Рогачева; онъ принялъ своего будущаго девера холодно и небрежно и въ-послѣдствіи времени до того запугалъ его своимъ надменнымъ обхожденіемъ, что бѣдный Рогачевъ трепеталъ какъ листъ при одномъ появленіи брата своей нареченной невѣсты, молчалъ и принужденно улыбался. Василій разъ чуть-чуть не уходилъ его совершенно — предложивъ ему пари, что онъ, Рогачевъ, не въ состояніи перестать улыбаться. Бѣдный Павелъ Аоанасьевичъ едва не заплакалъ отъ замѣшательства, но — дѣйствительно! — улыбка глупѣйшая, напряженная улыбка не хотѣла сойти съ его вспотѣваемаго лица! А Василій медленно поигрывалъ концами своего шейнаго платка и поглядывалъ на него ужъ черезъ-чуръ презрительно. Отецъ Павла Аоанасьевича узналъ также о прибытіи Василья, и спустя нѣсколько дней — для «большей важности» —

отправился въ Лучиновку съ намѣреніемъ: «поздравить любезнаго гостя съ прибытіемъ въ родныя палестины». Аѳанасій Лукичъ славился во всемъ околдкѣ своимъ краснорѣчіемъ — т. е. умѣнемъ не запинаясь произнести довольно длинную и хитро-сплетенную рѣчь, съ легкой примѣсью книжныхъ словечекъ. Увы! на этотъ разъ онъ не поддержалъ своей славы; смутился гораздо болѣе сына своего, Павла Аѳанасевича; пробормоталъ что-то весьма невнятное и хотя отъ роду не пилъ водки, но тутъ «для контенансу» выпилъ рюмочку (онъ засталъ Василья за завтракомъ) — хотѣлъ было по-крайней-мѣрѣ крикнуть съ нѣкоторою самостоятельностью, и не произвелъ ни малѣйшаго звука. Уѣзжая домой, Павелъ Аѳанасевичъ шепнулъ своему родителю: «Что-съ, батюшка?» Аѳанасій Лукичъ съ досадою отвѣчалъ ему также шопотомъ: «И не говори!»

Рогачевы начали рѣже ѣздить въ Лучиновку. Впрочемъ — Василій застрашалъ не ихъ однихъ; въ братьяхъ своихъ, въ ихъ женахъ, даже въ самой Аннѣ Павловнѣ возбудилъ онъ тоскливую, невольную неловкость... они стали всячески избѣгать его; Василій не могъ этого не замѣтить, но по-видимому не имѣлъ намѣренья перемѣнить свое обращеніе съ ними — какъ вдругъ въ началѣ весны онъ явился опять тѣмъ любезнымъ, милымъ человѣкомъ, какимъ его прежде знали...

Первымъ проявленіемъ этой внезапной перемѣны былъ неожиданный пріѣздъ Василья къ Рогачевымъ. Аѳанасій Лукичъ, въ особенности, порядкомъ струсиль при видѣ коляски Лучинова, но испугъ его исчезъ весьма скоро. Никогда Василій не былъ любезнѣе и веселѣе. Онъ взялъ молодаго Рогачева подъ руку, пошелъ съ нимъ осматривать постройки, толковалъ съ плотниками, давалъ имъ совѣты, дѣлалъ самъ нарубки топоромъ, велѣлъ себѣ показать заводскихъ лошадей Аѳанася Лукича, самъ гонялъ ихъ на кордѣ — и вообще своей радушной

любезностью довелъ добрыхъ степняковъ до того, что они оба неоднократно обняли его и попросили у него позволенія говорить ему: «ты». Дома Василии тоже въ нѣсколько дней по прежнему вкружилъ всѣмъ головы: затѣялъ разныя смѣшныя игры; досталъ музыкантовъ; назвалъ сосѣдей и сосѣдокъ; рассказывалъ старушкамъ самымъ потѣшнымъ образомъ разныя городскія сплетни; слегка волочился за молодыми; придумывалъ разныя небывалыя увеселенія, фейерверки и т. д., словомъ, оживилъ все и всѣхъ. Печальный, мрачный домъ Лучиновыхъ превратился вдругъ въ какое-то шумное, блестящее, очаровательное жилище, о которомъ заговорилъ весь околотокъ. — Эта внезапная перемена удивила многихъ, всѣхъ обрадовала; начали носиться разные слухи; знающіе люди говорили, что Василья Ивановича до-тѣхъ-поръ сокрушала какая-то скрытая забота, что ему представилась возможность возвратиться въ столицу... но до истинной причины перерожденія Василья Ивановича не добрался никто...

Ольга Ивановна, господа, была очень недурна собой. — Впрочемъ, ея красота состояла болѣе въ необыкновенной нѣжности и свѣжести тѣла, въ спокойной прелести движеній, — чѣмъ въ строгой правильности очертаній. Природа одарила ее нѣкоторой самобытностью; ея воспитанье — она выросла сиротой — развило въ ней осторожность и твердость. Ольга не принадлежала къ числу тихихъ и вялыхъ барышень; но одно лишь чувство въ ней созрѣло вполне: ненависть къ благодѣтелю. Впрочемъ, и другія, болѣе женскія страсти, могли вспыхнуть въ душѣ Ольги Ивановны съ необычайной, болѣзненной силой... но въ ней не было ни того гордаго холода, ни той сжатой крѣпости души, ни той самолюбивой сосредоточенности, безъ которыхъ всякая страсть исчезаетъ весьма быстро. — Первые порывы такихъ полу-дѣятельныхъ, полу-стра-

дательныхъ душъ бываютъ иногда необыкновенно стремительны: но онѣ измѣняютъ самимъ себѣ весьма скоро, особенно, когда дѣло дойдетъ до безжалостнаго примѣненія принятыхъ правилъ; онѣ боятся послѣдовательности.... И между-тѣмъ, господи, признаюсь вамъ откровенно: на меня женщины такого рода производятъ сильнѣйшее впечатлѣніе.... (При этихъ словахъ разскащикъ опорожнилъ стаканъ воды. — Пустяки, пустяки! подумалъ я, глядя на его круглый подбородокъ: — на тебя, любезный другъ, ничто въ свѣтѣ не производитъ «сильнѣйшаго впечатлѣнія».)

Петръ Федоровичъ продолжалъ: — Я не вѣрю въ аристократію, но я вѣрю въ кровь, въ породу. Въ Ольгѣ Ивановѣ было болѣе крови, чѣмъ, напр., въ нарѣченной ей сестрицѣ — Натальѣ. Въ чемъ же проявлялась эта «кровь», спросите вы меня? — да во всемъ: въ очеркахъ рукъ, губъ, въ звукѣ голоса, во взглядѣ, въ походкѣ, въ прическѣ, — въ складкахъ платья, наконецъ. Во всѣхъ этихъ бездѣлкахъ таилось что-то особенное, хотя я долженъ признаться что, та... какъ бы выразится?... та distinction (чортъ бы побралъ русскій языкъ!) которая досталась на долю Ольгѣ Ивановѣ, не привлекла бы вниманія Василья, еслибъ онъ встрѣтился съ нею въ Петербургѣ. Въ деревнѣ же, въ глуши, она не только возбудила его вниманье — но даже вообще была единственной причиной той перемѣны, о которой я вамъ говорилъ выше.

Судите сами: Василій Ивановичъ любилъ наслаждаться жизнью.... онъ не могъ не скучать въ деревнѣ; братья его были добрые ребята, но весьма ограниченные люди: онъ ничего не имѣлъ съ ними общаго; сестра его Наталья въ теченіи трехъ лѣтъ прижила съ своимъ супругомъ четырехъ человекъ дѣтей; между ей и Васильемъ была цѣлая бездна.... Анна Павловна ходила въ церковь, молилась, постилась и готовилась

къ смерти. Оставалась одна Ольга, свѣжая, робкая, миленькая дѣвочка... Василій ея сперва не замѣтилъ... да и кто обращаетъ вниманье на воспитанницу, на сироту, на приемыша!.. Однажды, въ самомъ началѣ весны, шелъ онъ по саду, и тросточкой сбивалъ головки цикорій, этихъ глупенькихъ желтыхъ цвѣтковъ, которые въ такомъ множествѣ первые появляются на едва-зеленѣющихъ лугахъ. — Онъ гулялъ по саду, передъ домомъ, поднялъ голову — и увидалъ Ольгу Ивановну. — Она сидѣла бокомъ у окна и задумчиво гладила полосатаго котенка, который мурлыча и жмурясь угнѣздился на ея колѣняхъ и съ большимъ удовольствіемъ подставлялъ свой носикъ весеннему уже довольно яркому солнцу. На Ольгѣ Ивановичѣ было бѣлое утреннее платье съ короткими рукавами; ея голыя, блѣдно-розовыя, не вполне развитыя плечи и руки дышали свѣжестью и здоровьемъ; небольшой челчикъ осторожно сжималъ ея густыя, мягкіе, шелковистые локоны; лицо слегка пылало: она недавно проснулась. Ея тонкая и гибкая шея такъ мило подавалась впередъ; такъ плѣнительно-небрежно, такъ стыдливо отдыхалъ ея незатянутый станъ, что Василій Ивановичъ (большой знатокъ) невольно остановился и заглядѣлся. Ему вдругъ пришло въ голову, что не слѣдуетъ оставлять Ольгу Ивановну въ ея первобытномъ невѣжествѣ; что изъ нея можетъ со временемъ выдти премилая и прелюбезная женщина, и проч. и проч. Онъ подкрался къ окну, поднялся на ципочки и на бѣлой и гладкой рубѣ Ольги Ивановны немного пониже локтя напечатлѣлъ безмолвный поцалуй. — Ольга вскрикнула и вскочила, котенокъ поднялъ хвостъ и прыгнулъ въ садъ, Василій Ивановичъ съ улыбкой удержалъ ее за руку.... Ольга покраснѣла вся до ушей; онъ началъ шутить надъ ея испугомъ..... звалъ ее гулять съ собой; но вдругъ Ольга Ивановна замѣтила небрежность

своего наряда — и «быстрѣ быстрой лани» улизнула въ другую комнату.

Въ тотъ же самый день, Василій отправился къ Рогачевымъ. Онъ вдругъ повеселѣлъ и просвѣтлѣлъ духомъ. Василій не полюбилъ Ольгу, нѣтъ! — словомъ: «любовь» шутить не надобно.... Онъ нашелъ себѣ занятіе, поставилъ себѣ задачу и радовался радостью дѣятельнаго человѣка. Онъ и не вспомнилъ о томъ, что она — воспитанница его матери, невѣста другаго; — онъ ни на одинъ мигъ не обманывалъ себя; онъ очень-хорошо зналъ, что ей не быть его женой.... Можетъ-быть, его извиняла страсть — правда не возвышенная, не благородная, но все-таки довольно сильная и мучительная страсть. Разумѣется, онъ влюбился не какъ ребенокъ; онъ не предавался неопредѣленнымъ восторгамъ; онъ очень зналъ чего онъ хотѣлъ и къ чему онъ стремился....

Василій Ивановичъ вполне владелъ способностью въ самое короткое время приучить къ себѣ другаго, даже предубѣжденнаго или робкаго человѣка. Ольга скоро перестала его дичиться. Василій Ивановичъ ввелъ ее въ новый міръ. Онъ выписалъ для нея клавикорды, давалъ ей музыкальные уроки (онъ самъ порядочно игралъ на флейтѣ), читалъ ей книги, долго разговаривалъ съ ней.... Голова закружилась у бѣдной степнячки. Василій совершенно покорилъ ее. Онъ умѣлъ говорить съ ней о томъ, что до того времени ей было чуждымъ, и говорилъ языкомъ ей понятнымъ. Ольга понемногу рѣшалась высказывать ему свои чувства; онъ помогалъ ей, подсказывалъ ей слова, которыхъ она не находила, не запугивалъ ея, то удерживалъ, то поощрялъ ея порывы.... Василій занимался ея воспитаніемъ, не изъ безкорыстнаго желанія разбудить и развить ея способности; онъ, просто, хотѣлъ ее нѣсколько къ себѣ приблизить, и зналъ, притомъ, что

неопытную, робкую, но самолюбивую женщину легче завлечь умомъ, чѣмъ сердцемъ. Еслибъ Ольга была даже существомъ необыкновеннымъ, Василий никакъ бы не могъ этого замѣтить, потому-что онъ обращался съ ней, какъ съ ребенкомъ; но вы уже знаете, господа, что въ Ольгѣ особенно замѣчательнаго ничего не было. Василий старался по возможности дѣйствовать на ея воображеніе, и часто вечеромъ она уходила отъ него съ такимъ вихремъ новыхъ образовъ, словъ и мыслей въ головѣ, что не въ состояніи была заснуть до зари, и, тоскливо, вздыхая, безпрестанно прикладывала горячія щеки къ холоднымъ подушкамъ, или вставала, подходила къ окну, и пугливо и жадно глядѣла въ темную даль. Василий наполнялъ каждое мгновеніе ея жизни, ни о комъ другомъ она думать не могла. Рогачева она скоро даже перестала замѣчать. Василий, какъ человекъ ловкій и хитрый, въ его присутствіи не говорилъ съ Ольгой; но либо смѣшилъ его самого до слезъ, либо затѣвалъ какую-нибудь шумную игру, прогулку верхомъ, катанье ночью по рѣкѣ съ факелами и музыкой — словомъ, не давалъ опомниться Павлу Аванасьевичу. Однако не смотря на всю ловкость Василья Ивановича, Рогачевъ смутно почувствовалъ, что онъ, женихъ и будущій мужъ Ольги, какъ-будто сталъ для нея чужимъ человекомъ... но по безконечной своей добротѣ, боялся огорчить ее упрекомъ, хотя дѣйствительно любилъ ее и дорожилъ ея привязанностью. Наединѣ съ ней онъ не зналъ что заговорить и только старался всячески прислуживаться. Прошло два мѣсяца... Въ Ольгѣ исчезла наконецъ всякая самостоятельность, всякая воля; слабый и молчаливый Рогачевъ не могъ служить ей опорой; она даже не хотѣла противиться обаянью, и съ замирающимъ сердцемъ безусловно отдалась Василью...

Ольга Ивановна, вѣроятно, узнала тогда радости

любви; но не на долго. Хотя Василій, за неимѣніемъ другаго занятія — не только не бросилъ ея, но даже привязался къ ней и нѣжно, заботливо ее лелѣялъ, но сама Ольга до того потерялась, что даже въ любви не находила блаженства — и все-таки не могла оторваться отъ Василья. Она стала всего бояться, не смѣла думать; не разговаривала ни о чемъ, перестала читать, тоска ее грызла. Иногда удавалось Василью увлечь ее за собою и заставить позабыть всѣхъ и все, но на другой же день онъ находилъ ее блѣдной, безмолвной, съ похолодѣвшими руками, съ бессмысленной улыбкой на губахъ.... Странное дѣло! она ни разу не посмѣла напомнить ему о женитьбѣ. Настало довольно-трудное время для Василья; но никакія трудности запугать его не могли. Онъ весь сосредоточился, какъ опытный игрокъ. — Онъ нисколько не могъ полагаться на Ольгу Ивановну; она безпрестанно себѣ измѣняла, блѣднѣла, краснѣла и плакала.... ея новая роль не пришлась ей по силамъ. Василій работалъ за двухъ: въ его буйномъ и шумномъ весельи только опытный наблюдатель могъ бы замѣтить нѣкоторую лихорадочную напряженность: онъ игралъ братьями, сестрами, Рогачевыми, сосѣдами, сосѣдками — какъ пѣшками; вѣчно былъ на сторожѣ, не терялъ ни одного взгляда, ни одного движенія, хотя казался беззаботнѣйшимъ и безпечнѣйшимъ человѣкомъ; каждое утро вступалъ въ сраженіе и каждый вечеръ торжествовалъ побѣду. — Онъ нисколько не тяготился такой страшной дѣятельностью; спалъ четыре часа въ сутки, ѣлъ очень мало и былъ здоровъ, свѣжъ и веселъ. Между-тѣмъ, день сватьбы приближался; Василій успѣлъ убѣдить самого Павла Аѳанасьевича въ необходимости отерочки; потомъ услалъ его въ Москву за покупками, а самъ дѣятельно переписывался съ петербургскими пріятелями. Онъ хлопоталъ не столько изъ сожалѣнія къ Ольгѣ

Ивановѣ, сколько изъ охоты и любви къ хлопотамъ и тревогамъ.... Притомъ — Ольга Ивановна начала ему надоѣдать и онъ уже не разъ, послѣ неистоваго взрыва страсти, поглядывалъ на нее, какъ бывало, на Рогачева. Лучиновъ всегда оставался загадкой для всѣхъ; въ самой холодности его неумолимой души вы чувствовали присутствіе страннаго, почти южнаго пламени; и въ самомъ бѣшеномъ разгарѣ страсти, отъ этого человѣка вѣяло холодомъ. — При другихъ, онъ по-прежнему поддерживалъ Ольгу Ивановну; но наединѣ онъ игралъ съ ней какъ кошка съ мышью, или пугалъ ее софизмами, или тяжело и ядовито скучалъ, или наконецъ опять бросался къ ея ногамъ, увлекалъ ее какъ вихорь щенку.... и не притворялся тогда влюбленнымъ.... но дѣйствительно самъ замиралъ....

Однажды, довольно поздно вечеромъ, Василій сидѣлъ одинъ у себя въ комнатѣ и внимательно перечитывалъ послѣднія полученные имъ изъ Петербурга письма — какъ вдругъ дверь тихонько зашарила и вошла Палашка, горничная Ольги Ивановны.

— Что тебѣ надобно? спросилъ ее Василій довольно сурово.

— Барышня изволятъ васъ просить къ себѣ.

— Теперь не могу. Ступай... Ну, что жъ ты стоишь? продолжалъ онъ, увидя, что Палашка не выходила.

— Барышня приказала сказать, что очень-дескать нужно-съ.

— Да что тамъ такое?

— Сами изволите увидѣть-съ....

Василій всталъ, съ досадой бросилъ письма въ ящикъ и отправился къ Ольгѣ Ивановнѣ. Она сидѣла одна, въ углу — блѣдная и неподвижная.

— Что вамъ угодно? спросилъ онъ ее несовѣмъ прिवѣтно.

Ольга посмотрѣла на него и содрагаясь закрыла глаза.

— Что съ вами?... что съ тобой, Ольга? — Онъ взялъ ее за руку.... Рука Ольги Ивановны была холодна какъ ледъ... Она хотѣла заговорить.... и голосъ ея замеръ.... Бѣдная женщина была беременна.

Василій нѣсколько смутился. Комната Ольги Ивановны находилась въ двухъ шагахъ отъ спальни Анны Павловны. Василій осторожно подсѣлъ къ Ольгѣ, цаловалъ и грѣлъ ея руки, шопотомъ ее уговаривалъ. Она слушала его и молчала, слегка вздрагивала, закидывала голову назадъ. Въ дверяхъ стояла Палашка и тихонько утирала слезы. Въ сосѣдней комнатѣ тяжело и мѣрно стучалъ маятникъ и слышалось дыханіе спящаго. Оцѣпененіе Ольги Ивановны разрѣшилось наконецъ слезами и глухими рыданіями. Слезы что гроза: послѣ нихъ человѣкъ всегда тише. Когда Ольга Ивановна успокоилась нѣсколько и лишь изрѣдка, судорожно всхлипывала, какъ ребенокъ, Василій сталъ передъ ней на колѣни и ласками, нѣжными обѣщаніями успокоилъ ее совершенно, далъ ей напитокъ, уложилъ ее и ушелъ. Всю ночь онъ не раздѣвался, написалъ два три письма, сжегъ двѣ-три бумаги, досталъ золотой медальонъ съ портретомъ женщины чернойбровой и черноглазой, съ лицомъ сладострастнымъ и смѣлымъ, долго разсматривалъ ея черты и въ раздумьи ходилъ по комнатѣ. На другое утро за чаемъ, онъ съ необыкновеннымъ неудовольствіемъ увидѣлъ покрасѣвшіе, распухшіе глаза и блѣдное, встревоженное лицо бѣдной Ольги. Послѣ завтрака предложилъ онъ ей прогуляться съ нимъ по саду. Ольга пошла за Васильемъ, какъ послушная овечка. Когда же, часа черезъ два, она вернулась изъ сада — на ней лица не было; она сказала Аннѣ Павловнѣ, что ей не здоровится и слегла въ постель. Во время прогулки, Василій съ достодол-

жнымъ раскаяніемъ объявилъ ей, что онъ тайно обвѣнчанъ — онъ былъ такой же холостякъ, какъ я. Ольга Ивановна не упала въ обморокъ — падаютъ въ обморокъ только на сценѣ; но вдругъ обмерла, хотя сама не только не надѣялась выдти за Василья Ивановича, но даже какъ-то боялась объ этомъ думать. Василій началъ ей доказывать необходимость разлуки съ нимъ и бракосочетанія съ Рогачевымъ. Ольга Ивановна глядѣла на него съ нѣмымъ ужасомъ, даже съ негодованіемъ. Василій говорилъ холодно, дѣльно, основательно; винилъ себя, каялся — но кончилъ все свои разсужденія слѣдующими словами: «прошедшаго не вернешь; надобно дѣйствовать.» Ольга потерялась совершенно; ей было страшно, стыдно; унылое, тяжелое отчаяніе овладѣло ею; она безъ ужаса думала о смерти — и съ тоской ожидала рѣшенія Василья. «Надобно во всемъ сознаться матушкѣ», сказалъ онъ ей наконецъ. Ольга поблѣднѣла; ноги у ней подкосились. — Не бойся, не бойся, твердилъ Василій: — положись на меня; я тебя не оставлю.... я все улажу.... надѣйся на меня. — Блѣдная женщина посмотрѣла на него съ любовью.... да, съ любовью и глубокой, хотя уже безнадежной преданностью: — я все, все устрою, сказалъ ей на прощанье Василій.... и въ послѣдній разъ поцаловалъ ея похолодѣвшія руки....

На другое же утро, Ольга Ивановна только что встала съ постели — дверь ея растворилась.... и Анна Павловна появилась на порогѣ. Ее поддерживалъ Василій. Молча добралась она до кресель и сѣла молча. Василій сталъ возлѣ нея. Онъ казался спокойнымъ; брови его сдвинулись и губы слегка раскрылись. Анна Павловна, блѣдная, негодующая, разгнѣванная собиралась говорить — но голосъ измѣнялъ ей. Ольга Ивановна съ ужасомъ окинула взоромъ свою благодѣтельницу — своего любовника: страшно замерло въ ней

сердце.... она съ крикомъ упала посреди комнаты на колѣни и закрыла себѣ лицо руками.... «Такъ — правда... правда?...» прошептала Анна Павловна, и наклонилась къ ней.... «Отвѣчайте же!» продолжала она, съ жестокостью схвативъ Ольгу за руку.

— Матушка! раздался мѣдннй голосъ Василія. — Вы обѣщали мнѣ не оскорблять ея.

— Я хочу.... признавайся же.... признавайся..... правда ли? правда?

— Матушка.... вспомните.... проговорилъ медленно Василій.

Это одно слово сильно потрясло Анну Павловну. Она прислонилась къ спинкѣ кресель и зарыдала.

Ольга Ивановна тихонько подняла голову, и хотѣла бымо броситься къ ногамъ старухи, но Василій удержалъ ее, поднялъ и посадилъ на другія кресла. Анна Павловна продолжала плакать и шептать несвязныя слова....

— Послушайте, матушка, заговорилъ Василій. — Не убивайте себя; бѣдѣ помочь еще можно.... Если Рогачевъ....

Ольга Ивановна вздрогнула и выпрямилась.

— Если Рогачевъ, продолжалъ Василій, значительно взглянувъ на Ольгу Ивановну: — вообразить, что можетъ безнаказанно опозорить честное семейство....

Ольгѣ Ивановнѣ стало страшно.

— Въ моемъ домѣ, простонала Анна Павловна....

— Успокойтесь, матушка. Онъ воспользовался ея неопытностью, ея молодостью, онъ.... вы что-то хотите сказать? прибавилъ онъ, увидя, что Ольга порывается къ нему....

Ольга Ивановна упала въ кресла.

— Я сейчасъ ѣду къ Рогачеву. Я заставлю его жениться сегодня же. Будьте увѣрены, я не позволю ему насмѣхаться надъ нами....

— Но... Василій Ивановичъ... вы... прошептала Ольга.

Онъ долго и холодно посмотрѣлъ на нее. Она замолчала снова.

— Матушка, дайте мнѣ слово не беспокоить ее до моего приѣзда. Посмотрите — она едва жива. Да и вамъ надобно отдохнуть. Надѣйтесь на меня; я отвѣчаю за все; во всякомъ случаѣ, подождите моего возвращенья. Повторяю вамъ — не убивайте ни ее, ни себя — и положитесь на меня.

Онъ приблизился къ дверямъ и остановился.

— Матушка, сказалъ онъ, пойдите со мной, оставьте ее одну, прошу васъ.

Анна Павловна встала, подошла къ иконѣ, положила земной поклонъ и тихо послѣдовала за сыномъ. Ольга Ивановна молча и неподвижно проводила ее глазами. Василій проворно вернулся, схватилъ ее за руку, шеднулъ ей на ухо: «надѣйтесь на меня, и не выдайте насъ», и тотчасъ удалился... «Бурсьё!» закричалъ онъ, спускаясь быстро внизъ по лѣстницѣ. «Бурсьё!...»

Черезъ четверть часа онъ уже сидѣлъ въ коляскѣ съ своимъ слугой.

Въ тотъ день старика Рогачева не было дома. Онъ поѣхалъ въ уѣздный городъ закупать мухояру на кастаны своимъ челядинцамъ. Павелъ Афанасьевичъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и разсматривалъ коллекцію полинявшихъ бабочекъ. Приподнявъ брови и вытянувъ губы, онъ осторожно переворачивалъ булавкой хрупкія крылышки «ночного сфинкса», какъ вдругъ почувствовалъ у себя на плечѣ небольшую, но тяжелую руку. Онъ оглянулся — передъ нимъ стоялъ Василій.

— Здравствуйте, Василій Ивановичъ, проговорилъ онъ, не безъ нѣкотораго изумленія.

Василій посмотрѣлъ на него и сѣлъ передъ нимъ на стулъ.

Павелъ Аѳанасьевичъ улыбнулся-было.... да взглянулъ на Василья, опустился, раскрылъ ротъ и сложилъ руки.

— А скажите-ка, Павелъ Аѳанасьевичъ, заговорилъ вдругъ Василій: — скоро ли вы намѣрены сыграть свадьбу?

— Я?... скоро.... конечно.... я, съ моей стороны.... впрочемъ, какъ вы и ваша сестрица.... я, съ моей стороны, готовъ хоть завтра.

— Прекрасно, прекрасно. Вы человекъ весьма нетерпѣливый, Павелъ Аѳанасьевичъ.

— Какъ это-съ?

— Слушайте, прибавилъ Василій Ивановичъ, вставая: — я все знаю; вы меня понимаете, и я вамъ приказываю безъ отлагательства завтра же жениться на Ольгѣ.

— Позвольте, позвольте, однакожъ, возразилъ Рогачевъ, неподнимаясь съ мѣста: — вы мнѣ приказываете? я самъ искалъ руки Ольги Ивановны, и мнѣ нечего приказывать.... признаюсь, Василій Ивановичъ, я васъ что-то не понимаю.

— Не понимаешь?

— Нѣтъ, право, не понимаю-съ.

— Даешь ты мнѣ слово жениться на ней завтра же?

— Да помилуйте, Василій Ивановичъ.... не сами ли вы неоднократно откладывали нашу сватьбу? Безъ васъ она бы уже давно состоялась. И теперь я и не думаю отказываться. Что же значатъ ваши угрозы, ваши настоятельныя требованія?

Павелъ Аѳанасьевичъ отеръ потъ съ лица.

— Даешь ли ты мнѣ слово, говори: да или нѣтъ? повторилъ съ разстановкой Василій.

— Извольте.... даю-съ, но....

— Хорошо. Помни же... А она во всемъ призналась.

— Кто призналась?

— Ольга Ивановна.

- Да въ чемъ призналась?
- Да что вы передо мной-то притворяетесь, Павелъ Аванасьевичъ? Я вѣдь вамъ не чужой.
- Въ чемъ я притворяюсь? я васъ не понимаю, не понимаю, рѣшительно не понимаю. Въ чемъ могла Ольга Ивановна признаться?
- Въ чемъ? вы мнѣ надобли. Извѣстно въ чемъ.
- Убей меня Богъ....
- Нѣтъ, я тебя убью — если ты на ней не женишься.... понимаешь?
- Какъ!... Павелъ Аванасьевичъ вскочилъ и остановился передъ Васильемъ. — Ольга Ивановна.... вы говорите....
- Ловокъ, братецъ ты, ловокъ, признаюсь, — Василій съ улыбкой потрепалъ его по плечу: — даромъ что на видъ смиренъ....
- Боже мой, Боже мой!... Вы меня съ ума сводите... Что вы хотите сказать, объяснитесь, ради Бога. Василій нагнулся къ нему и шепнулъ ему что-то на ухо.
- Рогачевъ вскрикнулъ.
- Какъ?... я?...
- Василій топнулъ ногой.
- Ольга Ивановна? Ольга?...
- Да.... ваша невѣста....
- Моя невѣста?... Василій Ивановичъ.... она.... она.... Да я жъ ея и знать не хочу, закричалъ Павелъ Аванасьевичъ.... Богъ съ ней совѣмъ! за кого вы меня принимаете? Обмануть меня—меня обмануть.... Ольга Ивановна, не грѣшно вамъ, не совѣстно вамъ... — Слезы брызнули у него изъ глазъ.... — Спасибо вамъ, Василій Ивановичъ, спасибо.... А я ея и знать теперь не хочу! не хочу! не хочу! и не говорите.... Ахъ, мои батюшки—вотъ до чего я дожилъ!... Хорошо же, хорошо.
- Полно вамъ ребячиться, замѣтилъ хладнокровно Василій Ивановичъ. Помните, вы мнѣ дали слово: завтра свадьба.

— Нѣтъ, этому не бывать! Полноте, Василій Ивановичъ, опять-таки скажу вамъ — за кого вы меня принимаете? много чести: покорно благодаримъ-съ. Извините-съ.

— Какъ угодно! возразилъ Василій. — Доставайте шпагу.

— Какъ шпагу.... зачѣмъ шпагу?

— Зачѣмъ? А вотъ зачѣмъ. Василій вынулъ свою французскую тонкую, гибкую шпагу и слегка согнулъ ее объ полъ.

— Вы хотите.... со мной.... драться...

— Именно.

— Но, Василій Ивановичъ, помилуйте, войдите въ мое положеніе. Какъ же я могу, посудите сами, послѣ того, что вы мнѣ сказали.... я честный человѣкъ, Василій Ивановичъ, я дворянинъ.

— Вы дворянинъ, вы честный человѣкъ, — такъ извольте же со мной драться.

— Василій Ивановичъ!

— Вы, кажется, робѣете, господинъ Рогачевъ.

— Я вовсе не робѣю, Василій Ивановичъ. Вы думали запугать меня, Василій Ивановичъ. Вотъ-дескать, я его пугну, онъ и струситъ, онъ на все тотчасъ и согласится.... Нѣтъ, Василій Ивановичъ, я такой же дворянинъ, какъ и вы, хотя воспитанія столичнаго не получилъ дѣйствительно, и запугать вамъ меня не удастся, извините.

— Очень хорошо, возразилъ Василій: — гдѣ же ваша шпага?

— Ерощка! закричалъ Павелъ Аванасьевичъ.

Вошелъ человѣкъ зеленый отъ страха.

— Достаь мнѣ шпагу — тамъ — ты знаешь, на чердакъ.... поскорѣй.... Ерощка вышелъ. Павелъ Аванасьевичъ вдругъ чрезвычайно поблѣднѣлъ, торопливо снялъ шлафрокъ, надѣлъ кафтанъ рыжаго цвѣта съ стразовыми большими пуговицами... намоталъ на шею

галстухъ... Василій глядѣлъ на него и перебиралъ пальцами правой руки.

— Такъ что жъ? драться намъ, Павелъ Аванасьевичъ?

— Драться такъ драться — возразилъ Рогачевъ и торпливо застегнулъ камзолъ.

— Эй, Павелъ Аванасьевичъ, послушайся моего совета: женись... что тебѣ... а я, повѣрь мнѣ... —

— Нѣтъ, Василій Ивановичъ, перебилъ его Рогачевъ.

— Вы меня, я знаю, либо убьете, либо изувѣчите; но чести своей я терять не намѣренъ, умирать такъ умирать.

Ерошка вошелъ и трепетно подалъ Рогачеву старенькую шпаженку въ кожаныхъ истресканныхъ ножнахъ. Въ то время всѣ дворяне носили шпаги при пудрѣ; но степные помѣщики пудрились раза два въ годъ. Ерошка отошелъ къ дверямъ и заплакалъ. Павелъ Аванасьевичъ вытолкалъ его вонъ изъ комнаты.

— Однако, Василій Ивановичъ, замѣтилъ онъ съ нѣкоторымъ смущеніемъ: я не могу сейчасъ съ вами драться; позвольте отложить нашу дуэль до завтра; батюшки нѣтъ дома; да и дѣла мои на всякій случай не худо привести въ порядокъ.

— Вы, я вижу, опять начинаете робѣть, милостивый государь.

— Нѣтъ, нѣтъ, Василій Ивановичъ; но посудите сами...

— Послушайте, закричалъ Лучиновъ: — вы меня выводите изъ терпѣнья... Или дайте мнѣ слово тотчасъ же-питься, или деритесь... или я васъ прибью палкой, какъ труса, понимаете?

— Пойдемте въ садъ, отвѣчалъ сквозь зубы Рогачевъ.

Но вдругъ дверь растворилась и старая няня Ефимовна — вся растрепанная — ворвалась въ комнату, упала передъ Рогачевымъ на колѣни, схватила его за ноги.

— Батюшка ты мой! завопила она: — дитячко ты мое... что ты это такое затѣялъ? не погуби насъ горемычныхъ, батюшка! Вѣдь онъ тебя убьетъ, голубчикъ ты мой!

Да прикажи намъ только, прикажи, мы его озарника
этого шапками закидаемъ.... Павелъ Аонасьевичъ,
дигятко ты мое, побойся Бога!

Въ дверяхъ показалось множество блѣдныхъ и встре-
воженныхъ лицъ.... показалась даже рыжая борода
старосты....

— Пусти меня, Ефимовна, пусти! пробормоталъ
Рогачевъ.

— Не пущу, еродимый, не пущу. Что ты это ба-
тюшка, что ты? Да что скажетъ Аонасій-то Лу-
кичъ-то? Да бибъ насъ всѣхъ съ бѣла свѣта сгонить....
А вы что стоите? Возьмите-ка незваного гостя подъ
ручки, да и выпроводите его вонъ изъ дому, что бы ду-
ха его здѣсь не было....

— Рогачевъ! грозно вскрикнулъ Василій Ивановичъ.

— Ты съ ума сошла, Ефимовна, ты меня позоришь, по-
милуй.... проговорилъ Павелъ Аонасьевичъ. Ступай,
ступай себѣ съ Богомъ, и вы пошли вонъ, слышите?....

Василій Ивановичъ быстро подошелъ къ растворен-
ному окошку, досталъ небольшой серебряный свис-
токъ — слегка свиснулъ.... Бурсе отозвался невдалекѣ,
Душиновъ тотчасъ обратился къ Павлу Аонасьевичу.

— Чѣмъ же эта комедія кончится?

— Василій Ивановичъ, я приѣду къ вамъ завтра —
что мнѣ дѣлать съ этой сумашедшей бабой.....

— Э! да я вижу, съ вами нечего долго толковать, ска-
залъ Василій и поднялъ-было трость....

Павелъ Аонасьевичъ рванулся, оттолкнулъ Ефимовну,
схватилъ шпагу и бросился черезъ другія двери въ садъ.

Василій ринулся вслѣдъ за нимъ. Они вбѣжали оба
въ деревянную бесѣдку, хитро раскрашенную на ки-
тайскій манеръ, заперлись и обнажили шпаги. Рoga-
чевъ когда-то бралъ уроки въ фехтованіи; но теперь
едва сумѣлъ выпасть какъ слѣдуетъ. Дезвія скрести-
лись. Василій видимо игралъ шпагой Рогачева. Павелъ
Аонасьевичъ задыхался, блѣднѣлъ и съ смятенемъ

глядѣлъ въ лицо Лучинову. Между-тѣмъ, въ саду раздавались крики; толпа народа бѣжала къ бесѣдкѣ. Вдругъ Рогачеву послышался раздирающій старческій вопль.... онъ узналъ голосъ отца. Аѳанасій Лукичъ безъ шапки, съ растрепанными волосами бѣжалъ впереди всѣхъ, отчаянно махая руками....

Сильнымъ и неожиданнымъ поворотомъ клинка вышибъ Василиій шпагу изъ руки Павла Аѳанасьевича. — Женись, братъ, сказалъ онъ ему: — полно тебѣ дурачиться.

— Не женюсь, прошепталъ Рогачевъ, закрывъ глаза и весь затрясся.

Аѳанасій Лукичъ началъ ломиться въ дверь бесѣдки.

— Не хочешь? закричалъ Василиій.

Рогачевъ покачалъ отрицательно головой.

— Ну, такъ чортъ же съ тобой!

Бѣдный Павелъ Аѳанасьевичъ упалъ мертвый: шпага Лучинова воткнулась ему въ сердце.... Дверь затрещала, старикъ Рогачевъ ворвался въ бесѣдку — но Василиій уже успѣлъ выскочить въ окно....

Два часа спустя, вошелъ онъ въ комнату Ольги Ивановны.... Она съ ужасомъ бросилась къ нему на встрѣчу.... Онъ молча поклонился ей, вынулъ шпагу — и прокололъ на мѣстѣ сердца — портретъ Павла Аѳанасьевича.... Ольга вскрикнула и полумертвая упала на полъ.... Василиій отправился къ Аннѣ Павловнѣ. Онъ засталъ ее въ образной. — «Матушка, мы отомщены». — Бѣдная старуха вздрогнула и продолжала молиться.

Черезъ недѣлю, Василиій уѣхалъ въ Петербургъ — и черезъ два года вернулся въ деревню, разбитый параличемъ, безъ языка. Онъ уже не засталъ въ живыхъ ни Анны Павловны, ни Ольги — и умеръ скоро съгнанный въ рукахъ у Юдича, который кормилъ его какъ ребенка и одинъ умѣлъ понимать его несвязный лепетъ.

О ХАРАКТЕРЪ

НАРОДНОСТИ

ВЪ ДРЕВНЕМЪ И НОВѢЙШЕМЪ ИСКУССТВѢ.

Въ наше время чрезвычайно много толкуютъ о такъ называемой народности въ искусствахъ, въ поэзіи, живописи, архитектурѣ, даже въ музыкѣ. Ее хотятъ видѣть во всемъ, что только можетъ быть задумано и сдѣлано творческимъ могуществомъ человѣка. Такую важную роль въ теоріяхъ нашихъ, идея эта однакожь начала играть очень недавно. И по всему видно, что она принадлежитъ къ тѣмъ новорожденнымъ идеямъ, которыя, по причинѣ своей юности, не получили еще ни опредѣленнаго характера, ни опредѣленнаго мѣста въ обществѣ; и потому, пользуясь счастливымъ возрастомъ, бросаются съ жаромъ на все, считаютъ цѣлый міръ своею собственностію, всѣмъ хотятъ завладѣть исключительно, все передѣлать. Не мудрено, что они немножко не основательны въ своихъ видахъ и неуверенны въ притязаніяхъ. Идея народности въ искусствахъ, по своей незрѣлости, имѣетъ по-крайней-мѣрѣ, нужду въ нѣкоторомъ ограниченіи и проясненіи для ея собственнаго блага.

Былъ народъ, коего счастливому генію предопредѣлено было извлечь все лучшее изъ земной доли чело-

**О ХАРАКТЕРѢ
НАРОДНОСТИ
ВЪ ДРЕВНЕМЪ И НОВѢЙШЕМЪ ИСКУССТВѢ.**

А. НИКИТЕНКО.

вѣка, облагородить, возвысить всѣ житейскія отноше-
 нія, очеловѣчить, такъ сказать, природу и очистить
 ее отъ грубаго матеріализма, озарить блескомъ раціо-
 нальныхъ совершенствъ, приблизить ее къ себѣ, пройти
 въ союзѣ съ ней земной путь свой радостно и велича-
 во, съ улыбкою и пѣсною въ устахъ, съ розами и лав-
 рами на челѣ, со славою, которую потомство признало
 первою въ мірѣ и на которой нѣтъ другой крови, кро-
 мѣ пролитой за свою самобытность. Народъ этотъ бы-
 ли Греки. Онъ явилъ собою удивительное зрѣлище
 свободнаго и стройнаго развитія всѣхъ нравственныхъ
 побужденій, всѣхъ способностей ума, воли, чувства и
 фантазіи. Эта-то гармонія внутреннихъ силъ, проходя
 путь исторіи, подчиняя себѣ жизнь и вещество, дала
 человѣчеству тѣ восхитительные образцы себя самой,
 которые мы называемъ изящнымъ по превосходству.
 Люди, которые такъ глубоко понимали преимущества
 лучшей стороны человѣческой природы, — стороны
 нравственной, которые въ ранней юности пришли къ
 рубежу Азіи на смертной бой съ варварствомъ, съ про-
 гивуестественнымъ восточнымъ началомъ общества, —
 люди эти, прекрасные, поэтическіе въ своихъ чув-
 ствахъ, въ подвигахъ и жизни, естественно дол-
 жны были искусствомъ высказать душу свою впло-
 нѣ, потому что для этого у нихъ готово было все что
 нужно — и жизнь и гений. Имъ должны были они
 увѣнчать свое историческое призваніе. И къ чему по-
 мружили бы силы, которыми такъ щедро надѣлила ихъ
 природа и дѣла, которыми они преисполнили исторію,
 еслибы они не могли сознать всего этого, проявить и за-
 печатлѣть въ окончательномъ и совершеннѣйшемъ актѣ
 человѣческой дѣятельности? Можно сказать, что Греки
 существовали для искусства и искусство для нихъ. Это
 народъ-художникъ, который свою автобіографію пре-
 ратилъ въ статуи, въ храмы, въ мозаику и драму. Отъ-

того искусство было для него не особенною какою-либо вѣтвю труда, принятою имъ въ свой бытъ случайно или изъ какихъ-нибудь постороннихъ видовъ, но естественнымъ плодомъ всего нравственнаго и политическаго его развитія, исходнымъ пунктомъ всѣхъ его страстей, вѣрованій, любви, надеждъ. То, что создалъ онъ своимъ рѣзцомъ, что высказалъ словомъ, было простымъ выраженіемъ его нуждъ и судьбы. Мастерская Греціи была вездѣ — при Марафонѣ и Платеѣ, въ академіи, въ гимназіи, на трибунахъ народныхъ собраній, въ оливковыхъ рощахъ подъ голубымъ шатромъ неба; отъ-туда исходили готовые образы съ животворною красотою мысли, съ пластическою стройностію эфирнаго тѣла — они летали въ душу художника, который бросался къ рѣзцу, чтобы довершить эти творенія національнаго духа, укрѣпивъ за ними, такъ сказать, безсмертіе, чтобы передать ихъ вѣкамъ, но не какъ мечту свою, а какъ событіе. Жадное потомство вырывая изъ праха драгоценные остатки оживотвореннаго мрамора, ищетъ на нихъ имени того, кто вложилъ въ нихъ эту мощную душу, пережившую царства; это имя на всѣхъ остаткахъ одно — Греки. Не Гомеръ создалъ Илиаду, не Эсхилъ Прометея, не Софокль и Фидій Антигону и Юпитера Олимпійскаго, — ихъ создалъ геній Греціи. Лица были только представителями, такъ сказать, хореграфами этой торжественной процессіи, которую совершилъ великій народъ во имя бога свѣта и его подругъ — музъ.

И здѣсь-то искусства были народными въ истинномъ смыслѣ слова, то есть, не дѣломъ вдохновенія мастера, прилаживающаго свое твореніе къ извѣстнымъ отношеніямъ и потребностямъ общества, и часто къ его карману, но плодомъ продолжительнаго, высокаго вдохновенія цѣлой націи. И такой народности въ искусствахъ уже не бываетъ на землѣ.

По той же самой причинѣ, по которой у Грековъ было возможно такое блистательное развитіе искусства, то есть, по счастливому сочувствію ихъ генія ко всему нравственно-человѣческому, народность ихъ произведеній стала на высоту изящества всемірнаго. Трудно было бы понять, какимъ образомъ народъ столь своеобразный, столь оригинальный могъ имѣть такое всеобщее значеніе въ исторіи человѣчества, если бы мы не знали, что его оригинальность была только свободнымъ, личнымъ выраженіемъ разума, все обобщающимъ, одинаго для вселенной, одинаго для людей. Въ томъ-то и заключалась оригинальная черта его характера, что онъ всему въ своей дѣятельности полагалъ рациональное основаніе такъ, что элементы мѣстные и личные, втягиваемые въ себя этимъ всемогущимъ началомъ, сообщали ему свой колоритъ, но теряли свои рѣзкія особенности, и становились поучительными самымъ способомъ своего съ нимъ сочетанія. Отъ того имя Грека неразлучно съ драгоцѣннѣйшими интересами человѣческаго сердца, какъ имя римскихъ Августовъ съ правами державной власти.

Совсѣмъ другое находимъ у Римлянъ: они развивались несравненно одностороннѣе. Основная стихія ихъ духа была политическая. Этотъ зародышъ всякихъ властей и великихъ общественныхъ движеній, сдѣлался силою, долженствовавшею охватить весь ихъ внутренній міръ и далеко раздвинуть предѣлы свои во внѣшнемъ. Естественными символами ея были — мечъ и скипетръ, а не лира. Полная властительныхъ замысловъ, родныхъ ей по ея природѣ, она должна была разразиться бурями и громами битвъ; но потрясая вселенную, эти бури и громаы въ возвратномъ своемъ шествіи, несли къ порогу Капитолинъ, съ трофеями побѣды, тѣ же опустошенія и тревоги, какія разливали они въ чуждыхъ странахъ. Могло ли благопріятствовать

подобное направлѣніе народнаго духа развитію высшей образованности, а слѣдовательно искусства? Конечно, нѣтъ. Искусство не совмѣстно съ такою односторонностію общественныхъ видовъ, которая или исключаетъ вовсе нравственные интересы челоуѣчества изъ своего круга, или дѣлаетъ ихъ своими орудіями. Вся жизнь Римлянъ устремлена была къ двумъ цѣлямъ: къ уравниванію основныхъ стихій гражданскаго порядка внутри, откуда происходила безконечная борьба между аристократіей и демократіей, и къ преобладанію надъ всѣми народами. Дѣла шли еще хорошо, пока эти господствующія стремленія сами уравнивались, пока мирное значеніе гражданина не пало передъ свирѣпою славою война. Но когда колоссальное величіе послѣдняго поглотило всѣ другія нравственныя величія, когда кровожадный военный деспотизмъ вырвалъ изъ римскаго сердца опору его національности — вѣру въ свободу и доблесть, чтобы наконецъ повергнуть ихъ къ ногамъ чудовищъ, облекшихся въ пурпуръ и вѣнецъ Цезаря; тогда общественному духу ничего болѣе не оставалось дѣлать, какъ броситься въ объятія иноземной роскоши и наслажденій. Угнѣтенныя народы спѣшили спасти остатки своего рабскаго существованія, выманивая улыбку и бездѣйствіе у стараго кровопійцы драгоцѣнными тканями, рѣдкими птицами и звѣрями для цирка. Греція послала ему свои статуи и свитки; она научила Римъ новому сластолюбію — шекотанію сердца вмѣсто привычнаго шекотанія горла дорогими плодами и мясами Востока. Искусство, даровавшее Греціи блаженнѣйшіе дни, пришло въ Римъ въ числѣ прочихъ пороковъ, чтобы довершить ихъ нравственную порчу, добывать начала его національности и государственнаго уложенія. Хорошо понималъ это Катонъ, враждуя такъ смѣло и такъ тщетно съ быстро-развивавшеюся страстію къ изящному грецизму; онъ

видѣлъ въ нейъ только новое орудіе казни, кою карающая Немезида угрожала Риму за его страшные внутренніе безпорядки. Въ самомъ дѣлѣ было ли искусство нравственною потребностію Римлянъ? Нѣтъ! это была одна изъ безчисленныхъ роскошей, губившихъ нравы, утонченная забава для ненасытнаго сластолюбія, родъ лакомой рыбы, за которую охотники давали по сту тысячъ сестерцій. Оборванный народъ хотѣлъ хлѣба и свирѣлаго боя гладиаторовъ; патрицій, покрытый пурпуромъ, съ руками полными награбленнаго золота, искалъ разнообразія въ наслажденіяхъ. Уходя изъ окровавленнаго цирка, онъ хотѣлъ взглянуть на новую статую, привезенную изъ Афинъ, или заснуть подъ сладкіе звуки греческаго ямба.

И такъ искусство у Римлянъ не было и не могло быть народнымъ. Убѣдительнѣйшія доказательства тому мы находимъ въ ихъ поэзіи. Занявъ у Грековъ формы, она истощила всю свою силу на ихъ художественную отдѣлку; но она не жила одною душою, одною жизнію съ народомъ; мѣсто ея заступили меценаты, которые требовали отъ своихъ лавреатовъ—поэтовъ вкуса и лести, а не римской мысли, сдѣлавшейся впрочемъ анахронизмомъ именно тогда, когда искусство достигло въ Римѣ своего апогея. Противъ этой умной, блестящей, отчасти эгоистической, отчасти развратной поэзіи, столь вѣрно выражавшей духъ времени безъ всякаго сочувствія съ народомъ, воздвиглась реакція въ сатирѣ. Но что жъ она была? злая какъ пороки, которые она поражала, мрачная и кровавая, какъ эпоха Тиверія, она являлась для казни общественнаго духа, а не для союза съ нимъ. И притомъ, развѣ сатира свидѣтельствуешь о чемъ—нибудь, кромѣ неспособности народа отзываться на благородные призывы и увлеченія искусства?

Нравственный порядокъ вещей, коего образецъ дала

міру Греція, состоявшій въ урівноваженіи, въ гармоніи всѣхъ земныхъ интересовъ человѣческой жизни и котораго высшимъ выраженіемъ служила художественная пластическая красота, — этотъ порядокъ вещей при всѣхъ благахъ, какія онъ обѣщаль человѣчеству не могъ удовлетворить непостижимымъ судьбаѣ его. Даже тогда, когда въ счастливомъ юношескомъ довѣрїи къ жизни ласкался къ ней, оно наслаждалось всѣмъ, что могло извлечь умомъ и сердцемъ изъ богатой ея сокровищницы. мечь Рима, какъ персть таинственной деицы на валтазаровомъ пирѣ, уже писалъ кровавыя пророчанія другой будущности. И скоро земля на потрясенной землѣ возникли другія задачи суровыя и строгія, рѣшеніе коихъ однакожъ ничего не рѣшило. Но вотъ низшло съ небесъ христіанство — настала другая нравственный порядокъ вещей. Система внутренняго равновѣсія вмѣстѣ съ обаяніемъ земной красоты, замѣнилась полнымъ и безусловнымъ преобладаніемъ духа надъ плотію; сердце, съ восторгомъ вливавшее роскошное благоуханіе цвѣтовъ, какими щедро земля вѣнчала его колыбель, теперь оцѣмѣло отъ ужаса, ощутивъ въ нихъ смрадъ тлѣнія, постигнувъ ихъ преходящую суетную прелесть. Суровый умъ, охваченный внезапно новыми неисповѣдимыми тайнами, проникнутый величіемъ задачъ, къ которымъ предназначено разрѣшить человѣчеству, устыдился своихъ успѣховъ и съ презрѣніемъ отвергъ свою лукавую и тщетную мудрость. Слава мужей, украшенныхъ классическою доблестію воли, этимъ дивнымъ сдѣланіемъ простоты и величія, коимъ мы, маленькіе великіе діти своего поколѣнія, едва умѣемъ вѣрить, — эта слава померла въ лучахъ мученическаго вѣнца, сдѣлавшаго единственною наградою неслыханнаго самоотверженія и непобѣдимой душевной энергіи. Такимъ образомъ и то самое время, когда внѣшній порядокъ вещей, слѣ-

кенный изъ всѣхъ царствъ міра римскимъ мечемъ и римскою политикою, дряхлѣлъ, подламывался со всѣхъ сторонъ, чтобы отдать развалины свои новымъ свѣтлымъ силамъ для созданія новыхъ царствъ, — въ то самое время внутренній міръ человѣчества, выработанный Греками, со своими вѣрованіями, философіею и искусствомъ, приближался въ свою очередь къ уничтоженію. Духъ его оживлявшій, духъ греческой національности, угасъ въ скептическихъ конвульсіяхъ съ грустною думою, что, при всѣхъ своихъ покушеніяхъ, онъ не въ силахъ былъ ни совлечь покрыва съ лица Изиды, ни упрочить жребія человѣческаго. Образованность, организованная съ такимъ искусствомъ, съ такимъ трудомъ, съ такимъ уваженіемъ нуждъ человѣческаго сердца, разлагалась, подобно трупу, на свои стихіи; все спѣшило слиться въ одну безпредѣльную идею одухотворенія челоуѣка. Насталъ торжественный часъ сочетанія анализа съ синтезисомъ, земнаго съ небеснымъ, частнаго съ общимъ. Но судьба анализа въ этомъ сочетаніи рѣшилась навсегда; онъ уже не могъ существовать для самаго себя, ни даже для сердца человѣческаго, онъ не могъ существовать, какъ прежде, свободно, беззаботно, безъ покорнаго отношенія къ высшему началу. Онъ долженъ былъ навсегда смириться предъ могущественнымъ единствомъ идемъ, которая одна могла дать значеніе всѣмъ отправленіямъ его, великимъ и малымъ.

Какой же характеръ должно было принять на себя искусство у народовъ, вышедшихъ въ эту новую нравственную сферу? Могло ли оно, какъ у Грековъ, быть исключительнымъ выраженіемъ ихъ національности, когда интересы мѣстные и личные, привязанности земныя утратили свою относительную цѣну и сдѣлались только ступенями къ высшему нравственному совершенству, къ идеаламъ безусловной истины, безуслов-

наго добра и красоты? Древній міръ глубоко постигалъ всѣ разумныя соотношенія вещей; онъ умѣлъ оцѣнить всякую силу, которая развивала и поддерживала ихъ. Но онъ не понималъ другаго, высшаго отношенія вещей — отношенія ихъ ко всеобъемлющему разумному началу жизни, безъ котораго все таки каждое явленіе на землѣ, не смотря на свои частныя совершенства, на весь блескъ свой, и суетно и превратно. Проникнутый восторгомъ и удивленіемъ къ той утонченной, животрепещущей, роскошной, умной, такъ сказать, материн, которая щедро предлагала ему себя для его наслажденій, онъ почтилъ ее такими почестями, какъ-будто бы она сама работала въ себѣ свои плѣнительныя изящныя качества. Этотъ рационализмъ слишкомъ подозрительнаго свойства; кажется, видишь, какъ онъ воспитываетъ это утонченное снстолюбіе красоты, которое въ школѣ Эпикура превратится въ догматъ нравственный. Горе, если онъ утратитъ свои національныя опоры, утратитъ спасительное вдохновеніе дѣлъ, направляемыхъ живымъ чувствомъ къ поддержанію и возвышенію общественнаго порядка. Вы увидите въ немъ ужасную тшету идей, ограниченность цѣлей; вы увидите его униженнымъ и падшимъ предъ буквою и формулами. Вы увидите его перенесеннымъ съ родной почвы подъ чужое, непріязненное небо, въ Александрію; онъ разлученъ на вѣки со своею прекрасною матерью — Греціей, которая научила его простотѣ и истинѣ; онъ разлученъ съ драгоценными преданіями, съ живыми памятниками своей славы; онъ не дышетъ уже живительнымъ воздухомъ садовъ академическихъ, не тѣснится вмѣстѣ съ толпою народною около трибуны оратора, чтобы на самыя страсти общественныя положить печать достоинства и челоуѣчности; убогій и хилый, онъ живетъ подаяніемъ и забавляетъ своихъ милостынедателей старческимъ болтаньемъ и схоластическими сплетнями. Но еще боль-

шее горе, когда этот рационализм упадетъ въ руки людей, которые въ умѣ видятъ только практическую силу, увеличивающую силы физическія — онъ разовьетъ страсти дикія и кровожадныя, и самъ погибнетъ въ ихъ мутномъ и безбрежномъ разливѣ. Онъ приведетъ умныя причины къ декретамъ Тиверія, и Нерона научитъ соглашать нѣжные звуки цитры съ воплями гражданъ, толпами гибнущихъ по его слову.

Теперь утвердился рационализмъ совершенно другой. Препжній всего ожидалъ отъ вещей, ногой сталъ искать всего въ идеяхъ. Онъ созналъ свое могущество; онъ увидѣлъ себя властелиномъ матеріи, а не посредникомъ между человѣкомъ и ею, заботящимся только о соглашеніи ихъ взаимныхъ выгодъ. Интересы духа превозмогли надъ всѣми прочими и человѣкъ съ восторгомъ и благоговѣйнымъ ужасомъ ощутилъ въ себѣ новое начало — начало безконечнаго, предъ которымъ оказался уже безсиленнымъ всякій иной авторитетъ, авторитетъ и страны и эпохи. Искусство, слѣдуя новому направленію человѣчества, начало въ общихъ идеяхъ разума почерпнать то, что прежде оно находило только или въ преданіяхъ исторіи, или въ живой дѣйствительности настоящаго. По мѣрѣ того, какъ оно вмѣстѣ съ вѣрованіями и рационализмомъ утонченнымъ и глубокимъ возвышалось все болѣе и болѣе, охватывало предметы, выходившіе изъ тѣсныхъ границъ времени и пространства, оно теряло свѣжесть первоначальныхъ своихъ красокъ, свои вещественныя отличія, столь рѣзко и опредѣлительно обозначавшія страну, вѣкъ, даже мелкія обстоятельства современности. Оно отреклось отъ древней неподложной пластики, пригвождавшей изящныя образы къ землѣ, изъ нѣдръ которой, такъ сказать, они возникали, неся съ собою самыя видимыя и осязательныя ея принадлежности. Оно устремилось теперь къ тѣмъ грандіознымъ и вмѣстѣ эфирнымъ орга-

визаціямъ, которыя, подобно духамъ безплотнымъ кажется, готовы были мгновенно перенестись отъ одного края мірозданія до другаго. Живопись побѣдила скульптуру. Самая идеализація, составляющая основ искусства, теперь переимѣнила способы своихъ отправленій; прежде она начинала съ предметовъ и возводила ихъ до высшей степени совершенства по идеѣ красота формы жизни у ней удерживали свой естественный характеръ; онѣ только получали большее изящество отъ сосредоточенія всего лучшаго, что разумъ находилъ въ природѣ и отъ преобладающаго интереса гармонію которую онѣ сообщалъ всѣмъ своимъ твореніямъ. Теперь идеализація имѣла готовые данныя въ природѣ она брала у рационализма ея идеи, а у природы заимствовала только процессы жизни и вещество для формъ отъ-того нерѣдко являлись образы странныя, сверхъестественныя, изъясняемыя и оправдываемыя только глубокостію ихъ значенія, а не согласіемъ съ законами дѣйствительности. Отъ того такъ часто о готовы были утратить характеръ существенный и самостоятельный и перейти въ мистическую область символовъ, куда жизнь призывается только для того чтобы отдать ее на посмѣяніе и рабское служеніе идеямъ.

Такимъ образомъ въ характерѣ новаго искусства, къ мѣ другимъ качествъ, отличающихъ его отъ древняго заключается эта возвышенная отвлеченность и безконечность мысли, которая всегда ищетъ въ челоѣ стороны болѣе общей, чѣмъ относительной и мѣстности. Для насъ нѣтъ варваровъ, какъ для Грековъ; все челоѣческое для насъ священно, гдѣ бы и у кого бы оно ни встрѣтилось. Мы готовы уважать всякую народность, какъ скоро она представляетъ намъ черты разумной физиономіи. Отъ всякаго образованнаго народа мы требуемъ какъ данн генію челоѣчества, что

въ свои творенія запечатлѣлъ его священными вѣр-
нiями и надеждами.

Первая эпопея древняго міра явилась въ Греціи —
чѣмъ она была для каждаго изъ Грековъ? Греціей,
осредоточенной въ извѣстномъ пространствѣ времени
мѣста, Греціей въ чистѣйшемъ внутреннемъ значе-
ніи, въ значеніи, въ какомъ обыкновенно искусство по-
нимаетъ вещи, повторенной для его чувства, со всеми
ея успѣхами и славою, съ религіей, съ основными сти-
ліями ея нравственности, философіи и политики. Кто
отдѣлъ сжать ее въ своемъ сердцѣ всю — а кто не хо-
ѣлъ этого изъ Грековъ? — безъ мелочнаго духа племен-
ныхъ интересовъ, безъ всякихъ скорбныхъ напомна-
ній и примѣненій, тотъ развертывалъ свитокъ Иліады,
вотъ она выходила изъ него свѣтлая, вѣчно юная,
какъ богиня красоты изъ волнъ моря, для его любви
и поклоненія. Нѣтъ нужды, что этотъ Грекъ только-
то пришелъ съ мараѳонскаго поля, покрытый пылью и
кровію, а битвы Трои гремѣли столькими вѣками пре-
жде; времена и вѣка измѣнились, но духъ остался
тотъ же. Тамъ, какъ и здѣсь, сражались съ мужествомъ
неодолимымъ за славу и честь Греціи, и врагъ былъ
тотъ же — Востокъ. Первая эпопея христіанскаго міра
родилась въ Италиі. Но что жъ итальянскаго въ этой
бессмертной эпопеѣ, объемлющей всю судьбу, всю
вѣчную будущность новаго, искупленнаго человѣка?
Чей духъ оживляетъ ее? духъ Того, Кто пришелъ на
землю, чтобы воздвигаемыя ею преграды сдѣлать без-
сильными предъ назначеніемъ человѣка, чтобы разроз-
ненныя племена связать одною великою идеей, все-
объемлющею, какъ небеса, отъ коихъ она произошла
и непоколебимою, какъ слово Его божественныхъ
устъ. Италия — капля въ этомъ океанѣ жизни, въ ко-
горый устремились всѣ народы отъ береговъ своей от-
чины; тамъ они будутъ сражаться съ новыми опасно-

стями и бурями; но уже не для однихъ корыстныхъ цѣлей, а для открытія невѣдомыхъ странъ, для успѣховъ разума человѣческаго.

Очевидно, что народность должна была отказаться отъ многихъ изъ своихъ притязаній въ искусствѣ, развившемся подъ вліяніемъ этихъ новыхъ началъ. Она не можетъ уже исключительно наполнять собою содержанія произведеній, какъ это было у Грековъ, ни служить единственнымъ источникомъ вдохновенія для художника. Положимъ даже, что между новѣйшими народами явился бы народъ гениальный, народъ — художникъ по преимуществу, подобно Грекамъ; искусство достигло бы у него до высокой степени совершенства. Но могъ ли бы онъ себя самого сдѣлать и образцемъ, и предметомъ, и закономъ для художника? Захотѣлъ ли бы онъ самъ того? Захотѣлъ ли бы онъ судьбу свою отдѣлить отъ судьбы человѣчества, лишиться добровольно плода его успѣховъ и свои великія историческія воспоминанія сдѣлать чуждыми всеобщаго участія и всемірной славы? Напротивъ, чѣмъ народъ гениальнѣе, и, слѣдовательно, чѣмъ доступнѣе образованію, тѣмъ болѣе будетъ онъ содѣйствовать развитію такихъ идей, которыхъ ни причины, ни приложенія не принадлежатъ его исключительной сферѣ. Его гордость будетъ состоять не только въ томъ, что геній художника запечатлѣлъ въ своихъ твореніяхъ его личные интересы, или увѣковѣчилъ его нравы, преданія, бытъ; но въ томъ, что этотъ геній-художникъ носилъ его имя, что онъ среди его родился, имъ взлелѣянъ и воспитанъ для служенія истинѣ и красотѣ. Не значитъ ли это, что принципы сдѣлались сильнѣе вещей и что новѣйшія общества сами заслуживаютъ уваженіе предъ лицомъ исторіи только по мѣрѣ того, какъ они посредствомъ ихъ развитія, умноженія и распростра-ненія споспѣшествуютъ историческому проявленію раз-

ума, т. е., торжеству истины, красоты и добра на землѣ!

Изъ этого, однако, не слѣдуетъ, чтобы искусство новѣйшее лишено было своеобразія народности. Мы хотѣли только показать, что какъ народы измѣнились въ духѣ своемъ, видахъ и потребностяхъ, рѣшая повсюду вопросы и задачи общіе, такъ и искусство вышло изъ сферы однихъ народныхъ интересовъ и понятій и устремилось къ идеаламъ, которыхъ художественное значеніе опирается уже на общіе законы сердца и разума человѣческаго. Между-тѣмъ, всякій народъ, будучи въ своемъ рационализмѣ представителемъ вѣчныхъ идей человѣчества, можетъ осуществлять ихъ не иначе, какъ мѣрою своихъ силъ и своими способами. Его художественныя произведенія будутъ своеобразны и оригинальны, потому-что будутъ плодомъ его собственнаго вдохновенія, а не подражанія; они выразятъ не столько его бытѣ, сколько могущество его творческаго генія. Ихъ счастливая народность ознаменуется новымъ богатствомъ содержанія, новыми красотами формы, новыми оттѣнками и блескомъ колорита. Такимъ образомъ можетъ возникнуть цѣлая независимая школа, которую назовутъ своею и народъ и весь образованный міръ, одинъ потому, что далъ ей бытїе, а другой потому, что въ ней увидитъ откровеніе неслышанныхъ до того тайнъ великаго человѣческаго искусства.

МЕЛКІЯ
СТІХОТВОРЕНІЯ.

ТУРГЕНЕВА. МАЙКОВА. НЕКРАСОВА. СОЛЛОГУБА.

ТЪМА.

(Изъ Байрона.)

Я видѣлъ сонъ.... не все въ немъ было сномъ.
Погасло солнце свѣтлое — и звѣзды
Скитались безъ цѣли, безъ лучей
Въ пространствѣ вѣчномъ; льдистая земля
Носилась слѣпо въ воздухѣ безлунномъ.
Часъ утра наставалъ и проходилъ —
Но дня не приводилъ онъ за собою....
И люди — въ ужасѣ бѣды великой
Забыли страсти прежнія.... Сердца
Въ одну себялюбивую молитву
О свѣтѣ робко сжались — и застыли.
Передъ огнями жилъ народъ; престолы,
Дворцы царей вѣнчаныхъ, шалаша,
Жилища всѣхъ имѣющихъ жилища —
Въ костры слагались.... города горѣли....
И люди собирались толпами
Вокругъ домовъ пылающихъ — за тѣмъ,
Чтобы хоть разъ взглянуть въ лицо другъ другу.
Счастливы были жители тѣхъ странъ,
Гдѣ факелы вулкановъ пламенѣли....
Весь мѣръ одной надеждой робкой жилъ....
Зажгли лѣса; но съ каждымъ часомъ гасъ
И падалъ обгорѣлый лѣсъ; деревья
Внезапно съ грознымъ трескомъ обрушались....
И лица — при неровномъ трепетаньи

Послѣднихъ, замирающихъ огней —
Казались неземными... Кто лежалъ
Закрывъ глаза, да плакалъ; кто сидѣлъ
Руками подпираясь — улыбался —
Другіе хлопотливо суетились
Вокругъ костровъ — и въ ужасѣ безумномъ
Глядѣли смутно на глухое небо,
Земли погибшей савань... а потомъ
Съ проклятьями бросались въ прахъ и выли,
Зубами скрежетали. Птицы съ крикомъ
Носились низко надъ землею, махали
Ненужными крылами... Даже звѣри
Сбѣгались робкими стадами... Змѣи
Ползли, вились среди толпы, — шипѣли
Безвредныя... ихъ убивали люди
На пищу.... Снова выпыхнула война,
Погасшая на время... Кровью куплены
Кусокъ былъ каждый; великій въ сторонѣ
Сидѣлъ угрюмо, насыщаясь въ мракѣ
Любви не стало; вся земля полна
Была одной лишь мыслью: смерти — смерти,
Безславной, неизбежной... страшный голодъ
Терзалъ людей... и быстро гибли люди
Но не было могилы ни костямъ,
Ни тѣлу... пожиралъ скелетъ скелета,
И даже псы хозяевъ раздирали.
Одинъ лишь песъ остался трупы вѣрять,
Звѣрей, людей голодныхъ отгонялъ —
Пока другіе трупы привлекали
Ихъ зубы жадныя... но пищи самъ
Не принималъ; съ унылымъ долгимъ стономъ,
И быстрымъ, грустнымъ крикомъ, все лизалъ
Онъ руку, безотвѣтную на ласку —
И умеръ наконецъ... Такъ постепенно
Всѣхъ голодъ истребилъ; лишь двое гражданъ

Столицы пышной — нѣкогда враговъ —
Въ живыхъ осталось... встрѣтились они
У гаснущихъ остатковъ алтаря,
Гдѣ много было собрано вещей —
Святыхъ
Холодными, костлявыми руками
Дрожа, вскопали золу... огонѣкъ
Подъ слабымъ ихъ дыханьемъ вспыхнулъ слабо,
Какъ бы въ насмѣшку имъ; когда же стало
Свѣтлѣе, оба подняли глаза,
Взглянули, вскрикнули, и тутъ же вмѣстѣ
Отъ ужаса взаимнаго, внезапно,
Упали мертвыми
.
. И мѣръ былъ пусть;
Тотъ многолюдный мѣръ, могучій мѣръ
Былъ мертвой массой, безъ травы, деревьевъ
Безъ жизни, времени, людей, движенья.
То хаосъ смерти былъ. Озера, рѣчки,
И море — все затихло. Ничего
Не шевелилось въ безднѣ молчаливой.
Безлюдные лежали корабли
И гнили на недвижной, сонной влагѣ....
Безъ шуму, по частямъ валились мачты
И падая, волны не возмущали...
Моря давно не вѣдали приливовъ...
Погибла ихъ владычица — луна;
Завали вѣтры въ воздухъ нѣмомъ...
Исчезли тучи.... Тмѣ не нужно было
Ихъ помощи.... она была повсюду....

ИВ. ТУРГЕНЕВЪ.

Два стихотворенія А. Майкова.

I.

Для чего, природа,
Ты мнѣ шепчешь тайны?
Имъ въ душѣ такъ тѣсно,
И душѣ неловко,
Тяжело ей съ ними!
Хочется иль словомъ,
Иль покорной кистью
Снова въ міръ ихъ кинуть;
Съ той же чудной силой,
Съ тѣмъ же чуднымъ блескомъ,
Ничего не скрывши,
И отдать ихъ міру,
Какъ отъ міра принялъ!

II.

ПЕРВЫЙ ПОЦАЛУЙ.

Что любимъ давно мы другъ друга — мы знали, хоть
ясно
О томъ никогда у насъ не было рѣчи. Однажды
Случилось однимъ намъ остаться. Я взялъ ея руку,
И съ жаромъ ее цѣловалъ: покорялась невинная дѣва...
Я въ очи глядѣлъ ей... влекомый волшебною силой,
Невольно устами къ ея я устамъ прикоснулся,
И долгій и звонкій тогда поцалуй нашъ раздался.
Какъ будто невѣдомымъ звукомъ испугана, дѣва

Вдругъ вырвалась сильно изъ страстныхъ объятій, за-
крыла

Руками лицо и заплакала горько, и горько....

Я тихо привлекъ ее снова въ объятія; она преклонила
Покорно головку къ груди моей, очи потушивъ съ сле-
зою;

И тихо цѣлуя, я клялся впередъ не смущать ее болѣ,
Лаская, просилъ я простить мои дерзкія ласки.

А. МАЙКОВЪ.

Четыре стихотворенія Н. Некрасова.

I.

ВЪ ДОРОГѢ

Скучно! скучно!... Ямщикъ удалой
Разгони чѣмъ нибудь мою скуку!
Пѣсню, что-ли, пріятель, запой
Про рекрутской наборъ и разлуку.
Небылицей какой посмѣши,
Или что ты видалъ разскажи —
Буду, братецъ, за все благодаренъ.

«Самому мнѣ не весело, баринъ —
«Сокрушила злодѣйка-жена!...
«Слышь ты, съ молоду, судырь, она
«Въ барскомъ домѣ была учена
«Вмѣстѣ съ барышней разнымъ наукамъ,
«Понимаешь-ста, шить и вязать,
«На варганѣ играть и читать —
«Всѣмъ дворянскимъ манерамъ и штукамъ.
«Одѣвалась не то, что у насъ
«На селѣ сарафаницы наши,

«А примѣрно преставить, въ атласъ,
«Бла вдоволь и меду и каши.
«Видъ вальжной имѣла такой,
«Хоть бы барынь, слышь ты, природной,
«И не то что нашъ братъ крѣпостной,
«Тоисъ сватался къ ней благородной
«(Слышь, учитель-ста врѣзамшись былъ —
«Баить кучерь Иванычъ Торопка),
«Да знать, счастья ей Богъ не судилъ:
«Не нужна-ста въ дворянство холопка!
«Вышла замужъ господская дочь
«Да и въ Питерь.... А справивши сватьбу,
«Самъ-ать, слышь ты, вернулся въ усадьбу,
«Захворалъ и на Троицу въ ночь
«Отдалъ Богу господскую душу,
«Сиротинкой оставивши Грушу....
«Черезъ мѣсяць прѣхалъ зятекъ —
«Перебралъ по ревизіи души
«И съ запашки ссадилъ на оброкъ,
«А потомъ добрался и до Груши.
«Знать, она согрубила ему
«Въ чемъ нибудь, али на-просто тѣсно
«Вмѣстѣ жить показалось въ дому,
«Понимаешь-ста, намъ неизвѣстно, —
«Воротилъ онъ ее на село —
«Знай-де мѣсто свое ты, мужичка!
«Взвыла дѣвка — крутенько пришло:
«Бѣлоручка, вишь ты, бѣлоличка!...
«Какъ на грѣхъ, девятнадцатый годъ
«Миѣ въ ту пору случись.... посадили
«На тягло — да на ней и женили....
«Тоисъ, сколько я нажилъ хлопоть!
«Видъ такой, понимаешь, суровой....
«Ни косить, ни ходить за коровой!...

«Грѣхъ сказать, чтобъ лѣнива была
«Да вишь, дѣло въ рукахъ не спорилось!
«Какъ дрова или воду несла,
«Какъ на барщину шла — становилось
«Инда жалко подъ часъ.... да куды! —
«Не утѣшишь ее и обновкой:
«То натерли ей ногу коты,
«То, слышь, ей въ сарафанѣ неловко.
«При чужихъ и туда и сюда,
«А украдкой реветъ какъ шальная....
«Погубили ее господу,
«А была бы бабенка лихая!

«На какой-то патреть все глядитъ,
«Да читаетъ какую-то книжку....
«Инда страхъ меня, слышь ты, щемить,
«Что погубить она и сынишку —
«Учить грамотѣ, моетъ, стрижотъ,
«Словно барченка каждый день чешетъ,
«Бить не бьетъ — бить и мнѣ не даетъ....
«Да недолго пострѣла потѣшить!
«Слышь, какъ щепка худа и блѣдна,
«Ходить тоишь совсѣмъ черезъ силу,
«Въ день двухъ ложекъ не съѣстъ толокна —
«Чай свалимъ черезъ мѣсяць въ могилу....

«А съ чего?... Видитъ Богъ, не томилъ
«Я ее безустанной работой....
«Одѣвалъ и кормилъ, безъ пути не бранилъ,
«Уважалъ, тоишь вотъ какъ, съ охотой....
«А, слышь, бить — такъ почти не бивалъ,
«Развѣ только подъ пьяную руку....»

— Ну, довольно, ямщикъ! Разогналъ
Ты мою неотвязную скуку!...

ПЪЯНИЦА.

Жизнь въ трезвомъ положеніи
Куда не хороша!
Въ томительномъ бореніи
Сама-съ-собою душа,
А умъ въ тоскѣ мучительной....
И хочется тогда
То славы соблазнительной,
То страсти, то труда.
Все та же хата бѣдная
Становится бѣднѣй,
И мать — старуха блѣдная —
Еще блѣднѣй-блѣднѣй.
Запуганный, задавленный,
Съ поникшей головой,
Идешь какъ обезславленный,
Гнушаясь самъ собой.
Сгараешь злобой тайною....
На скудный твой нарядъ
Съ насмѣшкой неслучайною
Всѣ, кажется, глядятъ.
Все, что во снѣ мерещется,
Какъ будто бы на зло,
Въ глаза вотъ такъ и мечется
Роскошно и свѣтло!
Все — поводъ къ искушенію,
Все дразнить и томить,
И руку къ преступленію
Не твердую манить....
Ахъ! еслибъ часть ничтожную!
Старушку бѣ полечить,

Сестрамъ бы не роскошную
Обновку подарить!
Стряхнуть ярмо тяжелаго
Гнетущаго труда, —
Быть-можетъ, буйну голову
Сносилъ бы я тогда!
Покинувъ путь губительный,
Нашоль бы путь иной,
И въ трудъ иной — свѣжительный —
Поникъ бы всей душой.
Но мгла отвсюду черная
На встрѣчу бѣдняку....
Одна открыта торная
Дорога къ кабаку.

III.

Отраднo видѣть, что находить
Порой хандра и на глупца,
Что иногда въ морщины сводить
Черты и пошлаго лица
Бѣсъ благородный скуки тайной,
И на искривленныхъ губахъ
Какой-то думы чрезвычайной
Печать ложится; что въ сердцахъ
И тѣхъ, чьихъ дѣлъ позорныхъ повѣсть
Пройдетъ лишь въ позднихъ племенахъ,
Не все же спитъ мертвенки совѣсть,
И, чуждый насъ, не дремлетъ страхъ.
Что всемъ одно въ дали грядущей —
Идемъ къ безвѣстному концу,

Что лопнуть можешь ты, обжора!
Что ты, великой человекъ,
Чьего презрительнаго взора
Не выносилъ никто во вѣкъ,
Ты тонкой плуть и лобъ не мѣдной,
Къ кому всѣ завистью полны —
Дрожишь какъ листъ на вѣткѣ бѣдной
Подъ башмакомъ своей жены.

VI.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПѢСНЯ.

(ПОДРАЖАНІЕ ЛЕРМОНТОВУ.)

Спи пострѣль! пока безвредный!

Баюшки-баю.

Тускло смотритъ мѣсяцъ мѣдный

Въ колыбель твою.

Стану сказывать не сказки —

Правду пропою.

Ты жь дремли, закрывши глазки,

Баюшки-баю.

По губерніи раздался

Всѣмъ отрадный кликъ:

Твой отецъ подь судъ попался —

Явныхъ тьма уликъ!

Но отецъ твой плуть извѣстный —

Знаетъ роль свою.

Спи, пострѣль, покуда честный!

Баюшки-баю.

Подростешь — и міръ крещеный
Скоро самъ поймешь,

Купишь фракъ темнозеленый
И перо возьмешь,

Скажешь : «я благонамѣренъ,
За добро стою!»

Спи — твой путь грядущій вѣренъ!
Баюшки-баю.

Будешь ты подъячій съ виду
И подлець душой,

Провожать тебя я выйду —
И махну рукой!

Въ день привыкнешь ты картинно
Спину гнуть свою.

Спи, пострѣль, пока невинной!
Баюшки-баю.

Тихъ и кротокъ какъ овечка
И крѣпонецъ лбомъ,

До хорошаго мѣстечка
Доползешь ужомъ —

И охулки не положишь
На руку свою.

Спи, куда красть не можешь!
Баюшки-баю.

Купишь домъ многоэтажный,
Схватишь крупный чинъ

И вдругъ станешь баринъ важный:
Русскій дворянинъ.

Заживешь.... и мирно, ясно
Кончишь жизнь свою....

Спи, чиновникъ мой прекрасной!
Баюшки-баю.

РИМСКАЯ ЭЛЕГИЯ.

ГЕТЕ. (XII).

Слышишь? веселые клики съ фламинской дороги несутся:

Идутъ съ работы домой въ дальнюю землю жнецы.

Кончили жатву для Римлянъ они; не свиваетъ

Самъ надменный Квиритъ доброй Церерѣ вѣнка.

Праздниковъ болѣе нѣтъ во славу великой богини,

Давшей народу въ замѣнъ жолудя — хлѣбъ золотой.

Мы же съ тобою вдвоемъ отпразднуемъ радостный праздникъ.

Другъ для друга теперь двое мы цѣлый народъ.

Такъ — ты слыхала не разъ о тайныхъ пирахъ Элевзиса:

Скоро въ отчизну съ собой ихъ побѣдитель занесъ.

Греки ввели тотъ обрядъ: и Греки, все Греки зывали

Даже въ римскихъ стѣнахъ: «къ ночи спѣшите святой!»

Прочь убѣгаль оглашенный; сгараль ученикъ ожиданьемъ.

Юношу бѣлый хитонъ — знакъ чистоты — покрываль.

Робко въ таинственный кругъ онъ входилъ: стояли рядами

Образы дивные; самъ — словно бродилъ онъ во снѣ.

Змѣи вились по землѣ; несли цвѣтушія дѣвы

Ларчикъ закрытый; на немъ пышно качался вѣнокъ

Спѣлыхъ колосевъ; жрецы торжественно двигались — пѣли....

Свѣта — съ тревожной тоской, трепетно ждалъ ученикъ.

Вотъ — послѣ долгихъ и тяжкихъ искусовъ, ему открывали

Смысль освященныхъ круговъ, дивныхъ обрядовъ и
лицъ...

Тайну — по тайну какую? не ту ли, что тѣсныхъ объ-
ятій

— Сильнаго смертнаго ты, мать Церера, сама

Разъ пожелала — когда свое безсмертное тѣло

Все — Язіону царю, ласково все предала.

Какъ осчастливленъ былъ Критъ! И брачное ложе бо-
гини

Такъ и вскипѣло зерномъ, тучной покрылось травой.

Всяжь остальная зачахла земля.... забыла Богиня

Въ часъ упоительныхъ нѣгъ — свой благодѣтельный
долгъ.

Такъ съ изумленьемъ нѣмымъ разсказу внималъ посвя-
щенный ;

Милой кивалъ онъ своей.... Другъ, о пойми же меня!

Тотъ развѣсистый миртъ осѣняетъ уютное мѣсто....

Наше блаженство землѣ тяжкой бѣдой не грозитъ.

ИВ. ТУРГЕНЕВЪ.

МОЙ АУТОГРАФЪ.

Къ чему вамъ autographe?

Скажите мнѣ по совѣсти!

Что былъ какой-то графъ,

Печатающій повѣсти,

Какъ кончится со мной

И протяну ужь ноги я,

Въ землѣ моей родной,

Вспомануть вѣдь не многія.

Не многія изъ тѣхъ,

Чьи глазки нѣжно-томные

Внушали мнѣ на смѣхъ

Любови невинный грѣхъ

И помысли не екронные.
Друзья въ «Пчелѣ» прочтутъ
Посмертную статеечку
И, можетъ-быть, вздохнуть,
Хоть нынѣ отдадутъ
Меня и за копѣечку.
Два слова скажетъ свѣтъ,
Да Кукольникъ поэтъ,
На славу русской націи,
Оттиснетъ мой портретъ
Въ листочкахъ Иллюстраціи.
И вынесутъ меня
На жертву разрушенія —
Ждать радужнаго дня
Средь общаго забвенія.
Но вы.... сдается мнѣ,
Меня не позабудете!
Но вы.... когда однѣ
Въ вечерней тишинѣ
Сидѣть печально будете,
Вы вспомните тогда,
Въ часы тѣ безотрадныя,
Счастливыя года
И толки маскарадныя,
Про дни былыхъ забавъ,
Немножко повздыхаете,
И вѣрно autographe
Тогда мой прочтаете.

ГР. В. СОЛМОГУБЪ.

МЫСЛИ и ЗАМѢТКИ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЪ.

В. БЪЛИНСКАГО.

МЫСЛИ и ЗАМѢТКИ

О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

Какова бы ни была наша литература, во всякомъ случаѣ ея значеніе для насъ гораздо важнѣе, нежели какъ можетъ оно казаться: въ ней, въ одной ей вся наша умственная жизнь и вся поэзія нашей жизни. Только въ ея сферѣ перестаемъ мы быть Иванами и Петрами, а становимся просто людьми, обращаемся къ людямъ и съ людьми.

Въ нашемъ обществѣ преобладаетъ духъ разъединенія: у каждаго нашего сословія все свое, особенное — и платье, и манеры, и образъ жизни, и обычаи, и даже языкъ. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоить только провести вечеръ, на которомъ сошлись бы нечаянно чиновникъ, военный, помѣщикъ, купецъ, мѣщанинъ, повѣренный по дѣламъ или управляющій, духовный, студентъ, семинаристъ, профессоръ, художникъ; увидя себя въ такомъ обществѣ, вы можете подумать, что присутствуете при раздѣленіи языковъ... Такъ велико разъединеніе, царствующее между этими представителями разныхъ классовъ одного и того же общества! Духъ разъединенія враждебенъ обществу: общество соединяетъ людей, каста разъединяетъ ихъ. Многіе думаютъ, что спѣсь, остатокъ славянской старины, уничтожаетъ у насъ соціальность (*sociabilité*).

Если это и справедливо, то развѣ отчасти только. Положимъ, что дворянинъ неохотно сходитя съ людьми ниспаго званія; но люди нисшихъ званій чѣмъ не готовы пожертвовать для сближенія съ дворяниномъ? Это ихъ страсть! Но бѣда въ томъ, что это сближеніе всегда бываетъ внѣшнимъ, формальнымъ, похожимъ на шапочное знакомство; самолюбію богатаго купца льститъ знакомство даже съ бѣднымъ дворяниномъ, но перезнакомившись и съ богатыми дворянами, онъ все же остается вѣренъ привычкамъ, понятіямъ, языку, образу жизни своего, то есть купеческаго званія. Этотъ духъ особности такъ силенъ у насъ, что даже и новыя сословія, возникшія изъ новаго порядка дѣлъ, основаннаго Петромъ Великимъ, не замедлили принять на себя особенныя оттѣнки. Чему удивляться, что дворянинъ на купца, а купецъ на дворянина вовсе не подходятъ если иногда почти то же различіе существуетъ и между ученымъ и художникомъ?... У насъ еще не перевелись ученые, которые всю жизнь остаются вѣрными благородной рѣшимости не понимать что такое искусство и зачѣмъ оно; у насъ еще много художниковъ, которые и не подозреваютъ живой связи ихъ искусства съ наукою, съ литературою, съ жизнію. И потому, сведите *такого* ученаго съ *такимъ* художникомъ, — и вы увидите, что они будутъ или молчать, или перекидываться общими фразами, да и тѣ для нихъ будутъ не разговоромъ, а работою. Иной нашъ ученый, особенно если онъ посвятилъ себя точнымъ наукамъ, смотритъ съ ироническою улыбкою на философію и исторію и на тѣхъ, кто ими занимается, а на поэзію, литературу, журналистику, смотритъ просто какъ на вздоръ. Такъ-называемый нашъ «словесникъ» съ презрѣніемъ смотритъ на математику, которая не далась ему въ школѣ. Скажутъ: все это не духъ разъединенія, а духъ полупросвѣщенія или полубразо-

ванности. Такъ! но вѣдь всѣ эти люди получили первоначальное образованіе если не довольно глубокое, то довольно многостороннее: словесникъ учился еще въ школѣ математикѣ, а математикъ — словесности. Многие изъ нихъ даже очень хорошо разсуждаютъ, при случаѣ, о томъ, что существуетъ только искусственное раздѣленіе наукъ, а существеннаго нѣтъ и быть не можетъ, потому-что всѣ науки составляютъ одно знаніе объ одномъ предметѣ — о бытіи, что искусство такъ же, какъ и наука, есть то же сознаніе бытія, только въ другой формѣ, и что литература должна быть наслажденіемъ и роскошью ума равно для всѣхъ образованныхъ людей. Но когда эти прекрасныя разсужденія придется имъ приложить къ дѣлу, — тогда они сейчасъ же раздѣляются на цехи, которые посягаютъ другъ на друга или съ нѣкоторою ироническою улыбкою и съ чувствомъ своего достоинства, или съ какою-то недовѣрчивостію... Какъ же тутъ требовать соціальности между людьми различныхъ сословій, изъ которыхъ каждое по-своему и думаетъ, и говоритъ, и одѣвается, и ѣсть, и пьетъ?...

И однакожь, несмотря на то, сказать, чтобъ у насъ вовсе не было общества, значило бы сказать неправду. Несомнѣнно то, что у насъ есть сильная потребность общества и стремленіе къ обществу, а это уже важно! Реформа Петра Великаго не уничтожила, не разрушила стѣнъ, отдѣлявшихъ въ старомъ обществѣ одинъ классъ отъ другаго; но она подкопалась подъ основаніе этихъ стѣнъ, и если не повалила, то наклонила ихъ на бокъ, — и теперь со-дня-на-день онѣ все болѣе и болѣе клонятся, обсыпаются и засыпаются собственными своими обломками, собственнымъ своимъ щебнемъ и мусоромъ, такъ-что починять ихъ значило бы при-давать имъ тяжесть, которая, по причинѣ подрываго ихъ основанія, только ускорила бы ихъ, и безъ того

неизбѣжное, паденіе. И если теперь, раздѣленные этими стѣнами сословія не могутъ переходить черезъ нихъ, какъ черезъ ровную мостовую, зато легко могутъ перескакивать черезъ нихъ тамъ, гдѣ онѣ особенно пообвалились, или пострадали отъ проломовъ. Все это прежде дѣлалось медленно и незамѣтно, теперь дѣлается и быстрѣе и замѣтнѣе, — и близко время, когда все это очень скоро и начисто сдѣлается. Желѣзныя дороги пройдутъ и подъ стѣнами и черезъ стѣны, тунелями и мостами; усиленіемъ промышленности и торговли онѣ переплетутъ интересы людей всѣхъ сословій и классовъ и заставятъ ихъ вступить между собою въ тѣ живыя и тѣсныя отношенія, которыя невольно сглаживаютъ всѣ рѣзкія и ненужныя различія.

Но начало этого сближенія сословій между собою, которое есть начало образующагося общества, отнюдь не принадлежитъ исключительно нашему времени: оно сливается съ началомъ нашей литературы. Разнородное общество, сплоченное въ одну массу только одними матеріальными интересами, было бы жалкимъ и нечеловѣческимъ обществомъ. Какъ бы ни велики были внѣшнее благоденствіе и внѣшняя сила какого-нибудь общества, — но если въ немъ торговля, промышленность, пароходство, желѣзныя дороги и вообще всѣ матеріальныя движущія силы, составляютъ первоначальныя, главныя и прямыя, а не вспомогательныя только средства къ просвѣщенію и образованію, — то едва ли можно позавидовать такому обществу.... Въ этомъ отношеніи, намъ нельзя пожаловаться на судьбу: общественное просвѣщеніе и образованіе потекло у насъ въ началѣ ручейкомъ мелкимъ и едва замѣтнымъ, но за то изъ высшаго и благороднѣйшаго источника — изъ самой науки и литературы. Наука у насъ и теперь только укореняется, но еще не укоренилась, тогда-какъ образованіе только еще не разрослось, но уже укорени-

дось. Листъ его мелокъ и рѣдокъ, стволъ не высокъ и не толстъ, но корень уже такъ глубокъ, что его не вырвать никакой бурѣ, никакому потоку, никакой силѣ: вырубите этотъ лѣсокъ въ одномъ мѣстѣ, — корень дастъ отпрыски въ другомъ, и вы скорѣе устанете вырубать, нежели устанетъ онъ давать новые отпрыски и разрастаться....

Говоря объ успѣхахъ образованія нашего общества, мы говоримъ объ успѣхахъ нашей литературы, потому-что наше образованіе есть непосредственное дѣйствіе нашей литературы на понятія и нравы общества. Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже нѣсколько поколѣній, рѣзко отличающихся одно отъ другаго, положила начало внутреннему сближенію сословій, образовала родъ общественнаго мнѣнія и произвела нѣчто въ родѣ особеннаго класса въ обществѣ, который отъ обыкновеннаго *средняго сословія* отличается тѣмъ, что состоитъ не изъ купечества и мѣщанства только, но изъ людей всѣхъ сословій, сблизившихся между собою черезъ образованіе, которое у насъ исключительно сосредоточивается на любви къ литературѣ.

Если хотите понять и оцѣнить вліяніе нашей литературы на общество, посмотрите на представителей ея различныхъ эпохъ, поговорите съ ними, или заставьте ихъ поговорить между собою. Литература наша такъ молода, такъ недавно началась, что и теперь еще можно встрѣтить въ обществѣ всѣхъ ея представителей. Первое замѣчательное русское стихотвореніе, написанное правильнымъ размѣромъ, Ломоносова *Ода на взятіе Хотина*, явилась въ 1739 году, ровно 107 лѣтъ тому назадъ, а Ломоносовъ умеръ въ 1765 году, съ небольшимъ 80 лѣтъ назадъ тому. Теперь, конечно, нѣтъ уже людей, которые видѣли бы Ломоносова хотя въ дѣтствѣ ихъ, или, видѣвши его, могли бы помнить объ

этомъ; но и теперь еще много на Руси людей, которые по сочиненіямъ Ломоносова научились любить поэзію и литературу, и которые и теперь считаютъ его такимъ же великимъ поэтомъ, какимъ всѣ считали его въ ихъ время. Еще больше теперь людей, которые живо помнятъ и лицо и голосъ Державина, и эпоху его полной славы считаютъ лучшимъ временемъ своей жизни. Многіе старики и теперь убѣждены отъ всей души въ высокомъ достоинствѣ поэмъ Хераскова, и давно ли маститый поэтъ Дмитріевъ жаловался печатно на неуваженіе молодыхъ поколѣній къ таланту творца *Россиады* и *Владимира*? Есть еще много стариковъ, которые съ умиленіемъ вспоминаютъ о трагедіяхъ Сумарокова и, при спорѣ, готовы наизусть продекламировать лучшія, по ихъ мнѣнію, тирады изъ *Димитрія Самозванца*. Другіе изъ нихъ, уже соглашаясь, что языкъ Сумарокова дѣйствительно очень устарѣлъ, укажутъ вамъ съ особеннымъ уваженіемъ на трагедіи и комедіи Княжнина, какъ на образецъ драматическаго паѳоса и чистоты русскаго языка. Еще больше можно теперь встрѣтить такихъ, которые ничего не станутъ говорить о Сумароковѣ и Княжнинѣ, но тѣмъ съ большимъ жаромъ и съ большею увѣренностію заговорятъ объ Озеровѣ. Что же касается до Карамзина, — не только старыя, но и старѣющія поколѣнія беззавѣтно принадлежатъ ему душою и тѣломъ, чувствуютъ, думаютъ и живутъ его духомъ, не смотря на то, что они не только читали Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина, Грибоѣдова, Гоголя, Лермонтова, но и восхищались всѣми ими болѣе или менѣе.... Потомъ, есть теперь люди, которые иронически улыбаются при имени Пушкина, и съ благоговѣніемъ и восторгомъ говорятъ о Жуковскомъ, какъ-будто уваженіе къ послѣднему не совмѣстно съ уваженіемъ къ первому. А сколько теперь людей, которые не понимаютъ Гоголя и оправдываютъ свое предъубѣж-

деніе на счетъ его тѣмъ, что они понимаютъ Пушкина!... Но не думайте, чтобы все это были чисто-литературные факты: нѣтъ, если вы внимательнѣе присмотритесь и прислушаетесь къ этимъ представителямъ различныхъ эпохъ нашей литературы и различныхъ эпохъ нашего общества, — вы не можете не замѣтить болѣе или менѣе живаго отношенія между ихъ литературными и ихъ житейскими понятіями и убѣжденіями. Что же касается собственно до литературнаго ихъ образованія, — это люди, раздѣленные другъ отъ друга какъ-будто столѣтіями, потому-что наша литература съ небольшимъ во столѣтъ пробѣжала разстояніе не одного вѣка. И потому, была большая разница между обществомъ, которое восторгалось громоздкими фразами высокопарныхъ одъ и тяжелыхъ эпическихъ поэмъ, и обществомъ, которое ходило плакать на *Лизинъ-Прудъ*; между обществомъ, которое жадно читало *Людмилу* и *Святлану*, упивалось фантастическими ужасами *Двенадцати Спящихъ Дней*, или нѣжилось въ романтической задумчивости подъ таинственные звуки *Эоловой Арфы*, — и между обществомъ, которое для *Евгенія Онѣгина* забыло и *Кавказскаго Пльшика* и *Бахчисарайскій Фонтанъ*, для *Горя отъ Ума* — комедіи Фонвизина, для *Бориса Годунова* — *Димитрія Донскаго* Озерова (какъ нѣкогда для послѣдняго забыло оно *Димитрія Самозванца* Сумарокова), а потомъ для Пушкина и Лермонтова какъ-будто охолодѣло къ поэтамъ, которые имъ предшествовали; для Гоголя совершенно забыло всѣхъ романистовъ и нувеллистовъ, которыми еще недавно такъ восхищалось.... Подумайте только, какое неизмѣримое пространство времени легло между *Иваномъ Выжигинимъ*, который вышелъ въ 1829 году, и между *Мертвыми Душами*, которыя вышли въ 1842 году.... Это различіе литературнаго образованія общества перешло въ жизнь, и раздѣлило людей на различ-

но-дѣйствующія, мыслящія и убѣжденныя поколѣнія, которыхъ живые споры и полемическія отношенія, выходя изъ принциповъ, а не изъ матеріальныхъ интересовъ, являютъ собою признаки возникающей и развивающейся въ обществѣ духовной жизни. И это великое дѣло есть дѣло нашей литературы!...

Литература была для нашего общества живымъ источникомъ даже практическихъ нравственныхъ идей. Она началась сатирою, и въ лицѣ Каптемира объявила нещадную войну невѣжеству, предразсудкамъ, сутяжничеству, ябедѣ, крючкотворству, лихоимству и казнокрадству, которыя она застала въ старомъ обществѣ не какъ пороки, но какъ правила жизни, какъ моральныя убѣжденія. Каковъ бы ни былъ талантъ Сумарокова, но его сатирическіе нападки на «кропивное сѣмя» всегда будутъ заслуживать почетнаго упоминевенія отъ историка русской литературы. Комедіи Фонвизина были еще болѣе заслугою передъ обществомъ, нежели передъ литературою. Отчасти то же можно сказать и объ *Ябедѣ* Кашиста. Басня потому такъ хорошо и принялась у насъ, что она принадлежитъ къ сатирическому роду поэзіи. Самъ Державинъ, поэтъ по-преимуществу лирической, былъ въ то же время и сатирическимъ поэтомъ, какъ, на примѣръ, въ *Фелиць*, *Вельможѣ* и другихъ пьесахъ. Наконецъ, пришло время, когда въ нашей литературѣ сатира перешла въ юморъ, который высказывается въ художественномъ воспроизведеніи житейской дѣйствительности. Конечно, смѣшно было бы предполагать, чтобъ сатира, комедія, повѣсть или романъ, могли исправить порочнаго человѣка; но нѣтъ сомнѣнія, что они, открывая глаза общества на самого же его, способствуя пробужденію его самосознанія, покрываютъ порочнаго презрѣніемъ и позоромъ. Не даромъ же многіе у насъ не могутъ безъ ненависти слышать имени Гоголя, и его *Ревизора*

называютъ «безнравственнымъ» сочиненіемъ, которое слѣдовало бы запретить. Равнымъ образомъ, теперь уже никто не будетъ такъ простодушенъ, чтобы думать, что комедія или повѣсть можетъ взяточника сдѣлать честнымъ человекомъ, — иить, кривое дерево, когда оно уже выросло и потолстѣло, не сдѣлаешь прямымъ; но вѣдь у взяточниковъ такъ же бывають дѣти, какъ и у не-взяточниковъ: тѣ и другія, еще не имѣя причинъ считать безнравственными яркія изображенія взяточничества, восхищаются ими и незамѣтно для самихъ-себя обогащаются такими впечатлѣніями, которыя не всегда оказываются безплодными въ ихъ послѣдующей жизни, когда они дѣлаются дѣйствительными членами общества. Впечатлѣнія юности сильны, и юность то и принимаетъ за несомнѣнную истину, что прежде всего поразило ея чувство, воображеніе и умъ. И вотъ какимъ образомъ дѣйствуетъ литература уже не на одно образованіе, но и на нравственное улучшение общества! Какъ бы то ни было, но это фактъ, не подлежащій никакому сомнѣнію, что только въ послѣднее время у насъ начало дѣлаться замѣтнымъ число людей, которые нравственныя убѣжденія стараются осуществлять на дѣлѣ, въ ущербъ своимъ личнымъ выгодамъ и во вредъ своему общественному положенію....

Не менѣе этого неоспоримъ и тотъ фактъ, что литература служитъ у насъ точкою соединенія людей, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ *внутренно* разъединенныхъ. Мѣщанинъ Ломоносовъ, за свой талантъ и свою ученость, достигаетъ важныхъ чиновъ, и вельможи допускають его въ свой кругъ. Съ другой стороны, литература же сближаетъ его съ людьми бѣдными и ничтожными въ гражданскомъ отношеніи. Бѣдный дворянинъ Державинъ, за свой талантъ, самъ дѣлается вельможею, — и между людьми, съ которыми сблизила его

литература, онъ нашелъ не однихъ меценатовъ, но и друзей. Казанскій купецъ Каменевъ, написавшій балладу *Громвалъ*, прѣѣхавъ въ Москву по дѣламъ, пошелъ познакомиться съ Карамзинымъ, а черезъ него перезнакомился со всѣмъ московскимъ литературнымъ кругомъ. Это было назадъ тому *сорокъ лтъ*, когда купцы хаживали только въ переднія дворянскихъ домовъ, и то по дѣламъ, съ товарами или за должкомъ, объ уплатѣ котораго смиренно докучали. Первые журналы русскіе, которыхъ и самыя имена теперь забыты, издавались кружками молодыхъ людей, сблизившихся между собою чрезъ общую имъ всѣмъ страсть къ литературѣ. Образованность равняетъ людей. И въ наше время, уже нисколько не рѣдкость встрѣтить дружескій кружокъ, въ которомъ найдется и знатный баринъ, и разночинецъ, и купецъ, и мѣщанинъ, — кружокъ, члены котораго совершенно забыли раздѣляющія ихъ внѣшнія различія и взаимно уважаютъ другъ въ другѣ просто людей. Вотъ истинное начало образованной общественности, созданное у насъ литературою! Кто изъ имѣющихъ право на имя человѣка не пожелаетъ отъ всей души, чтобъ эта общественность росла и увеличивалась не по днямъ, а по часамъ, какъ росли наши сказочные богатыри! Какъ все живое, общество должно быть органическимъ, то есть множествомъ людей, связанныхъ между собою *внутрино*. Денежные интересы, торговля, акціи, балы, собранія, танцы — тоже связь, но только внѣшняя, слѣдовательно, не живая, не органическая, хотя и необходимая и полезная. Внутрино связываютъ людей общіе нравственные интересы, сходство въ понятіяхъ, равенство въ образованіи и, при этомъ, взаимное уваженіе къ своему человѣческому достоинству. Но всѣ наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша, сосредоточивалась до-сихъ-поръ и еще долго будетъ сосредоточиваться

исключительно въ литературѣ: она живой источникъ, изъ котораго просачиваются въ общество всѣ человѣческія чувства и понятія. . . .

По-видимому нѣтъ ничего легче, а въ-сущности нѣтъ ничего труднѣе, какъ писать о русской литературѣ. Это потому, что русская литература все еще младенецъ, положимъ, младенецъ — Алкидъ, но все же младенецъ. А о дѣтяхъ вообще гораздо труднѣе сказать что-нибудь положительное, опредѣленное, нежели о взрослыхъ людяхъ. Притомъ же, наша литература, подобно нашему обществу, представляетъ собою зрѣлице всевозможныхъ противорѣчій, противоположностей, крайностей, странностей. Это оттого, что она началась не сама-собою, а была сперва пересадкомъ на нашу почву съ чуждой намъ почвы. Поэтому, объ нашей литературѣ всего легче говорить крайностями. Доказывайте, что она не уступаетъ въ богатствѣ и зрѣлости ни одной европейской литературѣ, и что мы можемъ десятками считать нашихъ гениевъ, и сотнями нашихъ талантовъ; или доказывайте, что у насъ вовсе нѣтъ литературы, что наши лучшіе писатели — или случайныя явленія, или просто ничего не стоятъ: въ обоихъ случаяхъ васъ по-крайней-мѣрѣ поймутъ, и ваше мнѣніе найдетъ себѣ жаркихъ послѣдователей. Любовь къ крайностямъ въ сужденіяхъ — одно изъ свойствъ еще не установившейся природы русской; русскій человекъ любить или не въ мѣру хвастаться, или не въ мѣру скромничать. И потому, у насъ такъ много, съ одной стороны, пустоголовыхъ Европейцевъ, которые съ восхищеніемъ говорятъ о послѣдней фельетонной сказкѣ выписавшагося французскаго беллетриста, или съ амфазомъ поютъ новый водевильный кулетъ, дав-

но забытый Парижанами, — и съ презрительнымъ равнодушіемъ, или съ оскорбительною недовѣрчивостію — смотрятъ на гениальное произведеніе русскаго поэта для которыхъ Россія не имѣетъ будущаго, и въ ней все дурно и ничего порядочнаго быть не можетъ; а съ другой стороны, у насъ такъ много *квасныхъ патриотовъ*, которые всѣми силами *натягиваются* ненавидѣть все европейское — даже просвѣщеніе, и любить все русское — даже сивуху и рукопашную дуэль. Пристаньте къ одной изъ этихъ партій, — она сейчасъ же произведетъ васъ въ великіе люди и въ гении, тогда-какъ другая — возненавидитъ и объявитъ бездарнымъ человѣкомъ. Но во всякомъ случаѣ, имѣя враговъ, вы будете имѣть и друзей. Держась же безпристрастнаго, *трезваго* мнѣнія объ этомъ предметѣ, — вы возстановите противъ себя обѣ стороны. Одна изъ нихъ обременитъ васъ своимъ моднымъ, попугайнымъ презрѣніемъ; другая, *пожалуй*, объявитъ васъ человѣкомъ безпокойнымъ, опаснымъ, подозрительнымъ, ренегатомъ и будетъ писать на васъ литературныя донесенія — разумѣется, публикѣ. Самое неприятное тутъ то, что вы не будете поняты, и въ вашихъ словахъ будутъ находить то неумѣренныя похвалы, то неумѣренную брань, но не будутъ видѣть въ нихъ вѣрной характеристики факта и дѣйствительности, какъ онъ есть, со всѣмъ его добромъ и зломъ, достоинствами и недостатками, со всѣми противорѣчіями, которыя онъ носитъ въ самомъ-себѣ. Это особенно прилагается къ нашей литературѣ, которая представляетъ собою столько крайностей и противорѣчій, что, сказавши о ней что-нибудь утвердительное, тотчасъ же должно сдѣлать оговорку, которая большинству публики, больше любящему читать, нежели разсуждать, легко можетъ показаться отрицаніемъ или противорѣчіемъ. Такъ, на примѣръ, сказавши о сильномъ и бла-

готворномъ вліяніи нашей литературы на общество и, следовательно, о ея великой для насъ важности, мы должны оговориться, чтобы этому вліянію и этой важности не приписали большихъ размѣровъ, нежели какіе мы разумѣли, и такимъ образомъ не вывели бы изъ нашихъ словъ такого заключенія, что мы не только имѣемъ литературу, но еще и богатую литературу, которая смѣло можетъ стать наравнѣ съ любою европейскою литературою. Подобное заключеніе было бы всячески ложно. У насъ есть литература, и литература богатая талантами и произведениями, если брать въ соображеніе ея средства и молодость, — но наша литература существуетъ только для насъ: для иностранцевъ же она еще вовсе не литература, и они имѣютъ полное право не признавать ея существованія, потому что они не могутъ черезъ нее изучать и узнавать насъ какъ народъ, какъ общество. Литература наша слишкомъ молода, неопредѣленна и безвѣтна для того, чтобы иностранцы могли видѣть въ ней фактъ нашей умственной жизни. Еще недавно была она робкимъ, хотя и даровитымъ ученикомъ, который поставлялъ себѣ за славу копировать европейскіе образцы, который за картины русской жизни выдавалъ копіи съ картинъ европейской жизни. И это составляетъ характеръ цѣлой эпохи литературы нашей отъ Кантемира и Ломоносова до Пушкина. Потомъ, почувствовавъ свои силы, она изъ ученика сдѣлалась мастеромъ, и вмѣсто того, чтобы копировать съ готовыхъ картинъ европейской жизни, простодушно выдавая ихъ за оригинальныя картины русской жизни, она смѣло начала воспроизводить картины и европейской и русской жизни. Но пока еще только въ первыхъ была она вполнѣ мастеромъ, а во вторыхъ только стремилась, и не всегда безуспѣшно, стать мастеромъ. И это составляетъ характеръ періода нашей литературы отъ Пушкина до

Гоголя. Съ появленія Гоголя, литература наша исключительно обратилась къ русской жизни, къ русской дѣйствительности. Можетъ быть, черезъ это она сдѣлалась болѣе одностороннею и даже однообразною, зато и болѣе оригинальною, самобытною, а, следовательно, и истинною. Теперь взглянемъ на эти періоды русской литературы въ отношеніи къ ихъ значенію не для насъ, а для иностранцевъ. Нѣтъ никакой нужды доказывать, что Ломоносовъ и Карамзинъ имѣютъ для насъ великое значеніе; но попробуйте перевести ихъ сочиненія на любой европейскій языкъ, — и вы увидите, станутъ ли иностранцы читать ихъ, а если и прочтутъ, то много ли найдутъ въ нихъ интереснаго для себя. Они скажутъ: «мы давно уже прочли все это у себя дома; дайте намъ *русскихъ* писателей». То же бы самое сказали они и о сочиненіяхъ Дмитріева, Озерова, Батюшкова, Жуковскаго. Изъ всего этого періода былъ бы имъ интересенъ только одинъ писатель — баснописецъ Крыловъ; но онъ рѣшительно непереводимъ ни на какой языкъ въ мірѣ, и его могутъ оцѣнить только тѣ изъ иностранцевъ, которые знаютъ русскій языкъ и долго жили въ Россіи. Итакъ, цѣлый періодъ русской литературы рѣшительно не существуетъ для Европы. Чтò же касается до втораго, — онъ можетъ существовать для нихъ, но только въ извѣстной степени. Если бы такія произведенія Пушкина, какъ, на примѣръ, *Моцартъ и Сальери*, *Скупой Рыцарь*, *Каменный Гость* были переведены достойнымъ ихъ образомъ на какой-нибудь европейскій языкъ, — иностранцы не могли бы не признать ихъ превосходными созданіями поэзіи, но тѣмъ не менѣе эти пьесы не имѣли бы для нихъ почти никакого интереса какъ созданія русской поэзіи. Тò же можно сказать и о лучшихъ произведеніяхъ Лермонтова. Ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ не могутъ не терять отъ переводовъ, какъ бы ни хоро-

ни были переводы ихъ сочиненій. Причина очевидна: хотя въ твореніяхъ Пушкина и Лермонтова видна душа русская, ясный, положительный русскій умъ, сила и глубокость чувства, — однакожь эти качества виднѣе намъ, Русскимъ, нежели иностранцамъ, потому-что русская націонность еще не довольно выработалась и развилась, чтобы русскій поэтъ могъ налагать на свои произведенія ея рѣзкую печать, выражая въ нихъ общечеловѣческія идеи. А требованія Европейцевъ въ этомъ отношеніи велики. И не мудрено: національный духъ европейскихъ народовъ такъ самобытно и рѣзко отражается въ ихъ литературахъ, что, какъ бы ни было велико, въ художественномъ отношеніи, произведеніе, не запечатлѣнное рѣзкою печатью національности, — оно уже теряетъ въ глазахъ Европейца главное свое достоинство. Въ какомъ-нибудь Марриетъ, Бульверъ, или еще меньше значительномъ бѣльетристѣ англійскомъ, вы такъ же точно видите Англичанина, какъ и въ Шекспирѣ, Байронѣ, Вальтерѣ-Скоттѣ. Жоржъ Зандъ и Поль-де-Кокъ представляютъ собою крайнія стороны французскаго духа, и хотя первый выражаетъ собою все прекрасное, человѣческое и высокое, а послѣдній — ограниченное и пошлое французской національности, — однако вы сейчасъ видите, что оба они равно могли явиться только во Франціи. Какой-нибудь Клауренъ, или Августъ Лафонтенъ такъ же Нѣмцы, какъ и Гёте и Шиллеръ. Въ каждой изъ этихъ литературъ писатель выражаетъ своими сочиненіями хорошую или слабую сторону своей родной національности, и національный духъ, словно таможенный штемпель, лежитъ тамъ какъ на произведеніи генія, такъ и на произведеніи бездарнаго писака. Французы оставались въ высшей степени національными, изо всѣхъ силъ подражая Грекамъ и Римлянамъ. Виландъ остался Нѣмцемъ, подражая Французамъ. Барьеры національности непере-

ходимы для Европейцевъ. Можетъ-быть, это наша величайшая выгода, что намъ равно доступны всѣ національности, и наши поэты такъ легко и свободно становятся, въ своихъ произведеніяхъ, и Греками, и Римлянами, и Французами, и Нѣмцами, и Англичанами, и Итальянцами, и Испанцами; но это выгода въ будущемъ, какъ указаніе на то, что наша національность должна выработаться широко и многосторонно. Въ настоящемъ же, это пока скорѣе недостатокъ, чѣмъ достоинство, не столько широкость и многосторонность, сколько невыработанность и неопредѣленность своего собственного личнаго начала.

И потому, для иностранцевъ, интереснѣе другихъ были бы въ хорошихъ переводахъ тѣ созданія Пушкина и Лермонтова, которыхъ содержаніе взято изъ русской жизни. Такимъ образомъ, *Евгеній Онегинъ* былъ бы для иностранцевъ интереснѣе *Моцарта и Сальери, Скупого Рыцаря и Каменнаго Гостя*. И вотъ почему, самый интересный для иностранцевъ русскій поэтъ есть Гоголь. Это не предположеніе, а фактъ, доказанный замѣчательнымъ успѣхомъ во Франціи перевода пяти повѣстей этого писателя, въ прошломъ году изданныхъ въ Парижѣ, г. Луи Виардо. Этотъ успѣхъ понятенъ: кромѣ огромности своего художческаго таланта, Гоголь строго держится въ своихъ сочиненіяхъ сферы русской *житейской* дѣйствительности. А это-то всего и интереснѣе для иностранцевъ: они хотятъ черезъ поэта знакомиться съ странною, которая произвела его. Въ этомъ отношеніи, Гоголь — самый національный изъ русскихъ поэтовъ, и ему нельзя бояться перевода, хотя, по причинѣ самой національности его сочиненій, и въ лучшемъ переводѣ не можетъ не ослабиться ихъ колоритъ.

Но и этимъ успѣхомъ не должно слишкомъ заноситься. Для поэта, который хочетъ, чтобъ геній его

былъ признанъ вездѣ и всѣми, а не одними только его соотечественниками, національность есть первое, но не единственное условіе: необходимо еще, чтобъ, будучи *національнымъ*, онъ, въ то же время, былъ и *всемірнымъ*, то есть, чтобы національность его твореній была формою, тѣломъ, плотью, физиономіею, личностію духовнаго и безплотнаго міра общечеловѣческихъ идей. Другими словами: необходимо, чтобъ національный поэтъ имѣлъ великое *историческое* значеніе не для одного только своего отечества, но чтобы его явленіе имѣло *всемірно-историческое* значеніе. Такіе поэты могутъ являться только у народовъ, призванныхъ играть въ судьбахъ человѣчества *всемірно-историческую* роль, то есть, своею національною жизнію имѣть вліяніе на ходъ и развитіе всего человѣчества. И потому, если, съ одной стороны, безъ великаго генія отъ природы, нельзя быть *всемірно-историческимъ* поэтомъ, то, съ другой стороны, и съ великимъ геніемъ иногда можно быть не *всемірно-историческимъ* поэтомъ, то есть, имѣть важность только для одного своего народа. Здѣсь значеніе поэта зависитъ уже не отъ него самого, не отъ его дѣятельности, направленія, генія, но отъ значенія страны, которая произвела его. Съ этой точки зрѣнія, у насъ нѣтъ ни одного поэта, котораго мы имѣли бы право ставить наравнѣ съ первыми поэтами Европы, — даже и въ такомъ случаѣ, если бы мы ясно видѣли, что, со стороны таланта, онъ не уступаетъ тому или другому изъ нихъ. Пьесы Пушкина: *Моцартъ и Сальери*, *Скупой Рыцарь* и *Камеяный Гость* такъ хороши, что безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что онѣ достойны генія самого Шекспира; но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ Пушкинъ былъ равенъ Шекспиру. Не говоря уже о томъ, что есть большая разница въ силѣ и объемѣ между геніемъ Шекспира и геніемъ Пушкина, — если бы Пушкинъ

написалъ столько же и въ такой же мѣрѣ превосходнаго, сколько Шекспиръ, и тогда его равенство съ Шекспиромъ было бы слишкомъ смѣлою ипотезою. Тѣмъ болѣе это теперь, когда мы знаемъ, что число и объемъ его лучшихъ произведеній такъ бѣдны въ сравненіи съ числомъ и объемомъ лучшихъ произведеній Шекспира. Вообще, мы скорѣе можемъ сказать, что въ нашей литературѣ есть нѣсколько произведеній, которыя мы можемъ, по ихъ *художественному достоинству*, противопоставлять нѣкоторымъ гениальнымъ произведеніямъ европейскихъ литературъ; но мы не можемъ сказать, чтобъ у насъ были поэты, которыхъ мы могли бы противопоставлять европейскимъ поэтамъ первой величины. Есть глубокой смыслъ въ томъ, что мы нуждаемся въ знакомствѣ съ великими поэтами иностранныхъ литературъ, и что иностранцы не нуждаются въ знакомствѣ съ нашими. Отношеніе нашихъ великихъ поэтовъ къ великимъ поэтамъ Европы можно выразить такъ: о нѣкоторыхъ пьесахъ Пушкина можно сказать, что самъ Шекспиръ не постыдился бы назвать ихъ своими, такъ же какъ нѣкоторыя пьесы Лермонтова самъ Байронъ не постыдился бы назвать своими; но, не рискуя впасть въ нелѣпность, нельзя сказать наоборотъ, что подъ нѣкоторыми сочиненіями Шекспира и Байрона Пушкинъ и Лермонтовъ не постыдились бы подписать своего имени. Мы можемъ называть нашихъ поэтовъ Шекспирами, Байронами, Вальтеръ Скоттами, Гёте, Шиллерами и пр., только для показанія силы, или направленія ихъ таланта, но не ихъ значенія въ глазахъ всего образованнаго міра. Кого называютъ не своимъ именемъ, тотъ не можетъ быть равенъ тому, чьимъ именемъ его называютъ. Байронъ явился послѣ Гёте и Шиллера. — и остался Байрономъ, а не былъ прозванъ англійскимъ Гёте, или англійскимъ Шиллеромъ. Когда для Россіи придетъ

время производить поэтовъ всемірнаго значенія, — этихъ поэтовъ будутъ называть ихъ собственными именами, и каждое имя такого поэта, оставаясь собственнымъ, будетъ въ то же время и нарицательнымъ, будетъ употребляться и во множественномъ числѣ, потому-что будетъ *типическимъ*.

Говоря, что русскій великій поэтъ, будучи одаренъ отъ природы и равнымъ великому европейскому поэту талантомъ, все-таки не можетъ, въ настоящее время, достигать равнаго съ нимъ значенія, — мы хотимъ этимъ сказать, что онъ можетъ соперничествовать съ нимъ только въ *формѣ*, но не въ *содержаніи* своей поэзіи. Содержаніе даетъ поэту жизнь его народа, следовательно достоинство, глубина, объемъ и значеніе этого содержанія зависятъ прямо и непосредственно не отъ самого поэта, и не отъ его таланта, а отъ историческаго значенія жизни его народа. Только сто-тридцать-шесть лѣтъ прошло съ того вѣчно-памятнаго дня, какъ Россія громами полтавской битвы возвѣстила міру о своемъ приобщеніи къ европейской жизни, о своемъ вступленіи на поприще всемірно-историческаго существованія, — и какой блестящій путь преуспѣянія и славы совершила она въ этотъ короткій срокъ времени! Это что-то баснословно-великое, безпримѣрное, нигдѣ и никогда не бывающее! Россія рѣшила судьбы современнаго міра, «поваливъ въ бездну тяготѣвшій надъ царствами кумирь», и теперь, занявъ по праву принадлежавшее ей мѣсто между первоклассными державами Европы, она, вмѣстѣ съ ними, держитъ судьбы міра на вѣсахъ своего могущества... Но это показываетъ, что мы ни отъ кого не отстали, а многихъ и опередили въ политическо-историческомъ значеніи — важной, но еще не единственной, не исключительной сторонѣ жизни для народа, призваннаго для великой роли. Наше политическое величіе есть несомнѣнный

залогъ нашего будущаго великаго значенія и въ другихъ отношеніяхъ; но въ одномъ въ немъ еще нѣтъ окончательнаго достиженія до развитія всѣхъ сторонъ, долженствующихъ составлять полноту и цѣлость жизни великаго народа. Въ будущемъ, мы, кромѣ побѣдоноснаго русскаго меча, положимъ на вѣсы европейской жизни еще и русскую мысль.... Тогда будутъ у насъ и поэты, которыхъ мы будемъ имѣть право равнять съ европейскими поэтами первой величины....

Но теперь будемъ довольны тѣмъ, что есть, не преувеличивая и не уменьшая того, чѣмъ владѣемъ. По времени, наша литература оказала огромные успѣхи, свидѣтельствующіе несомнѣнно о плодотворности почвы русскаго духа. Если еще не литература наша, то уже кое-что въ литературѣ нашей начинаетъ интересовать даже иностранцевъ. Интересъ этотъ пока еще довольно одностороненъ, потому-что въ произведеніяхъ русскихъ поэтовъ иностранцы могутъ находить для себя только мѣстный колоритъ, живопись нравовъ и обычаевъ столь рѣзко-противоположной имъ страны...

У насъ изстари ведется обычай нападать то на публику за ея, будто-бы, равнодушіе ко всему родному, а преимущественно къ отечественнымъ талантамъ, къ отечественной литературѣ; то на критиковъ, будто-бы, старающихся унижать заслуженные авторитеты русской литературы. Мы не безъ причины поставили рядомъ оба эти обвиненія: между ними такъ много общаго. Начнемъ съ перваго. Неутомимые защитники нашей литературы, скромно величающіе себя «патріотами» и «правдолюбамъ», больше всего жалуется на упадокъ нашей книжной торговли, на малый расходъ книгъ. Но факты говорятъ совсѣмъ другое: изъ нихъ ясно какъ дважды-два — четыре, что у насъ хорошо

расходятся даже сколько-нибудь порядочныя книги, не говоря уже о превосходныхъ. *Героя нашего времени*, въ продолженіи шести лѣтъ, разошлось три изданія; стихотвореній Лермонтова скоро потребуются третье изданіе, несмотря на то, что они все были первоначально напечатаны въ журналахъ; *Вечера на Хуторѣ*, Гоголя печатались едва ли не четыре раза; *Ревизора* разошлось три изданія; второе изданіе (1842 г.) сочиненій Гоголя разошлось въ числѣ трехъ тысячъ экземпляровъ; *Мертвыя Души*, напечатанныя, въ 1842 году, въ числѣ двухъ-тысячь-четырехъ-сотъ экземпляровъ, давно расхвачаны до послѣдняго экземпляра. Даже повѣсти графа Сологуба, прочитанныя публикою въ журналахъ, вышли уже вторымъ изданіемъ; *Тарантасъ*, вѣроятно, тоже скоро появится вторымъ изданіемъ. Этихъ фактовъ достаточно. Говорятъ даже, что у насъ не можетъ не окупиться изданіе самой плохой книги, почему книгопродавцы и печатаютъ такъ много плохихъ книгъ. Исключеніе, видно, остается только за сочиненіями господъ «правдолюбовъ», жалующихся на то, что книги не идутъ съ рукъ. Но это доказываетъ только, какъ невыгодно запаздывать талантомъ, умомъ и понятіями. Въ горести и отчаяніи при мысли о залежавшемся товарѣ своего ума и фантазіи, эти господа вздумали свалить вину паденія книжнаго товара на толстые журналы и на новую, будтобы, ложную школу литературы, основанную Гоголемъ. Оба эти обвиненія стѣять одно другаго. Обвинители, говорятъ, будто наша литература гибнетъ отъ-того, что въ журналахъ печатаются цѣликомъ многотомные романы, исторіи, и тому подобное. Они даже увѣряютъ, что сама публика недовольна этимъ. Конечно! для публики очень невыгодно за пятьдесятъ рублей въ годъ приобретать столько сочиненій, которыя, будучи изданы отдѣльно, обошлись бы ей чуть

ли не въ пятеро дороже!... Какъ же послѣ этого публикѣ не жаловаться на журналы! Вамъ хочется, чтобы и книги, несмотря на то, шли своимъ чередомъ? — Издавайте ихъ какъ можно дешевле и въ большемъ количествѣ экземпляровъ: журналы вамъ не помѣшаютъ. Несмотря на то, что книги и у насъ сдѣлались гораздо дешевле, нежели какъ были онѣ лѣтъ за пятьнацать назадъ тому, когда крошечные альманахи, съренъко издававшіеся, продавались по десяти рублей ассигнаціями, а плохіе переводы романовъ Вальтера Скотта и оригинальные русскіе романы — по двадцати и больше рублей ассигнаціями за экземпляръ, — не смотря на то, книги у насъ еще и теперь — страшно-дорогой товаръ. Это, къ несчастію, слишкомъ хорошо знаютъ тѣ, кто считаетъ за необходимое имѣть въ своей библиотекѣ сочиненія всѣхъ извѣстныхъ русскихъ писателей. Только въ прошломъ году вышло изданіе сочиненій Державина, стоящее три рубли серебромъ, — тогда какъ этимъ сочиненіямъ давно бы слѣдовало продаваться еще вдвое дешевле. Смирдинское изданіе сочиненій Батюшкова стоитъ пятнадцать рублей ассигнаціями. Первые восемь томовъ сочиненій Жуковского теперь съ трудомъ можно приобрести и за пятнадцать рублей серебромъ, потому-что изданіе давно разошлось, а новаго все нѣтъ какъ нѣтъ. Сочиненія Пушкина, дурно изданныя, стоятъ до шестидесяти рублей ассигнаціями. *Мертвыя Души* Гоголя, продававшіяся по три рубля серебромъ, теперь нельзя купить меньше десяти рублей серебромъ, а о новомъ изданіи даже и не слышно. Какъ же процвѣтаетъ книжной торговлѣ, когда публикѣ нечего покупать, при всей ея охотѣ покупать? Скажутъ: у насъ есть книгопродавцы-издатели, которые, вмѣсто того, чтобъ наживаться, только раззоряются отъ изданія книгъ. Такъ, но многіе ли изъ этихъ книгопродавцевъ

знають толкъ въ товарѣ, которымъ торгуютъ?... Кто же тутъ виноватъ — неужели толстые журналы?...

Конечно, нельзя не согласиться отчасти и въ томъ, что наша публика не совѣмъ похожа, напримѣръ, на французскую, въ ея любви къ отечественнымъ талантамъ и отечественной литературѣ. Въ Парижѣ вышло новое изданіе (которое счетомъ — и сказать трудно) сочиненій Гюго, въ то самое время, когда Французская Академія отказала ему въ званіи своего члена: публика изъявила свое неудовольствіе тѣмъ, что въ нѣсколько дней раскупила все изданіе.... У насъ еще невозможны такія явленія. Почти каждый образованный Французъ считаетъ необходимымъ имѣть въ своей библиотекѣ всѣхъ своихъ писателей, которыхъ общественное мнѣніе признало классическими. И онъ читаетъ и перечитываетъ ихъ всю жизнь свою. У насъ — что грѣха таить? — не всякій записной литераторъ считаетъ за нужное имѣть старыхъ писателей. И вообще, у насъ всѣ охотнѣе покупаютъ новую книгу, нежели старую; старыхъ писателей у насъ почти никто не читаетъ, особенно тѣ, которые всѣхъ громче кричатъ о ихъ гени и славѣ. Это отчасти происходитъ отъ того, что наше образованіе еще не установилось, и образованныя потребности еще не обратились у насъ въ привычку. Но тутъ есть и другая, можетъ-быть, еще болѣе существенная причина, которая не только объясняетъ, но частію и оправдываетъ это нравственное явленіе. Французы до-сихъ-поръ читаютъ, напримѣръ, Рабле, или Паскаля, писателей XVI и XVII вѣка: тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому-что этихъ писателей и теперь читаютъ и изучаютъ не одни Французы, но и Нѣмцы, и Англичане, словомъ, люди всѣхъ образованныхъ націй. Языкъ этихъ писателей, и особенно Рабле, устарѣлъ, но содержаніе ихъ сочиненій всегда будетъ имѣть свой живой интересъ, потому-что

оно тѣсно связано съ смысломъ и значеніемъ цѣлой исторической эпохи. Это доказываетъ ту истину, что только *содержаніе*, а не языкъ, не слогъ можетъ спасти отъ забвенія писателя, не смотря на измѣненіе языка, нравовъ и понятій въ обществѣ. Тутъ даже и талантъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, не составляетъ всего. Ломоносовъ былъ великій, гениальный человѣкъ; его ученыя сочиненія всегда будутъ имѣть свою цѣну; но его стихи для насъ могутъ имѣть только одинъ интересъ — какъ историческій фактъ разпадающейся литературы, а больше ни какаго. Читать ихъ и скучно и трудно. На это можно рѣшиться по обязанности, а не по склонности. Державинъ былъ положительно одаренъ поэтическимъ гениемъ; но его эпоха такъ мало могла дать содержанія для его творчества, что если его и читаютъ теперь, то больше съ цѣлю изученія истории русской литературы, нежели для прямого эстетическаго наслажденія. Карамзинъ изъ горной, ухабистой и каменистой дороги латинско-нѣмецкой конструкціи, славяно-церковныхъ реченій и оборотовъ, и схоластической надутости выраженія, вывелъ русскій языкъ на настоящій и естественный ему путь, заговорилъ съ обществомъ языкомъ общества, создалъ, можно сказать, и литературу и публику: заслуга великая и безсмертная! Мы признаемъ ее со всею охотою, и считаемъ для себя не только за долгъ, но и за наслажденіе быть признательными къ имени знаменитаго мужа; но все это не дастъ содержанія *Блудной Лизы*, *Патальи Боярской Дочери*, *Маршъ Посадницъ* и пр., не сдѣлаетъ ихъ интересными для нашего времени, и не заставитъ насъ читать и перечитывать ихъ. И обо многихъ писателяхъ нашихъ можно сказать то же. Намъ возразятъ: «Таково было ихъ время; они не виноваты, что родились въ ихъ, а не въ наше время». Согласны, совершенно согласны; но мы и не винимъ ихъ: мы только снимаемъ вину съ нашей

публики; наша роль отнюдь не обвинительная, но чисто оправдывательная. О вкусах спорить трудно; но если кого из старых писателей наших можно читать съ истиннымъ удовольствіемъ, такъ это Фонвизина. Его сочиненія такъ похожи на записки или мемуары этой эпохи, хотя они и совсѣмъ не записки и не мемуары. Фонвизинъ былъ необыкновенно умный человекъ; онъ не хлопоталъ о высокопарной, иллюминированной сторонѣ своего времени, но смотрѣлъ больше на его внутреннюю, домашнюю сторону. Потому сочиненія его крайне интересны. О Крыловѣ не говоримъ: всѣ мы, разъ заучивъ его въ дѣтствѣ, уже никогда не забываемъ.

Сказанное нами о Ломоносовѣ, Державинѣ и Карамзинѣ, многими принято будетъ за *flagrant delict* злостнаго униженія критикою нашихъ литературныхъ славъ. Въ-самомъ-дѣлѣ, улика на лицо — и намъ пѣтъ спасенія! Но, какъ говоритъ русская пословица, «страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ!» Къ-счастью, мнѣніе объ униженіи критикою литературныхъ славъ со-дня-на-день перестаетъ быть мнѣніемъ публики: теперь оно осталось на долю самихъ же такъ-называемыхъ критиковъ, сдѣлалось любимымъ орудіемъ обиженныхъ самолюбій, забытыхъ извѣстностей, падшихъ талантовъ, выписавшихся сочинителей, — орудіемъ, вполне достойнымъ ихъ!... Кто не хочетъ превозносить ихъ, или, еще болѣе, кто не хочетъ замѣчать ихъ; кто, говоря о знаменитыхъ писателяхъ, не хочетъ повторять готовыхъ стереотипныхъ и избитыхъ фразъ, быть эхомъ чужихъ мнѣній, но хочетъ, по своему разумѣнію, по мѣрѣ силъ своихъ, судить независимо и свободно, оцѣнить заслуги каждаго писателя, показать его достоинства и недостатки, указать на его настоящее мѣсто и значеніе въ русской литературѣ: что дѣлать съ такимъ критикомъ, особенно, если его мнѣнія находятъ от-

зывать въ публикѣ? — Больше нечего съ нимъ дѣлать, какъ кричать о немъ сколько можно громче и чаще, что онъ унижаетъ литературныя славы, порочить Ломоносова, Державина, Карамзина, Батюшкова, Жуковскаго, даже Пушкина!... Кстати, можно намекнуть, что онъ проповѣдуетъ безнравственность, развращаетъ молодыя поколѣнія, что онъ... по крайней-мѣрѣ — ренегатъ, если не что-нибудь еще хуже.... Это тоже называется «критикою»... Неужели такая критика находится еще себѣ послѣдователей въ публикѣ?... *Какіихъ* — это другой вопросъ, но что находится, это очень возможно, потому-что наша читающая публика такъ же разнообразна, пестра и не единична, какъ и наше общество. Между нею есть люди, для которыхъ *Ревизирь* и *Мертвыя Души* — грубые фарсы, а *Сенсаций госпожи Курдюковой* — остроумнѣйшее произведение; есть люди, которые, какъ сказалъ Гоголь, «любить потолковать о литературѣ, хвалить Булгарина, Пушкина и Греча, и говорить съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловѣ». Такие люди, или такіе чтецы (читателями ихъ грѣхъ назвать) въ критикѣ видятъ или безусловную похвалу, или безусловную брань: имъ такъ легко понимать такую критику, отъ всякой другой у нихъ закружилась бы голова, потому-что имъ пришлось бы думать, что для нихъ всего тяжелѣе и труднѣе. Когда является разборъ сочиненій писателя, написанный въ духъ истинной критики, отдѣляющій въ авторѣ безусловныя достоинства отъ условныхъ, недостатки таланта отъ недостатковъ времени, — такого разбора помянутые чтецы не станутъ читать; но имъ скажетъ о немъ какой-нибудь присяжный *и*хъ критикъ, какой-нибудь творецъ всякой всячины, который изо всей мочи хвалитъ себя, да старыхъ писателей, уже не опасныхъ ему, и бранитъ наповажъ все даровитое въ новомъ поколѣніи. Этотъ критикъ

по-своему разбереть для своихъ чтецовъ вновь явившійся разборъ, вырветъ изъ него по строчкѣ, по слову изъ страницы и воскликнетъ: можно ли такъ унижать заслуженные авторитеты! И чтецы вѣрятъ ему, потому что понимаютъ его: онъ говоритъ имъ ихъ языкомъ, ихъ понятіями, ихъ чувствами, ихъ вкусомъ — *les beaux esprits se rencontrent*.... Имъ, этимъ чтецамъ, и въ голову не входитъ, что правда не унижаетъ таланта, такъ же, какъ и ошибочное мнѣніе не вредитъ ему, что унижить можно только незаслуженную извѣстность, и что, слѣдовательно, независимое сужденіе о литературѣ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть вредно, но часто бываетъ полезно. Изобрѣтатель такой критики увѣритъ своихъ чтецовъ еще и въ томъ, что критикъ, при имени котораго онъ не можетъ оставаться хладнокровнымъ, хвалитъ только своихъ друзей; а чтецы и вѣрятъ печатному: гдѣ же имъ справляться, что этотъ критикъ едва ли знакомъ лично съ живыми писателями, которыми онъ удивляется? — Это дѣло частное; и гдѣ же имъ сообразить, что онъ еще не родился на свѣтъ, когда умеръ Ломоносовъ, и не зналъ еще грамотъ, когда умеръ Державинъ и когда были въ полнотѣ своей славы Карамзинъ и Жуковский, заслугамъ и генію которыхъ онъ отдастъ полную справедливость, но только не съ чужаго голоса и не безотчетно? — Для соображенія вѣдь нужна способность соображать. Гораздо легче повѣрить на слово тому, кто повторяетъ себѣ да и только: хвалитъ-де все своихъ друзей....

Вообще, вмѣстѣ съ удивительными и быстрыми успѣхами въ умственномъ и литературномъ образованіи, проглядываетъ у насъ какая-то незрѣлость, какая-то шаткость и неопредѣленность. Истины, въ другихъ литературахъ давно слѣвавшіяся аксиомами,

давно уже не возбуждающія споровъ и не требующія доказательствъ, — у насъ все еще не подвергались сужденію, еще не всѣмъ извѣстны. Вы, напримѣръ, не написали никакой книги, а между-тѣмъ издаете журналъ, пользующійся огромнымъ успѣхомъ, — и ваши противники кричатъ, что вашъ журналъ плохъ, *потому-что* вы не написали никакой книги. Это «потому-что» очень оригинально! Да если журналъ хорошъ, какое вамъ дѣло до того, написали или не написали его издатель книгу? — Вы занимаетесь критикою, и хоть на столько успѣшно, чтобы живо затронуть чужія мнѣнія, или пристрастія, и нажить себѣ враговъ: не думайте, чтобы ваши противники стали опровергать ваши положенія, оспаривать ваши выгоды. Нѣтъ, вмѣсто всего этого, они начнутъ вамъ говорить, что ничего не написавши сами, вы не имѣете права критиковать другихъ: что вы молоды, а между-тѣмъ судите о произведеніяхъ людей, которые уже стары, и т. д. Подобныя выходки хоть кого приведутъ въ затруднительное положеніе, — не потому, чтобы трудно было отвѣчать на нихъ, а потому именно, что слишкомъ легко отвѣчать на нихъ. Но у кого же достанетъ духу опровергать подобныя мнѣнія, съ важностію доказывать, что можно не быть поваромъ — и вѣрно судить о столѣ; не быть портнымъ — и безошибочно сказать свое мнѣніе о достоинствѣ или недостаткахъ новаго фрака; — такъ же точно, какъ не умѣть писать стиховъ, романовъ, повѣстей, драмъ — и быть въ состояніи дѣльно и здраво судить о чужихъ произведеніяхъ; и что, если въ сферѣ гастрономіи имѣть тонкій вкусъ есть своего рода талантъ — то тѣмъ болѣе это въ сферѣ искусства, и что критика есть своего рода искусство. Есть истины, которыя даже пошлы, потому именно, что слишкомъ очевидны, какъ, напримѣръ, то, что лѣтомъ тепло, а зимою холодно, что полъ дождемъ можно вымочиться,

а передъ огнемъ высушиться! А между-тѣмъ, у насъ иногда необходимо защищать подобныя истины всею силою логики и діалектики... Но это еще можетъ быть только или смѣшно, или досадно, смотря по расположенію вашего духа; но бываютъ явленія, отъ которыхъ не захочется смѣяться. Вспомните только, что произведение, вѣрно схватывающее какія-нибудь черты общества, считается у насъ часто насквилемъ, то на общество, то на сословіе, то на лица. Отъ нашей литературы требуютъ, чтобы она видѣла въ дѣйствительности только героевъ добродѣтели, да мелодраматическихъ злодѣевъ, и чтобы она и не подозрѣвала, что въ обществѣ можетъ быть много смѣшныхъ, странныхъ и уродливыхъ явленій. Каждый, чтобы ему было широко и просторно жить, готовъ, еслибъ могъ, запретить другимъ жить... Писаки во фризовыхъ шинеляхъ, съ небритыми подбородками, пишутъ на заказъ мелкимъ книгопродавцамъ плохія книжонки: что жъ тутъ худаго? Почему писаки не находятъ свой кусокъ хлѣба, какъ онъ можетъ и умѣетъ?—Но эти писаки портятъ вкусъ публики, унижаютъ литературу и званіе литератора? — Положимъ такъ; но чтобы они не вредили вкусу публики и успѣхамъ литературы, для этого есть журналы, есть критика. — Нѣтъ, намъ этого мало: будь наша воля — мы запретили бы писакамъ писать вздоры, а книгопродавцамъ издавать ихъ... И откуда, отъ кого выходятъ подобныя мысли? — изъ журналовъ, отъ литераторовъ!... Между ними есть ужасные запрети-тели: кромѣ своихъ сочиненій, такъ бы все и запретили гуртомъ... Нѣкоторые и на этомъ не остановились бы, но желали бы запретить продажу всякихъ другихъ товаровъ, — даже хлѣба и соли, кромѣ своихъ сочиненій... Явился у насъ писатель, юмористическій талантъ котораго имѣлъ до того сильное вліяніе на всю литературу, что далъ ей совершенно новое направле-

ніе. Его стали порочить. Хотѣли увѣрить публику, что онъ — Поль-де-Кокъ, живописецъ грязной, неумытой и непричесанной природы. Онъ не отвѣчалъ никому и шель-себѣ впередъ. Публика, въ отношеніи къ нему, раздѣлилась на двѣ стороны, изъ которыхъ самая многочисленная была рѣшительно противъ него, — что, впрочемъ, нисколько не мѣшало ей раскупать, читать и перечитывать его сочиненія. Наконецъ, и большинство публики стало за него; что дѣлать порицателямъ? Они начали признавать въ немъ талантъ, даже большой, хотя, по ихъ словамъ, идущій и не по настоящему пути; но вмѣстѣ съ этимъ, стали давать знать, и намекали прямо, что онъ, будто бы, унижаетъ все русское, оскорбляетъ почтенное сословіе чиновниковъ, и т. п. Но эти господа хлопочутъ совсѣмъ не о чиновникахъ, а о самихъ-себѣ: имъ бы хотѣлось заставить молчать всю современную литературу, чтобы публика, не имѣя ничего хорошаго, поневолѣ принялась за чтеніе ихъ сочиненій, и начала бы снова покупать ихъ... И это все печатается, а публика читаетъ, потому-что если бы этого никто не читалъ, то это и не печаталось бы... Всѣ мнѣнія находятъ у насъ мѣсто, просторъ, вниманіе и даже послѣдователей. Что же это, если не незрѣлость и не шаткость общественнаго мнѣнія? Но со всѣмъ этимъ, истина и здравый вкусъ все-таки идутъ твердыми шагами и овладѣваютъ полемъ этой безпорядочной битвы мнѣній. Если всякій ложный и пустой, но блестящій талантъ непремѣнно пользуется успѣхомъ, то не было еще примѣра, чтобы истинный талантъ не былъ у насъ признанъ и не получилъ успѣха. Ложные авторитеты падаютъ со дня-на-день. Давно ли слава Марлинскаго — этого жонглера фразы, казалась колоссальною? — теперь о немъ уже и не говорятъ, не только не хвалятъ, даже и не бранятъ его. Такихъ примѣровъ можно бы привести много. Все

это доказываетъ, что и литература и общество наше еще слишкомъ молоды и незрѣлы, но что въ нихъ кроется много здоровой жизненной силы, обѣщающей богатое развитіе въ будущемъ.

Разъ гдѣ-то была высказана мысль, что у насъ больше художественныхъ, нежели бельетристическихъ произведеній, больше геніевъ, нежели талантовъ. Какъ всякая самобытная и оригинальная мысль, она возбудила толки. И дѣйствительно, съ перваго взгляда эта мысль можетъ показаться страннымъ парадоксомъ; но тѣмъ не менѣе она справедлива въ основаніи. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоить только бросить бѣглый взглядъ на ходъ нашей литературы, отъ ея начала до настоящаго времени. Бельетристъ есть подражатель, онъ живетъ чужою мыслию — мыслию генія. Правда, геніи перваго періода нашей литературы, до Пушкина, были ни чѣмъ инымъ, какъ бельетристами, въ отношеніи къ европейскимъ писателямъ, у которыхъ они учились писать, заимствовали и форму и мысли; но въ нашей литературѣ роль ихъ была совсѣмъ другая. Кантемиръ подражалъ Горацию и Буало, и со всѣмъ тѣмъ въ русской литературѣ былъ совершенно оригинальнымъ писателемъ, предметомъ удивленія для современниковъ, которые видѣли въ немъ *genius*, и уваженія для потомства, которое видитъ въ немъ одно изъ замѣчательныхъ лицъ нашей литературы. Нечего и говорить въ этомъ отношеніи о Ломоносовѣ, Державинѣ и Фонвизинѣ: это были дѣйствительно геніальные люди, а второй изъ нихъ даже былъ дѣйствительно геніальнымъ поэтомъ. Но и Сумароковъ, Херасковъ, Петровъ, Богдановичъ и Княжнинъ считались въ ихъ время, и даже долго послѣ ихъ смерти, великими поэтами. Сергій Николаевичъ Глинка —

сей почтенный и всегда вдохновенный ветеранъ нашей литературы, и теперь считаетъ ихъ великими поэтами. И хотя наше время думаетъ объ этомъ совсѣмъ иначе, однакожъ оно не можетъ не согласиться, что и мнѣніе Сергѣя Николаевича Глинки и его времени имѣетъ свое основаніе. Первые дѣятели всякой литературы, а особенно подражательной, являются даже и потомству въ такихъ большихъ размѣрахъ, которые уже не существуютъ для такихъ же талантовъ, но являющихся позже, уже во время успѣховъ и развитія литературы. Сумароковъ, по убѣжденію его современниковъ, далеко оставилъ за собою и баснописца Лафонтена, и трагиковъ Корнеля и Расина, и сравнялся съ господиномъ Вѳтеромъ. Херасковъ былъ нашимъ Гомеромъ, Петровъ — Пиндаромъ, Богдановичъ — Зефиръ, давалъ ему перо изъ своихъ крыль, и Амуръ водилъ его рукою, когда онъ писалъ *Душеньку*... Но много ли породили подражателей эти, положимъ, условные гении? Много ли породилъ подражателей самъ Державинъ? Правда, торжественныхъ одъ было въ тѣ блаженные времена написано и напечатано миллионы; но это отъ того, что тысячи рукъ писали ихъ, и если на каждую руку по одной одѣ — такъ ужъ выйдетъ страшный итогъ. Но много ли дошло до насъ именъ таланливыхъ беллетристовъ, порожденныхъ движеніемъ, сообщеннымъ нашей литературѣ ея первыми гениями? Положимъ, что у Сумарокова, Хераскова и Петрова и не могло быть таланливыхъ подражателей; но много ли было ихъ у Державина? Нѣсколько одъ написалъ Дмитріевъ; и немного больше написалъ ихъ Капнистъ — вотъ и все.... Оды обоихъ этихъ поэтовъ, по числу — ничто въ сравненіи съ численнымъ богатствомъ одъ Державина. А между-тѣмъ, такъ естественно, что беллетристу легче писать много, нежели его образцу; но у насъ это всегда бывало

наоборотъ: Макаровъ и Подшиваловъ, очень мало написавшіе, особенно послѣдній, дѣйствовали независимо отъ Карамзина; подражателями же Карамзина были Владиміръ Измайловъ, князь Шаликовъ и, право, не помнимъ, кто еще; такъ мало ихъ было, и бывшіе такъ мало и вяло писали! Вліяніе Жуковскаго было обшириѣе: у него и теперь и всегда можно учиться переводить, стихъ его тоже всегда будетъ образцовымъ. Козловъ, г. Ѳ. Глинка и частію г. Туманскій, были отголосками музыки Жуковскаго. Геній Пушкина породилъ еще болѣе подражателей, у которыхъ нельзя отрицать таланта и которые въ свое время пользовались огромною извѣстностію; но, всѣ вмѣстѣ взятые, они едва ли написали половину того, что написалъ одинъ Пушкинъ, хотя и онъ написалъ не очень много. — и какъ скоро пережили они свой талантъ и свою извѣстность! И теперь пишутъ многіе; одинъ сходитъ со сцены, то есть, забывается (это у насъ дѣлается необыкновенно скоро), другой является, въ сложности всѣ производятъ довольно много (по-крайней-мѣрѣ относительно), но каждый особенно пишетъ очень мало. И притомъ, всѣ претендуютъ на художественность, на творчество, никто не хочетъ быть просто разскащикомъ, сказочникомъ, бѣльетристомъ. Почти всѣ пишутъ на заказъ, зная впередъ, сколько дастъ имъ каждая строчка, каждое слово, каждая запятая; но въ то же время, всѣ пишутъ и по вдохновенію. Многіе продаютъ еще ненаписанныя повѣсти, но не потому, что слишкомъ много пишутъ и много получаютъ заказовъ, а потому, что слишкомъ мало пишутъ. Иной разражается повѣстью въ годъ — и смотритъ Наполеономъ послѣ аустерлицкой битвы. Удается написать въ годъ двѣ повѣсти: это уже равняется завоеванію всего міра. Оттого, у насъ нѣтъ бѣльетристики, и публикѣ нечего читать. Всѣ сколько-нибудь замѣчательныя произ-

веденія каждаго года, (со включеніемъ сюда и такихъ, которыя только что сносны) можно перечестъ по пальцамъ. Во Франціи это дѣлается иначе: тамъ пишутъ полосами, и каждый сколько-нибудь извѣстный бельетристъ исписываетъ ежегодно цѣлые томы, чуть не десятки томовъ, не заботясь о томъ, за что приметъ его публика — за генія или просто за талантъ. Тамъ бельетристъ пишетъ гораздо болѣе, чѣмъ художникъ-поэтъ: Жоржъ Зандъ написалъ много, больше, нежели сколько у насъ пишется многими въ продолженіи многихъ лѣтъ; но кипа сочиненій Жоржа Занда въ сравненіи съ кипой сочиненій Ежена Сю или Александра Дюма — то же, что озеро въ сравненіи съ моремъ, или море въ сравненіи съ океаномъ. Оно и естественно: творчество не покоряется волѣ, и художнику нужно время обдумать и выносить въ умѣ своемъ концепированную имъ мысль.... Въ настоящемъ, въ истинномъ значеніи этого слова, у насъ было и есть только три бельетриста: это — гг. Булгаринъ, Полевой и Кукольникъ. Неутомимость ихъ изумительна....

Изъ всѣхъ родовъ поэзіи, слабѣе другихъ принялась у насъ драма, особенно комедія. По-крайней-мѣрѣ, хоть такъ-называемая классическая трагедія имѣла у насъ свое время развитія и успѣховъ. Трагедіи Сумарокова дали пищу нашему раждающемуся театру и не только восхищали современниковъ, но *Димитрій Самозванецъ* давался на провинціальныхъ театрахъ еще въ началѣ двадцатыхъ годовъ текущаго столѣтія. Трагедіи и комедіи Княжнина имѣли для своего времени неотъемлемое достоинство, — и вообще, можно сказать, что наше время много бы выиграло, еслибъ теперь явился такой умный и ловкій заимствователь по

части драматической литературы, какимъ для своего времени былъ Княжнинъ. Еще выше его былъ Озеровъ. Изъ этого видно, что классическая трагедія у насъ развивалась въ продолженіи цѣлыхъ трехъ поколѣній. Явился романтизмъ — и пошли романтическія драмы, кровавыя, страшныя, эффектныя, наконецъ, даже народныя, но вмѣстѣ съ тѣмъ больше безтолковыя и пустыя. Теперь ужъ и онѣ пишутся только для бенефисовъ, да и то все рѣже и рѣже. Есть надежда, что скоро онѣ и совсѣмъ прекратятся. И хорошо! лучше вовсе ничего, нежели много великолѣпнаго, или какого бы то ни было вздору!

Но и въ дѣлѣ драмы, еще больше, чѣмъ гдѣ-нибудь, оправдалось положеніе, что у насъ во всемъ больше геніевъ (хотя ихъ и очень мало), нежели талантовъ. Пушкинъ, въ своемъ *Борисъ Годуновъ*, далъ намъ истинный и геніальный образецъ народной драмы; но потому-то, можетъ-быть, онъ и остался безъ всякаго вліянія на нашу драматическую литературу, что былъ слишкомъ истиненъ и геніаленъ. По-крайней-мѣрѣ, ни на одномъ драматическомъ произведеніи, съ признаками таланта, не отразилось вліяніе *Бориса Годунова*. Скажутъ: это оттого, что ни одной драмы съ признаками таланта никогда не появлялось у насъ. Правда! но отъ-чего же у насъ появлялись и появляются поэмы въ стихахъ, съ признаками таланта, да иногда еще и замѣчательнаго, доказывающія, какъ сильно и плодотворно вліяніе Пушкина и Лермонтова на нашу литературу?... Послѣ *Бориса Годунова*, лучшее драматическое произведеніе въ народномъ духѣ принадлежитъ Пушкину же: это — *Русалка*. Его драматическія поэмы: *Сцена изъ Фауста*, *Моцартъ и Сальери*, *Скупой Рыцарь*, *Каменный Гость*, тоже не отозвались въ русской литературѣ никакими сколько-нибудь счастливыми опытами. А ме жду-тѣмъ, всѣ драматиче

скіе оубыты Пушкина — великія художественныя созданія....

Такова же и участь нашей комедіи: или что-нибудь необыкновенное, или — меньше чѣмъ ничего. О русскихъ комедіяхъ до Фонвизина почти нечего и говорить: это были или переводы, или передѣлки (и въ этомъ отношеніи труды Княжнина заслуживаютъ уваженія); но какъ оригинальныя русскія комедія — это было странное уродство. *Бригадиръ* и *Недоросль*, не будучи художественными произведеніями въ строгомъ смыслѣ этого слова, тѣмъ не менѣе были гениальными созданіями. По ихъ характеру, ихъ можно назвать вѣрными и мѣткими сатирами въ формѣ комедіи. Были имъ подражанія, но уродливыя и нелѣпыя. Впрочемъ, хотъ и поздно, но ихъ вліяніе отозвалось въ комедіи Основьяненко *Дворянскія Выборы* — произведеніи имѣющемъ свои недостатки, но и не безъ достоинствъ. Между *Бригадиромъ* и *Недорослемъ*, Аблесимовъ какъ-то обмолвился премилымъ народнымъ водевилемъ. Это была случайность, хотъ и прекрасная; ей и слѣдовало остаться безъ послѣдствій для литературы. *Ябеда* Капниста замѣчательна больше по цѣли, нежели по выполненію. Теперь должно перейти прямо къ *Горе отъ Ума* Грибоѣдова, потому-что множество комедій, написанныхъ, въ стихахъ и прозѣ, въ промежуткѣ времени отъ Фонвизина до Грибоѣдова, не стѣять упоминенія. *Горе отъ Ума* — эта наполовину художественная, наполовину сатирическая комедія, этотъ высокій образецъ ума, остроумія, таланта, гениальности, злаго, жолчнаго вдохновенія, — *Горе отъ Ума* досихъ-поръ остается единственнымъ произведеніемъ въ нашей литературѣ, въ родѣ котораго ни одинъ талантъ не рѣшился попытать своихъ силъ. Отъ комедіи Грибоѣдова должно перейти прямо къ *Ревизору*. Кромѣ этой въ высочайшей степени художественной комедіи,

исполненной глубочайшаго юмора и поразительной истины, Гоголь еще написал небольшую комедию — *Женитьба*, и нѣсколько сценъ, которыхъ нельзя назвать комедіями по ихъ объему и которыя относятся къ комедіи, какъ повѣсть относится къ роману. Всѣ эти сцены носятъ на себѣ рѣзкую печать таланта автора *Ревизора* и, подобно ему, до-сихъ-поръ остаются въ нашей литературѣ уединенными памятниками среди широкой песчаной степи, гдѣ не видно ни дерева, ни былинки.... Были, правда, двѣ или три попытки, не совсѣмъ неудачныя, но слишкомъ нерѣшительныя....

Односторонность во взглядѣ на предметы всегда ведетъ къ ложнымъ выводамъ, хотя бы этотъ взглядъ не былъ лишенъ глубокости и проникаемости. Способность убѣжденія, одна изъ прекраснѣйшихъ способностей человѣческой природы, при односторонности, ведетъ къ фанатизму. Литературный фанатизмъ такъ же глухъ и слѣпъ, какъ и всякій другой, особенно, когда онъ живетъ во имя теоріи. Нѣмецкія эстетическія теоріи такъ хорошо принялись на восприимчивой почвѣ нашего недавняго образованія, что нашли себѣ такихъ жаркихъ и фанатическихъ послѣдователей, на которыхъ и въ самой Германіи, особенно теперь, посмотрѣли бы какъ на чудо теоретическаго изступленія. Для неисправимыхъ фанатиковъ этого рода французская литература и французское искусство есть истинный камень преткновенія: не понимая ихъ и упорствуя сознаться въ этомъ, они ни мало не затрудняются не признавать ихъ существованія. Это, впрочемъ, не удивительно: вѣдь нѣкоторые историки времени реставраціи настаивали же на томъ, что Наполеонъ былъ полководецъ Людовика XVIII?.. Въ-самомъ-дѣлѣ, съ чисто-теоретической точки зрѣнія, не прибѣгая къ живому истори-

ческому созерцанію, не много хорошаго можно найти во французской литературѣ, восторгаясь нѣмецкою. Нѣмецкая эстетика вышла изъ ученаго кабинета, а нѣмецкая поэзія вышла изъ нѣмецкой эстетики. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить, какъ писалъ, впрочемъ, гениальный Шиллеръ: въ *Валленштейнѣ* все было имъ не только заранѣе обдуманно, но и доказано и оправдано, все вышло изъ теоріи, и авторъ писалъ эту драму *восемь дѣтъ*. Шиллеръ хотѣлъ писать эпическую поэмѣ изъ жизни Фридриха-Великаго; но хотѣлъ за нее приняться не прежде, какъ сперва развивши философски теорію эпической поэмы новаго времени. Всѣ эти явленія, немного странныя, чтобы не сказать уродливыя, и много повредившія гению Шиллера, какъ и другихъ нѣмецкихъ поэтовъ, вышли прямо изъ соціального положенія Нѣмцевъ, тихаго, семейнаго, созерцательнаго, кабинетнаго. Французская литература, напротивъ, вся вышла изъ общественной и исторической жизни, и *тѣсно слита съ нею*. По-этому, о французской литературѣ нельзя судить по готовой теоріи, не впадши въ односторонность и не доходя до ложныхъ выводовъ. Трагедіи Корнеля, правда, очень уродливы по ихъ классической формѣ, и теоретики имѣютъ полное право нападать на эту китайскую форму, которой поддался величавый и могущественный гений Корнеля, вслѣдствіе насильственнаго вліянія Ришльё, который и въ литературѣ хотѣлъ быть первымъ министромъ. Но теоретики жестоко ошиблись бы, если бы, за уродливою псевдо-классическою формою корнелевскихъ трагедій, проглядѣли страшную внутреннюю силу ихъ пафоса. Французы нашего времени говорятъ, что Мирабо обязанъ Корнелю лучшими вдохновеніями своихъ рѣчей. Послѣ этого, удивляйтесь Французамъ, что они забываютъ скоро свои романическія трагедіи à la Шекспиръ, и до-сихъ-поръ читаютъ

и всегда будут читать стараго Корнеля! Каждый изъ знаменитыхъ ихъ писателей неразрывно связанъ съ эпохою, въ которую онъ жилъ, и имѣетъ право на мѣсто не въ одной исторіи французской литературы, но и въ исторіи Франціи. Здѣсь всѣ мысли о творчествѣ имѣютъ уже нѣсколько другое значеніе, нежели какое имѣютъ онѣ въ нѣмецкой литературѣ: онѣ должны раздѣлить свою власть и силу съ мыслями объ обществѣ и его историческомъ ходѣ. У насъ есть люди, которымъ удалось понять, что *Ревизоръ* есть глубоко-творческое и художественное произведеніе, и что ни одна комедія Мольера не выдержитъ эстетической критики. Они правы въ этомъ отношеніи, но не правы въ выводѣ, который они дѣлаютъ изъ этого факта. Дѣйствительно, ни одна комедія Мольера не выдержитъ эстетической критики, потому что всѣ онѣ больше *сдѣланы*, нежели *созданы*, часто сбиваются на фарсъ, или по-крайней-мѣрѣ допускаютъ въ себя фарсъ (какъ, напр., ложные: *муфтіи, дервишъ и Турки въ Le Bourgeois-Gentilhomme*); пружины ихъ дѣйствія всегда искусственны и однообразны, характеры абстрактны, и вообще резко выглядываетъ изъ нихъ форма поэтическаго изобрѣтенія, и т. д. Но въ связи съ этимъ, Мольеръ имѣлъ огромное вліяніе на современное ему общество и высоко поднялъ французскій театръ, — что могъ сдѣлать только человекъ, даже не просто съ талантомъ, а съ гениемъ. Чтобы судить о его комедіяхъ, ихъ надо не читать, а видѣть на сценѣ, и притомъ непременно на французской сценѣ, потому-что ихъ сценическое достоинство выше драматическаго. Французы не имѣютъ права гордиться именно тою или вотъ этою комедіею Мольера; но имѣютъ полное право гордиться комедіями, или, лучше сказать, театромъ Мольера, потому-что Мольеръ далъ имъ цѣлый театръ. То же можно сказать и о Скрибѣ. Нельзя указать ни на

одну его драму, ни на одинъ водевиль, какъ на художественное произведение, которое всегда будетъ имѣть свою цѣну; но можно сказать утвердительно, что театръ Скриба всегда будетъ имѣть свою цѣну, а теперь ему и цѣны нѣтъ: такъ онъ важенъ для современнаго общества, составленнаго изъ всѣхъ классовъ образованныхъ и необразованныхъ, которые стекаются въ театръ, чтобы видѣть на сценѣ самихъ себя.

У насъ есть нѣсколько высокохудожественныхъ комедій, которыя, по своему числу, не могутъ составить постоянного репертуара для театра, и которыя, при всемъ ихъ достоинствѣ, смертельно надоѣли бы всѣмъ, если бы, кромѣ ихъ, ничего не давалось на театрѣ, потому что одно и вѣчно одно всегда надоѣдаетъ.

У Французовъ, положимъ, нѣтъ ни одной художественной комедіи, но за то есть театръ, который существуетъ для всѣхъ, и въ которомъ общество и учится, и эстетически наслаждается.

На чьей сторонѣ выгода?

Пусть рѣшатъ читатели. Наше дѣло — сторона.

Чѣмъ отличается гений отъ таланта? — Вопросъ очень важный, тѣмъ болѣе, что его рѣшаютъ всегда очень мудро. Не беремся, но попытаемся объяснить его просто. Что гений и талантъ дается природою, что тотъ и другой есть, такъ сказать, свойство самаго организма человѣка, какъ свѣтъ и теплота есть свойство огня, — объ этомъ нечего и говорить, какъ о предметѣ, на счетъ котораго давно согласились всѣ. Вопросъ въ различіи генія отъ таланта, и наоборотъ.

Кому не случалось встрѣчать множество людей, которые любятъ, напимѣръ, читать, слѣдять за литера-

турую и хотять судить о ней; но которые тогда только смѣло судять о новой книгѣ, когда успѣли прочитатъ о ней сужденіе журнала, пользующагося ихъ безусловною довѣренностію, и которые чувствуютъ себя въ самомъ затруднительномъ положеніи, если рецензія или критика на книгу, надѣлавшую шуму, долго не является въ ихъ журналѣ? Кому не случалось встрѣчать людей, которые готовы судить обо всемъ, но лишь кто-нибудь рѣзко возразить имъ, они тотчасъ же отказываются отъ своего мнѣнія и безусловно соглашаются съ мнѣніемъ возразившаго? Это люди безъ мнѣнія, безъ способности имѣть мнѣніе, люди, которые могутъ быть сильны только чужимъ мнѣніемъ, и для которыхъ авторитетъ есть необходимость перваго разряда. Надобно замѣтить, что у людей этого рода очень сильно развитъ инстинктъ чувствовать чужую силу и всегда узнавать ее. Между-тѣмъ, это могутъ быть совсѣмъ не глупые люди: для нихъ существуютъ доказательства, у нихъ есть судительная способность, но только эта способность у нихъ лишена самодѣтельности и требуетъ опоры въ авторитетѣ. Толпа бѣльшею частію состоитъ изъ такихъ людей, и ею всегда и вездѣ управляютъ люди съ бѣльшею или меньшею самостоятельностью мнѣнія. И вотъ причина, почему толпа не долго увлекается ложнымъ и уродливымъ, и рано или поздно, но всегда признаетъ достоинство истиннаго и прекраснаго: за нее дѣйствуютъ другіе, а она только повинуется. Безъ этой нравственной дисциплины, въ понятіяхъ людей не было бы единства, но была бы страшная анархія.

Талантъ, какъ способность дѣлать, производить, относится больше къ формѣ созданія, и съ этой точки зрѣнія, талантъ — есть сила виѣшняя, которая можетъ существовать въ челоѣкѣ независимо отъ ума, сердца и другихъ интеллектуальныхъ и нравственныхъ сто-

ронъ человѣческой природы. Но для формы нужно со-
держаніе, — и вотъ здѣсь—то получаетъ всю свою важ-
ность самостоятельная дѣятельность духовныхъ силъ
человѣка. Если есть люди, которые лишены способно-
сти имѣть о вещахъ свое мнѣніе, и которые принима-
ютъ чужое мнѣніе цѣликомъ, какъ что-то готовое, о
чемъ имъ уже нечего больше и думать; то есть люди,
которые, вѣчно живя чужимъ мнѣніемъ, имѣютъ спо-
собность усвоить его себѣ, развивать, выводить изъ не-
го новыя слѣдствія, находить чрезъ него на другія мы-
сли, —и эта способность до того обманываетъ людей это-
го рода, что они очень добросовѣстно убѣждены въ само-
стоятельности своей собственной мыслительности. И
они почти правы въ этомъ: природы живыя и воспріимчи-
выя, они сами не знаютъ и не помнятъ, отъ кого за-
шла къ нимъ та или другая мысль, потому что все из-
внѣ легко и быстро пристаеетъ къ нимъ почти бессо-
знательно, инстинктивно. Имъ стоить только погово-
рить съ умнымъ человѣкомъ, или прочесть хорошую
книгу, чтобы въ нихъ тотчасъ же возбудился цѣлый
рядъ новыхъ мыслей, которыя они не могутъ не при-
нять за свои собственные. Эти люди, управляясь дру-
гими, въ свою очередь, имѣютъ большое вліяніе на
толпу. Они довольно часто встрѣчаются на свѣтѣ; осо-
бенно ихъ много бываетъ въ столицахъ. Вообще, чѣмъ
просвѣщеннѣе и образованнѣе общество, тѣмъ больше
въ немъ такихъ людей. Наконецъ, есть люди (такихъ
очень мало), которые дѣйствительно обладаютъ спо-
собностью творческой самодѣятельности своихъ способ-
ностей. Они на все смотрятъ какъ-то особенно, ориги-
нально, во всемъ видятъ именно то, чего, безъ нихъ,
никто не видитъ, а послѣ нихъ все видятъ и все уди-
вляются, что прежде этого не видѣли. Это люди со-
всѣмъ не хитрые и не мудреные: они все понимаютъ
просто, но ихъ простое пониманіе сначала кажется

всѣмъ очень мудренымъ, а иногда безумнымъ и нелѣпымъ, а потомъ кажется уже столь простымъ, что нѣтъ глупца, который не подивился бы, какъ ему не пришло этого въ голову — вѣдь это такъ просто! Когда Колумбъ собирался открыть Америку, — на него всѣ смотрѣли, какъ на помѣшаннаго мечтателя, а когда онъ открылъ Америку, то почти никто не хотѣлъ признать въ этомъ даже заслуги, потому-что открытую Америку всѣмъ казалось такъ легко открыть!...

Говоря объ этихъ трехъ разрядахъ людей, мы хотѣли сказать о *толпѣ, талантѣ и гении*...

Въ наше время, талантъ не рѣдкость во всемъ, но особенно въ литературѣ. Просто ни почему! Его часто даже смѣшиваютъ съ гениемъ. И не мудрено. нуженъ своего рода большой талантъ, чтобы съ перваго разу отличить талантъ отъ гениа. Это приводитъ намъ на память то мѣсто изъ повѣсти извѣстнаго французскаго писателя нашего времени, гдѣ онъ такъ рассказываетъ объ авторствѣ своего героя: «Онъ признавался, что «все начатое имъ» принимало, послѣ первыхъ десяти «строкъ, трехъ или четырехъ стиховъ, такое сходство «съ писателями, которыхъ читалъ онъ, что онъ краснѣлъ, видя себя способнымъ только на подражаніе. «Онъ показалъ мнѣ нѣсколько стиховъ и фразъ, подъ «которыми Ламартинъ, Викторъ Гюго, Поль Курье, «Шарль Нодье, Бальзакъ и даже Беранже могли бы «подписать имена свои. Но всѣ эти опыты, которые «можно бы назвать отрывками изъ отрывковъ, служили «бы, въ сочиненіяхъ тѣхъ писателей, для украшения «индивидуальныхъ идей; но этой-то индивидуальности и не было у Ораса. Если онъ хотѣлъ выразить «какую-нибудь идею, вы тотчасъ и увидѣли бы (онъ «и самъ тотчасъ же видѣлъ) явную кражу: идея эта «была не его; она принадлежала этимъ писателямъ, «принадлежала всѣмъ, только не ему».

Вотъ вѣчная исторія таланта! Конечно, она не всегда бываетъ именно такою, какъ представлена въ словахъ автора, на котораго мы сослались; но сущность ея всегда такова. Какъ бы талантъ ни былъ великъ, онъ не можетъ наложить печати своей личности на свои произведенія, и потому не можетъ быть оригиналенъ и самобытенъ. Какъ бы ни велика была его способность усвоить себѣ чужія идеи, онъ ненадолго скроетъ, что его вдохновеніе не бьетъ живымъ родникомъ изъ тайниковъ его натуры, но есть только «плѣнной мысли раздраженіе». Но за то, какъ бы ни тѣсна и ни ограничена была сфера таланта, но если на его произведеніяхъ видѣнъ тотъ рѣзкій отпечатокъ личности, который дѣлаетъ произведенія такъ оригинальными, что подъ нихъ невозможно поддѣлаться, — тогда это уже не талантъ, а геній. Къ числу *такихъ* геніальныхъ поэтовъ принадлежитъ въ нашей литературѣ баснописецъ Крыловъ.



2011138894